Иностранная литература

2 1970

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

Иностранная литература

Издательство «Известия»
Москва

ФЕВРАЛЬ
1970

СОДЕРЖАНИЕ

К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина

Анкета «Иностранной литературы». МИХАЙ БЕНЮК. АЛЕХО КАРПЕНТЬЕР. ПАЛ КОРНИШ. ВАЦЛАВ КУБАЦКИЙ. ПАВЕЛ МАТЕВ. ЛЮДВИГ РЕНН 219

ИЗ АРХИВА А. М. КОЛЛОНТАЙ. Дневники, письма, статьи 1915—1917 гг. 226

И. ГОЛИК — «Он дал нам жизнь» (В. И. Ленин в немецкой литературе) 246

Проза, поэзия, драматургия

АРИЭЛЬ БАДАНО — Сын человечества 3

ЦИРИЛ КОСМАЧ — Баллада о трубе и облаке 6

Стихи болгарских поэтов. ЛАМАР. БЛАГА ДИМИТРОВА. БОЖИДАР БОЖИЛОВ 60

ТОМИЭ ОХАРА — Ее звали о-Эн *(Повесть)* 64

МУИН БСИСУ — Стихи 136

ДЖОН ЛЕ КАРРЕ — В одном немецком городке *(Роман. Продолжение)* 140

Критика

С. ИЛЬИНСКАЯ — «...Поднять над Элладою солнце!» (Греческая литература Сопротивления) 205

Отклики, встречи, впечатления

БЕЛА КЕПЕЦИ — Этапы развития социалистического реализма 214

Наши гости

С. ПАРХОМОВСКАЯ - Писатели Словакии (Андрей Плавка, Ян Костра, Эмиль Болеслав Лукач, Винцент Шабик, Ян Ференчик, Винцент Шикула, Гелена Крижанова) 252

Культура и современность

Заметки на полях зарубежных газет и журналов

М. БЕРЕЗКИНА — Испанская проза = «Искалеченная жизнью тридцатилетняя женщина» 257

Изобразительное искусство за рубежом

Из работ современных художников ГДР (Вклейка) 256—257

Среди книг

Издано в СССР

Вильгельм Левик — Поэты современной Италии. Ирина Левченко — Не просто жить... И. Лисевич — Китайская лирика 20—30-х годов 261

Издано за рубежом

Елена Курбатова — Родная земля Свен Сторк — Новая книга Ивара Лу-Юханссона. И. Млечина — «Психограмма» скучного человека 267

На всех языках 273

Из месяца в месяц (хроника) 274

Авторы этого номера 287

■

На обложке картина Курта Роббеля (ГДР) «Красногвардейцы 1917 года».

АРИЭЛЬ БАДАНО

Сын человечества

Перевод с испанского
ЮРИЯ ПАВЛОВА

Мать Ленина —
это я, Земля Людей,
мать всех матерей
и колыбельных песен,
мать всех отцов
и мозолистых рук.

Всю мою жизнь
я молилась и плакала,
проклинала... и каялась,
и опять рассыпала проклятья
по дорогам своим.

Я прошла сквозь кромешную тьму
всею болью натруженных ног —
с камня на камень...

Если б горе мое развернуть, как знамя,—
никакие ветра не смогли бы разгладить
его морщин.

Лишь в бреду по ночам
мне являлась мечта
о другой, о несбыточной жизни:
то ль греховный соблазн,
то ли сладкий дурман —
милосердный подарок
голода.

Я хранила мечту в наболевшей душе,
как хранит каторжанин истертую ложку
в своей торбе.

Даже детям о ней
говорила лишь шепотом —
только в сказках,—
боясь растревожить
напрасной мечтой.

Но они ей поверили,
подхватили, как факел,
и пошли штурмовать
неприступное небо
кулаком и булыжником,
топором и дубиною
и отчаянной храбростью
одержимых.

Позади —
столько братских могил,
недоплаканных слез,
поцелуев оборванных
смертным хрипом,
и навылет простреленных
алых гвоздик,
что горели у сердца
мечтателей.

А на смену погибшим
приходили другие.

Если раб,
иссеченный
и закованный в цепи,
улыбается;
если вдруг,
окрыленный мечтой,
запоет,
чем остановишь его?
Если мечта
овладеет душой
тысяч рабов;
если они
разогнут свои спины
и оглядятся —
им станет ясно,
что всё на земле
зависит от них.
Кто сможет тогда
отнять у них правду?
Кто сможет тогда
скрыть от них свет —
слово Ленина?

Ленин — не бог не пророк,
он не с неба явился людям:
он родился и жил среди них,
и мечтал их мечтой,
но мечту только он сумел
превратить в могучую силу,
из идеи выковать Партию —
монолитный единый кулак,
всех трудящихся рук.

Эту Партию создал Ленин.
Эту Партию вырастил Ленин.
Ум свой отдал ей Ленин.

Ленин — мой сын от плоти и крови,
самый любимый из всех сыновей.

Невысокого роста гигант.
Гений,
проникающий
острым взором
в сокровенные тайны
умов и веков,
прошлых и будущих.
Он метеором
ворвался в историю
и прочертил в вековечной ночи
братьям своим —
прозревшим рабам —
путь к рассвету.

Он учил:
не лелеять мечты и надежды —
драться!
Он учил:
не оплакивать слабых и павших —
мстить!
Дерзостью мысли повел
за собой миллионы
в бой,
в самый последний
и самый решительный бой!

Грохот боев возвестил
новой жизни рожденье.
Замерли стрелки
дворцовых часов, отмечая
утро победы.
И на былого развалинах
алым взметнулось пламенем
знамя республики правды,
свободы, труда —
озаренная мыслью Ленина,
стала жизнью мечта.

Ленин — мой сын.
Я горжусь им и знаю:
будет жить он всегда,
как и я,
я — Человечество.

г. Монтевидео

ЦИРИЛ КОСМАЧ

Баллада о трубе и облаке

Перевод со словенского
АЛЕКСАНДРА РОМАНЕНКО

I

Печально пела труба, и в голубом небе безмятежно плыло белое облако.

А чуть погодя...

Вначале все было очень просто и даже хорошо.

Они поставили на пол чемодан, рюкзак и пишущую машинку. Комната выглядела уютной, но немного темной,— быть может, потому, что на улице все было залито огненными лучами яркого послеполуденного солнца.

Хозяин, высокий, тощий крестьянин, оголенный до пояса, в коротких штанах, ленивым движением стряхнул со лба капли пота и, прислонившись к подоконнику, почесал заросший подбородок. Он стоял в проеме окна, выходившего в узкий внутренний двор, куда падал водопад ослепительного солнечного света, и поэтому казался темным, почти черным.

Петер Майцен, мельком взглянув на него, сразу же подошел к столу. Взглянул машинально, по привычке. И с присущей ему наблюдательностью определил: «Почерневшая готическая статуя великомученика несколько увеличенных размеров».

Он решил, что сравнение удачно, но тут же и это сравнение, и сам человек стали ему безразличны. Голову переполняло множество образов, и на душе было радостно. Он стремительно взялся за расшатанный стол и начал двигать его по неровному полу, чтоб установить покрепче.

Хозяин, откашлявшись и все еще почесывая подбородок, произнес:

— Хм, такое дело... Вы, значит, пишете?

— Пишу! — кивнул Петер Майцен.

— Хм... Однако можно подумать, что вы учитель... или врач... или еще кто-нибудь...

— А вот и не так! Я ведь без очков! — пошутил Петер Майцен. Был он среднего роста и средних лет. И выглядел сегодня веселым, оживленным, совсем под стать своей пестрой рубашке. «Я счастлив! Счастлив!» — стучало его сердце в таком бурном ритме, что он даже чувство-

вал какую-то неловкость. «Счастлив, как ребенок. И взволнован. Как юноша, который впервые идет на свидание».

— Хм, такое дело,— протянул хозяин.— И вы пишете книги?

— Книги... «А ведь это почти соответствует истине».

— Истории, так сказать?

— Истории... «И всегда словно в первый раз».

— И выдумываете из своей собственной головы?

— Из своей собственной... «Только женщины всегда другие».— Петер Майцен усмехнулся, но по его лицу будто пробежала тень.

— Хм, такое дело,— поддакнул, почесывая подбородок, хозяин.— Это, так сказать...

— Ах, разумеется! — живо перебил его Петер Майцен.

— Я хотел сказать, что вы пишете... пишете вот так.

— Как? — спросил Петер Майцен. И в ту же секунду, поняв, радостно улыбнулся.— Разумеется, разумеется! Вот так, вот так! — Он слегка повел плечами и отбросил светлые волосы с высокого лба. «Стоит наклонить голову над машинкой, и мысли сыплются из нее, как орехи из мешка». На его лбу, щеках и вокруг губ пролегло немало глубоких морщин, оставленных будничными заботами, прорезанных острыми ножами частых огорчений. Но сейчас лицо его озаряло вдохновение, возникшее еще в пути.

— Хм, такое дело,— продолжал хозяин.— Что в голову придет, то и напишете?

— Что в голову придет, то и напишу... «Так просто, что дальше некуда! И если бы ты знал, до чего ж это приятно!»

— А иногда что-нибудь услышите и потом напишете?

— Бывает! — согласился Петер Майцен и снова скользнул по нему взглядом. «Верно, ты хочешь предложить что-нибудь свое? Но погоди, братец! Сейчас некогда! Меня ждут старые герои! Уже долгие годы ждут! Ждет Темникар, мой главный герой!»

— Хм, такое дело,— мямлил хозяин.— С людьми всякое случается.

— Всякое, всякое...

— И даже с обыкновенными людьми!

— Да ведь обыкновенные люди и есть необыкновенные.

— Хм, такое дело...

— А необыкновенные большей частью — самые обыкновенные.

— Люди есть люди.

— А, может быть, и нет! — вдруг возразил Петер Майцен.

Крестьянин проглотил слюну.

— Хм, такое дело... Иногда и нет!

— Нет, нет! — весело качал головой Петер Майцен, будто эта горькая истина необыкновенно его обрадовала.

— Что делать! — покорно вздохнул хозяин.— Так уж повелось...

— Хм, такое дело! — невольно и неожиданно для себя сказал Петер Майцен и оглянулся. Сильной рукой он подхватил свой чемодан, легко кинул его на постель и раскрыл. Внутри лежали книги, бумага и папки с неоконченными рукописями и черновиками.

— А о войне,— снова заговорил хозяин,— о войне вы тоже пишете?

— О войне тоже.

— Хм, конечно... О войне много чего можно написать.

— Много! Много! — закивал Петер Майцен.— И не только об атаках, боях, победах и о трубе, что после победы гремит свое тра-ра-ра! — Он положил пачку бумаги на край стола, приставил ладони к губам, поднялся на цыпочки и протрубил на три стороны света: — Тра-ра!.. Тра-ра-ааа!.. Тра-ра-аааа!

Хозяин испуганно выпучил глаза.

— Ну, как? А-а, вы удивляетесь, что я затрубил! — засмеялся Пе-

тер Майцен.— Ох, да вы разве не слышали, что художники — те же дети? Озорные и невинные дети! Совершенно несерьезные люди! Разве серьезные люди станут мять глину, смешивать краски, писать стихи и разные истории? Куда там! Это ведь детская забава. Потому серьезные люди художников всерьез и не принимают. И умные женщины их тоже считают дуралеями.

Крестьянин откашлялся.

— Хм, такое дело... Женщины...

— Такое дело! Такое дело! — прервал его Петер Майцен. Подбоченясь левой рукой и подняв правую, он пророчески вытянул указательный палец.— А после смерти приходит слава! Похороны за государственный счет, мемориальная доска на доме, где родился, жил и творил, мемориальная доска на доме, где умер, улица его имени, надгробный памятник! А потом выступит бесстрашный отряд ученых: угрюмо сжав губы, нахмурив лбы, они сперва сунут свои длинные носы во все его бумаги и бумажки, что не успели сжечь домашние, потом пустятся по извилистым следам его жизни и в поте лица своего точно выяснят, куда он ходил, где бывал и пил, сколько у него было любовниц и как они выглядели, что он поделывал тут и что творил там, где служил в армии, где находился на штатской службе, сколько зарабатывал и что делал со своими деньгами. Вполне научно, хотя и без резиновых перчаток, они ощупают его печень, почки и мочевой пузырь, исследуют кишки, вскроют сердце, распилят череп и измерят его, взвесят мозг, пересчитают ребра и волосы на груди! Ну и всяк по своей методе — ведь речь просто-напросто идет о том, чтоб доказать собственную оригинальность, и почему бы не доказать, будто она существует, раз представляется случай? Холодно и деловито они станут утверждать, что знаки препинания он расставлял по смыслу, а не ставил их в соответствии с общепринятыми правилами; что язык у него живой, образный, легкий, хотя нельзя сказать, чтобы крепкий; что он был хорошим стилистом, пожалуй даже слишком хорошим, ведь иногда его заносило в другую крайность, в артистизм; что он был мастером веристского, реалистического диалога, хотя его и нельзя причислить к чистым реалистам; что в его произведениях много эпических моментов, но ему никогда не удавалось подняться до подлинно эпического письма; что он оставался закоснелым лириком с весьма ощутимым романтическим душком; что сатирическая жилка у него была столь сильна, что нередко касалась того, чего не следовало касаться, что его мысли, изящно сформулированные, большей частью даже оригинальные, тем не менее не могут считаться необыкновенно глубокими; что он придерживался передовых взглядов, хотя явно не обременял себя изучением обществоведения; что образы у него жизненные и яркие, персонажи из плоти и крови, однако не монументальные, высеченные из камня фигуры; что он глядел на мир несколько свысока, с легкой усмешкой, хотя на самом деле был исполнен гуманизма; что он написал очень мало, но манера его письма изысканная, достаточно своеобразная и впечатляющая, хотя, в конечном счете, ему все-таки чего-то не хватает; что... что... короче говоря, вопреки всему и несмотря ни на что, он был человеком и художником, и по-настоящему жаль, что слишком рано лег в могилу... Знаете, говорят, будто все художники умирают рано, даже если им перевалило за сто...

Крестьянин удивленно моргнул.

— Хм, такое дело... Говорят, смерть никогда не приходит слишком поздно.

— Вы так думаете? — возразил Петер Майцен.— Иногда люди ждут ее и зовут, а ее нет и нет.

Крестьянин раскрыл рот, и костлявые его пальцы застыли на заросшем подбородке.

— Разве не так? — спросил Петер Майцен.

Тот продолжал молчать.

— Ну, ну! — ободряюще улыбнулся Петер Майцен.— Не надо принимать все так серьезно. Я же вас предупредил, что художники народ несерьезный?.. Ясно? Значит, думы о смерти людям не нравятся. Да ведь и мне они не по душе. А сегодня другое дело!.. Почему?.. Потому, что наступил мой час... тот счастливый час, когда я сяду работать. И у меня хорошее настроение. Несколько странное, пожалуй, непривычное, но веселое. Мое настроение. В таких случаях для меня все — все, что есть, и даже то, чего нет,— живо, прекрасно, полно смысла. Ведь во всем этом есть жизнь. Даже в смерти!..

Хозяин оторопело смотрел на него.

— Вам, должно быть, странно такое слышать, но это так! — сказал Петер Майцен.— Да вы не волнуйтесь! Если я сам этого не понимаю, то и вы, должно быть, не поймете... Так-то! — засмеялся он и повернулся к чемодану.

Он положил папки на стол и стал сосредоточенно и неторопливо их раскладывать, хотя уже изнывал по той счастливой минуте, когда сварит себе турецкий кофе, сядет к столу, зажжет сигарету и наконец вновь встретится со своими героями. В нетерпении он разыскал папку с заголовком «ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» и раскрыл ее, чтоб просмотреть черновики.

И вот Темникар предстал перед ним. Его образ сейчас был более отчетливым и ясным, чем когда-либо.

Он стоял в черной от сажи раме сводчатых дверей, что вели в сени старого уединенного дома. Стоял, высокий и статный, именно такой, каким встретил тот зимний день, последний день своей жизни, когда вышел в последний путь — в свой первый бой. Он стоял на выщербленном каменном пороге, в старых, разбитых сапогах, в старой австрийской солдатской шинели, в старой, облезлой меховой шапке, с баклажкой, наполненной водкой, за пазухой, держа под мышкой топор, а в кармане — тяжелый, заряженный револьвер.

«Как спокоен этот человек,— восторженно подумал Петер Майцен.— Как величественно спокоен! Хотя ясно чувствует, что жить ему осталось пять, может быть, шесть, от силы — семь часов. Но он не думает об этом, ни секунды не сомневаясь в том, что погибнет».

Темникар поднял голову. Ясный взгляд его из-под косматых бровей скользнул по обрывистому, покрытому снегом склону, на минуту остановился в Робах под острым Вранековым гребнем, потом поднялся еще выше, к иссиня-стальному небу. Там, на самом горизонте, в лучах зимнего солнца слегка колебалось прекрасное белое облако его жизни. В иссиня-стальных глазах Темникара загорелись две серебристые капли, но лицо оставалось спокойным, решительным, торжественным и почти величавым.

— Иду! — произнес он беззвучно. Ему захотелось еще раз взглянуть на длинные и темные сени, где у очага стояли три фигуры, трое взволнованных людей — жена, дочь, сын, но он не оглянулся. Быстро сошел с порога во двор, прижал к себе топор и ощупал револьвер.

— Ступай! Ступай, чтоб дьяволы не опередили тебя! Время не ждет! — произнес Петер Майцен.

— Время не ждет! — сказал Темникар и решительно шагнул в свежевыпавший снег.

Петер Майцен почувствовал, что у него затуманился взор, но продолжал смотреть ему вслед с гордостью и печалью.

— Время не ждет! Время не ждет! — вполголоса сказал Петер Майцен, отложил в сторону папку и вновь наклонился над чемоданом.

Хозяин шаркнул подошвой по полу и откашлялся.

— Хм, такое дело,— опять заскреб он заросший подбородок.— Скоро это у вас идет?

— Что? — вздрогнул Петер Майцен: он совсем забыл о хозяине.

— Скоро, говорю, писание идет у вас?

— Иногда скоро, иногда нет,— пожал плечами Петер Майцен. «А о Темникаре должно скоро пойти. Ведь я так давно думаю о нем, что, пожалуй, в самом деле ему пора лечь на бумагу».

— Хм, такое дело,— согласился хозяин.— Ведь у вас есть машина.

— Самое главное в таком деле, чтоб была тишина! И чтоб человеку быть одному! — подчеркнуто сказал Петер Майцен, опускаясь на корточки возле чемодана и роясь в книгах. «Надеюсь, этот бедняга не станет мне надоедать. Я уехал из города, чтобы где-нибудь уединиться и спокойно писать, а вовсе не для того, чтобы кто-то целый день «тактакал» у меня над головой!.. Надо сказать, что уголок я нашел подходящий. Очень мне по душе эта старая, непривычно белая, хотя уже обветшавшая одинокая усадьба на краю долины, под черным сосновым лесом. И даже название по душе. Черный лог! Подходящее название для такого местечка! Правда, мрачновато, романтично. Но это пустяки, ведь такой пейзаж окрыляет воображение, а иногда можно взлететь под облака, в царство фантазии. Ничего плохого в этом нет. Фантазия искусству не вредит, как говорится. И люди с большим интересом относятся к выдуманным фигурам и вымышленным историям, чем к слепым копиям жизни... Итак, тут у меня все в полном порядке. Только старик попался скучноватый. Хотя ничего не скажешь, он хорошо вписывается в пейзаж. Сумрачный какой-то, из него можно сделать романтическую, даже фантастическую фигуру. Пожалуй, любопытно было бы заглянуть ему в душу. Но некогда... Да и вообще он меня не интересует. Не нравится он мне. Не могу сказать, что он мне противен, просто не нравится, и все. Руки ему я не подал бы... Разве не странно, что есть люди, неприятные мне даже внешне? И этот таков. Я хорошо знаю, что не смог бы его описать, даже окажись он очень интересным. Я должен любить всех своих героев, даже тех, с кем я воюю и кого презираю. А этот мне не нравится. И чем дальше, тем больше. Чешется, бормочет свое «такое дело», а лицо постное, будто у него язва двенадцатиперстной кишки... Должно быть, бедняга, в самом деле хворает, вон какой высохший».

Хозяин откашлялся.

— Хм... такое дело,— он продолжал чесать подбородок.— Тишина... разумеется... тишина.

— Тишина! Тишина! — оборвал его Петер Майцен. «Причем не на один час! И не на один день! И не на неделю! Тишина, вообще тишина!»

— Хм... Что касается этого, тут тишина... Если бы вы на зиму остались, тогда б еще больше узнали, что такое тишина!.. Одиночество тут будто лает на человека!

«Посмотри-ка на него, чесальщика горемычного! — удивился Петер Майцен.— Ведь именно так Тилчка сказала Темникару, когда долгая зимняя ночь накрыла одинокий Темник». И Петер Майцен ответил словами Темникара:

— Одиночество-то пускай лает, только б люди не лаяли!

— Хм, такое дело,— скоблил подбородок хозяин.— Одиночество не всегда приятно, но и люди временами помеха.

«Что такое? Опять слова Темникара! — вздрогнул Петер Майцен, и вдруг у него на душе стало как-то неприятно.— Странно! Ведь они жили в сотне километров друг от друга, и ни разу в жизни не встречались. Откуда эта непонятная связь?»

Он оглянулся и окинул старика взглядом. В самом деле! В проеме окна, в сверкающем водопаде ослепительного солнечного света, который падал во двор, вырисовывалась старая готическая статуя великомученика несколько увеличенных размеров. Крестьянин был необычайно худым и почти высохшим. Лицо продолговатое, лоб высокий, глаза большие, щеки впалые, нос острый, опущенные книзу серые усы напоминали струйки неведомой застывшей жидкости. Под загоревшей дубленой кожей отчетливо вырисовывались узкие ребра. Живот его, казалось, никогда не набить досыта. Короткие, грязные штаны из темно-коричневого плиса мешком свисали с бедер, словно вырезанных из одного куска дерева. Из широких штанин торчали две длинные тонкие ноги, но колени были необычно толстыми и узловатыми, будто их вырезал некий плотник, не очень заботившийся о форме, но думавший прежде всего о том, чтоб его изделия служили вечность.

«Нет, ничего у него общего с Темникаром. Даже отдаленно он его не напоминает. Темникар был богатырь, а этот — сущая жердь, хотя не очень-то хорошо так называть человека».

— Хм, такое дело...— сказал крестьянин.— Не обессудьте, а сто́ит?

«А голос какой! Пустой и хрипатый! Словно из горла по деревянному желобу сыплется галька. Темникар говорил так, что все кругом гудело. Когда он бывал у исповеди, вся округа знала о его грехах. «Тише, тише, Ерней!» — утихомиривал его священник в исповедальне. Но Темникар еще пуще: «Если богу надо знать, каков я, то почему бы не знать и людям! Или это бесчестно? Ведь я живу на земле, а не на небесах!»

— Хм...— почесывался хозяин.— Вы же знаете...

— Конечно, знаю!

— Не обессудьте... я ведь так спросил.

— Что? Вы о чем-то спросили? — обернулся Петер Майцен.— Я не слыхал.

— Не обессудьте, я спросил, сто́ит ли?

— Что?

— Сто́ит ли писать?

— Нет! — хмуро ответил Петер Майцен, и темная тень вновь прошла по его лицу. «Этот дьявол мне в самом деле надоест. Он, конечно, думает только о деньгах, но попадает в самое больное мое место».

— Хм, такое дело... Люди нынче слишком мало читают... Ну, дети еще... Зимой... Или когда скотину пасут.

«Сейчас самое время выставить его из комнаты!»

— ...Слишком мало читают... О войне-то вовсе не желают читать... Войной все сыты.

— Разумеется...

— Хм, такое дело. Воспоминания горькие... И самые разные... И раны еще не затянулись, как говорится... Если вообще затянутся.

— Время все лечит! — решительно ответил Петер Майцен, кладя связку книг на стол.— Нельзя где-нибудь еще один стол раздобыть?

— Не верится,— покачал головой хозяин.

— Ах, если б нам все-таки где-нибудь раздобыть старый стол. Ведь у вас почти настоящий за́мок.

— А-а, стол? — переспросил хозяин.— Стол мы раздобудем. Такое дело. Только чтоб хуже не было!

— А что может быть хуже? — спросил Петер Майцен, не сводя взгляда с лица крестьянина. «Я уже знаю, что может быть хуже, чего я боюсь и что меня сушит!.. Но погоди, погоди... похоже, тебя тоже что-то сушит?»

— Да ничего, ничего! — заторопился хозяин и попытался даже улыбнуться.— Это только так говорится.— Он все чесал свой подбородок. Пальцы у него были необыкновенно длинные, костлявые и коричневые, тоже словно выточенные из старого дерева.

«Не нравится он мне, ох, не нравится! — покачал головой Петер Майцен.— Может, он в самом деле — бедняга и мученик, а мне не нравится!..»

— Ну, пошли за столом?

— Сейчас? — хозяин и не думал трогаться с места.

— Сейчас, сейчас!.. «Ему некуда спешить! Вот придет к нему смерть и скажет: «Пошли, Чрнилогар?» — а он переспросит только: «Сейчас?»

Они вышли из комнаты и в конце темного коридора увидели старый стол. Петер Майцен вытер его лежавшей тут же рваной тряпкой.

— Так, теперь все будет в порядке! — произнес он с ударением.

— А будет? — спросил хозяин.

— Конечно, будет!

— Ну, только чтоб было... а если не будет...

— Будет! Будет! — прервал его Петер Майцен и рывком поднял стол себе на голову.

— Ну, только чтоб было,— ответил хозяин и вошел следом за ним в комнату.

Петер Майцен поставил стол и с шумом стал двигать его по полу.

— Хм, такое дело,— сказал крестьянин, снова прислонясь к косяку.— Расшатанный, но сойдет.

— Разумеется, сойдет!.. «Да не отвечай ты ему больше! — упрекнул себя Петер Майцен.— Не отвечай больше, скорее уйдет!» Он высыпал сигареты из коробки, чтоб подложить ее под ножку стола.

— Хм... Если еще что понадобится, скажите.

— Скажу! Скажу! — согласился Петер Майцен. «Больше не скажу ни слова! — Он согнул картонку и опустился на пол, чтоб сунуть ее под ножку.— Спокойней! Чего ты с ним болтаешь! Думай о Темникаре!»

Собравшись с мыслями, он снова обрел способность видеть и слышать.

— Больше не скажу ни слова! — решил Темникар, натягивая сапог.

— Ну и ладно,— огрызнулась Темникарица, сажая в печь горшок.— Дурень он и есть дурень!.. Хоть до утра его тряси, ума не отыщешь!

— Ни слова больше! — повторил Темникар и надел другой сапог.

— Скажи хоть, что́ тебя вдруг ударило!

Темникар подошел к закопченному буфету и снял с гвоздя свою старую солдатскую австрийскую баклажку, прикидывая про себя уже в который раз: «Дьяволы пойдут по дороге, потом по Вратарской тропе, а я махну через Мальнову гору и упрежу их. Пойду по целине, а их упрежу. Этим кротам пеоглавым спешить некуда в такой светлый день».

— Скажи, Ерней! — повелительно произнесла женщина и с грохотом поставила в угол ухват.— Будь человеком! Почему я всю жизнь должна ругаться с тобой?

— Хм, такое дело,— не унимался хозяин.— Скажите, ведь мы все-таки люди.

— Разумеется...— рассеянно пробормотал Петер Майцен, раскладывая книги на столе.

— Поговорить ведь надо, да...

— Разумеется... «А со мной уже все!»

— Со мной уже все,— сказал Темникар, наливая в баклажку водки.

— Да? — пренебрежительно фыркнула Темникарица.— Хотела б я знать, почему мне не придется больше с тобой ругаться?

— Со мной уже все...

— До самой смерти буду с тобой ругаться! Ведь хорошо знаю, что бог тебя разумом обидел!

— Я говорю: со мной уже все...

— Хм? — снова фыркнула женщина.— Неужто ты считаешь, что та, с косою, поджидает тебя за углом?

— Нет, за углом не поджидает,— спокойно возразил Темникар и вышел за дверь, где в сенях висела его старая австрийская солдатская шинель.

— Ну да! А если б и поджидала, все равно косой ей не управиться. Тебя колом надо!

— Можно и колом. Кто знает...— прозвучало из тьмы, и голос был какой-то непривычный, тихий и проникновенный.

— Ерней! Что с тобой сегодня? — судорога перехватила ей горло.

— А что? — спросил Темникар, отворачиваясь, чтобы жена не видела его лица.

— Какой-то ты чудной... Словно и не ты...

— Вот уж сорок лет не был я самим собой, а сегодня опять стал.

— Неужто! — насмешливо возразила женщина.— Уже обеими ногами в могиле стоишь, а только о своей первой и думаешь!

Темникар замер на месте. «Смотри-ка,— сказал он себе с укоризной,— ухожу, а с ней и не вспомнил!.. Тилчка!» — позвал он ее мысленно. И вот она уже стояла перед ним, живая, белая, светлая, какой давно уже не была. «Тилчка!» О, сколько раз в то короткое, такое короткое лето, которое они прожили вместе, она пряталась в темный угол за дверью в сенях, а он искал ее, искал по всему дому и звал, звал; когда же, в конце концов, сердито останавливался посреди комнаты и начинал ругаться, Тилчка не выдерживала: она бросала в него из темного угла свой звонкий смех, словно золотое яблочко, он молнией отскакивал в сторону и молнией кидался к ней; а она умолкала, прижимая к высокой груди свои маленькие кулачки, белая, мягкая, хрупкая, дрожащая, как тростинка, ибо ждала и боялась того огненного вихря, что с дикой силой пробуждался в нем. «Тилчка!» Она всегда пряталась от него за дверью, а он упрямился, не хотел искать ее там, ведь она столько раз уже там пряталась, теперь наверняка спрячется где-нибудь в другом месте... А потом, когда ее навсегда унесли из дома, он долгие годы, входя, первым делом глядел в угол за дверью. Сперва она виделась ему такой живой, что у него начинало ныть все тело, потом ее образ потускнел, и она стала являться ему редко, да и то в виде туманного облачка. Сорок лет — это сорок лет! И они лишь подтвердили старую истину, что большая любовь и большая печаль не живут вечно: большая любовь сгорает в собственном огне, большая печаль тонет в собственном море... Но остались воспоминания, добрые воспоми-

нания, какие остаются лишь после больших и чистых чувств и после минувшей печали тоже. «Тилчка!» Странно, сейчас это уже перестало быть воспоминанием! Она снова стояла перед ним, белая и нежная, со светлой улыбкой во влажных глазах, прижав маленькие кулачки к высокой груди, такая живая, что Темникар не успел и удивиться. Он лишь поскорей скинул шинель и спрятал за ней Тилчку, чтоб жена не увидела.

— Может быть, ты все-таки скажешь, куда тебя черт несет? — обиженно заговорила женщина.

Темникар вздрогнул — и Тилчка исчезла.

— Чего ты торчишь там, в темноте? — пронзительно завереща-ла Темникарица.— Иди сюда!

Темникар оглянулся и посмотрел на жену, возившуюся у печки — хрупкую, маленькую, прозрачную, ставшую как бы собственной тенью и отражением своей безрадостной жизни. И сердце у него дрогнуло, как случалось уже столько раз.

— Не сердись, Марьяна, не сердись! — ласково сказал он.

— Эх! — с негодованием передернула она острыми плечами.— Опять ты за свое: не сердись, да не сердись! Скажи лучше, куда идешь, чтоб мы не тревожились!

Темникар подошел к ней и с грустью подумал: «Я бы тебе охотно сказал, что иду в Робы! Но ведь, если скажу, ты меня из дому не выпустишь».

— Может, в самом деле говорить не хочешь? — Она строго и обеспокоенно смотрела на него.

— Эх, ну куда ж мне тут идти? — ласково и почти беззаботно ответил он.— В лес иду. Знаешь ведь!

— А почему водки отлил?

— Нельзя разве? Как-никак зима на дворе! — спокойно возразил он и стал надевать шинель.

— Ерней! Не дури! — женщина подошла ближе. В голосе ее уже звучала неприкрытая тревога.— Кто же уходит из дому в сочельник?

— В сочельник? — нахмурился Темникар.— Да! Даже в сочельник людям приходится уходить из дому! А у скольких людей нет дома!

— Ну уж к тебе это не относится! — отрезала Темникарица.

— Не относится? — сильней нахмурился Темникар, но тут же успокоился и равнодушно добавил: — Да разве я сказал, что меня не будет дома? До вечера еще далеко! Даже полдень не миновал!

— Ах, не дури! — чуть спокойнее сказала женщина.— Послушай, Ерней! Я пирог испеку. Все мешки вытрясу, а несколько горстей муки наскребу. А ты дров в печь подложи, чтоб вечером потеплей было.

Холод прошел по спине Темникара. Он отчетливо увидел лица пяти белогвардейцев*, которые каких-нибудь полчаса назад вышли из его дома, и ясно услышал ехидный голос Мартина Лужника: «Хе-хе, Темникар, хорошо у тебя, и нам бы тоже хотелось денек провести в тепле. Но нельзя, нельзя! Нельзя, потому что слишком жалостливое у нас сердце, хе-хе!.. Пронюхали мы, что в Робах укрылось несколько подстреленных лесовиков. Порядком их там. И все такие, что ни рукой, ни ногой пошевелить не могут, хе-хе!.. Спрятались от облавы в Чарьеву пещеру и теперь ждут, пока «товарищи» за ними придут. Но вместо «товарищей», у которых сейчас другие заботы, хе-хе, нагрянем мы, пощекотать их да обогреть, хе-хе!.. Зачем бед-

* В годы народно-освободительной войны белогвардейцами в Словении называли словенских предателей, пособников немецких и итальянских оккупантов.

нягам мерзнуть в Чарьевой пещере? Да еще в сочельник? Мы их отправим в Вифлеем, хе-хе! К Иисусу в яселькн, хе-хе! Обогреться, хе-хе!.. Дурак дураком будет выглядеть Иосиф, когда вместо трех святых королей ворвутся к нему в хлев десяток волосатых и измученных язычников, хе-хе!.. Пожалуйста, можете исповедаться в грехах! И сегодня же ночью, хе-хе! Поэтому мы отправим их в Вифлеем по кратчайшей дороге! И не будь я Мартином Лужником, если до ночи они туда не попадут, хе-хе! А ты нам яселькн приготовь и дровишек в печку подбрось, чтоб нам тоже потом было где обогреться, хе-хе!»

— Ерней! — с прежней суровостью произнесла Темникарица.— Ты слышишь или вовсе оглох?

— Слышу! — угрюмо кивнул Темникар, вытаскивая тем временем топор из-под деревянных прокопченных ступенек.

— Зачем тебе топор?

— Да разве я когда-нибудь ходил в лес без топора? — спокойно спросил он и провел жестким пальцем по лезвию.

— Ах, ты господи боже мой! — покачала головой Темникарица.— Что с тобой сегодня в самом деле? Посмотри на себя! Полчаса назад был весь зеленый, без сил, и вдруг сапоги на ноги, топор под мышку — и в лес!

— Без сил был? — недоверчиво переспросил Темникар, подвешивая к поясу баклажку и направляясь к двери.

— Теперь еще и врать будешь?.. Разве не ты все время сыпал арнику в водку?

— Вот и полегчало,— сказал Темникар. И встал на пороге, сам удивившись тому, что уже почти забыл о сегодняшнем утре. Он проснулся очень рано с какой-то странной тяжелой печалью на сердце, она вскоре перешла в отчаянную тоску, ледяной глыбой придавившую душу. Он беспокойно ворочался и несколько раз так всхрапнул, что жена тоже проснулась и накинулась на него: «Угомонись ты, наконец! Лягаешься и храпишь, как старый конь!» Он хотел было рассказать ей, как непривычно и плохо себя чувствует, но передумал, по опыту зная, что она разойдется еще пуще: «Опять ты со своими хворями! Почему у меня ничего не болит? Спи!» А уснуть он больше не мог. Встал и насыпал арники в водку, потому что считал это единственным целебным средством для мужчины,— хотя подсознательно чувствовал, что боль такого рода не утихнет от арники и водки... Но, когда, глядя вслед Мартину Лужнику и его кротам псоглавым, уходившим по заснеженной дороге, он решил, что тоже пойдет в Робы и там с ними схватится, ему сразу стало легче. Он снова почувствовал себя крепким, здоровым, на душе сделалось ясно. И все вокруг стало таким прекрасным, таким светлым и торжественным, как было всего однажды за его долгую жизнь — в далекой молодости, когда ужасное наводнение снесло все мосты и переправы и даже несколько домов на берегу, а он решил непременно проведать Тилчку; он наскоро сколотил три дубовые плахи и без раздумья отдался во власть разбушевавшейся стихии: вода должна была вынести его на Засекарьевы пороги, но сердце подсказывало, что как-то он минует их и пристанет к противоположному берегу возле Усадарьевой отмели. Так все и вышло... И теперь, почти пятьдесят лет спустя, он испытывал точно такое же чувство. Он стоял на пороге, и, как только принял решение, мир сразу переменился. Все стало светлым, чистым, непривычно значительным: и грушевое дерево, и орех, и колода для рубки дров, и вода, стекавшая по обледеневшему желобу тонкой серебряной струйкой в ведро, и голый куст шиповника, заглядывающий через почерневшую ограду в сад.

и заснеженная тропинка, волшебной змейкой бегущая по крутому склону, и зубчатый, вонзившийся в иссиня-стальное небо Вранек, и белое облако, которое чуть заметно дрожит, прощаясь с ним. Зимнее солнце своим блеском так очистило мир, что трудно было думать о смерти. Однако Темникар знал одно — он немедленно должен отправиться в путь; он сделает то, что надлежит сделать, но больше не вернется. Так будет...

— Ерней! — окликнула его жена.

Темникар вздрогнул и оглянулся.

— Опять может схватить! — озабоченно напомнила жена и подняла передник, чтоб утереть свои старые, вечно слезящиеся глаза.

— Что может схватить? — отсутствующе проворчал Темникар.

— Как что? Живот.

— Ничего не будет!

— Что ты говоришь? — женщина повысила голос.

— Говорю, ничего не будет! — повторил Темникар с какой-то странной ласковой улыбкой. Но тотчас помрачнел, рассердившись на себя. Ему показалось, что он слишком много сказал, что без всякой нужды тревожит жену. И в то же время почувствовал, что ведет себя не так, как хотелось бы. Поэтому он поспешно и сурово добавил: — Во всяком случае сегодня не будет!

— Ох, какого героя ты из себя строишь! — усмехнулась жена.— Не забывай, что тебе семьдесят лет!

— Не забуду! — отрезал Темникар и решительно шагнул через порог.

— Эй! — раздался резкий женский голос.

Петер Майцен мгновенно пришел в себя и, оглянувшись на хозяина, невольно спросил:

— Что случилось?

— Старуха меня зовет,— ответил тот.— Жена. Злится...

— Ага, жена...— забормотал Петер Майцен, недовольный тем, что не сумел скрыть свой испуг.

— Хм, такое дело. Голос у нее пронзительный.

— Пронзительный... «Как у Темникарицы»,— подумал Петер Майцен, снова возвращаясь в Темник.

— Хм... Она ведь хозяйка.

— Ага, хозяйка...

— Хм, такое дело... Мужик, что в дом женится, всегда батраком остается.

— Ага, батраком...

— Эй! — еще громче донеслось со двора.

Петер Майцен видел, как хозяин высунул руку в окно и помахал. Слышал, как он что-то крикнул, но его это не занимало, потому что в ту минуту он был целиком поглощен длинной и тонкой рукой, которая, словно обгорелое и узловатое полено, медленно поднималась и опускалась в белом солнечном свете.

«Довольно живописный мужик,— подумал он.— Надо его запомнить!»

Крестьянин убрал руку и почесал подбородок.

— Хм, такое дело! — вздохнул он.— Косу надо отбить.

— Ага, косу...— бормотал Петер Майцен, наклоняясь над чемоданом, чтоб вынуть из него карандаши, чернила и прочую мелочь.

— Хм.. Отаву пойду косить.

— Ага, отаву...— отсутствующе повторил Петер Майцен и вдруг с удивлением огляделся по сторонам.— Отаву?.. Теперь?.. Ведь...— он хо-

тел сказать: «Ведь зима все-таки!» — но вовремя сообразил, где находится, и не произнес слов, уже готовых сорваться с языка. И это так по-детски его развеселило, что он засмеялся и самому себе покачал головой.

— А куда косить пойдете?

— В Тихий дол.

— Хорошее название.

— Хм, такое дело. Правда, для отавы чуть рановато, ну да в Тихом доле хорошая земля и воды довольно, трава быстро растет.

— Да, да, да! — кивал Петер Майцен и улыбался про себя. «Ох, и дурень же я!.. Хотя что тут такого? Здесь лето, но я-то сейчас в Темнике. А там — зима. И снег. Всю ночь шел снег. По колено навалило... Не удивительно, что Темникарица никак не может понять, зачем понадобилось Темникару в лес...»

— Ерней! — окликнула мужа Темникарица.

Темникар уже был возле хлева. Он не оглянулся, но на душе у него было тяжело.

«Кричит, словно предчувствует что-то,— подумал он.— Так, наверно, и есть. Если я утром почувствовал, то она сейчас тоже может...»

— Ерней!

Он оглянулся. Женщина стояла на пороге — темная фигура в раме темных дверей. Ему стало ее жаль.

«Неплохая жена была!.. Сама, бедняга, страдает от своего характера. Сердце у нее в толстой кожуре, как у грецкого ореха и каштана вместе взятых: твердая скорлупа, толстая кожица да еще колючие шипы в придачу... А неплохая была жена!.. Тилчка умерла с ребенком под сердцем. Эта принесла двоих. Правда, оба на меня непохожи. Оба в нее. Дочь, ладно, пускай, баба ведь. О пацане речь. Изнежен он, на мою печаль... Но в чем она-то виновата? Ни в чем... И любила меня. Я ее тоже по-своему люблю, хотя совсем иначе, чем Тилчку... Завтра или послезавтра, когда меня найдут в Робах, будет, бедняга, руки ломать да причитать...»

— Ерней! — с ужасом и гневом закричала женщина.

Он медленно подошел к ней.

— Слушай, Марьяна,— произнес он, и голос его звучал непривычно проникновенно.— Зачем нам всегда ругаться?.. И почему всегда должно быть по-твоему?.. Почему хотя бы сегодня... ну хотя бы сегодня, в сочельник... когда у людей хорошее настроение, как говорится... почему и у нас хотя бы сегодня не быть хорошему настроению?.. А, Марьяна?..

— Ерней, что с тобой? — ответила женщина и сложила руки под передником.

— Что? — усмехнулся Темникар.— Что, что... Давай позабудем про худое!.. Ты пеки пирог, я пойду в лес, потому что так уже решил. Давай руку!

— Что с тобой сегодня, Ерней? — жена изумленно покачала своей маленькой головой.

— Ничего. Давай руку!

— Какой-то ты сегодня чудной,— сказала женщина. И сама не зная почему, взяла руку мужа.

— Ну вот видишь! — кивнул Темникар.— Ну разве не хорошо? Не разумно?.. Теперь я могу спокойно уйти...— Он крепко пожал ей руку и быстро скрылся за поворотом.

— Ерней!.. Ерней!..

— Эй! — снова раздался пронзительный женский окрик.

Петер Майцен невольно вздрогнул, хотя уже знал, кому принадлежит этот голос.

— Жена вас опять зовет,— сказал он, потому что хозяин не пошевельнулся.

— Хм, такое дело,— только и произнес тот, а потом не спеша высунул длинную руку в окно и прополоскал ее в солнечном свете.

— Это ваша вторая жена? — спросил Петер Майцен. «Громы небесные, что это мне пришло в голову?.. Все к Темникару его примериваю!.. Совсем запутался...»

— Вторая? — недоуменно протянул крестьянин, и его костлявые пальцы снова вцепились в заросший подбородок.

— Ох, простите! Простите!.. Сам не знаю, что это мне взбрело в голову! Ни с того ни с сего ляпнул,— оправдывался Петер Майцен. Он улыбался, но ему было не по себе. Швырнув на стол толстую папку, он принялся ее развязывать. «Я целиком в Темнике, и душой и телом... И потому пора этого «такодела» выставить из комнаты. Если сейчас же не выставлю, опять ляпну какую-нибудь глупость!..»

— Хм, такое дело,— подал голос хозяин.— Бывает, брякнешь что-нибудь эдакое... Ни с того ни с сего, как вы говорите. Но ничего.— Он почесал подбородок и неторопливо добавил: — А раз уж об этом речь зашла, могу вам сказать, что я у нее второй муж.

— Ну-ну! — ответил Петер Майцен, успокаиваясь. «Впрочем, я мог и сам сообразить, что дважды ты не стал бы стараться».

— Да... да... Так-то это так... женила меня на себе, как говорится. Понимаете?

— Понимаю, понимаю...

— Ведь я и раньше жил в доме, когда ее муж еще был жив... И был я, как бы это сказать, вроде батрака, только получше... Сперва приторговывал скотом, древесиной, иногда земельными наделами... Хм, все больше по мелочам. Торговцем-то я не был. Радовался, что могу по разным делам разъезжать повсюду... Понимаете?

— Понимаю, понимаю...

— Ну вот, много раз приходил я и в Черный лог. И вышло так, что переночевал тут, и... ну да вы можете сами представить, что случается, когда старик хворает и не встает с постели, а баба молодая, здоровая, и кровь у нее жаркая, как говорится...

— Понимаю, понимаю...

— Хм, такое дело. Мне-то это не больно нравилось. Да, что говорить, слаб человек... Что поделаешь! Напоролся я на такую... и остался, прилипла баба, как банный лист... Вы поймете...

— Понимаю, понимаю...

— А потом, когда он умер, мы поженились... Лучше б, если б этого не было.

— Почему? — спросил Петер Майцен безо всякого интереса.

Крестьянин ответил не сразу.

— Хм, такое дело. Батрак к дому не привязан, а хозяин... даже если в доме, он не хозяин...

— А, разумеется...

— Да... А если баба — хозяйка и мужик по бабе с ума сходит, тогда.. тогда..

— Что тогда? — невольно, но по-прежнему отсутствующе спросил Петер Майцен, неторопливо укладывая бумагу в ящик стола.

Хозяин откашлялся.

— ...Тогда баба над ним голова... Обводит его вокруг пальца, как говорится... И хоть старик из-за нее совсем с ума спятил, он догадывался о вещах, о которых ему не стоило бы догадываться...

— А что такое? — спросил Петер Майцен, бросив на него взгляд. «Кто знает, какая мерзость за всем этим скрывается!»

Пальцы крестьянина застыли на заросшем подбородке. Очевидно, он уже пожалел, что зашел так далеко.

— Хм, такое дело... Я хочу сказать, человек не делает того, что должен был бы делать. Конечно, он сам виноват, раз такая разиня...

— Ах, разумеется! У каждого свои слабости и свои беды! — сказал Петер Майцен и с грохотом задвинул ящик, словно желая сказать, что с него хватит.

— У каждого!..— с облегчением вздохнул хозяин.

— У каждого, у каждого!..

Крестьянин откашлялся.

— Хм, такое дело. Вы теперь начнете?

— Что?

— Ну... Писанье?

— Разумеется!.. «Жду не дождусь, когда ты уйдешь!» — Петер Майцен поставил на стол рюкзак, чтоб вынуть спиртовку, кофе, сахар и боснийскую мельничку для кофе.

— Хм, такое дело... И пойдет?

— А почему не пойти? — вздрогнул Петер Майцен, и черная тень скользнула по его лицу. Он насыпал зерна в мельничку и начал молоть.

— ...Когда умеешь, дело идет.

— До конца этому никогда не выучиться!..

— Жизнь слишком коротка.

— Будь она и вдвое длиннее, все равно было бы то же самое. Не стоит сейчас об этом и говорить!..

— Хм, такое дело. Работай и терпи, пока она не придет.

— Кто она?

— Да та самая, с косою.

— Что о ней говорить!

— Да, говори не говори, все одно — придет!

— Именно поэтому!— почти закричал Петер Майцен, опустив голову и быстрее крутя мельничку.

— Вы не рассердитесь, если я спрошу,— сказал крестьянин.— А о чем вы писать будете?

— О Темникаре.

— О ком?

«Громы небесные, неужели я в самом деле не смогу работать?»

— О ком, вы сказали?

— Об одном старике... Можно кружку воды попросить?

— Кружку воды? — переспросил крестьянин.— Хм... Только чтоб хуже не было.

— Нет, хуже не будет! — отрезал Петер Майцен и твердо поставил мельничку на стол.— Мне надо только кружку воды — кофе сварить.

— Эй! — раздался во дворе женский голос, уже полный ярости.

— Слава богу! — невольно вслух произнес Петер Майцен, но тут же добавил: — Скажите ей, пусть принесет мне кружку воды!

Хозяин проворно высунулся в окно. Видимо, он был доволен, что может угомонить жену этой просьбой.

— Принеси кружку воды! — закричал он.

— Что?

— Кружку воды, господин хочет сварить себе кофе!

Петер Майцен подвинул к стене расшатанную тумбочку, для устойчивости расстелил старую газету и поставил на нее спиртовку, джезву* и чашечку.

---

* Джезва *(арабск.)* — специальный сосуд для варки кофе.

— Сейчас принесет,— произнес крестьянин. Он опять прислонился к окну, почесал подбородок и спросил: — А что с ним было?

— С кем?

— Да с тем человеком. Как вы его назвали?

— Темникар! — в сердцах сказал Петер Майцен, не зная, как прекратить надоевший ему разговор, не слишком обидев хозяина.

— Ага, Темникар! А что же с ним было?

— Ничего особенного! — махнул рукой Петер Майцен.— Он вступил в схватку с пятью белогвардейцами, чтоб спасти двенадцать тяжело раненных партизан, которых товарищи спрятали на время облавы в лесу. Вот, собственно, и все, что с ним было!

— Хм, такое дело... А он один был?

— Один...

— И побил их?

— Побил...

— И старик, говорите?

— Семьдесят лет...

— Хм... А сам-то тоже погиб?

— Погиб... Такое дело! Такое дело! — отрывисто произнес Петер Майцен, разозлившись.— Погиб он! Погиб! И все же это был прекрасный, пожалуй самый прекрасный, день в его жизни!.. Вам этого не понять!

Крестьянин остолбенел. Раскрыв рот, не моргая, он глядел на Петера Майцена, словно на змею, которая вот-вот вонзит свои зубы в его сердце.

— Я хочу сказать, что вы этого и впрямь не можете понять! — стал выкручиваться Петер Майцен, сам невольно оцепенев перед этим изваянием. В ту минуту он подумал лишь о том, что смертельно обидел человека. Позже, значительно позже, он будет с возмущением упрекать себя: как он, писатель, мог оказаться настолько слепым; мог не заметить, что его слова разбередили открытую, кровоточащую рану Чрнилогара, которая жгла ему тело и душу; и не потому ли он не заметил этого, что Чрнилогар не вызвал у него интереса и симпатии. Но, как бы там ни было в ту минуту он ничего не заметил; он видел перед собой лишь обиженного человека и пытался как-то оправдаться: — Я хочу сказать, что вы этого и впрямь не можете понять! И никто не мог бы понять, если б ему не рассказали о прежней жизни Темникара, о его судьбе, его тоске, обо всех тех особых обстоятельствах, которые так повлияли на человека, что он полностью переродился, его страх переплавился в мужество и... и он принял смерть, как свидетельство жизни, принял ее, как...

Тут в дверь постучали, и вошла хозяйка с кружкой воды. Петер Майцен уже видел ее, но лишь сейчас ему бросилось в глаза, какая она высокая и дородная.

— Вот! Хватит?—спросила она, ставя кружку прямо на книги. И, не дождавшись ответа, напустилась на мужа: — Эй! Ты уже прилип?.. Чего стоишь истуканом, как надгробный камень на собственной могиле?

Потом она снова повернулась к Петеру Майцену:

— Его только за смертью посылать, и можно преспокойно ждать трубы Судного дня!

Муж ее откашлялся.

— Хм, такое дело. Я разговариваю...

— Разговариваешь? — женщина уперлась руками в литые бока и как-то странно ухмыльнулась, вроде бы свысока.—Разговариваешь? Молодец... ничего не скажешь... И помогаешь?.. Нет! В самом деле?.. Только мешаешь господину! Верно ведь, сударь?

— Да нет,— поспешил ответить Петер Майцен — жена ему нравилась еще меньше, чем муж. Она казалась какой-то нечистой, не очень умной, с глухим сердцем.

— Хм, такое дело! — рассмеялась она, разводя в стороны полные белые руки.— Я ведь тоже не прочь поговорить. Особенно с образованными людьми, которые... могут многое объяснить... и понимают что к чему... могут растолковать что и как... Мы ведь простые люди... неученые... и, однако же, люди и... Верно ведь, сударь?

— Разумеется, разумеется! — закивал Петер Майцен, опасаясь, что теперь женщина вовсе выведет его из себя, и не зная, как от нее отделаться.

— Я и говорю,— оживленно зачастила она,— я и говорю, что иногда простой человек может споткнуться... я хочу сказать — не понять... а потом мучается, как змея в расщепе и... без нужды вовсе даже... Верно ведь, сударь?

— Да, да...

— И... было время... я не хочу сказать, что плохое было время, нет, не плохое... другое только... и хорошее... И только когда нас война закружила, мы от всех этих ужасов совсем голову потеряли и... я хочу сказать, что очень легко было ее потерять... И ничего странного в том нет...

— Да, да! — произнес Петер Майцен, взял кружку с водой и подошел к тумбочке.

Крестьянин откашлялся и вдруг так громко выпалил свое «такое дело», что Петер Майцен невольно на него оглянулся.

— И... и чего это я болтаю? — засмеялась женщина и цветастым передником стала вытирать красное лицо.— Разболталась по-бабьи...

— Да, да! — произнес Петер Майцен.— Ничего в этом нет худого! Только, знаете, я хотел бы поработать.

— Вот и я говорю! — проворно подхватила женщина.— Всему свое время — верно ведь, сударь?

— Конечно, конечно!

— Ну, вот видишь? — повернулась она к мужу.— Пошли! Самому работать не охота, так хоть другим не мешай. Верно ведь, сударь?

Петер Майцен не ответил.

Муж и жена не произнесли больше ни слова и так тихо прикрыли за собой дверь, словно не были хозяевами в собственном доме.

II

— Ух! — громко вздохнул Петер Майцен.

Он поставил джезву на спиртовку, а кружку на пол. Потом крепко, до хруста в суставах, потянулся и высоко подпрыгнул, как бы освобождаясь от тяжкого и угнетающего бремени.

— Ух! Досыта наговорились — и с «такоде́лом» и с его «и́калкой»! Надеюсь, теперь до ужина больше не услышу ни этого «дела», ни этого «и»!

Он сунул руки в карманы и принялся насвистывать неторопливую английскую мелодию, давно уже звучавшую у него в ушах. Насвистывал и слегка пританцовывал возле тумбочки, пока не закипела вода. Быстро размешав кофе, налил его в чашечку.

— Вот так! Теперь за работу! — воскликнул он и сел к столу. Закурил, придвинул к себе папку. Медленно, почти торжественно открыл ее и в своей озорной радости по-французски позвал Темникара, позвал даже несколько фамильярно, словно вызывал на битву: — Et maintenant, Temnikar, à nous deux!*

Но, увы, Темникар не появлялся!

Петер Майцен испугался. Широко раскрыл глаза, потом крепко зажмурился, чтоб разглядеть его во тьме. Но видения, только что такие

* Ну теперь, Темникар, мы вдвоем! *(Франц.)*

ясные и отчетливые, что он мог бы их сфотографировать, вдруг омертвели, затянулись туманом, расплылись в серые пятна и, наконец, совсем растаяли. Перед его взором была лишь кромешная тьма. Потом в ней возникли красные, зеленые и желтые круги, они быстро мелькали, сталкивались, от их мельтешенья у него заболели виски; вскоре они исчезли и вместо них появились черные пятна,— они бегали, скользили будто по черному льду и тотчас пропадали.

— Проклятый мужик! Проклятая баба! — закричал Петер Майцен, со злобой отодвинув стол и заметавшись по комнате.— Так ведь и знал, что доведут меня!

«Знал? Думаешь, в самом деле виновата эта пара?»

— А как же! — воскликнул он, стремясь заглушить свой внутренний голос.— «Хм, такое дело, а пойдет?.. Хм, такое дело, а у вас быстро идет?.. Хм, такое дело, а интересно получится?.. Хм, такое дело, а сто́ит?»

Неведомая печаль, почти отчаянье, тоска ледяной глыбой навалились на его душу. Пламя творческой радости, только что озарявшее лицо, погасло. Да, так всегда!.. А почему? Откуда эта тревога, отчаянье, эта тоска?

Он закрыл папку и оттолкнул ее от себя. Облокотился на стол, подперев голову руками, и уставился в окно. Двор был тесным; метрах в четырех шла высокая белая стена другого крыла дома, над ней — коричневая кровля с низкой дымовой трубой, из которой тянулся прозрачный голубоватый дым.

— Все дым! — сокрушенно вздохнул он.

Он посмотрел на узкую полоску неба, видневшуюся над кровлей. Небо было темно-синим, глубоким и пустынным.

«Даже облака нет!.. У Темникара было свое облако. Уходя из дома, он видел его над Вранеком, а позже, когда лежал в Робах,— над Брезами. Облако растаяло при последнем его вздохе... А мое небо уже пустое, пустое и глубокое, как бездонная пропасть»...

По спине его пробежали мурашки.

«Поделом мне, раз я провожу такие ужасные аналогии! — Он грустно усмехнулся.— Пропасть? Да! Этот прямоугольник неба — лишь узкая пасть бездонной пропасти, и я сижу здесь, глубоко под землей, в глубоком подвале, и внезапно, сейчас, именно в эту секунду земля разверзается и я обрушиваюсь в пропасть. Я падаю в раскрытое окно, пролетаю мимо высокой белой стены, мимо кровли, мимо трубы, сквозь дым и падаю, падаю и знаю, что никогда не достигну дна, ибо его нет; я только падаю и буду падать, пока тоска не одурманит меня и я не потеряю сознание... я падаю, и вокруг меня бесконечная, звенящая тишина, словно стена из жести...»

Он невольно ухватился за стол.

И тут, как раз в это мгновенье, послышался звон отбиваемой косы. Он был таким неожиданным и резким, что Петер Майцен вскочил на ноги.

«Хм, такое дело...— усмехнулся он, придя в себя,— этот проклятый «такодел» отбивает свою косу. Да он ведь и сказал, что пойдет косить отаву... Куда? Как он назвал это место?»

«Тихий дол».

«Да, в Тихий дол... Удивительно, какие в этих местах странные названия! Черный лог, Тихий дол!»

«Это для того, чтобы ты мог погрузиться в свои мрачные мысли... Перестань, перестань! Можно подумать, что у тебя смерть за плечами. Хозяин правит косу, и в этом нет ничего странного».

«Странного? Разумеется, нет! Но она звенит, словно кто-то разбивает жестяную тишину моей бездонной пропасти... Да, именно так — сама

смерть села на вершине горы, положила свою огромную косу на всю долину и теперь точит ее у меня над головой...»

«Глупости!.. Конечно, это не смерть, а крестьянин, хотя и весь высохший, как скелет».

«А если он отбивает косу для себя?..»

Эта мысль так поразила Петера Майцена, будто он сам пожелал крестьянину смерти.

«Ей-богу, я сошел с ума!.. Сегодня я и впрямь какой-то странный! Моя собственная голова — бездонная пропасть; в ней рождаются самые чудовищные мысли».

«Ну-ка, возьми себя в руки! Направь мысли в другом направлении!»

«Направлю! Это необходимо! — он сжал кулаки и потряс ими.— Однако же... разве не странно, что такая мысль вдруг пришла мне в голову?.. Но почему должен пробить его последний час?.. Почему?.. И вообще, откуда взялась эта мысль?»

«Пришла, как и все остальные. Откуда? У мысли нет паспорта, по которому можно узнать, откуда она появилась».

«О, разумеется! Свой внутренний мир человек не может познать до самой смерти. Медленно раздвигаются границы новых, неведомых стран. А сейчас открылась граница той мрачной страны, где обитают думы о тленности, о смерти...»

Он махнул рукой, зажег сигарету и зашагал по комнате.

И снова замер, погрузившись в раздумья.

«А что, если здесь в самом деле что-то есть?.. Странный какой-то этот Чрнилогар?.. А его жена? Что она там болтала? Что-то тревожно мне».

Медленно огляделся он по сторонам. Сухие, короткие удары по лезвию косы, словно почти осязаемые кусочки металла, влетали в окно, отражались от стен и стучали в его виски.

Он подошел к окну. Крестьянин сидел на земле метрах в трех от входной двери. Его лысая, почти голая голова на длинной побуревшей от солнца шее вздрагивала при каждом ударе молотка. Петер Майцен раскрыл было рот, чтоб спросить, когда он кончит, но вовремя удержался.

— В конце концов, старик подумает, будто я в самом деле спятил! — пробормотал он, махнув рукой, зажег новую сигарету и решительно сел за стол.

Придвинул пишущую машинку, вложил бумагу. Но не успел еще притронуться к клавишам, как раздались звуки трубы. Они неслись откуда-то издалека. Звук был чуть слышный, но необыкновенно чистый и прозрачный.

Пальцы его замерли на клавишах.

Тишина...

Коса тоже умолкла.

Он вслушивался.

«Может, показалось?.. Когда на душе тревожно, всякое в голову лезет...»

Он поднял руки, но не успел опустить их на клавиши, как снова зазвучала труба. Теперь Петеру Майцену удалось различить мелодию. Это было начало грустной народной песни, но только начало, две первые фразы. Он хорошо знал эту песню, но не мог припомнить слов. И это привело его в ярость. Он ждал, когда снова раздастся звук трубы, но раздались удары по металлу, да такие сильные, словно Чрнилогар хотел заглушить голос трубы.

— Кто играет? — спрашивал Петер Майцен.— И что играет?

Он ждал долго, но убедившись, что труба больше не отзывается, а коса звенит громче, отодвинул машинку и встал.

«Нет! Сам господь не убедит меня в том, что здесь все в порядке... Пойду пройдусь!»

На пороге Петер Майцен остановился. Ему стало не по себе оттого, что надо было пройти мимо крестьянина — и из-за недавних мыслей, и из-за невыполненного решения остаться в комнате и работать. Он водрузил на нос темные очки и, решив в двух словах отшить хозяина, если тот снова пристанет, медленно вышел во двор.

Но тот уже учуял его. Необыкновенно быстро он повернул голову к нему и столь же быстро спросил:

— Не идет?

— Что? — хмуро отозвался Петер Майцен.

— Писанье!

— Нет! — довольно недружелюбно сказал Петер Майцен, ему почудилось в голосе крестьянина какое-то удовлетворение.— У вас тоже не идет! Целую вечность стучите!

— Целую вечность? — удивленно взглянул на него хозяин.— Десяти минут не прошло!

— Десяти минут?.. «Неужели в самом деле прошло только десять минут с тех пор, как он начал отбивать косу? Неужели возможно, что всего за десять минут я столько перечувствовал и передумал?»

— Начнешь слушать, как косу отбивают,— сказал крестьянин,— так может показаться, что вечность прошла.

— Да, да...— кивал Петер Майцен.— Кто тут играет?

— Играет? — протянул крестьянин и снова с удивлением посмотрел на него.

— Да. На трубе?

— На трубе?..

— Вы не слыхали?

— А вы слышали трубу?

— Разве нигде поблизости нет трубы?

— Трубы? — крестьянин задумался.

— Что ж это такое? — изумился Петер Майцен.— Вы в самом деле не слышали?

— Что... трубу?

— Трубу... А, может, мне, в самом деле, показалось?.. Такая тишина! Непривычному человеку всякий прислух почудиться может.

— Прислух?

— Да. Так говорят, когда человек слышит звук или голос, хотя на самом деле ничего нет.

— Хм, такое дело... бывает... Особенно в полночь...

— Ну, до свиданья! — Петер Майцен уже испытывал некоторую неловкость, но, сделав три шага, остановился.— А где этот Тихий дол?

— Тихий дол? — переспросил хозяин, впиваясь в него взглядом.

— Да, Тихий дол. Разве вы не сказали, что пойдете косить отаву в Тихий дол?

— Тихий дол?

— Тихий дол! — повторил Петер Майцен и невольно содрогнулся при мысли о том, что и это название — лишь плод его фантазии.

— И в самом деле, я говорил.

— Ну вот! Где же этот Тихий дол?

— А где ж ему быть? Там,— крестьянин поднял руку, но не показал ни влево, ни вправо.— Чего вам туда ходить... Сыро там. Я ж вам сказал — болото... Грязь.. Если охота погулять, сверните в конце аллеи направо, на мощеную дорогу. Красивые там места. Дорога все время вьется в тени, краем леса. И к корчме вас приведет

— Ладно! Ладно! — поспешно согласился Петер Майцен и еще поспешнее отвернулся, заметив в дверях хозяйку.

— Эй! — ее голос так толкнул его в спину, что он чуть не споткнулся на ровном месте.— Эй! — последовал второй толчок.

— В чем дело? — он оглянулся. «Теперь не отвяжешься!»

— Не сердитесь, сударь! — произнесла женщина.— Он мне рассказал,— она кивнула в сторону мужа,— что вы знали человека, который в одиночку схватился с пятью белогвардейцами.

— Конечно, знал, только...

Хозяин поднял молоток и сильно ударил по косе.

— Эй! Перестань-ка! — приказала женщина и повернулась к Петеру Майцену: — расскажите, сударь, расскажите, как это было!

Ее вопрос застал Петера Майцена врасплох, сперва он даже не сообразил, как поступить. Охотнее всего он повернулся бы и ушел, но выглядеть грубым не хотелось, и он решил коротко повторить ей свой рассказ.

— И как же? — женщина опустилась на землю возле мужа и обняла руками колени.— И как же это было?

— Так! — начал Петер Майцен довольно неопределенно.— Он жил на хуторе и...

— Как мы,— перебила женщина, локтем толкнув мужа в ребра.

— Да, на хуторе, у опушки леса и на...

— У опушки. Как мы,— повторила женщина, снова толкая локтем мужа.

— Да. Дом стоял на границе оккупированной и освобожденной территорий. Туда захаживали и партизаны и белые.

— Как у нас!

— Дело происходило в сочельник...

— И в сочельник? В самый сочельник?

— Да, в самый сочельник! — повторил Петер Майцен. «Чертова баба, неужели тебе нужно в отдельности разжевывать каждое слово, чтоб ты могла его проглотить!»

— В сочельник .. и... и что потом?

— Он проснулся утром с каким-то тяжелым чувством и быстро встал, чтоб выпить...

— С тяжелым чувством и... с каким чувством?

— Потом оказалось, что это он чувствовал свою смерть, потому что вскоре пришли пятеро...

— И погодите, погодите же! — женщина подняла руки.— И тот крестьянин погиб?

— Разумеется, погиб, ведь все-таки...

— Разумеется, погиб! — повторила женщина, еще раз толкнула мужа в бок.— И ты не сказал мне, что он погиб!

— Хм, такое дело. И без того ясно.

— И без того ясно! — повторила женщина, опять поворачиваясь к Петеру Майцену.— А потом?

— А потом,— сказал Петер Майцен,— пришли пять белогвардейцев и сказали, что в скалах, высоко в горах, прячется несколько раненых партизан и что они идут туда, чтоб отправить их в Вифлеем, они хотели...

— В Вифлеем? Почему в Вифлеем? — раскрыла рот женщина.

— Тем самым они хотели сказать, что перебьют их. А Темникар...

— Перебьют! — женщина опять вонзила свой локоть в бок мужу.

— Перебьют! — кивнул Петер Майцен.— Темникар взял топор, револьвер и поспешил в лес, чтоб перехватить их, вступил с ними в бой и уложил их на месте.

— Уложил... уложил?..

— Уложил! — подтвердил Петер Майцен.— Вот все, что произошло с тем крестьянином!—он перевел дыхание и повернулся, собираясь уйти.

— Простите, сударь... как он их уложил? — спросила женщина.

— Как? — задумался Петер Майцен.— Этого я пока не знаю.

— Как так? — раскрыла рот женщина.— Как не знаете?

— Пока не знаю,— равнодушно пожал плечами Петер Майцен.—Потом видно будет.

— Хм, такое дело,— сказал крестьянин.— Это господин еще должен придумать. Ведь как-никак это история. Господин это из своей головы берет.

— А-а-а! — перевела дух женщина.— Из своей головы берете... Значит, это неправда... значит, этого не было? Так! — Она повернулась к мужу и изо всей силы двинула его локтем в бок, словно желая сказать: «Я так и знала, что это сказка!»

— Кто сказал, что это неправда? — оскорбленно выпрямился Петер Майцен, выведенный из себя.— Кто сказал, что этого не было?.. Сколько было таких Темникаров, о которых еще не написано. Но когда я напишу свою повесть, тогда это произойдет на самом деле,— я хочу сказать: это станет правдой, чистой и подлинной правдой!

— Хм, такое дело,— поскреб крестьянин подбородок и окунул молоток в воду, собираясь продолжить свое занятие.

— Разумеется, разумеется, и...— затрясла головой женщина, глядя на него с удивлением.— Только я... сударь... только мы...

— Только вы этого не понимаете! — сказал Петер Майцен. В тот же миг он готов был проглотить собственный язык, вспомнив, как совсем недавно точно такими же словами обидел ее мужа.— Ну что там говорить! — небрежно махнул он рукой.— А теперь я немного пройдусь. До свиданья!

— До свиданья! — быстро ответил крестьянин.— На перекрестке вправо сворачивайте, на мощеную дорогу!

III

Петер Майцен расправил плечи, вздохнул полной грудью и быстро зашагал по аллее. Ноги сами несли его. И это доставляло удовольствие.

«Ну, смерть со своей косой еще далеко! — насмешливо подумал он.— Далеко, хотя добрых сорок лет я уверенно шагаю ей навстречу».

Он поднял голову к небу. Оно было высоким и синим, а солнце — большим и горячим, настоящим солнцем; оно привязало свой золотой лучик к каждому листу, к каждой травинке, к каждой пылинке на земле и так натянуло эти лучи, что они загудели точно медные струны под жаркими пальцами зноя.

— День крепкий, как колокол! — установил Петер Майцен.

Фраза эта зазвенела у него в ушах, показалась непривычной, но в то же время такой знакомой, что на миг он даже остановился.

«Кто это так сказал? — спросил он.— Темникар! — его захлестнула радость.— Темникар! Конечно, это же его слова!..»

Он пошел дальше. Но теперь уже не шел, а летел, словно его несли крылья.

На перекрестке остановился: вправо было шоссе, влево — проселок. «На перекрестке вправо сворачивайте, на мощеную дорогу!» — отчетливо услышал он голос хозяина и повернул вправо, но вскоре опять остановился.

«А почему бы не пойти в Тихий дол? Пойду! Возьму и пойду!»

И он свернул на проселок. Но через несколько шагов сердито оглянулся.

«Ей-богу, как ребенок! — нахмурился он.— И упрямый к тому же. Раз мне сказали повернуть вправо, я решил поступить наоборот и свернул влево, чтоб пойти в Тихий дол. Но теперь назло себе туда не пойду!»

Он откинул со лба прядь волос и зашагал обратно. Но едва зацокали на шоссе его подкованные башмаки, как он остановился.

«Труба! Поет!..» — Он поднял голову и прислушался.

Да, в самом деле пела труба. Звуки ее доносились откуда-то издалека: они были чуть слышными, но очень отчетливыми и звонкими.

— Труба! — вырвалось у него.— Да, труба! — повторил он и торжествующе стукнул себя в грудь.— Труба! — еще раз произнес он и посмотрел вдаль по длинной аллее в сторону усадьбы. Видно было, что женщина встала, а хозяин оставался сидеть, хотя удары молотка прекратились.

— А сейчас ты ее слышал? — громко спросил Петер Майцен, словно собеседник был возле него.

Женщина повернула к дому, удары по косе возобновились. Теперь они показались Петеру Майцену более частыми и более отрывистыми.

— Стучи, стучи! Только скажи, как это вышло, что ты раньше не слышал трубы? Ты что, глухой?..

Он задумался.

«Звуки неслись слева! Из Тихого дола... Почему ж ты сказал, чтобы я туда не ходил? Что там за болото? И что за сырость?»

Он нахмурился. А потом покачал головой:

«Хотя что тут странного! Если я с трудом уловил звук, как могло поймать его замшелое ухо старика!.. И что такое Тихий дол? К черту Тихий дол! Все совершенно естественно, только вот со мной происходят странные вещи. Дурень ты! — Он взмахнул палкой.— Разве ты вышел из дому для того, чтоб еще глубже погрузиться в бесконечную паутину своих подсознательных ощущений, тревожных и мрачных предчувствий? Взгляни на это дерево, на этот дуб! Он тянется к солнцу и вовсе не думает о таинственном трепете своих корней, которые в вечной тьме непрерывно сверлят черную землю!.. А человек — венец творения еще и потому, что осознает самого себя, осознает неизбежность своего конца, всю бренность своего существования...»

Снова раздались звуки трубы. Петер Майцен остановился было, но затем решительно свернул влево и зашагал по проселку.

Вскоре труба послышалась в третий раз. По-прежнему зазвучали первые две фразы старой популярной народной мелодии.

«Странно, что я не могу вспомнить слова! — Но это больше не огорчало его; неожиданно он успокоился: — Бывает!.. Знакомая, грустная народная песенка... И звуки трубы так медленно и так нежно плывут по лесу! Как вздох! Как стон!»

Невольно он поднял голову. Небо было синее и чистое, воздух трепетал, словно с неба свисала прозрачная, чуть приметная вуаль.

— Это не звук, это зной! — засмеялся он, шагнул вперед, но споткнулся о камень и с трудом удержался на ногах.— Какие глупости я выкидываю!.. Но странно все-таки! Труба поет печально, тоскливо, даже скорбно, а меня больше не потрясает.

Он на миг задумался и слегка пожал плечами. Позднее, каких-нибудь три часа спустя, он устыдится своей безучастности. Но в то мгновенье он оставался совершенно спокойным. Радость творчества вновь пробуждалась в нем, и потому все казалось прекрасным, даже труба, хотя в звуках ее таилась печаль.

Проселок уходил в лес. Между стройными темно-коричневыми стволами высоких сосен дрожали косые столбы золотистой солнечной пыли. Роями кружились мошки, гудели слепни, промчался черный рогатый жук на тонких, прозрачных крыльях; плавными виражами он неторопливо огибал деревья, прорезая путь в столбах солнечного света.

«Хорошо ему!.. Но и мне сейчас тоже не плохо,— подумал Петер Майцен.— Правда!» Он ударил палкой по стволу дерева, поднял ее на вытянутой руке и понес как копье. Снова расправив плечи, он уже сложил

было трубочкой губы, намереваясь по привычке засвистеть свою английскую песенку, как вдруг в каких-нибудь пятидесяти шагах перед собой заметил незнакомую девушку.

«Откуда она тут взялась?» Невольно, сам того не сознавая, он замедлил шаг. Девушка появилась так внезапно, словно выскочила из земли или упала с неба.

Девушка была высокая и полная, но очень стройная. На ней надета была зеленая юбка и черная блузка без рукавов. На голове она несла узкий и довольно высокий белый мешок, накренившийся в одну сторону; она вошла в столб солнечного света, и мешок вдруг осветился, стало видно, что он накрыт какой-то широкополой китайской соломенной шляпой без тульи. Девушка была босой. Ее стройные ноги ступали так упруго, словно под ними были невидимые пружины. Она шла, точнее плыла, с той неописуемой грацией и очарованием юного, здорового, сильного и полнокровного существа, какое иногда создает природа как образец идеальной красоты и доказательство своего мастерства.

Петеру Майцену вспомнилась Марьянка из «Казаков», Аксинья из «Тихого Дона», Тилчка, какой ее создало его воображение.

«Да, такой должна была быть Тилчка. Вот так она приплясывала с мешком на голове, возвращаясь с мельницы через Рейчев лес. А Темникар бесшумно следовал за ней. И когда она исчезала за поворотом, он спешил за ней, чтоб обнять ее...»

Девушка исчезла за поворотом. И Петер Майцен невольно приподнялся на носках, пытаясь разглядеть, куда она скрылась.

На самом повороте он замер. Девушка стояла шагах в десяти от него. Она подняла белые руки к мешку и медленно опустила его на пень. Развязала платок и стала обмахиваться. Потом встряхнула головой, и светлые волосы посыпались ей на спину и на плечи. Она оглянулась. Кругом были сосны, лишь на нижнем краю дороги поднимался высокий явор. Это было красивое и светлое дерево, красивое и светлое, как сама девушка. Она медленно подошла к дереву, глядя на его крону. Разлапистые серебристо-зеленые листья трепетали среди темной хвои. Девушка ласково погладила серый ствол, обняла его и всем телом к нему прижалась.

Это было красиво и даже понятно, хотя в этом таилось что-то тягостное. Все вокруг наполняла непонятная тоска и щемящее чувство одиночества.

«Каждый человек имеет право оставаться наедине с собой!» — упрекнул себя Петер Майцен, отводя взгляд. Он вынул из кармана сигарету, но не стал прикуривать, боясь выдать себя, и разминал ее до тех пор, пока в руках не осталась смятая гильза.

Девушка исчезла за следующим поворотом. Тогда он медленно подошел к явору. Это в самом деле было прекрасное дерево, прямое и гладкое. Лишь метрах в двух над землей в коре его зияла старая, уже заросшая рана. На коре было что-то когда-то кем-то вырезано. Петер Майцен напряг зрение и с трудом разобрал:

★
24
XII
43
Z

«24.XII.43!.. Двенадцать лет тому назад. В сочельник. В тот самый вечер, когда Темникар вышел в свой последний путь!.. Странное совпадение!.. Что же здесь произошло? Связано ли это с той девушкой? Надо догнать ее и расспросить».

Он ускорил шаг, но тут ему пришло в голову, что сейчас это вышло бы бестактно.

«В другой раз, в другой раз!..» — решил он, замедляя шаги.

Вскоре перед ним открылась долина длиной примерно с километр, а шириной едва ли в полкилометра. Уютная, зеленая, живописная долина, какие и впрямь встречаются очень редко, такая красивая, что Петер Майцен позабыл о девушке.

«Красиво! Ей-богу, красиво!.. Это несомненно Тихий дол! Несомненно... А если это Тихий дол, тогда недалеко и до Черного лога. И дорога сухая... И болота не видать... Но почему же он сказал, чтоб я не ходил сюда?.. Ладно, оставим в покое этого закоснелого чудака! Поспешим вперед, чтоб он не достал меня своей косой!»

Дорога шла вдоль подошвы левого склона. Внизу петляла река. Вода текла медленно, беззвучно, как масло. На другом берегу раскинулся луг: бескрайняя, ровная, мягкая постель, покрытая зеленым плюшевым одеялом.

Склон был неровным и полого поднимался вверх. Прямо посредине его рос могучий дуб. За ним широким поясом тянулись, по меньшей мере, четыре полосы цветущей гречихи, безмятежно излучавшей розовый свет, подобно тому как зимой отсвечивает в мирных лучах вечернего солнца заснеженный склон.

— Так! — кивнул Петер Майцен.— Над гречихой наверняка окажется отлогая полянка. А на ней — одинокий хутор.

Правый склон был круче. Там до самой вершины продолговатой гряды шли виноградники. На вершине виднелись купы деревьев. Позади них торчали черные соломенные крыши.

«Винные погреба»,— догадался Петер Майцен. Посреди склона стоял дом. И выглядел он таким ладным и уютным, что Петер Майцен не мог отвести от него взгляда,— белый, свежевыкрашенный, с потемневшей соломенной крышей, с черными дверями и двумя черными продолговатыми оконцами, напоминавшими зажмуренные глаза.

«Круглая головка белокурой и черноокой девушки, задремавшей в летний зной. Закричи — и она проснется».

Перед домом зеленела поляна. Посредине росло одинокое высокое дерево с густой темно-зеленой мелкой листвой.

«А это старая груша».

В густой кроне что-то крутилось, поблескивая.

«Ну, конечно! Трещотка-то еще вертится, только птицы ее больше не боятся».

Петер Майцен прошел по склону и остановился. Дальше дорога шла в гору. Молодые деревья встречали его на пути почти до самой долины. Он помахал рукой проселку и направился дальше вдоль реки. Упругим и легким шагом он торопливо шел по тропинке, едва заметной в густой траве.

Потом ему попались три старые кривые ивы, похожие на приземистых крестьянок с большими корзинами на головах.

Он взмахнул палкой, минуя их, и вскоре оказался на краю широкой канавы.

«Ага! Вот оно болото Чрнилогара. И сыро же тут... Но ничего страшного!»

Он отступил с разбегу перепрыгнул канаву и весело зашагал дальше, сам уже не помня, когда начал насвистывать свою английскую песенку.

В скором времени дорогу ему преградил глубокий омут с чистой светло-зеленой водой. Удивительно высокий и на редкость развесистый граб накрывал его своей тенью. Ствол его был таким толстым, что двое взрослых мужчин с трудом смогли бы его обхватить, и таким узловатым, словно он был сплетен из морских канатов. В стволе кто-то выдолбил четырехугольное углубление, уже заросшее по краям. В углублении стоял старый, щербатый майоликовый сосуд, в нем — букетик белых

маргариток и каких-то сине-голубых цветов, название которых Петер Майцен не знал.

У подножья граба стояли большие мостки на двух ножках для стирки, видимо вырезанные в старину из цельного куска дерева. И были они такие гладкие, белые, так сверкали в тени, будто солнце особо освещало их. Красивые мостки, светлые и чистые, как девичий смех на селе.

— Так! Здесь стирают девушки,— сказал Петер Майцен.— А при лунном свете — вилы*. В кроне косматого граба прячутся юные Паны — сердятся на свое сердце, которое с такой силой стучит у них в груди, и на свое дыхание, что вырывается с таким свистом, словно они дышат и ртом и носом одновременно. А глубокой ночью, в полночь...

«Стоп! — повелительно прервал его внутренний голос.— Разве ты не замечаешь, что именно так было на Скопичнике, куда ходили стирать Темникары? Разница лишь в том, что там рос не граб, а очень старая и густая бузина. И под нею были мостки, точно такие мостки. И там, мимо них пройдет Темникар».

— Да, да! Там он пройдет! Он должен там пройти, чтобы попасть через Мальнову гору в Робы! — произнес Петер Майцен.

И увидел его.

Темникар притоптал снег и остановился в нескольких шагах от омута. Все было покрыто снегом, кругом — тишина. Скопичник замерз, мостки сковало льдом, лишь под ледяной коркой тихо журчала вода.

Он ладонью прикрыл глаза — и вот уже нет снега, нет льда, а лет ему всего каких-нибудь двадцать пять. Звенит весна, сияет солнце. Тилчка стоит под черной бузиной, ее белые руки плывут по воздуху и бьют мокрой белой простыней по белым мосткам.

Темникару захотелось беззвучно подойти к ней на цыпочках, но он остался на месте, злясь на свое громкое дыхание.

«Что за проклятье! Ну отчего парни хрипят как кузнечные мехи, стоит им увидеть настоящую девку?»

Он закусил губу и пошел вперед. Галька противно заскрипела под башмаками. Но Тилчка не оглянулась.

— Ведь слыхала дуреха! — радостно сказал Темникар, бросаясь вперед и обнимая девушку за талию.

Тилчка охнула, но не слишком громко, только теперь она оглянулась и мокрой простыней хлестнула его по лицу. Но он успел уже сунуть руку ей за пазуху. Бурлящий водопад смеха обрушился на него:

— Опять, зверюга, хочешь оборвать мне все пуговицы? Не выйдет!

Темникар взял ее за плечи и отодвинул от себя на всю длину своих рук, чтоб насладиться ее красотой.

— Ох Ерней! Опять дурака валяешь! — сказала Тилчка и обвила мокрые руки вокруг его шеи, точно обожгла его.

— Тилчка...

И вот они уже лежат за черной бузиной.

Темникар молчит, а Тилчка смеется:

— О Ерней! Зверь ты мой! Ерней, Ерней! Мой! Мой, мой! Мой! — и потом уже ничего больше. Лишь в глубокой сверкающей синеве ее влажных глаз радостно проплывает белое облачко...

Темникар медленно переворачивается на спину и ищет облако в небе, вслушиваясь в биение земли, которое отдается в его сердце.

— Тилчка...

---

* Сказочные существа южнославянского фольклора.

Белая рука девушки оживает, робко опускается на его грудь и замирает на ней жаркой птицей.

Он лежит спокойно и смотрит в небо, по которому плывет белое облако.

— Куда оно плывет?.. В сторону Робов...

И тут заиграла труба...

Темникар вздрогнул,— все покрыто снегом, Скопичник подо льдом, в него вмерзли мостки, а ему семьдесят лет.

— Чего стоишь? Чего размечтался? Спеши, чтоб дьяволы не обогнали тебя! — приказал он себе и зашагал по снежной стежке мимо черной бузины. И — тут снова заиграла труба...

Петер Майцен встрепенулся и широко раскрыл глаза. Звуки трубы постепенно затихали. Его прошиб холодный пот, он замер, словно скованный льдом, ожидая, пока труба запоет вновь. Но она молчала.

«Что же это такое? Труба Темникара?.. Но ведь в моей повести не было трубы!..»

Он прислушался.

Тишина... Тишина и покой... Тишина...

«Эх, все равно, есть она на самом деле или нет!—махнул он рукой.— В конце концов, она могла быть у Темникара. Правда, это покажется несколько надуманным, в то время не было никаких труб, но... пусть трубит!.. Пусть трубит хоть в моем воображении, ведь я ее не включил в действие. Не включил, потому что в этом не было нужды. А теперь, по дороге в Робы, куда спешит Темникар, что-то должно подстегивать его, чтоб он не останавливался и не слишком долго отдавался воспоминаниям и прощался со своей родиной... Зов трубы—зов ангела долга, ангела смерти, а смерть по существу есть наш последний и высший долг. Вот так!»

Петер Майцен засвистел свою песенку и пошел вперед. Вскоре тропинка исчезла в лесу. Снова замелькали уходящие ввысь коричневые стволы сосен и между ними косые золотые столбы солнечного света. Снова носились рои мошек и гудели оводы, промчался черный рогатый жук на прозрачных невидимых крыльях и, описав плавную дугу, исчез за коричневыми стволами.

Тропинка уходила влево и, выйдя на продолговатую прогалину, спряталась в зарослях черники. Петер Майцен присел у подножья развесистого бука, который рос посреди прогалины, и сорвал несколько темно-синих ягод.

Опять запела труба. Петер Майцен вскочил словно по команде, и побежал напрямик; вскоре он оказался на дороге, круто берущей в гору. Он устремился по ней.

«Да, примерно такой была дорога на Мальнову гору. Каменистой, крутой и еще покрытой снегом. И Темникар...»

Темникар шел перед ним.

Снег под его сапогами громко скрипел, а он знай нахваливал и подбадривал свои старые ноги:

— Хорошие вы у меня! Хорошие! Шагайте вперед, и мы обгоним их, псоглавых! Прежде них придем в Робы! И там затаимся в скалах над Доминовым лазом. Тропа там узкая, внизу пропасть, вверху скалы. И кротам псоглавым придется по ней пройти, если они хотят добраться до Чарьевой пещеры. А мы их подождем и тогда увидим, кто сегодня отправится к Иисусу в Вифлеем!..

Он выбрался на вершину Мальновой горы. Остановился и огляделся вокруг, прощаясь со своей долиной. Она раскинулась перед ним, белая и тихая, лишь черная Идрийца петляла по этой белизне, да издали донесся протяжный гудок паровоза, резанувший его по сердцу.

— Да, повидал я мир, а прекраснее этого ничего не встречал! — с горделивой печалью произнес Темникар.— Здесь я жил... и еще бы с радостью пожил, но так уж вышло, что надо мне... надо идти...

Он поднял голову и вгляделся в кряжистый пик Крн, что светился в глубине долины в своем белом зимнем наряде.

— Да, дорогой мой Крн крнский, семьдесят лет мы глядели друг на друга, теперь в последний раз видимся... Так-то! Сейчас мы еще можем перебросить словечком-другим, завтра уже не выйдет, ухожу я!

— Куда? — голосом Темникара спросил Крн.

— Куда? — переспросил старик.— Да недалеко! Только в Робы... Там... зачем тебе говорить! Видишь сам, у меня топор... а в кармане — этот огненный дьявол! — Он нахмурился и сжал револьвер.

— Вижу, вижу! — вздохнул Крн.

— Ну, чего там! — покачал головой Темникар.— Ты постарше меня и все это уже видел... Еще похуже бывало!

— Бывало! Бывало! — вздохнул Крн.— Только думается, что с турецких времен не доводилось мне видеть такого удальства и такой мерзости.

— Верно, верно! — согласился Темникар.— Такова уж мерзость человеческая!.. Представь себе, если уж в семьдесят лет приходится браться за топор да револьвер и...

Темникар умолк, потому что какая-то неведомая сила перехватила ему горло. Глаза у него затуманились, Крн расплылся, и ему показалось, будто гора как-то тревожно зашевелилась в своем углу.

— Что ж это такое? — раздосадованно прохрипел Темникар и ладонью провел по глазам.— Вот пень старый, видал, на глазах чуть слезы не выступили. Знаешь, привык я к тебе... ну и... что, стервец, тоже горевать по мне станешь, когда не увидишь больше?

Крн выпрямился, ясный и весь охваченный пламенем под зимним солнцем, чтоб рассказать Темникару, как он любил его и как будет жалеть о нем, но прежде чем он успел вымолвить слово, снова запела труба.

Темникар вздрогнул.

— Пойду, чтоб меня кроты псоглавые не обогнали! — сказал он, помахал рукой Крну и решительно зашагал к Рейчеву лазу...

Петер Майцен пришел в себя и ладонью вытер глаза.

Он стоял на вершине холма. Труба продолжала петь. И по-прежнему лишь начало грустной народной песни. Но Петера Майцена уже не раздражало то, что он не мог вспомнить слов. И звуки уже не столь глубоко проникали в его сердце. Все вокруг стало совершенно естественно и понятно. Да, стало совершенно естественно и понятно, что переплелись между собой мир, созданный его воображением, и мир, который в действительности раскрывался перед ним.

И этот мир был прекрасен. Петер Майцен разглядывал широко раскинувшуюся долину, по меньшей мере раз в десять больше долины Темникара. Белые дороги и тропинки, словно веселые ленты, во всех направлениях пересекали зеленое поле, связывая между собой деревни и деревушки, что прятались от послеполуденного солнца под сенью фруктовых деревьев. Вдали поблескивала лента спокойной Крки,— она текла неторопливо, точь-в-точь кокетливая красотка, прогуливающаяся в тени густой листвы. По краям долины, на уступах гор и над рекою, возвышались кряжистые замки, державшиеся нелюдимо и даже угрюмо, вероятно, потому, что их накрыли новыми, кричаще-красными крышами, что столь

пожилым и почтенным особам показалось обидным. На вершинах округлых холмов, словно набухшие соски на полной груди, стояли крохотные церквушки, щекоча своими колокольнями чистое небо, радостно улыбавшееся ласковому Доленьскому краю.

«Красиво! Хотя совсем по-иному, чем у нас»,— заключил Петер Майцен и пошел дальше. Теперь он брел по разбитой грязной дороге, что петляла на вершине холма. И вскоре подошел к первому дому. Под замшелыми деревьями он обнаружил большой пруд. Вода в нем была грязная, зацветшая. Над ним тучами носились мухи, стая лягушат выскочила из травы и плюхнулась в воду. Постепенно круги исчезли, и на зеленоватой поверхности затрепетало белое облако.

Петер Майцен обрадовался и поднял голову. Облако стояло прямо над ним. Оно плыло в синеве, продолговатое, кудрявое, как шкура ягненка, белое-белое...

«Ты здесь? И прямо над этой зеленоватой, грязной лужей... Ну, ничего, ведь ты не можешь испачкаться ни в какой луже; наоборот — любую лужу очистишь и украсишь собою. Привет тебе! И не уходи сегодня больше с неба!»

Облако слегка качнулось, словно хотело пожать плечами.

Петер Майцен погрозил ему палкой и пошел дальше. Вскоре он оказался среди строений, из которых не все были винными погребами. Это был поселок, состоявший едва ли из десятка старых бревенчатых домов. Да вовсе и не дома это были, а скорее, пожалуй, домишки; и окна были не окнами, а только оконцами. А в них гвоздики, пеларгонии, фуксии — фуксии, пеларгонии, гвоздики. Все было дряхлое, от всего исходил такой сильный запах ветхости, что у Петера Майцена невольно вырвалось:

— А переменилось ли что-нибудь в этом селении с тех пор, как здесь ходил Примож Трубар*?

— Кукареку...— отозвался откуда-то петух. Но он не закончил свою песню — на самой высокой ноте вдруг отчаянно захлебнулся и умолк.

После этого загремела тяжелая цепь. Из-за угла деревянной избушки выглянула лохматая собака и чуть слышно тявкнула. Из пасти у нее свисал язык — такой же красный, как увядшие гвоздики, пеларгонии и фуксии в окнах.

— Что, брат? Жарко?

Пес не отозвался,— повернувшись, он величественно убрал свою кудлатую голову, не помахав даже хвостом на прощанье.

За домом лежала куча навоза. К дороге от нее натекла лужа густой темно-зеленой, почти черной жижи. В ней плескались три белые утки, ухитрившиеся сохранить ослепительную белизну, подобную облаку на небе.

— Ей-богу, вы птицы что надо! — сказал Петер Майцен.— Какая благодать, что вы можете барахтаться в навозной жиже и оставаться чистыми!

— Му-у-у...— послышалось за спиной.

Он оглянулся. Из хлева вытягивала свою большую морду корова.

— Му-у...

— Добрый день, Пеструха! — сказал Петер Майцен, подходя поближе.— Чего тебе? Или просто соскучилась? Ведь не так уж все плохо! Стоишь себе в холодке, жуешь жвачку.

— Му-у-у...— замычала корова и лизнула ему руку шершавым языком.

— Ну старайся, старайся! Мне, ей-богу, некогда чесать тебе между рогами. Домой спешу. Надо работать.

— Му-у-у...

* Трубар, Примож (1508—1586) — словенский просветитель, писатель, родоначальник словенского протестантизма.

— Вот это штука! — остановился вдруг Петер Майцен.— Чуть не позабыл о корове Темникара! — Он вернулся и снова подошел к Пеструхе.— Спасибо тебе, милая, что голос подала! Знаешь, у моего героя, Темникара, о котором я буду повесть писать, тоже была корова. Вернее, у него было несколько коров, но Пеструху он любил больше всех. Это была красивая и очень симпатичная корова. Одна только беда была с нею — никак не желала забрюхатить. Темникар и сердился, и огорчался, а все же четыре года держал ее в хлеву.

— Му-у-у...— прервала его корова.

— Погоди! — сказал Петер Майцен, оглядываясь. По ту сторону дороги рос приземистый ясень. Петер Майцен вынул из кармана нож, отрезал несколько веток и протянул их корове.— Ну вот, видишь!.. Значит, я тебе уже сказал, что у Темникара была красивая корова. И в последний день своей жизни, прежде чем уйти в Робы, чтоб схватиться с этими кротами псоглавыми, он еще раз зашел к ней. Он любил ее. И во всем на нее полагался. И револьвер, что ему принесли партизаны, тоже хранила в своих яслях Пеструха. Ну, и придя в хлев за этим своим огненным дьяволом, он заговорил с ней. Почесал ей между рогами и сказал:

— Знаешь, Пеструха, ухожу я! В бой иду!.. Только не гляди на меня так глупо! В самом деле, иду в бой! Это уже не шутка, не выдумка, не пустое бахвальство...

— Му-у-у...— замычала Пеструха.

— Знаю! — Темникар опустил глаза.— Двадцать лет я рассказывал, как, бывало, дрался в молодые годы. И двадцать лет лгал. А зачем лгал? Только для того, чтобы как-то расшевелить своего сына, ведь он настоящий слизняк. Да, только для того! И чего-нибудь я добился? Ровно ничего! Я рассказываю, рассказываю, а он сунет руку в штаны, чешет свое пузо да хихикает как придурок какой!.. Даже сейчас — все дерутся, а он сидит себе дома и почесывается!.. Эх, тяжко настоящему мужику, когда сын у него похож на бабу!.. И еще тяжелее, когда самому приходится похваляться выдуманными драками!.. Что поделаешь! Вначале думал парня расшевелить, а после продолжал уже по привычке, хоть и убедился, что все напрасно... Верно, продолжал бы так и дальше, если б... если б не эти — псоглавые...

— Му-у-у...— замычала корова.

— Оставим это! — махнул рукой Темникар.— Знаешь, о своих драках я всегда интересно рассказывал. Да не только рассказывал, но иногда кое-что и показывал. Однажды так распалился, что схватил стул, хотел изобразить, как разбил лампу на Плешах — размахнулся, да и в самом деле разбил... Чего ж удивляться, что меня охотно слушали? Зимними вечерами сидим у печки, всем скучно, вот меня и просят: «Расскажите еще раз, отец, как вы дрались на Плешах!..» Это была самая знаменитая моя драка. Мы схватились тогда из-за Тилчки, хотя им я этого не говорил. Янез Грегорчев намекнул, будто она в полночь окно открывает, а мне этого было довольно: вскочил я, схватил стул и по лампе, чтоб потемней было. Потом поплевал на ладони и начал. Двенадцать парней выкинул в дверь, а других выбросил через нераскрытое окно. Ну уж было тут воплей да звону. А когда дело к концу подошло и бабы принесли свечи, увидел я, что почти все стекла разбил, сломал стол и расколотил шесть стульев, а о посуде и говорить нечего. Да, знаменитая была драка!..

— Му-у...— замычала корова.

— Ох, конечно! — вздохнул Темникар и повесил голову.— Сам я хорошо знаю, что никогда в жизни не был на Плешах!.. И никогда

в жизни не дрался!.. Что поделаешь! С годами я так привык восторгаться своими драками, что, случалось, сам себе, когда скучно станет, рассказывал о них... Поначалу, конечно, стыдно было врать за здорово живешь, а потом... Как избавиться от собственного вранья? Лучше всего поверить в то, что так оно и было на самом деле. И, уверовав, я иногда готов был побожиться, что все именно так и обстояло!.. Да и почему бы не быть этому правдой? Почему бы мне не ударить? Разве я трусом был? Еще чего! Сильный я был, парень что надо. Только подходящего случая не было... Да. Женился я молодым. И жили мы спокойно с Тилчкой, ни с кем не сталкиваясь и не споря. Чего ради было мне драться? А когда она умерла, и во мне что-то умерло.

— Му-у-у...— грустно замычала корова.

— Не реви! — сказал Темникар, взяв охапку сухого клевера.— На-ка клеверу пожуй, хоть ты его и не заслуживаешь. Ладно уж, раз день такой выдался!—Он потрепал корову по теплой шее и отошел от яслей. В дверях опять оглянулся: — Знаешь, Пеструха, еще раз тебе говорю, последний. Смотри у меня! Прошлый месяц я тебя вывел, и если ты теперь не понесла, то пойдешь к партизанам. Я уже обещал интенданту Урху. Второй месяц пошел.

— Му-у-у...— повернула к нему морду корова.

— Ничего не поделаешь, моя дорогая! Такие теперь времена, никто не имеет права яловую жизнь вести! — сказал Темникар и вышел из хлева.

— Му-у-у...

Темникар не оглядывался. Медленно закрыл он за собой двери, радуясь в душе, что его уже не будет на свете, когда придут за его Пеструхой...

— Му-у-у...— мычала корова, уже очистившая ветки от листьев.

— Усердная ты, ничего не скажешь! — Петер Майцен почесал ей между рогами.— И большое тебе спасибо, что голос подала. Кто знает, может, я и в самом деле не вспомнил бы о Темникаровой Пеструхе...

— Му-у-у...

— Му-у-у... Да, да... Что ты знаешь об этих делах? Ничего! Крутишь себе хвостом да мычишь иногда.— Петер Майцен засмеялся и покачал головой.— А что сказали бы эстеты новейшего времени, увидев, как я разговариваю с тобой о своих героях?.. Скорей всего, что это не эстетично... А что мне делать? Разве Темникар не разговаривал со своей коровой? Конечно, разговаривал, только он был крестьянином, а не писателем!.. Ну и что же? Разве он иначе к жизни относился?.. Что, собственно, затевают эти новоявленные эстеты? Крутят хвостом да время от времени издают невнятное мычание. Бывает, бросаются с рогами в каждую новую дверь, что тоже не причислишь к вершинам эстетики. В конце концов, это даже менее оригинально, чем разговаривать с коровой об искусстве.

— Му-у-у...— подала голос корова.

— Вот так! — кивнул Петер Майцен.— А теперь я пошел! Надо спешить. Я уже все обдумал. Увидел все основные эпизоды, кроме схватки в Робах. Но прежде чем я напишу о ней, мне откроется и самый бой...

Он поспешил по дороге, которая чем дальше, тем все больше напоминала грязную канаву. Наконец грязь стала такой глубокой, что Петер Майцен начал думать, как бы выбраться из этой ловушки.

И тут вновь запела труба — так близко и так громко, словно играли над его головой. Петер Майцен, успевший уже позабыть о ней, сперва даже растерялся, а потом погрузился в раздумья.

«Раз это так близко,— решил он,— пойдем поглядим, кто трубит!»

Он оперся на свою палку и выскочил из наполненной грязью канавы.

IV

Петер Майцен стоял на правом склоне Тихого дола, над виноградниками: труба пела, и хотя это по-прежнему была старая печальная мелодия, звучала она теперь торжественно, словно повелевала ему заглянуть в тихий уголок, что открывался перед ним. И в самом деле, красота долины так захватила его, что он позабыл обо всем на свете.

— Вот тебе снова Тихий дол! — вслух произнес он.— Как на ладони. Какая же красивая, легкая ладонь!..

Звуки трубы находили волнами — подобно открывающемуся занавесу — и не спеша расходились в стороны, в мир и в тишину.

Петер Майцен выпрямился и глубоко вздохнул, будто хотел вобрать в себя всю зеленую прелесть земли, всю голубую красоту неба — с их миром и тишиной. Его легкие расширились, сердце забилось от счастья, которое делается еще полнее от капли горечи.

— Разве не чудесно! — воскликнул он и раскинул руки, словно желая обнять всю долину.— А где-то здесь, возможно под тем виноградником, и будет тот гостеприимный, уединенный белый дом, что похож на белокурую и черноокую девушку с молочно-белой кожей. Чуть не позабыл о ней! Правда, я еще раньше сказал тем развесистым ивам у речушки, что на обратном пути спущусь к нему. И я спущусь, растянусь на мягкой траве! А пока посижу здесь, досыта налюбуюсь. Темникар подождет. В конце концов будет даже полезно, если этот благодатный Доленьский край вызовет в памяти суровую Толминскую сторону.

Петер Майцен опустился на землю, но опасаясь, что его одолеет привычная слабость, иными словами, что он незаметно для самого себя опрокинется на спину и предастся бесплодным мечтаниям, торопливо поднялся, сел на дубовый пень, закурил и погрузился в созерцание.

«Так!.. А теперь оглядимся! На дне долины — луга, бескрайняя ровная постель, покрытая пушистым одеялом зеленой травы. По ней петляет река. Мокрая трава тут позеленее, а вода почти черная... По берегу шагают три ивы, три тетки, три косматые бабы. Недалеко же они ушли. Даже до омута не добрались».

Он склонил голову набок и перевел взгляд на развесистый граб, что рос над омутом.

«И все-таки, неизвестно отчего, люди туда не ходят. Дерево выглядит непривычно серьезным, печальным, хмурым. Неподвижно глядит оно прямо перед собой в прозрачную глубину омута. Конечно, омут принадлежит ему. Это его глаз, большой, глубокий, зеленый глаз... Чего только не видел этот глаз!.. И где теперь то, что он видел?.. В кроне?.. Конечно, в кроне! Каждый листок этого граба отражает живую картину, некогда увиденную им в омуте... О да, да! Когда молодая прачка расстелила выстиранные белые простыни на зеленой траве и разделась, чтоб выкупаться, в тот самый миг, когда она на секунду застыла на краю, прежде чем броситься в воду, граб потихоньку переснял с водной глади ее изображение, свернул его и спрятал в своих жестких листьях... Кто знает, сколько прекрасных картин хранит он в своей густой, темной кроне!.. А когда граб остается один, особенно осенью, с ее одиночеством и приближающейся зимней спячкой, должно быть, последней в его жизни, по скупым, убывающим сокам он уже чувствует, что старые корни изнемогают,— он медленно, лист за листом опускает в омут, который уже не глаз его, а зеркало его памяти, и каждый листочек раскрывается на водной глади, картина оживает еще раз, а потом со слабым трепетом исчезает навсегда, подобно тому как жемчужный туман дыхания заволакивает в зеркале любое изображение... Так старый граб пересчитывает дни, что пришли и ушли...»

Петер Майцен горько усмехнулся и покачал головой:

«Да, дорогой мой граб, жизнь длинная и серая, лишь мгновения золотые!.. А мы легкомысленно проматываем их, как проматываем золотую монету, когда она попадает нам в руки... Не умеем мы обращаться ни с золотом, ни со счастьем!»

Он бросил окурок и каблуком вдавил его в землю.

«Хватит. Оставим это! Мир, что лежит передо мной, тоже из золота. И я сейчас в нем. Вон там в тени граба белые мостки. Они белеют как белая утка, как чайка, как белый лебедь. Далеко они, на самом дне, а какие светлые и живые! Ей-богу, живые! Разве не удивительно, что иногда, когда поблизости нет человека или животного, неживые предметы вдруг оживают? И какие между ними гармоничные отношения... Да, все живое! И дорога живая. До чего же хорошо! Вместе с грабом и рекой, с ивами и отавой она прекрасно вписывается в песнь долины... А вон там на склоне стоит чудесный дуб. Выше — поле цветущей гречихи. Когда на нем жужжат тысячи пчел, оно колышется и поет, словно лежит на склоне девушка в белом, глядит в синее небо и поет свою звонкую песню без слов... Но пойдем дальше! Над полем полянка, а на ней усадьба. Посреди старых фруктовых деревьев стоит красивый дом, крытый красной черепицей. Крыша, видно, новая. Конечно, новая, ведь свежеобожженная черепица горит на солнце как пламя...»

Он улыбнулся и громко произнес:

— Красная крыша на солнце полыхает как пламя среди зеленых деревьев!.. Ничего не скажешь, хорошее сравнение, яркое и...

Он не закончил фразы.

«Да, сейчас это хорошее и яркое сравнение, а не так давно было страшной действительностью. Дом ведь горел! Стены и теперь еще закопченные... Должно быть, во время войны горел. Разумеется, подожгли. Ничего удивительного, сколько домов сожгли! Темник тоже сожгли!»

«Как? Разве Темник сожгли?»

Подумав, он покачал головой.

«Не знаю... Впрочем, я об этом не думал. И естественно! Мой рассказ кончается гибелью Темникара. И вообще я пишу о Темникаре, точнее о его последнем дне: от зари, когда он проснулся с этой глыбой на душе, до захода солнца, когда, сраженный пулями, умирал в Робах».

«Верно, но?..»

«Никаких «но»!— поспешно возразил Петер Майцен, чувствуя, что в нем пробуждается та неведомая сила, которая заставляет его творить.— Если б я начал писать о последствиях его поступка, я разрушил бы все здание новеллы, которое сейчас выглядит незамысловатым, но цельным. Все, что произошло в Темнике после его смерти, выходит за эти рамки!»

Однако неведомая сила не слушала формальных доводов разума, напротив — готовилась к новому взрыву. Он сопротивлялся, ибо инстинктивно опасался, что новелла разрастется и потом разлетится на куски, как уже случалось не раз.

«Нет, нет! Это выходит за рамки новеллы!» — упирался он. Но сердце билось все сильнее, знакомое опьянение кружило голову.

И он сдался.

«Верно. Темник тоже могли сжечь».

«Разумеется, сожгли! — ответил он себе. И в тот же миг это стало правдой, живой и неопровержимой правдой.— Когда в Робах нашли убитых белогвардейцев и мертвого Темникара...»

«А его нашли?»

«Разумеется! Мартин Лужник со своими солдатами не вернулись из своего вифлеемского похода к полуночи, да и на рождество их не было, и тогда Венц Заплатар...»

«Эта Проклятая Каланча?»

«Вот, вот! Его прозвали так потому, что он был длинный, как жердь, и при желании мог бы разглядывать черепицу на крышах. Когда-то он сватался к Юстине Темникаровой, а во время войны стал переводчиком в гарнизоне и проводником, потому что знал любые козьи тропы. Он поднял на ноги всю эту сволочь, и они пошли искать Мартина и четырех его солдат».

«А потом?»

«Потом они нагрянули в Темник. И расправились со всеми. А Темникарица...»

«Нет, нет! — воспротивился Петер Майцен еще недодуманной до конца правде.— Это невозможно!»

«Но ведь невозможно и то, что старая, вздорная Марьяна вела себя как мужчина!»

«Да, это непонятно!»

«Непонятно? Разве мало было в этой войне непонятного!.. Просто человек и сам не знает, что в нем таится. Как часто лишь самое страшное испытание обнаруживает ту кладовую, где под спудом лежат драгоценный опыт и безмерные силы людские. Так произошло и с Темникарицей... О, если бы Темникар увидел ее, он глазам своим не поверил бы, он и представить себе не мог, что такое может таиться в этой высохшей прялке, как он ее много раз называл. Когда ее поставили перед дулами винтовок... нет, нет, еще раньше.. едва она увидела...»

Тут их увидел и Петер Майцен.

Они растянулись длинной цепочкой по заснеженному полю, словно черная змея медленно извивалась на белом песке. Холодное, зимнее солнце неподвижно висело в холодном небе и обливало холодными лучами холодные каски, что мерцали холодным блеском, подобно тому как холодно поблескивают освещенные солнцем холодные пятна на холодной змеиной спине.

Темникарица, держа в руках таз с грязной водой, как раз вышла из кухни на «кафедру» — так окрестил Темникар галерею с южной стороны дома,— она любила стоять здесь и отсюда наставлять и поучать его, что нужно сделать и как. Она занесла таз назад, чтоб выплеснуть воду через забор, и окаменела. Вода полилась ей на передник, а она, словно зачарованная, смотрела на черную змею, медленно и беззвучно подползавшую к дому.

— Идут! — произнесла она. И голос ее прозвучал глухо и удивительно спокойно, ибо правда сама по себе была столь страшной, что страха она уже не ощущала.— Идут! — повторила она тем же глухим и спокойным голосом, но с долей непонятного горького удовлетворения, будто поджидала их давно. Она и впрямь ждала их вчера, ждала всю нескончаемую минувшую ночь. Не раздеваясь, она лежала на печи, готовая ко всему. Стрелки часов упрямо бежали вперед, но в то же время едва двигались, потому что возле стояло окаменевшее недоброе время и удерживало их своей тяжелой рукой. Часы тикали непривычно громко, и при каждом их биенье в сердце Темникарицы падала и застывала капля горечи; ей казалось, что при каждом биенье вздрагивает весь Темник, что хутор безостановочно отдаляется от деревни и куда-то проваливается. Она инстинктивно чувствовала, что судьба покинула ее, что она полностью отрезана от мира. Она лежала на спине и отчетливо видела, как дом прижимается к крутому склону, будто гнездо к скале, а внизу — бескрайнее заснеженное поле, словно песчаная пустыня под лунным светом. И по этой пустыне медленно и беззвучно ползет черная гадина, которая разрушит ее гнездо и покончит с ними. Хруст оледеневшей ветки, скрип старой доски на черда-

ке под тяжестью снега заставляли ее вздрагивать и тревожно вслушиваться.

— Идут!

Они и в самом деле подходили. Женщина осторожно поставила таз на землю, выпрямилась и худой рукой прикрыла глаза от ослепительного блеска снега на белой поляне.

— Человек тридцать будет! — определила она.— Всякой твари по паре, только немцы в шлемах.

Она понимала, что надо скорей идти к сыну и дочери, но не тронулась с места. Неподвижно стояла и смотрела, как змея, наконец, пропала за поворотом Нижней нивы, словно медленно зарылась в сверкающую белизну. Темникарица перевела взгляд на край Верхней нивы и стала ждать...

— Долго их нету! — сказала она. И на самом деле долго, потому что рядом с нею стояло окаменевшее недоброе время.

Наконец, змея снова вынырнула из снега, повернула влево и поползла по краю Верхней нивы. И тут Темникарица заметила носилки.

«Его несут! — мелькнуло в голове.— Нашли!..»

Она повернулась и быстро вошла в кухню. Кинулась к двери в комнату, но вдруг снова застыла на месте.

— Он мертвый! — сказала она. И в тот же миг поняла, что она тоже мертва. Почувствовала, как с нее спадает бремя плоти, как она становится все более и более легкой — такой легкой, что, боясь упасть, она уперлась коленями в печь. Закрыла было глаза, но в ушах так зашумело, будто вот-вот провалится,— и она скорее открыла их. Посмотрела на свои худые руки, пошевелила пальцами, но руки показались ей чужими — две мертвых культяпки, отработанные орудия. Она стиснула кулаки, потом, вспомнив, что больные перед смертью любят смотреть на свои руки, спрятала их под передник. Вздрогнула, оглянулась вокруг и вернулась к действительности.

«Юстина! Тоне!» — и тотчас поняла, что они оба уже мертвы. Она опустила веки и на миг отдалась во власть шума, потом собрала все силы и снова стала такой, какой была с той самой минуты, когда Ерней исчез вдали и она поняла, что он больше не вернется,— безмолвной и непоколебимой.

Выпрямившись, она неторопливо вошла в комнату. Сын сидел на лавке. В правой руке он держал зуб от грабель и, прищурив один глаз, разглядывал его, левой рукой почесывал шею. С тоской вспомнила она Ернея и еще раз пожалела, что Тоне не похож на отца, что не может он сейчас вскочить и схватиться за топор. Она посмотрела на печь, где сидела Юстина и плела кружево на коклюшках. Пальцы ее быстро перебирали сухо пощелкивающие палочки. Она встретила мать покорным вопрошающим взглядом, но та сделала вид, будто не понимает ее. Темникарица подошла к столу и еще раз посмотрела на своих детей. Сперва она решила, что лучше им оставаться на месте — не надо их тревожить, но материнский инстинкт оказался сильнее ее воли, и из самого сердца ее вырвался вопль:

— Бегите! Нет! Ступайте на сеновал! Заройтесь в сено! Быстрей!

Тоне подскочил, как подброшенный пружиной, Юстина медленно выпустила из рук коклюшки.

— Нет! — передумала Темникарица, сообразив, что все напрасно. «Они уже повернули к Старой ниве»,— думала она о черной змее.

— Что такое? — спросила Юстина, испуганно хлопая глазами.

— Ничего страшного не будет! — спокойнее ответила мать.— Ступайте наверх! В светелку!.. И не шумите!

— Немцы?

— Не знаю... Ступайте наверх! Ничего страшного не будет!

— И отца нет! — захныкал Тоне.

— Ступайте! — приказала мать.— Ничего страшного не будет!..

Дети тронулись с места, но на пороге остановились.

— Ступайте! Ступайте!.. Ничего страшного не будет! — Она затворила за ними дверь и замерла на месте, закрыв глаза. И опять услышала оглушающий шум, опять ей почудилось, будто она проваливается.

— Вот они уже у Скопичника! — произнесла она и мысленно увидела черную змею, ползущую вдоль ручья. Открыв глаза, она огляделась вокруг. Что-то должно решиться, но что именно, неизвестно. На миг она задумалась, потом, безвольно опустив руки, медленно подошла к печи.

«Здесь я их встречу!» — решила она и присела в запечек. Сложив руки на коленях, она смотрела в пустоту. За ее спиной громко тикали ходики, словно стучали молотом по окаменевшему времени.

«Долго их нет!» — подумала Темникарица. И опять закрыла глаза, отдаваясь во власть странному шуму.

Она сидела так и в сочельник, окаменевшая и немая, удивительно строгая, и ни сын, ни дочь не смели раскрыть рта. В конце концов тишину нарушила Юстина.

«— Долго его нет! — сказала она.

— И, наверно, уже не будет! — невольно вырвалось у Темникарицы.

— Он куда-нибудь ушел? — спросил Тоне.

— В лес! Ты же знаешь! — сурово ответила она. «Если б ты на него походил, пошел бы вместе с ним»,— промелькнуло у нее в голове, и она задумалась над тем, что было лучше для сына — уйти с отцом или остаться с нею. Решение было тяжким, и она отодвинула его.

Тоне сидел на скамье и вырезал зубья для грабель. Тщательность, с какой он занимался этим, вызывала отвращение у Темникара. И странное дело, сейчас это было противно и Темникарице. Она оглянулась на дочь, та сидела на запечке и плела на коклюшках. Юстина вздохнула и покорно, как овца, посмотрела на мать. Такой ее взгляд часто злил Темникара. И странное дело, сейчас он разозлил и Темникарицу. Она обвела взглядом комнату, посмотрела на часы. Ходики заскрипели и медленно пробили восемь. Темникарица подняла руку, чтоб подтянуть кверху гирю, задела за маятник, и ходики остановились.

— Может, он вообще ушел? — заговорила снова Юстина.

Темникарица вздрогнула и пристально поглядела на нее.

— Куда он уйдет? — отозвался Тоне.

— К партизанам,— ответила Юстина.

Темникарица вздохнула и качнула маятник.

— К партизанам?.. — протянул Тоне.

— А куда ж еще? — сурово отрезала Темникарица.— И потому замолчите!»

И они молчали весь вечер и весь рождественский день.

Много раз Темникарице казалось, что он и в самом деле ушел к партизанам, но она прогоняла эту мысль, ибо сердцем чуяла, что его больше нет в живых. Порой она винила себя — надо было за-

голосить, броситься за ним, когда он скрылся за поворотом. Но неведомая, неуемная сила без слов убеждала ее: она не виновата, она вела себя правильно, ибо Темникар твердо решил и должен был идти своим путем. И тогда он неизмеримо вырос в ее глазах. Ей вспомнилось, как при прощании она сказала ему: «Какой-то ты чудной... Словно и не ты», — вспоминала, как он ответил: «Вот уже сорок лет не был я самим собой, а сегодня опять стал!» А какой он был? Такой, каким был на самом деле и какого она не знала.

«Ерней!» — мысленно окликала она его, и что-то оттаивало в ее душе, и ее охватывало неведомое тепло,— так близко к нему она еще никогда не была...

Эта близость оставалась и сейчас, когда черная змея тащила его мертвое тело к дому. Женщина не сводила глаз с деревянной ложки, что все время ожидала его на столе, и внезапно увидела его так отчетливо, что помимо воли вышла из запечка и тихонько окликнула:

— Ерней!..

За спиной у нее стали бить часы. Она вспомнила, что хотела что-то сделать, выставив из комнаты сына и дочь. Подождав, пока отзвучали три удара, она подошла к стене и, протянув худую руку, остановила маятник.

— Дай господь ему вечный покой! — произнесла она в наступившей тишине и медленно перекрестилась.

— Ты ему его не давала! — отвечал из тишины ее собственный голос.

Она заметалась по комнате, сердце ее готово было разорваться. Безмерная печаль охватила ее, печаль, замурованная в нем вместе с бесконечной любовью. И она вдруг поняла, как отравляла ему жизнь, как отравляла ее себе и детям.

— Ведь я же любила его! — всхлипнула она.— А по-другому не могла! Не могла!..

— Не могла! — согласился голос, в котором звучала тоска.— Не могла, хоть и хотела...

— Хотела!..— вздохнула женщина.

Она прислонилась спиной к печи и на миг закрыла глаза. Но только на один миг, потому что внезапно в ней вновь всколыхнулась та самая неведомая неуемная сила, которая уже прежде убедила ее: Ерней должен был уйти. И странное дело — неизбежность этого стала сейчас ясна и ей. Любой ценой она должна что-то сделать.

— Нет, не стану я их ждать здесь! — решительно произнесла она.— Первая никогда бы не стала его ждать, если б он возвращался с такого пути. Она пошла бы ему навстречу. Я тоже пойду ему навстречу. И буду с ним! Пора...

Она выпрямилась, убрала прядь седых волос под платок и огладила передник. Потом быстро вышла из комнаты, широко распахнула дверь в сени и встала на пороге. Идти дальше не было сил. Скрестив руки на груди, она устремила взгляд на поворот, за которым два дня назад скрылся Ерней и из-за которого он сейчас возвращался.

— О Ерней!..

И она опять вспомнила, каким «чудным» он был, уходя из дому. Вспомнила его странные слова, его странный голос и пожатие руки, что показалось самым странным,— за всю их жизнь он протянул ей руку лишь один раз: когда уходил на войну. Вспомнила, как она кричала и хотела броситься за ним, но передумала —

ведь он пошел к Пеструхе — и решила окликнуть, когда он пойдет из хлева. Вспомнила, как долго стояла на пороге и как напоследок с горечью и раздражением сказала: «Корове больше рассказывает, чем мне!» Вспомнила, как он вышел и быстро зашагал вдоль живой изгороди, ни разу не оглянувшись, и как у нее не было сил позвать его, хотя крик разрывал ей грудь; неведомая сила сжала ей горло и приказала: «Отпусти его! Отпусти, ему надлежит идти своим путем!» Вспомнила, с какой неохотой подчинилась этому приказу, потому что не привыкла к чужим приказаниям, вспомнила, как уменьшалась его плечистая фигура, как постепенно исчезала за белым склоном и, наконец, вовсе исчезла; лишь голова в меховой шапке, подобно черному шару, некоторое время катилась по краю белизны, а потом и она вдруг исчезла, словно провалилась в пропасть. Вспомнила свои слова в ту минуту: «Вот он повернул к Скопичнику!» — вспомнила, как больно закололо в груди, словно этот черный шар невидимой нитью был привязан к ее сердцу и теперь, проваливаясь в пропасть, увлекал ее за собой. Вспомнила, как взмахнула руками и ухватилась за косяк, чтоб не упасть. Вспомнила, с какой мукой вернулась в кухню и без единой мысли в голове начала искать Ернееву арнику и его трижды очищенную водку, чтобы приготовить ему горький напиток, чего никогда до сих пор не делала. Вспомнила, как все горело у нее внутри и как она боялась думать о случившемся, как ей показалось, будто кто-то чужой вошел в дом; как она открыла дверь в сени, но там было пусто, и она вернулась в кухню и снова занялась приготовлением горького напитка. Вспомнила, как еще дважды выглядывала в сени, а потом замерла у печи, хотя ей все время продолжало чудиться, будто кто-то вошел в дом.

Тогда-то и поселился в доме невидимый и неслышный гость: окаменевшее недоброе время. И этот невидимый гость теперь стоял у нее за спиной.

«Долго их нет!» — подумала Темникарица, не сводя глаз с рубежа белого пространства. И тут же качнулась и ухватилась за косяк — из-за белого склона показались холодные каски, сверкавшие холодным блеском, словно глаза змеи.

— Пришли! — произнесла она. Сердце ее тоже окаменело. Но не стало мертвым камнем, ибо окаменело оно не от страха, а от горчайшей на свете обиды и, значит, стало живым камнем, кремнем, таящим огонь в своих жилах и жилках. В душе Темникарицы все было готово к схватке и к концу, хотя она этого и не сознавала. Ведь человек воистину велик тогда, когда сам не ведает о своем величии.

Змея все росла, приближалась. На белом фоне во весь рост встали четыре немецких солдата в касках. А потом над касками заплясала маленькая головка в фуражке домобрана*.

— Проклятая Каланча,— узнала Темникарица.— Опять с ними этот чертов Заплатар!

Солдаты в касках оторвались от тела змеи и, выставив вперед винтовки, медленно пошли к дому. Заплатар опасливо плелся за ними. Остановились возле хлева.

— Вы одна? — закричал Заплатар.

Темникарица не ответила.

Они подошли ближе и встали в двух шагах от порога.

— Добрый день, мать! — произнес Заплатар. В голосе Проклятой Каланчи вовсе не было твердости, во взгляде — тем более.

* Домобранами в 1941—1945 гг. назывались в Словении и Хорватии солдаты воинских формирований профашистских правительств.

— И ты смеешь произносить слово «мать», Проклятая Каланча? — спокойно спросила Темникарица.— Как у тебя только язык не отсох!

Заплатар завертел головой, словно получив оплеуху, и язык его на какое-то время будто в самом деле присох к гортани. Но потом он с угрозой протянул:

— Что это вы так сегодня разговариваете?

— Давно бы так следовало заговорить! — невозмутимо ответила Темникарица и снова уперлась взглядом поверх его головы в далекий склон.

— Вы в своем уме?

— Наконец-то в своем!

— А не слишком ли рано? — язвительно спросил Заплатар, но в его словах было больше страха, чем яда.

— Бедняга, позже тебя и в помине не будет.

— Замолчите! — зашипел Заплатар.

— Чего орешь, убогий! — свысока посмотрела на него Темникарица.— Ведь сам хорошо знаешь, что тебе конец!

— Тихо! — вскипел он.— Отвечайте, вы одна?

Темникарица не ответила, глядя поверх него.

— Отвечайте!

— Нет, мы больше не одни,— спокойно ответила она, не моргнув глазом.

— Что? — разинул рот Проклятая Каланча.

— Вон там стоит твоя Немецкая Смерть! — продолжала женщина все так же спокойно, указывая рукой куда-то над его головой.

Заплатар оглянулся. Шагах в десяти от дома посреди снежной целины недвижимо стоял немецкий лейтенант, очень высокий и худой. Каска закрывала почти половину его маленького бледного лица. Виднелись лишь костлявый подбородок, прямая линия узких губ да большие черные очки, казавшиеся глазными впадинами на голом черепе.

— Он что, боится шаг вперед сделать? — спросила Темникарица.

— Заплятер! — прозвучал в этот момент дребезжащий голос Немецкой Смерти.

— Явольгеррштурмфюрер! — прокаркал Заплатар и задрожал.

— Чего дрожишь? — спросила Темникарица.

— Молчать! — вне себя закричал Заплатар.— Скажите, вы одна?

— Да ведь я тебе уж сказала, что не одна.

— Что?

— Перестань дрожать, Проклятая Каланча. Говорю тебе, теперь мы уже не одни, Ерней вернулся. Или ты его тоже боишься?

— Заплятер! — снова подал голос Немецкая Смерть.

— Явольгеррштурмфюрер! — молнией повернулся на каблуках Заплатар и прежним скрипучим голосом доложил:— Никсбандитен, геррштурмфюрер*.

Лейтенант резким жестом вскинул длинную руку. Низенький круглый итальянский офицер, стоявший немного поодаль, засвистел. Змея зашевелилась, и в тот же миг из-за всех углов высунулись винтовки и головы в разных головных уборах. Теперь Темникарица воочию смогла убедиться, что возле ее дома собрался на-

* Нет бандитов, господин штурмфюрер! *(Искаж. нем.)*

стоящий сброд: немцы, итальянцы, бородатые четники и несколько местных предателей.

— Сколько собак набежало! — произнесла она.

— Что? Каких собак? — разъярился Заплатар.

— У твоей Немецкой Смерти много собак,— спокойно ответила Темникарица.— Всех пород.

— Мать, вы плохо кончите! — заскрипел Заплатар.

— Ты, Проклятая Каланча, не называй меня больше матерью! — сурово сказала Темникарица.— А вот теперь я у тебя спрошу: ты подумал о том, какой конец тебя ждет? — и не стала дожидаться ответа. Она увидела покрытый кровью топор, торчащий у него из-под мышки.— Тебя в палачи возвели? — спросила она, указывая на топор пальцем.

— Замолчите! — захлебнулся тот.— Это ваш топор!

— Наш? — встрепенулась Темникарица, широко открывая глаза. Она узнала топор. И ей стало ясно, куда держал путь Темникар.— Он был в Робах? — всхлипнула она.

— Был! Теперь вы знаете, кто из нас палач! — угрюмо ответил Заплатар и вогнал топор в колоду.

— Знаю! — медленно кивнула женщина.— О, знаю! Каждый волк пастуха палачом называет, когда тот топором защищается.

— Какой волк? — забормотал Заплатар.

— Крещеный. Лужника вот только не вижу. Неужто вовсе не увижу?

— Нет!

—Убрал он его с дороги?

— Всех пятерых перебил! — хмуро произнес Заплатар.

— Один?

— Один!

— О, Ерней! — воскликнула женщина, молитвенно складывая руки и поворачиваясь в сторону холма.

Четыре коротконогих оборванных солдата подтащили носилки к порогу и опустили их в снег. Тело Темникара с головой накрывала его старая австрийская солдатская шинель.

— О, Ерней!..— тихонько воскликнула Темникарица. Но не заголосила, не стала ломать руки, не бросилась к нему, хотя никогда прежде ей этого не хотелось с такой силой. Она чувствовала, что сейчас не время, ее слабость доставила бы им только радость, а этого позволить себе она не могла, и Ернею это пришлось бы не по душе. А она хотела быть такой, как он. Поэтому она выпрямилась, показала рукой на дом, и голос ее прозвучал повелительно: — Внесите его!

Солдаты поняли ее жест, но, как выдрессированные псы, вопросительно оглянулись на круглолицего итальянского офицера, стоявшего рядом; тот несколько менее раболепно, но столь же вопросительно оглянулся на Немецкую Смерть,— лейтенант теперь стоял у колоды, держа руку в перчатке на топорище.

— Заплятер!

— Явольгерршурмфюрер!

Лейтенант взмахнул рукой в сторону двери.

Заплатар вступил в сени, настежь распахнул дверь в комнату и остановился на ступеньках. Следом за ним подскочил солдат в каске и прикладом оттолкнул Темникарицу с порога, да так, что она словно перышко отлетела к лестнице и упала. Заплатар наклонился, чтоб помочь ей встать, но Темникарица, ударив его по руке, сама поднялась и прислонилась к стене. Солдаты подняли тело Темникара и внесли его в дом.

После этого в сопровождении итальянского приспешника в комнату торжественно вступил Немецкая Смерть. Низко нагнув голову, выставив вперед каску, лейтенант выпрямился только посредине комнаты и опасливо огляделся. Вдруг он вздрогнул всем телом — это в окно неожиданно ударилась квохчущая курица. Со двора неслось испуганное кудахтанье — ослепленные снегом птицы носились по двору.

Лейтенант презрительно фыркнул, показав в ледяной усмешке золотые зубы, и неторопливо повернулся к итальянцу.

— La decapitazione delle galline!* — произнес тот и развел короткими ручками.

— La decapitazione delle galline,— сурово повторил лейтенант, кивнул и присел к столу. Он отпихнул локтем деревянную ложку Темникара, и она с глухим стуком упала на пол. Потом немец медленно снял каску, обнажив круглый и совершенно голый череп. Так же медленно он снял черные очки, и в глубоких впадинах ледяным светом засверкали маленькие зеленые глазки. Он полез в карман за платком и вытер пятнистый лоб и бугристый череп. Извлек из кармана очки в золотой оправе, тщательно протер их платком и водрузил на нос. Потом выложил на стол золотой портсигар, зажег сигарету, выпустил дым через ноздри и оглядел комнату. Взгляд его, холодный и пронизывающий, остановился на старых ходиках.

— Заплятер!

— Явольгерштурмфюрер!

Немецкая Смерть пальцем указал на печь.

Заплатар вошел в комнату и стал растерянно переводить глаза с печи на стол.

— Die Uhr,** — нетерпеливо произнес Немецкая Смерть и жестом велел запустить маятник.

— Явольгерштурмфюрер! — захлебнулся Заплатар, поспешно выполняя приказ.

Раздалось тиканье, непривычно громкое, решительное и живое.

«А ведь и правда»,— столь же громко застучало сердце Темникарицы.

— Зачем я остановила ходики? Он же не мертвый! Нет, Ерней не мертвый! — сказала она и заглянула в комнату.

Ерней лежал на полу и казался еще больше, чем при жизни. Он лежал на спине, под старой австрийской солдатской шинелью, и Темникарица всей душой чувствовала: он лежит, но именно поэтому он выше всех, великий и непобедимый, он и мертвый так могуч, что никакой силе его не сломить.

— О Ерней! — шептали ее губы.

И она поняла, что и ее тоже никому не сломить. От этого странного, до удивления странного, непонятного чувства сердце ее забилось еще сильнее. Она посмотрела вокруг себя, и все, кто был в комнате, показались ей трусливыми, жалкими ничтожествами, обреченными на гибель, а сама она больше о ней не думала. Она смерила взглядом Немецкую Смерть: лейтенант стоял у стены и, держа в сложенных за спиной руках очки в золотой оправе, разглядывал старинные, рисованные на стекле картины,— это было трусливое, жалкое ничтожество, обреченное на гибель. Она смерила взглядом пузатого коротышку итальянца,— он топтался возле стола, подобострастно пялясь на картины, и выглядел еще более трусливым и жалким ничтожеством, тоже обреченным на гибель. Она смерила взглядом и Проклятую Каланчу,— Заплатар переминался

* Обезглавливание кур *(итал.)*.

** Часы *(нем.)*.

рядом с ноги на ногу. Этот уж был самым большим ничтожеством, жалким трусом, и приметы смерти столь отчетливо проступали на его лице, что ей даже стало его жалко.

— Несчастный...— негромко произнесла она.

Заплатар вздрогнул и удивленно посмотрел на нее.

— Жаль мне тебя, ведь ты такой несчастный,— тихо и проникновенно сказала Темникарица, так что Заплатар даже затрясся.

— Молчите!! — зашипел он.

— Заплятер!

— Явольгерштурмфюрер! — почти прокукарекал Проклятая Каланча, и лейтенант оглянулся на него.— Явольгерштурмфюрер!

Поманив его пальцем, лейтенант опять повернулся к стене и стал вглядываться в картину, изображавшую усекновение главы святого Павла.

— Interessante! Molto interessante,— угодливо закивал приспешник.— Un bel lavoro!*

— Un bel lavoro! — осклабился лейтенант, обнажая золотые зубы.— San Paolo decapitato dai romani!**

— Eh...— итальянец покорно развел руками и втянул голову в плечи.

— Un grande popolo i romani!***,— произнес лейтенант.

— Un grande popolo! — просиял приспешник и высоко поднял голову.

— Adesso i romani sono piccoli,—сказал лейтенант, выпрямляясь и глядя на него свысока.— E sono cristiani. Non tagliano piú le teste ai santi, tagliano le teste alle galline****.

Итальянский приспешник потускнел, и снова его голова ушла в плечи.

— Заплятер! — сказал лейтенант, тыча пальцем в «Усекновение главы св. Павла». Несмотря на свою незамысловатость, картина и впрямь была впечатляющей и страшной.

— Явольгерштурмфюрер! — Заплатар осторожно снял картину и еще осторожнее положил ее на стол, видимо отчетливо понимая, что если он ее разобьет, то может поплатиться жизнью.

Лейтенант отобрал две другие картины, потом, водрузив на нос золотые очки, сел к столу, закурил еще сигарету, скучающим взглядом обвел стены и, наконец, показал пальцем на Темникарицу.

— Идите сюда!— повернулся к ней Проклятая Каланча.

Не рассчитав силы, женщина слишком быстро оторвалась от стены и чуть не упала. Заплатар подскочил было, чтобы ей помочь, но она остановила его взглядом, оттолкнула движением руки и, собрав силы, решительно вошла в комнату.

— Заплятер! — зашипел лейтенант.

— Явольгерштурмфюрер! — дернулся Заплатар и схватил Темникарицу за плечо.

— Чего он орет? — спросила женщина.— Я ведь только на Ернея взглянуть хочу.

Она стряхнула чужую руку со своего плеча, опустилась на пол и медленно откинула шинель. Ерней был покрыт пятнами заледеневшей крови. В комнате кровь стала оттаивать и сверкала подобно росинкам на багряном цветке. Лицо Ернея было чистым, прекрасным и спокойным. На губах застыла улыбка, та самая стран-

---

* Интересно! Очень интересно! Хорошая работа! *(Итал.)*

** Святой Павел обезглавлен римлянами! *(Итал.)*

*** Великий народ — римляне! *(Итал.)*

**** Нынче римляне не те. К тому же они христиане. Они больше не рубят головы святым, они обезглавливают кур *(итал.)*.

ная улыбка, которая всю жизнь раздражала ее своей непонятностью. Теперь Темникарица все поняла. Раньше в его улыбке отражались воображаемые победы, теперь — победа действительная, поэтому улыбка и перестала быть таинственной, она говорила о спокойной гордости и удовлетворении.

— Заплятер!

— Явольгерртурмфюрер!

Темникарица встала и, не отрывая взгляда от тела Ернея, подошла к часам.

— E gli altri?* — заговорил итальянский приспешник и победоносно посмотрел на Немецкую Смерть.

— Заплятер!

— Явольгерртурмфюрер! — снова дернулся Проклятая Каланча и повернулся к Темникарице.— А где Тоне? И Юстина? Дома?

— Оставьте их в покое! Кончайте со мною! — твердо произнесла женщина, но в голосе ее звучала мольба.

— Заплятер!

— Явольгерртурмфюрер! — Заплатар принялся было переводить, но лейтенант, не дослушав его, позвал солдат, остававшихся в сенях.

В комнате загромыхали подкованные башмаки, заскрипели ступеньки, захлопали двери, затрещал потолок.

Раздался короткий нечеловеческий вопль.

— Тоне!..— отдалось в сердце матери.

Однако сперва в комнату втолкнули Юстину. Мать прижала ее к себе.

— Ничего страшного не будет!..— твердила она, стискивая ее руку.— Только тихонько!.. Ничего страшного не будет!

Юстина не сводила с нее покорных глаз, полных детского доверия.

Потом два солдата притащили Тоне. Они пытались поставить его на ноги, но ноги тащились следом за ним, словно чужие. Солдаты толкали его и безжалостно, как мешок, встряхивали.

Немецкая Смерть презрительно взмахнул рукой. Солдаты отпустили руки, и Тоне упал на пол. Он корчился, словно в припадке падучей, и отрывисто всхлипывал.

— Тоне! — Темникарица опустилась на колени.— Тоне!.. Ничего страшного не будет!.. Только тихонько!.. Ничего страшного не будет!..

Тоне вдруг дернулся, тело его свела судорога, он застонал и внезапно смолк.

— Отошел...— замерло материнское сердце. Она вытерла ладонью холодное мокрое лицо сына и закрыла ему глаза. Так лучше, думала она, невыносимо было бы Ернею это видеть, а так эта пытка миновала его, у нее же достаточно сил, она вынесет.

— Morto?** — раздался голос итальянского приспешника.

— Заплятер!

— Явольгерртурмфюрер! — Заплатар схватил Темникарицу за плечо.

— Нет его больше в живых, слава господу! — вздохнула женщина и, в последний раз погладив сына по голове, поднялась.

— Tot!*** — сообщил Заплатар.

---

* А где остальные? *(Итал.)*

** Мертв? *(Итал.)*

*** Мертв *(нем.)*.

Немецкая Смерть выдохнул дым через ноздри. Потом посмотрел в сени, где с нетерпением переминался весь сброд, ожидая сигнала приступить к грабежу и разгрому.

Лейтенант оскалился и величественно кивнул головой.

И опять загромыхали подкованные башмаки и заскрипели ступеньки; захлопали двери, затрещал потолок, распахнулись створки шкафов и крышки сундуков.

Трех бандитов грабеж не интересовал. Сверкнув белыми зубами, словно выхватив ножи, они кинулись на Юстину. Девушка закричала. Темникарица оглянулась и увидела лишь обнаженные белые ноги, которые волочились по полу. Она бросилась вслед, но немецкий солдат ударил ее прикладом, она отлетела к печи и упала на пол.

— Хальт! — закричал Заплатар и побежал за Юстиной.

— Заплятер! — раздался резкий, угрожающий возглас.

— Явольгерштурмфюрер! — споткнулся Заплатар и вернулся в комнату.

Темникарица каменным изваянием стояла под ходиками, не сводя неподвижного взгляда с лица мужа.

«О Ерней! — мысленно разговаривала она с ним,— ты не видишь всего этого! Тебя это миновало!.. Я-то ведь знаю, что ты правильно поступил. Я не смогла бы так, но и ты не смог бы перенести то, что выпало на мою долю!..»

Ходики тикали громко и глухо, потому что рядом с ними стояло окаменевшее недоброе время...

Лейтенант еще раз окинул довольным взглядом награбленное добро, не спеша уложил картины в кожаную сумку, потом водрузил на череп глубокую каску, на глаза — черные очки.

— Заплятер! — поманил он указательным пальцем.

— Явольгерштурмфюрер! — подскочил Заплатар.

Лейтенант указал на револьвер Темникара, лежавший на столе, и пальцем словно бы выстрелил в Темникарицу, по-прежнему неподвижно стоявшую под часами.

Задрожав, Заплатар в ужасе оглянулся на нее.

— Заплятер? — удивился Немецкая Смерть.

— А-а-а...— дергался Заплатар.

— Заплятер? — еще больше удивился Немецкая Смерть.

— А-а-абер,—трясся Заплатар, но все же взял револьвер и повернулся к печи.

— Avanti! Coraggio!* — раздался голос итальянского приспешника.

— Стреляй, Заплатар! Я готова,— сказала Темникарица, выпрямилась и закрыла глаза.

— Was? — прошипел Немецкая Смерть и посмотрел на Темникарицу. Потом согнутым пальцем постучал по лбу Заплатара и засмеялся:— Nicht die Alte! Die Uhr!**

— Die U-u-uhr...— идиотски захихикал тот. С облегчением вздохнув, он вытер капли пота на лбу и трясущейся рукой спустил курок.

Что-то лопнуло и зазвенело, ходики начали бить и били не останавливаясь.

— Заплятер? — почти струхнул лейтенант и презрительно покачал шлемом.

Заплатар сделал один за другим еще два выстрела. Старые ходики разлетелись на куски, и их мертвые части посыпались на

* Вперед! Смелее! *(Итал.)*

** Не старуху! Часы! *(Нем.)*

пол. И только гибкая стальная пружина птицей просвистела в воздухе; отлетев на середину комнаты, она несколько раз подпрыгнула, потом откатилась к голове Темникара и долго еще билась и позванивала там, словно в ней таилась душа этого дома и она никак не могла отлететь.

— Часы разбил! — произнесла Темникарица, не открывая глаз. «Как же это он, несчастный, не может в меня попасть?» — думала она про себя. Она стояла, ожидая выстрела, и, не дождавшись, подняла веки.

Заплатар смотрел прямо перед собой и локтем вытирал мокрый лоб. Немецкая Смерть натягивал перчатки и скалил золотые зубы.

— Что такое? — сказала Темникарица.— Или не кончил?

Лейтенант встал, потрепал по плечу Заплатара и, перешагнув через мертвого Тоне, вышел. Итальянский приспешник проворно выкатился следом.

На миг воцарилась пустая настороженная тишина.

— Как же это ты меня не задел? — спокойно спросила Темникарица.

— Замолчите! — разъярился Заплатар.— Я в часы стрелял.

— В часы-то зачем? — удивилась женщина.— Они-то в чем, бедные, виноваты.

— Ни в чем! Такая у него привычка.

— Дурак!..

— Дурак! — хрипел Заплатар.— Это у него сигнал, что нужно кончать все...

— Ведь я заранее это знала! Только почему же ты со мной не кончил?

— Я-я-я?! — дрожал Заплатар, не в силах поднять на нее глаза.

— Чего дрожишь? Ведь тебе не впервой.

— Замолчите!

— Покончил бы лучше со мной!

— Замолчите! — зашелся он в крике и пошатнулся.

На дворе раздался резкий свист.

В доме снова все заходило ходуном; свора бандитов, нагруженная добычей, повалила в сени.

— Уходите! — прохрипел Заплатар и потянул Темникарицу за руку.— Сейчас зажгут!

— Пусти меня, несчастный! — сурово сказала Темникарица, вырывая руку. Подбежав к Темникару, она встала возле него на колени. Погладила его лоб и щеки своей шершавой прозрачной старческой ладонью, потом медленно накрыла тело ветхой австрийской шинелью. Наклонилась к Тоне и погладила его по голове, потом вдруг опрометью кинулась за дверь, взяла рушник, встряхнула его и аккуратно накрыла лицо сына.

— Заплятер! — неслось со двора.

Заплатар, содрогнувшись всем телом, схватил Темникарицу и выволок ее из комнаты.

Немецкая Смерть оцепенело стоял возле большой черной колоды, и держа руку в перчатке на топорище, другой через плечо указывал на огороженный садик.

— Явольгерртурмфюрер! — отозвался Заплатар и потащил Темникарицу в гору.

— Пусти! — Она снова вырвала свою руку. И сама пошла наверх. Встала у большого куста шиповника, проглядывавшего сквозь почерневшую трухлявую изгородь. Поправила на себе платок, взглядом обвела двор.

— Юстина!.. Где Юстина?.. Живьем сгорит!..

Заплатар качнулся и сделал шаг вперед.

Она жестом остановила его, потому что тут же ее осенила другая мысль.

— Ведь она уже мертвая! — И в голосе ее прозвучало облегчение.— А если и не мертвая, то лучше для нее остаться в доме. Хватит с нее!

— Я-я-я не-е виноват! — трясся Заплатар.

— Молчи, несчастный! Молчи! — ответила она тихим, хватающим за душу голосом.

В дверях показались взлохмаченные солдаты. Они вышли во двор и встали, как верные псы, послушно ожидающие нового приказания.

Немецкая Смерть поднял руку, чтоб стереть все перед собой, но помешал итальянский приспешник. Размахивая руками, он кричал:

— E la figlia? E la figlia, la maledetta puttana?*

Лейтенант величественно опустил руку и пожал плечами, приспешник повернулся к солдатам и размашистыми жестами южанина растолковал им, в чем дело. Сверкнув зубами, солдаты вернулись в дом.

Темникарица впилась взглядом в двери своего дома. Она увидела, как из тьмы появилось обнаженное белое тело, судорожно извивающееся в руках несущих.

— Юстина! Юстина! Ничего страшного не будет!..— Раскинув руки, она устремилась к дому.

— Заплятер! — прозвучал резкий голос.

Заплатар кинулся за Темникарицей и поймал ее руку.

— Пусти! — крикнула она и рванулась с такой силой, что, не удержавшись на ногах, рухнула в снег. Лежа неподвижно на земле, она смотрела на двери своего дома. Белое тело бросили оземь, потом солдаты подняли его и потащили к порогу. Больше у Темникарицы не было сил смотреть.

— Убейте ее! — закричала она.— Звери! Убейте ее!..

И, словно повинуясь ее приказу, Немецкая Смерть вытянул руку. Грянул выстрел. Солдаты отскочили в сторону, словно дикие звери, белое тело осталось лежать на пороге, такое белое, такое изломанное и неподвижное, словно никогда и не было живым.

— Я... я... я...— всхлипывал Заплатар, нагибаясь к Темникарице и пытаясь ее поднять.

— Молчи, несчастный! И не прикасайся ко мне! — глухо ответила женщина, но голос ее звучал так повелительно, что тот отскочил в сторону.

Медленно поднялась Темникарица, стряхнула снег с одежды. Она почувствовала, что избавилась от последней тяжести. Она была легкой, легкой и одинокой. И одиночество придало ей силу, сделало ее воистину непобедимой...

«О Ерней! Ты всего этого не видел! А если б видел, то не выдержал бы. Нет, не выдержал!..» Всем своим существом она чувствовала, что героизм мужчины так же отличается от героизма женщины, как различаются их роли в этом мире. Мужчина — герой в бою, женщина — в страдании, а страдание нередко оказывается страшнее самого страшного боя. И она радовалась, что Ернея нет в живых.

Она вернулась в садик и снова оперлась на изгородь возле

---

* А дочь? А дочь, эта проклятая потаскуха? *(Итал.)*

большого куста шиповника. Поправила платок и с трудно постижимым удовлетворением подумала о том, что все свершается в определенном порядке: сперва ушел Ерней, потом — Тоне, потом — Юстина, она — последняя, матери всегда последними уходят на отдых... Вздохнув, она посмотрела вверх. Над ее головой простиралась холодная и неумолимая синева без единого облачка...

— Я... я... я... не-е виноват! — опять выдохнул Заплатар.

— Молчи, убогий, молчи! — ответила Темникарица, не поворачивая к нему головы.

Из двери повалили клубы густого дыма. Окна окрасил багровый свет. Начали лопаться стекла. Пламя вырвалось наружу. Огонь облизнул стену и, словно сказочное ненасытное существо, устремился ввысь, к крыше.

«Как медленно горит!» — подумала Темникарица.

Долго еще языки пламени выскакивали в окна и пробивались сквозь деревянную стену, долго мяли со всех сторон соломенную крышу, хлестали ее, рвали, кусали...

В хлеву замычали коровы. Кто-то распахнул ворота. Три коровы кинулись в поле, Пеструха понеслась к углу дома. Увидев чужих людей, она на миг замерла, как вкопанная, потом с мычанием поскакала по двору. Раздались крики и смех, прогремела автоматная очередь. Пеструха мчалась вверх по склону к садику, но ноги ее подогнулись, и она упала, красная кровь брызнула на белый снег.

— О Ерней, этого ты тоже не видел! — сказала Темникарица.

А потом застонала крыша дома, застонала, словно живой человек, умирающий в жутких судорогах.

— Ерней! Тоне! Юстина!..

Крыша рухнула. Языки пламени взметнулись ввысь, точно вдруг разверзлось жерло вулкана. Мириады искр понеслись мириадами огненных пчел вверх и во все стороны. Они роились во тьме, гасли, опускались на землю и черными червями точили белую шкуру снега.

Немецкая Смерть, поднявшийся было вверх по склону, вместе с итальянским приспешником медленно спускался во двор. Остановившись возле черной колоды, они озирались вокруг. Приспешник засвистел. Весь сброд стал собираться. Зашевелился и Заплатар.

— Что будет со мной? — спросила Темникарица.

— Молчите! — приглушенно прохрипел тот.— Может, позабудут про вас.

— Почему ж это они позабудут про меня? — воскликнула женщина, складывая на груди руки.

— Молчите! — зашипел он и поспешил поскорей убраться.

— Заплатар!

Голос Темникарицы услыхал приспешник и в свою очередь заторопился:

— E la vecchia? E la vecchia?*

— Schuss!** — утомленно отмахнулся Немецкая Смерть.

Трое солдат в касках, выстроившись шеренгой, взяли винтовки наизготовку. Но в эту минуту лейтенант оглянулся и увидел Заплатара, спускавшегося во двор. Его тонкие губы искривились в гнусной ухмылке.

— Заплятер!

— Явольгерршгурмфюрер! — Заплатар, словно споткнувшись, замер на тропе.

* А старуха? А старуха? *(Итал.)*

** Расстрелять! *(Нем.)*

— Schuss! — холодно произнес лейтенант и длинной рукой указал на Темникарицу.

Заплатара била дрожь.

Выпрямившись, Темникарица закрыла глаза.

— Schuss! — повторил лейтенант, обнажая золотые зубы.

— А... а... абер...— всхлипывал Заплатар, еле держась на ногах.

— За-пля-тер!..

— А... а... абер...— продолжая всхлипывать, он снимал автомат.

Снова подкатился приспешник:

— Fucilare? Ma no! Oggi é santo Stefano. Dovrebbe essere lapidata!*

— Was?

— Lapidare! Lapidare! — повторял итальянский приспешник; подняв комок грязного снега, он показал, что Темникарицу следует закидать камнями.

— Lapidare? — надменно нахмурился Немецкая Смерть.— Giustizia romana!**—презрительно качнул он головой. Потом твердо положив руку в перчатке на топорище, решительно отрубил:

— Giustizia germanica: decapitare!***

— Decapitare? — пришел в ужас итальянский приспешник.— Ma questo è orribile! E orribile!****

— De-ca-pi-ta-re! — стальным тоном повторил Немецкая Смерть и оглянулся.— Заплятер! — воскликнул он, указывая сперва на Темникарицу, а потом на черную колоду для рубки дров.

— Явольгерштурмфюрер...— заикался Заплатар, не в силах сдвинуться с места.

Темникарица поняла, что ее ожидает. Оторвавшись от ограды, она медленным, но твердым шагом стала спускаться по склону. Поравнявшись с Заплатаром, спокойно сказала:

— Не надо так дрожать, Заплатар! Идем! Ничего страшного не будет...

— Мать!..— всхлипнул тот, не двигаясь с места.

— Идем! Ничего страшного не будет!..— повторила женщина, беря его за рукав.

Дрожа всем телом, он послушно последовал за ней.

Вся свора, разом утихнув, собралась в круг.

Темникарица подошла к колоде и остановилась.

Немецкая Смерть пальцем поманил к себе одного из солдат и жестами показал ему, что Темникарице нужно отрубить голову. Тот изумленно сверкнул глазами и закивал. В воцарившейся тишине он выдернул топор и рукой стер с поверхности колоды почерневший снег. Потом, отойдя на два шага в сторону, нагнулся и пальцем провел по лезвию.

Темникарица подняла голову и, повернувшись к Заплатару, громко спросила:

— Я слыхала, будто у приговоренного к казни спрашивают последнее желание?

— Что бы вы хотели? — растерянно всхлипнул тот.

— Чтобы ты отрубил мне голову.

— Мать...— У него подкосились ноги.

---

* Расстрелять? Нет! Сегодня день святого Стефана. Надо забросать ее камнями! *(Итал.)*

** Римское правосудие! *(Итал.)*

*** Германское правосудие: обезглавить! *(Итал.)*

**** Но это чудовищно! Чудовищно! *(Итал.)*

— Теперь я тебе в самом деле мать,— сказала женщина.— И после этого я тебя прощу.

— Заплятер?

— Мать!..— со стоном Заплатар повалился на колени.

— Заплятер! — подскочил на месте Немецкая Смерть.

Темникарица повернулась к нему, ткнула пальцем в Заплатара, корчившегося у ее ног, и провела рукой себе по затылку.

Лейтенант был настолько потрясен, что на мгновение лишился дара речи. Потом странная гримаса исказила его лицо, и он утвердительно кивнул головой.

Темникарица не спеша подошла к колоде.

Лейтенант выпрямился и отступил на три шага. Тишину рассек его металлический голос:

— Заплятер!

— Мать!..— всхлипывал Заплатар, протягивая руки к Темникарице.

— За-пля-тер!..

Заплатар упал лицом в снег. К нему подскочил немецкий солдат и ударил его прикладом. Подскочил другой солдат и тоже нанес удар. Взяв Заплатара под мышки, они поставили его на ноги.

— А... а... абер,— раздался нечеловеческий вопль.

— Заплятер! — прошипел Немецкая Смерть, хватаясь за пистолет.

Солдат подошел к Проклятой Каланче и обеими руками протянул ему топор.

— Заплятер! — Немецкая Смерть поднял руку.

Тот пошатнулся и инстинктивно протянул вперед свои тощие руки. Почувствовав в ладонях тяжелый топор, он содрогнулся всем телом и взвыл.

— Не вой, несчастный! — спокойно сказала Темникарица.— Ничего страшного не будет...

— Мать!..

Солдаты подошли к Темникарице, чтоб поставить ее на колени. Она кивнула им, в полной тишине сняла с головы платок и накрыла им колоду. Опустившись на черный снег, она положила голову на платок и закрыла глаза.

— Заплятер! — разбил тишину приказ.

— Мать, сжальтесь надо мной! — простонал Заплатар.— Сжальтесь...

— Не кричи, несчастный! — невозмутимо ответила Темникарица, не открывая глаз.— Я сжалилась над тобой. Отрубишь мне голову, и тебе все простится.

— Мать...

— Ничего страшного не будет, Заплатар!..

— Заплятер! — завизжал лейтенант и выстрелил поверх его головы.

Заплатар зашатался, словно пуля попала в него. Потом вдруг выпрямил свое длинное тело, будто это была последняя вспышка его жизни, и топор на длинном топорище взметнулся вверх,— и вместе с ним поднялись все взгляды. Топор взметнулся вверх — над обгорелой стеной, над дымом пожарища, к неумолимой синеве без единого облака. Отточенное лезвие сверкнуло в лучах холодного солнца, задрожало и стало быстро опускаться...

— Довольно! Довольно! — воскликнул Петер Майцен и затряс головой, отгоняя жуткое видение.— Довольно! Нет больше сил!.. Довольно,— повторил он громче, взмахнул руками и вскочил.

Он поднялся с такой стремительностью, что все закружилось у него перед глазами, в ушах зашумело и ноги стали ватными. Он снова опустился на пень и, прижав ладони к вискам, закрыл глаза, пытаясь прийти в себя. Но было уже поздно. Шум сгустился, перешел в сверлящую боль и в мгновенно наступившей черной тьме с безжалостной силой разлетелся искрами,— и среди искр снова засверкало лезвие топора.

— Довольно! — чуть слышно шептал он. Но это продолжалось лишь один миг. Головокружение прошло. Он крепко потер руками щеки и оглянулся вокруг.

Да, он сидел над Тихим долом. Вокруг было удивительно тихо и неподвижно, словно перед приближением грозы. Долина тонула в тяжелом иссиня-свинцовом, беззвучном свете. Он приближал окружающее, словно увеличительное стекло, резко очерчивая контуры вещей, но придавая всему неестественный безжизненный вид, точно долина вдруг перестала быть живой и реальной.

В груди закололо. Выпрямившись, он глубоко вздохнул. Подняв глаза, взглянул на виноградник. Листья были жесткие, будто вырезанные из жести, ржавые, совершенно неподвижные. Взгляд его опустился в долину к зеленому лугу, потом к темной речке, вдоль нее мимо черных ив — к бездонному омуту и замер на белых мостках, что ютились в черной тени черного граба. Он хотел было посмотреть дальше, через речку на дорогу, на левый склон, где стоял одинокий дуб, на цветущую гречиху и дом с красной крышей, но передумал и повел взгляд по реке к черному лесу, через лес к вершине черного холма и черным пикам гор. На небо он не смотрел. Чувствовал, что не нужно смотреть; где-то в глубине души он боялся снова увидеть топор, взнесенный в самую синеву и готовый вот-вот опуститься. Он понимал, что это лишь игра воображения, но все же инстинктивно втянул голову в плечи и рука его сама собою потянулась к шее.

«Ну, довольно»,— приказал он себе, выпрямился и посмотрел вверх. Небо было ясное и пустое, совершенно пустое. Медленно скользил взгляд по его просторам: синева, синева и синева — безмятежная, холодная, безжалостная...

— Топора нет, а она осталась,— пробормотал он, измученный и истерзанный, как после ночного кошмара.

Закурив, он жадно затянулся. Им овладела непереносимая физическая усталость. Он бросился в траву.

— Нет, это слишком страшно!—повторил он.—Слишком страшно...

Искоса он обвел медленным взглядом левый склон, и глаза его остановились на красной крыше, пылавшей на солнце.

— Да, это из-за тебя ожила жуткая картина,— в тоне его прозвучала легкая укоризна.

Широко раскрыв глаза, он прислушался к биению своего сердца. Оно сильно колотилось, как всегда в минуты вдохновения, но сейчас в том непостижимом наслаждении души и тела, той удивительной, чуть усталой радости, охватывавшей его в такие минуты, он не почувствовал чистоты: в них была горечь, неведомый страх и стыд, как бывает в первый миг тишины после любовного экстаза, только что пережитого любящими.

«Почему в наивысшей радости, которую рождает любое творчество, непременно присутствует капля горечи?»

Закрыв глаза, он ждал, пока исчезнет горечь, хотя в тайниках души со страхом чувствовал, что этого уже не будет. Горечь не исчезла.

«Откуда, как возникло это видение? — спрашивал он себя, и вопрос этот целиком поглотил его внимание.— Откуда оно?.. Ведь ни о чем подобном я вообще не думал!.. И никогда не слыхал! Никогда... И уж конечно не видел!..»

«А две отрубленные головы?» — подала сигнал память...

И все ожило перед глазами...

Во время войны Петеру Майцену довелось однажды увидеть фотографию, найденную у пленного немецкого солдата: на пустом столе стояли две отрубленные головы, у одной из них в зубах была сигарета. Головы принадлежали крестьянам из Приморья, которых немцы казнили на обычной колоде. Снимок потряс Петера Майцена и навеки врезался ему в память. Лица казненных крестьян стали ему такими близкими, словно он знал их всю свою жизнь. Стоило закрыть глаза, как они оживали. Большей частью они появлялись где-то на границе яви и сна, в минуты страшной усталости, когда он не мог сомкнуть глаз. Сперва они возникали вдали, кружились в воздухе, все больше сближаясь друг с другом, потом останавливались в нескольких сантиметрах от него: выражение лиц было спокойным, то было навеки застывшее изумление простых людей. Вскоре Петер Майцен почувствовал, что когда-нибудь напишет об этих двух людях. Он решил съездить в Приморье, посмотреть места, где все это произошло, поговорить с их близкими и таким образом собрать необходимый материал. В папке с черновиками уже лежала страничка под названием «Обезглавленные» с несколькими скупыми записями. Он уже отчетливо видел лицо молодого немецкого солдата, отрубившего голову одному из этих крестьян — тому, что держал в зубах сигарету; видел, как упали немцу на лоб мягкие и прямые белокурые волосы, когда он нагнулся за топором, видел, как он выпрямился и мальчишеским движением откинул их, прежде чем поднять топор. Столь же отчетливо он видел мальчика лет шести, который стоял у одинокой лиственницы над домом; он стоял, как изваяние, только голые коленки его дрожали, да тряслись раскрытые и посиневшие губы, а на ресницах остекленевших глаз висели две круглые светлые слезинки... Видение это сгущалось и приобретало звучание, становилось все более и более угрожающим, и он уже начинал сомневаться, сможет ли он написать об этом. Но головы не исчезали из его памяти. Напротив. Они появлялись все чаще и чаще, и где-то в подсознании у Петера Майцена родилось убеждение, что они будут кружить в воздухе и стоять перед его глазами до тех пор, пока он не расскажет о них на бумаге.

«Да, очень может быть, что эти головы, преследующие меня уже добрых десять лет, связаны с историей Темника. Они могли породить ее. Но как?..»

Он повернулся на спину и потонул в синеве, раскинувшейся над ним.

«Допустим, это небо, что уходит в бесконечную вышину,— своего рода огромный граб. В нашей стране, этом маленьком водоеме, разыгрались страшные события, вопиющие к небу события. И что же?.. Неужели память о них навсегда исчезла?.. А может быть, небо сфотографировало их благодаря каким-то своим космическим силам и спрятало эти снимки где-то в бесчисленных пластах синевы? И они теперь постепенно проникают в души художников и будут проникать еще и через сто лет... Проникают они и в мою душу. Я пошел гулять, чтоб избавиться от гнетущих раздумий о смерти, успокоиться и прийти в себя, забрел на этот склон, привлеченный звуками неведомой трубы — а я совсем не убежден, есть ли она на самом деле,— и остался здесь, забыл о трубе, любовался чудесным видом, увидел сожженный и вновь отстроенный дом, и внезапно ожила история красной крыши, и вот уже на утихшую поверхность моего сердечного омута упал листок, вода расправила его, и перед моим взором встали новые картины... И какие картины!..»

Петер Майцен погрузился в раздумье.

«А что увидели бы мы, если б синева на самом деле показала нам все, что произошло в нашей стране? Миллионы мертвых!..»

«И среди них Темникарица!»

«Темникарица? — удивленно покачал он головой.— Темникарица?.. Непонятно!.. Она взорвалась, как вулкан, и стала почти сказочным персонажем».

— В том-то и трудность! — озабоченно произнес он.— Что мне делать с нею?.. Она разбивает сюжет. Но это еще полбеды.. Главное, она заслоняет Темникара. Был у меня герой, человек что надо, все вокруг гроша ломаного не стоили по сравнению с ним, и вот на́ тебе...

«А разве теперь он стал меньше?»

«Нет!.. Конечно же, нет! — вздохнул Петер Майцен. И это наполнило его радостью.— Ничуть не меньше!»

«Значит, вопрос в том, куда пристроить эпизод с Темникарицей?»

«Да. Или сделать так, будто это привиделось Темникару? А когда?.. И что потом будет с Темникаром?»

«Он может заколебаться. Я не говорю, что он может сломиться, судьба не позволит ему сломиться, но он может надломиться... И тем самым перестанет быть героем, высеченным из одной глыбы, каким виделся мне раньше».

«Но это тоже должно произойти».

«А что, если он ничего не представлял себе? Если я не покажу ему конец его семьи и его дома?»

«Тогда он в самом деле станет меньше... Впрочем, все это пустые слова. Разве ты не хозяин его души и его сердца? Это видение уже в нем».

— Разумеется,— пробормотал Петер Майцен.

«А где же он теперь?»

«Где он теперь?» — задумался Петер Майцен.

«На Мальновой горе он простился с Крном и повернул в Мелинский лес».

«Значит, вот-вот подойдет к Рейчеву лазу».

— Да, вот-вот подойдет к Рейчеву лазу...— Петер Майцен посмотрел на луг в глубине долины, разрезанной солнцем на две части: освещенную и теневую.— Сейчас он подойдет к Рейчеву лазу...— повторил он и перевел взгляд на опушку леса.— Подойдет к Рейчеву лазу...— в третий раз произнес он, ощущая уже грусть...

Темникар вышел к Рейчеву лазу. Шел он медленно и слегка утомленно. Да и выглядел постаревшим и маленьким. Согнулся, словно нес тяжкое бремя.

На опушке леса он остановился. Перед ним открылась широкая прогалина Рейчева лаза. И точно по середине ее проходила граница света и тени. По одну ее сторону снег был серебристым, искрился на солнце, казался теплым и живым, по другую лежала синеватая пелена и снег был холодным и мертвым.

Темникару стало зябко, зябко было и на душе, хотя сам он не хотел этому верить. Он потянулся за баклажкой, глотнул водки и снова посмотрел в тень.

— Скоро двенадцать,— произнес он, чтоб успокоить себя.— Неплохо!.. Псоглавые кроты подойдут сейчас только к Равнишской поляне, а может, и нет еще.

Он вытер потный лоб и опять приложился к баклажке.

— Вот так. А теперь вперед! — приказал он себе, но в голосе его уже не было прежней решимости.

Выпрямившись, он глубоко вздохнул и шагнул к самой границе света и тени. Замер перед нею, как на краю бездны. Какое-то время неподвижно смотрел перед собой, потом поднял голову:

— Пойду!..

Умыл снегом лицо и посмотрел на солнце.

— Теперь пойду... Туда... На ту сторону...— тихо сказал он самому себе и показал на тень.

Солнце чуть-чуть покачнулось.

— Пойду... Так уж вышло, надо идти... И мы больше с тобой не увидимся!..

Солнце снова покачнулось.

— Никогда тебе больше не светить мне... Никогда!..

Солнце кивнуло.

— Ну, твои-то лучи я сегодня еще увижу. Там...—Темникар показал на гладкую, круглую гору, где были деревенские сенокосы,— там, в Брезах я их увижу. Правда, как они угаснут сегодня вечером, не увижу, сам угасну прежде... Понимаешь?

Солнце кивнуло.

— Ну, а теперь пойду... переступлю... Э-э... нет, не так-то легко, оказывается, переступить с солнечной стороны на теневую. Веришь?

Солнце снова кивнуло.

— Так ничего мне и не скажешь? — с обидой произнес Темникар.

— Скажу,— заговорило солнце его собственным голосом.— Если ты сам не ступишь в тень, тень переступит через тебя.

Темникар посмотрел вперед. И увидел, что синеватая тень подползла к самым его ногам. Вздрогнув, он отступил на два шага.

— Что там еще? — проворчал он и покачнулся. На душе он снова почувствовал камень.— Что такое? — повторил он и быстро потянулся к баклажке, хотя отдавал себе отчет, что водка теперь не поможет.— Что такое?..

Издалека донесся звон.

«Полдень! Дома уже ждут!..— мелькнула мысль.— Вот что за камень у меня на душе!.. Как же я об этом не подумал?.. А завтра?.. Все праздники им испорчу!.. Почему бы не произойти всему чуть-чуть раньше или чуть-чуть позже!..»

«Не думай об этом! — ответил он самому себе.— У кого нынче праздники!.. Враг и по праздникам сжигает дома и убивает людей! Вперед!»

Он рванулся вперед, но ноги остались на месте.

«Бог знает, что будет, когда меня найдут?..— поежился он.— Могут сжечь всю усадьбу...»

«У многих уже сожгли! — ответил он сам себе.— Если бы каждый так раздумывал, как я сейчас, давно бы всех перебили! Иди!»

Но ноги словно вросли в землю.

«Их могут мучить... убить!..»

На это он не нашел ответа.

«Убить!» — Перед глазами снова возникли картины расправ и пожаров.

«Домой! — встрепенулся он.— Домой!..»

Он стремительно повернулся и зашагал к Мелинскому лесу. Но не сделал и двадцати шагов, как остановился точно вкопанный.

— А вечером в Чарьевой пещере будет лежать двенадцать трупов,— раздался в тишине тихий голос, и этот голос принадлежал ему самому.— А вечером в Чарьевой пещере будет лежать двенадцать трупов! — повторил Темникар, закрывая глаза.

Долго неподвижно стоял он на одном месте. И когда, наконец, повернулся, его нельзя было узнать. Это был не прежний Темникар. Ему было не семьдесят лет, ему была тысяча лет, и он стал на го-

лову выше. Лицо его превратилось в серый камень, только глаза не были двумя дырами, как на старых памятниках; в них пылал огонь, и по застывшим щекам медленно стекали слезы.

Слезы текли и по лицу Петера Майцена.

— Мой Темникар больше не принадлежит мне! — вздохнул он и покачал головой.— Теперь он уже вышел за пределы того мира, который доступен мне и который я кое-как сумел бы изобразить. Он вышел за эти пределы и живет сейчас по законам более высокой и более широкой трагической предопределенности, до которой мне не дано подняться...

Темникар снова подошел к границе света и тьмы.

— Теперь я пойду в Робы! — металлическим голосом сказал он, взглянув на солнце.

Солнце кивнуло.

— Они сожгли мой дом, убили мою жену, сына и дочь!.. Понимаешь?

Солнце снова кивнуло.

«Что? — поразился Петер Майцен.— Разве для него это уже стало правдой?.. Но ведь это и есть правда?..»

Темникар протянул руки, и солнце осветило его ладони. Потом он их сжал, будто хотел зачерпнуть солнечного света.

В этот миг запела труба.

— Иду, иду! — произнес он и ладонями вытер лицо, словно умывшись солнцем.

Снова запела труба.

Помахав солнцу рукой, Темникар выпрямился и решительно переступил границу света и тьмы.

— Прощай! — пробормотал Петер Майцен, и у него сжалось сердце при мысли о том, что Темникар навсегда простился также и с ним.— Прощай! — повторил он.— Ты перерос меня. Ты идешь вперед в Робы, в бой, а я...

Он не закончил фразы, потому что звук трубы поднял его на ноги. Он пришел в себя и прислушался. Труба пела где-то совсем рядом.

Петер Майцен огляделся вокруг. По тропинке выше виноградника шла девушка, неся на голове лохань с чистым бельем. На ней была черная блуза без рукавов и зеленая юбка.

— Да ведь это она! — воскликнул Петер Майцен, напрягая зрение.— Та самая, что остановилась у явора. Это она, Яворка! Да, так и назовем ее: Яворка!..

Он спустился на тропу, чтобы перехватить ее.

— Добрый день, девушка! — обратился он к ней по старой привычке.

Девушка не ответила и даже не остановилась. На ее красивом лице было удивление, а за ним скрывалось что-то еще, чего Петер Майцен не мог определить: какое-то особое выражение, с примесью печали и гордости, надежды и отчаянья.

— К омуту идете? — спросил он, указав палкой в сторону развесистого граба.

Девушка по-прежнему молчала и не останавливалась. Белыми руками она придерживала лохань, и ее сильное тело было натянуто как струна.

— Простите, что я к вам пристаю! — продолжал Петер Майцен и пошел рядом.— Кто это играет на трубе?

Девушка не ответила и не остановилась, лишь свысока посмотрела на него бездонными синими глазами, чуть повернув голову в его сторону.

— Неужели взаправду этой чертовой трубы не существует? — удивился он.

Девушка не ответила и не остановилась, глаза ее он больше не мог видеть, потому что, обогнув виноградник, она начала спускаться в долину.

— Что за черт? — пробормотал Петер Майцен, останавливаясь возле старой ивы.— Ушла, гордая как вила, презирающая простых смертных... И все-таки не очень веселая эта вила...

Девушка исчезла. В воздухе остался горький аромат печали.

«Что с ней? — спрашивал себя Петер Майцен.— И что сегодня со мной?.. Мне тоже становится все печальнее и тоскливее...»

Он оглянулся снова и затрепетал. Все вокруг снова было странным, почти нереальным: контуры холмов и деревьев, просторные поля и старые вербы, крыша на доме и дорога, белой змеей обегавшая склон, старый дуб и развесистый граб, омут и мостки, черная вода, что беззвучно текла теперь между черной травой. Все выглядело мертвым и пустым, пустым было и синее небо над головой — о, ни облачка на нем! — пустой была земля под ногами, пусто было в груди. Он был один.

Чувство невыразимого одиночества и полной заброшенности было хорошо знакомо Петеру Майцену.

«Устал я,— утешал он себя,— разбит... устал от видений... И от сомнений...»

Он прижался лбом к шершавому стволу старой ивы и закрыл глаза.

«Но не только со мной это происходит,— продолжал он.— Теперь...»

Неожиданно звуки трубы так сильно ударили его в спину, что он пошатнулся. Широко открыв глаза, он ждал нового удара. Труба опять запела. И близко, совсем рядом. В винограднике.

Петеру Майцену стало легче. Он подошел поближе и раздвинул кусты. В трех шагах от себя он увидел старика, который дул в трубу. Это был невысокий и коренастый старик, с тупым носом, широкими ноздрями, подбородок его зарос короткими серыми волосами, блестящую плешь окружал венчик жестких волос, брови напоминали густые кусты, лицо покрывала сетка синих прожилок, водянистые глаза излучали грусть, в глубоких морщинах таилась скорбь.

«Старый Пан»,— подумал Петер Майцен.

Рядом со стариком стоял мальчик лет пяти с круглым личиком, светлыми глазами и светлыми, кудрявыми волосенками. И у него в глазах было что-то печальное, а на губах лежала тень грустной улыбки.

«Юный Пан»,— подумал Петер Майцен.

Старый Пан протрубил две фразы грустной народной песни и тыльной стороной жилистой ладони вытер толстые губы.

— Еще! — произнес Юный Пан, умоляюще поднимая руку.

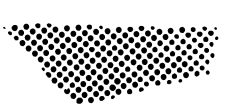
Старый Пан грустно взглянул на него и погладил по голове. Потом набрал в легкие воздуха и приложил трубу к губам.

Юный Пан взмахнул рукой, и труба загудела.

И тут Петер Майцен внезапно вспомнил слова этой песни:

Смерть моя придет,
мой погребок запрет!

(Окончание следует)



СТИХИ БОЛГАРСКИХ ПОЭТОВ

■

Перевод ЛОРИНЫ ДЫМОВОЙ

ЛАМАР

Гора

Я на горе стою, где море света,
где столько рек берет свое начало!
А по земле идет хмельное лето,
травой зеленой покрывая скалы.

И звезды тихо падают в озера.
Лес напевает песенку простую.
А я пришел в задумчивые горы,
чтоб встретить свою осень золотую.

Я вековую мудрость в песне слышу,
я чувствую в ней свежесть и прохладу.
...Зовет гора меня все выше, выше,
вселяя в сердце дерзость и отвагу.

Стоит гора в величье молчаливом
и утопает в сини беспредельной.
А там, внизу, поля неторопливо
сплетают золотое ожерелье.

И вот оттуда, сверху, из вселенной,
гора седые реки шлет на землю,
чтоб напоить своей водою пенной
леса и долы, что под солнцем дремлют.

Я остаюсь наедине с природой
и не могу на горы наглядеться.
Я думаю: «Великая свобода
дана здесь человеческому сердцу!»

Болгария моя шумит лесами.
И слушают задумчивые горы,
как реки озорными голосами
поют,
и звезды падают в озера.

Книгам, которые меня учили

Читал я о прекрасном царстве Дария,
об Аристотеле, о кладах ослепительных.
Написана была та книга старая
болгарским древним шрифтом удивительным.

Учился по складам читать глаголицу
и письмена Кирилла и Мефодия.
...А жизнь текла. Молчали скалы голые,
и Осым тек в долины плодородия.

В моей деревне сгорбленной и бедной
встречался я и с радостью, и с горем.
И солнце озаряло зыбким светом
прекрасные задумчивые горы.

Я Пушкина узнал и Достоевского,
читал ночами книги их запоем.
И мысли о прекрасной жизни Левского
меня лишали в эти дни покоя.

Я воевал неутомимо с ложью.
Я нес в душе стихи неповторимые.
Свобода в бой звала меня тревожно,
сияя мне своим прекрасным именем.

И стоя на седой горе печальной,
о Ботеве я думал и Раковском.
Там слушал я, как волны повторяли
взволнованные строки Маяковского.

А сколько грусти светлой и мятежной
ко мне пришло когда-то от Есенина!
Я всюду слышу песни его нежные,
когда шагаю по лесам весенним.

Мне помогли все эти книги щедрые
понять величье мира бесконечного.
Сплелись в них звуки звонкие и светлые,
и песни рек, и гор поэмы вечные.

БЛАГА ДИМИТРОВА

Вьет — нам

Разделена земля.
Трепещущее сердце
Бревенчатый порог,
и дедов, и отцов,
Семейный снимок
по самому лицу
Бамбука ствол
Растерзана река.
Разбита пополам
Распоротое небо

Разрублены деревья.
рассечено кинжалом.
что выстроган шагами
распилен пополам.
разорван посредине,
погибшей матери.
расколот гулким громом.
Разорены поля.
скупая горстка риса.
всю ночь горит огнем.

Стекает в землю пролитая кровь.

Эхо топора

Из глубины глухих бескрайних джунглей,
непроходимых для ума и глаза,
возникло топора глухое эхо.
А это значит — будет дом, огонь, судьба.

Надеждой населили люди джунгли.

Инструмент с одной струной

Утонувшие в вечерних тенях,
молчаливо и ошеломленно
слушаем вьетнамский инструмент.
Вот качнулись, как от ветра, пальцы
и дотронулись едва заметно
до одной-единственной струны.
И до нас донесся звон ручья,
птицы крик и приглушенный плач,
урагана бешеного вой.
А на самом краешке струны
слышу эхо собственного сердца,
словно не струна звенит, а я.
В миг, когда натянута струна
до разрыва пальцами сухими,—
целый мир на ней в тот миг звучит.

БОЖИДАР БОЖИЛОВ

Парадокс

Молодые поэты уже не хотят быть молодыми.
Молодые поэты теперь не хотят и стихи свои
печатать в журналах под рубрикой «молодые»...

А мое поколенье пришло с молодостью революции,
и долго, долго еще называли нас молодыми,
настолько долго, что не могли мы состариться,
настолько долго, что это определение
осталось за нами
как титул, как должность, как участь.

Ну что ж, не хотите вы, молодые,
быть молодыми?
Будем тогда молодыми мы!
Потому что вы жаждете сразу иметь все на свете.
А я хочу очень немногого:
оставьте мне молодость,
с нею меня похороните!

Утро

Джек, ты слышишь, как щебечут птицы?
Над землею серебрится утро.
Жадно дышат свежестью прозрачной
розы, гладиолусы, деревья,
иглы сосен, молодое солнце.
И трава твои щекочет лапы,
и бежишь ты, лая как безумный,
в этот миг безоблачного счастья.
Хорошо в такое утро человеку!
Но поверь, сегодня хорошо
чем угодно быть на этом свете:
птицей, гладиолусом, собакой,
бесконечной далью, чистым небом,
светлым солнцем и иглой сосновой.

Ведь все это — составная часть
счастья на земле прекрасной нашей.
Если вдруг один из нас исчезнет —
станет мир беднее и темнее.
И любовь с тревожным ожиданьем,
с чувством жажды, боли и тревоги,
что живет в сердцах,
не нарушает
тихого дрожанья серебра.

Это серебро прозрачным утром
в нас звенит —
и полон звоном мир...

ТОМИЭ ОХАРА

Ее звали о-Эн

ПОВЕСТЬ

■

Вступление и перевод с японского
И. ЛЬВОВОЙ

Томиэ Охара принадлежит к старшему поколению литераторов современной Японии. Она родилась в 1912 году на острове Сикоку, в потомственной интеллигентной семье — ее отец был директором начальной школы. Юная Томиэ тоже намеревалась стать учительницей, но тяжелая болезнь вынудила ее оставить педагогический институт.

Ее первые литературные опыты относятся еще к предвоенным годам, но по-настоящему активная творческая жизнь началась для нее после окончания второй мировой войны, когда она переехала в Токио. По сравнению со многими современными писателями Японии, прикованными к конвейеру так называемых «мас-коми» — средств массовой коммуникации: радио, газет, телевидения,— Томиэ Охара пишет немного, но ее повести, рассказы, романы всегда значительны по содержанию и изящны по форме. Признание демократической общественности Японии завоевали ее книги «Женщина дурной репутации», «История одной юности», «Морская ласточка», а повесть «Ее звали о-Эн» была отмечена двумя литературными премиями, а ее инсценировка с успехом шла на театральных подмостках.

Творчество Томиэ Охара глубоко связано с взрастившей ее родной землей, всеми корнями уходит в толщу народной жизни, национальных традиций. В потоке современной японской литературы с ее культом безысходности и неверием в человека произведения Томиэ Охара выделяются глубоким уважением к человеческой личности, верой в безграничность духовных сил человека.

Возможно, к такому жизнеутверждающему по сути своей мировоззрению привел писательницу ее жизненный опыт. Ее молодость прошла в 20-е и 30-е годы — время, насыщенное множеством драматических событий в истории Японии. В ранней юности она была свидетельницей бурного подъема демократического движения. Ее друзья увлекались революционной литературой, спорили и мечтали о первой пятилетке, слагали стихи о строительстве Байкало-Амурской магистрали и о советских девушках в красных косынках... Потом, в середине 30-х годов, наступила реакция, произвол жандармерии, аресты, тюрьмы, пытки и, наконец, война с ее неисчислимыми бедствиями. То был самый мрачный период в истории современной Японии, и, наверно, многим тогда казалось, что передовая мысль окончательно раздавлена сапогами военщины и ей уже не суждено возродиться...

Но Томиэ Охара сумела увидеть в этих трагических событиях не только крушение надежд, но и героизм нравственного сопротивления, которое не смогли сломить ни пытки, ни тюремные застенки. Сюжетный стержень большинства написанных ею произведений строится как конфликт между личностью и несправедливо устроенным миром. Ее герои — зачастую самые простые, обыкновенные люди, но они сознательно противостоят насилию и, даже погибая, умирают несломленными. Это люди, исполненные глубокого внутреннего достоинства, люди, которые любят жизнь. Таковы женские образы, живущие на страницах произведений Томиэ Охара; писательнице удалось выразительно запечатлеть в них характер японской женщины, в его неповторимом национальном своеобразии.

Действие повести «Ее звали о-Эн» развивается в отдаленное от нас время — на рубеже XVII и XVIII вв. Эта эпоха, еще сохранившая черты средневековья, тем не менее уже целиком принадлежит Новому времени. Так же, как и в Европе, в Японии закончились междоусобные войны. Наступила эра абсолютизма. В стране неуклонно развивались капиталистические отношения, что встречало яростное сопротивление со стороны феодальных властей.

Вопреки запретам властей передовые люди Японии того времени стремились к переустройству общества. Таковы персонажи повести Т. Охара — отец Эн, Нонака Кэндзан, и ее возлюбленный, ученый Синдзан. Полностью изолированные от внешнего мира, в условиях закрытой страны (феодальное правительство под страхом смерти запрещало всякий контакт с «иноземцами», и этот запрет соблюдался вплоть до буржуазной революции 1868 года), они не имели ни малейшей возможности приобщиться к достижениям современной им мировой науки и общественной мысли. Поистине достойно удивления, как, скованные конфуцианским учением — этой воинствующе-реакционной доктриной, которая была к тому же официальной идеологией, усердно насаждавшейся правительством,— эти люди тем не менее смело нарушали догмы традиционного мышления.

Так возникали различные «школы» и «ответвления», противостоявшие ортодоксальному, официальному конфуцианству. Правительство не заблуждалось относительно антифеодальной, оппозиционной сущности этих «школ» и жестоко расправлялось с их представителями.

Трагична и вместе с тем противоречива фигура Нонака Кэндзан, отца Эн, просвещенного правителя клана Тоса, мыслителя и деятельного экспериментатора-практика. Глубоко неудовлетворенный существующим положением вещей, он поставил своей целью создание идеального государства, процветающей экономики и всеобщего благоденствия в масштабах одного клана. Но мысливший конфуцианскими категориями Нонака Кэндзан пошел неверным путем и в результате погубил сотни крестьянских жизней во имя своих утопических планов, ибо пытался создавать новое, не изменив главного — старых, феодально-крепостнических отношений внутри общества. Так «просвещенный правитель» на деле оказался жестоким деспотом и, в конечном итоге, пал жертвой интриг, тем более успешных, что центральное правительство, пуще всего боявшееся чрезмерного обогащения отдельных княжеств, с подозрением следило за необычной активностью правителя клана Тоса.

Таков исторический фон, на котором развиваются события повести. Все факты в ней даны в соответствии с подлинной исторической правдой. Все главные действующие лица — Эн, ее братья и сестры, ее родители, кормилица Нобу и ученый Синдзан, которого она так беззаветно любила всю жизнь,— реальные люди, некогда жившие в клане Тоса (по современному административному делению — префектура Коти). Повесть Томиэ Охара, уроженки этой древней земли, вновь воскрешает перед нами их трагическую судьбу, что является для писательницы лишь поводом для постановки целого ряда современных проблем, из которых главная — вопрос об отношениях между государством и личностью, тем государством, в условиях которого прошла молодость и зрелые годы Томиэ Охара и где она живет и сейчас. Эта проблема, так же как и другие, разрешается в повести с гуманистических позиций. В этом — одно из главных достоинств повести, отмеченное прогрессивной японской критикой.

Глава I

Помилование

Сегодня к нам прибыл посланец дома Андо, он привез правительственную грамоту — помилование.

Когда посланец удалился, мы все — матушка, кормилица, мои сестры и я — обнялись и заплакали.

«Не плачь,— говорила я себе,—зачем же плакать?» — но слезы сами лились ручьем.

Матушке уже исполнилось восемьдесят, кормилице — шестьдесят пять, нам, сестрам, перевалило за сорок — все мы уже старухи. Мы обнимались и плакали, но каждая плакала о своем. Или, может быть, я одна встретила эту весть иначе, чем остальные?

Мы поздравляли друг друга, но мое сердце почему-то не ликовало от радости, хотя я тоже вместе со всеми обращалась с поздравлениями к матушке...

Двадцать девятого июня, ровно семьдесят пять дней назад, скончался мой младший брат, господин Тэйсиро. С того самого дня все мы страстно ждали наступления этого часа. Но больше всех ждала я. Душа изнывала от нетерпения. «Когда брат умрет, нас помилуют...» — думала

я. Больной и сам постепенно пришел к этой мысли, когда надежда на выздоровление исчезла.

— Когда я умру, всех вас простят, сестрица...— сказал он мне.— Вот единственная польза от меня сестрам и матушке...

— Не говори так! На что нам теперь свобода? Матушка, да и мы все уже состарились. Любая перемена сулит нам одно лишь горе. Пусть все идет по-прежнему, без изменений, без происшествий — в этом теперь наше счастье. Главное, чтобы ты был с нами. Выздоравливай и живи ради нас...

Я говорила искренне. Мне хотелось и дальше оставаться здесь, в нашей темнице, где я провела больше сорока лет. Пусть мне стукнет пятьдесят, шестьдесят лет. Пусть исполнится семьдесят или, как матушке, даже восемьдесят, я хочу оставаться здесь, думала я.

Эта мысль рождала в душе странное успокоение и какую-то горькую радость с оттенком иронии. «Эн Нонака, заточенная в темницу четырех лет от роду, схоронила здесь свою девяностолетнюю жизнь...» — пусть на моем надгробии напишут такие слова, если, конечно, вообще разрешат начертать наши имена на могильных камнях. Не *прожила*, а именно *схоронила*, ведь мне, в сущности, так и не пришлось *жить*.

Брат попал в заточение грудным младенцем, на руках у кормилицы; сейчас он сорокалетний мужчина, и вот — умирает...

Сорок лет провели мы здесь, не смея шагу ступить за ограду, без права жениться и выйти замуж. Нам запрещалось общаться с внешним миром, разговаривать с посторонними. Никому из нас — ни моим братьям, ни сестрам — так и не довелось *жить*. Здесь, в темнице, мы просто *существовали*.

Но сейчас сомнения не оставалось — брат умирал. Мы отчетливо сознавали: то непонятное, таинственное, что надвигалось на нас,— это смерть.

Друг за другом умирали мои братья и сестры в течение этих сорока лет. А младшие — и я в том числе — так и не узнали, что значит *жить*.

Тем не менее смерть неукоснительно навещала нас — людей, которым запрещено было *жить*.

Смерть приходила, соблюдая строгий порядок,— в первую очередь к тем, кто успел узнать *жизнь*.

Самой старшей была сестра. Она попала в заточение восемнадцати лет. Двумя годами раньше она вышла замуж за самурая нашего клана, господина Сиродзаэмона Такаги, любила его и уже имела ребенка, но ее разлучили и с ребенком, и с мужем — как дочь своего отца, она считалась виновной.

О ней, самой старшей, можно, пожалуй, скорее, чем о других, сказать, что она успела узнать *жизнь*. И смерть похитила ее первую.

Но все же сестра провела с нами целых три года. Она успела изведать *жизнь*, наверно, это помогло ей продержаться так долго, но именно по той же причине вытерпеть больше она не смогла.

На двенадцатый год после смерти старшей сестры скончался наш старший брат, господин Сэйсити. Ему исполнился тридцать один год.

Еще через четыре года умер второй брат, господин Кинроку. Миновало еще пятнадцать лет, и в 11-м году эры Гэнроку * ушел бесконечно любимый и почитаемый мною третий брат, господин Кисиро.

Единственным представителем мужского пола в роду Нонака остался теперь самый младший, господин Тэйсиро. И вот он тоже умирает. «Не хочу, не хочу!» — в отчаянии твердила я в душе.

Но я понимала, что брат уже обречен. Здесь, в неволе, я повидала много смертей. Я хорошо знала облик смерти.

---

* 1698 г.

Всего пять месяцев довелось Тэйсиро провести на свободе, младенцем его заключили в темницу, здесь он и умер, сорок лет проведя в неволе... От горя, от острой жалости к брату у меня перехватывало дыхание.

Но когда матушка вдруг сказала, что с его смертью род Нонака угас, и значит, нам тоже незачем больше оставаться в живых, давайте умрем с ним вместе,— все во мне возмутилось.

Я хочу жить! До восьмидесяти, до девяноста лет, только бы жить!

Я принялась, как умела, ласкать и утешать матушку, отговаривая ее от самоубийства. Ведь если все мы — и мать, и сестры — покончим с собой, некому будет даже убрать телю нашего несчастного брата. Некому будет молиться за упокой души отца и умерших в неволе братьев... Надо жить, дождаться помилования и воздвигнуть алтарь в память мертвых дома Нонака... И пока я убеждала ее, я вдруг поняла, что в душе уже уверовала в помилование и жду его.

...Если нас помилуют, я смогу выйти отсюда в неведомый, новый мир и *жить*, наконец-то по-настоящему *жить*,— загорелась надежда в моей душе.

Два с лишним месяца, которые протекли с того дня, тянулись мучительно долго. Со дня на день ждала я вести о прощении и страдала больше, чем все это время в неволе.

Мои сводные сестры — и старшая, и младшая — не ждали помилования так страстно, как я; напротив, они почти боялись его. «На что нам теперь свобода? — говорили они.— Что она нам сулит? Скитания по большим дорогам — вот наш удел. Уж лучше оставаться здесь до конца дней...»

Конечно, я тоже с тревогой думала о встрече с незнакомым мне миром. А сестры еще больше робели — ведь их жизнь уже клонилась к закату. Так и не изведав, что значит *жизнь*, они уже завершали свой жизненный путь.

Но я — дело другое. Я хочу *жить*, впервые *жить* на свете. Хочу дождаться помилования — ведь тогда я смогу вернуться в город при замке Коти, смогу встретиться с *ним*...

Душа моя замирала от волнения. Но я тщательно скрывала от всех свои мысли. Таясь от сестер, я верила и ждала, что день освобождения непременно придет. Но кто мог знать — суждено ли сбыться моим мечтам?..

И все же этот день наступил.

Все были взволнованы. Даже сестры, не ждавшие помилования, считавшие свободу скорее бедой, чем счастьем, и те, казалось, были потрясены до глубины души.

Мы засветили лампаду в память об умерших в неволе старшей сестре и братьях и долго, до глубокой ночи, все говорили, говорили. Ночь была уже на исходе, когда пять женщин — две совсем уже одряхлевшие, остальные тоже, увы, далеко не молодые,— утомившись от разговоров и слез, разошлись по двум комнатам и легли в постель.

Матушка, вконец измученная, вскоре уснула. Ее тихое, чуть хриплое дыхание напоминало звук надтреснутой флейты.

Я тихонько улыбалась во мраке.

Неужели и впрямь настал конец той упорной и злобной ненависти, которую питали власти к потомству моего отца — этого неукротимого, пламенного мечтателя, все поставившего на карту ради своих идеалов и без остатка отдавшего политической борьбе свою недолгую жизнь? Неужели эта жгучая ненависть, столь последовательная в своей жесто-

кости, что, право, оставалось лишь восхищаться ее неизменностью и продуманностью, завершилась в итоге таким сентиментальным актом милосердия и прощения?

О нет, наше освобождение вовсе не означает, что жгучая ненависть властей к потомству отца смягчилась. Тем более наивно предполагать, будто власти нас пожалели или руководствовались какими-то гуманными соображениями...

Просто с исчезновением мужской линии род Нонака больше не существует — вот разгадка их доброты. Остались, правда, еще три дочери, но всем троим уже за сорок и вряд ли они еще способны родить детей. К тому же недаром говорится, что «женское чрево — только посредник»... Иначе разве позволили бы власти оставить в доме Такаги девочку — дочь старшей сестры?

Теперь просто бессмысленно держать нас, женщин, в тюрьме, да еще приставлять к нам стражу. Вот в чем секрет. Нас просто не считают больше людьми... Против воли я усмехнулась.

Ну что ж, тем лучше. Власть, политические интриги — все это меня ничуть не интересует. Единственное мое желание — *жить*, незаметно жить где-нибудь в укромном, заброшенном уголке. Хоть раз изведать, что значит *жизнь*.

Власти могут быть совершенно спокойны. В самом деле, велика ли важность — женщина, которой уже перевалило за сорок, всей душой стремится узнать, как люди *живут* на свете... Чего же тут опасаться?

Бедные мои братья, трое старших и младший, господин Тэйсиро! Вы так и не дождались прощения, потому что были мужчинами. Вы могли дожить до пятидесяти, до шестидесяти лет — все равно, пока в вас теплилась жизнь, вам не было бы прощения. Вы родились мужчинами и потому должны были умереть. Умереть, чтобы мы могли жить...

Но я, я — женщина, так буду же жить, пока не угасло дыхание, жить в полную силу. Правда, я очень смутно представляю себе, какую жизнь может начать женщина сорока с лишним лет, но будь что будет — попытаюсь...

С нежностью вспоминаю я о старшей сестре. Я забыла ее лицо, но, помнится, она была красивая, кроткая женщина. Возможно, это всего лишь впечатление детства — ведь я была еще так мала, а сестра совсем убита жестокой судьбой...

Только одно воспоминание ярко запечатлелось в сознании. Я помню груди старшей сестры...

Опустившись на колени в тени сёдзи *, отделявших кухню от помещения кормилицы, сестра сцеживала молоко из груди. Судя по тому, что она страдала от прилива молока, было это, очевидно, в самые первые дни заточения.

На дощатый пол поставили белый таз, и сестра, наклонившись, сцеживала в него молоко. Сильная, белая струя, брызгая, ударялась о дно таза.

Ее груди поразили меня удивительной полнотой, такие они были налитые, тугие, розоватые, словно сквозь кожу просвечивала сама жизнь, теплая, молодая. Они казались мне какими-то странными и прекрасными существами, самостоятельно жившими на хрупком теле моей бедной сестры,— не то причудливыми благоуханными цветами, не то, напротив, какими-то уродцами, прильнувшими к ее телу. Как не похожи были они на увядшую, покрытую сеткой голубоватых вен отвислую грудь матушки, которой в то время уже перевалило за сорок!

Я смотрела, точно завороженная, вся во власти смешанного чувства любви и страха, как вдруг рука сестры нечаянно дрогнула, и струя бе-

* Сёдзи — раздвижные деревянные рамы, оклеенные бумагой, разделяющие помещения в японском доме

лого молока брызнула мне прямо в лицо, залив глаза. Я заревела во весь голос. Кормилица поспешила меня утешить. Когда я успокоилась, то увидела, что сестра рыдает. Я почувствовала себя виноватой, будто это я заставила ее плакать.

Минуло десять лет, я стала девушкой и вспомнила эти налитые молоком груди сестры. «Эти груди *жили*,— думала я,— они знали, что значит *жизнь*. Эти груди, похожие и на впервые распустившиеся таинственные цветы и в то же время на каких-то жутких живых уродцев...»

Сейчас я явственно вижу мужскую руку, любящую, ласкающую эти груди. Я ощущаю прикосновение мужской ладони, подарившей грудям сестры эту удивительную округлость, этот таинственный и пышный расцвет...

Когда мне исполнилось почти столько же лет, сколько было тогда сестре, и мои груди тоже начали обретать полноту, я испугалась, что они станут такими же, как у сестры,— упругими, полными, похожими на маленьких, страшных упырей...

Я уже смутно понимала, что это недопустимо — нельзя, чтобы мои груди расцвели, как таинственные, большие цветы, нельзя, чтобы они стали упругими, налитыми.

Я трепетала от страха, от сознания какой-то непонятной, невольной вины. Мне хотелось спрятать от братьев не только груди, но и руки, и ноги, и стан, и затылок, и щеки — все мое созревающее тело.

Я превращалась в женщину, а это и впрямь было похоже на преступление.

Здесь, в заточении, время обязано было остановиться. Нам следовало навсегда оставаться теми мальчиками и девочками, какими нас заключили в неволю. (О, скорбная смерть господина Кинроку, потерявшего разум!..)

В тесной темнице я не знала, куда спрятать себя, свое тело, забивалась в угол в отведенном для нас, девушек, помещении, стеснялась даже выходить в сад. Я завидовала старшей сестре — та, как ни в чем не бывало, с легким сердцем усердно прислуживала братьям. Мне хотелось бы вести себя так же непринужденно, но я почему-то стыдилась за сестру. В конце концов в непонятном смятении, с пылающими щеками я уныло садилась за книгу.

Но в присутствии братьев я старалась ничем не выдать своей тревоги. Мне казалось, я умру от стыда, если братья вдруг заметят что-нибудь необычное в моем поведении. Я даже опасалась, что могу оскорбить их такими мыслями.

Покойная сестра была такой женственной и прекрасной! Отчего же я, вступив в тот же возраст, чувствую себя насквозь греховной и грязной?

Сестра расцвела на воле. Я же была как деревце, которому некуда протянуть свои ветви, жизнь не текла, а застаивалась во мне, как в болоте, неподвижные воды его мутнели, клубились ядовитыми испарениями и, подтачивая жизненные силы, испускали запах греха...

Сидеть рядом с братьями за столом, слушать, как старший брат, господин Сэйсити, толкует нам «Четырехкнижие»* или «Малое учение»**, стало для меня мукой.

Десять лет, миновавшие после смерти старшей сестры, вплоть до смерти господина Сэйсити, прошли мирно и тихо, даже, можно сказать, счастливо.

---

* «Четырехкнижие» — канонические конфуцианские книги.

** «Малое учение» — каноническая китайская книга, по которой в средневековом Китае и в Японии давалось начальное обучение основам письма, грамматики и стихосложения.

Постепенно мы росли и входили в разум. Нас было семеро. К моменту заточения старшему брату, господину Сэйсити, было шестнадцать, следующему, Кинроку — пятнадцать, третьему, Кисиро — восемь. За ними шли сестра Кан, затем я и, наконец, самые младшие — сестрица Сё и братец Тэйсиро.

Моя матушка — на воле она считалась просто служанкой отца,— а также матери сводных сестер и братьев, кормилицы, слуги по закону не числились в списке лиц, осужденных на заточение, они добровольно последовали за нами в темницу. Таким образом, дети и матери жили вместе, и, как бы там ни было, дни протекали мирно. Да, если угодно, это время можно назвать счастливым.

Конечно, нам запрещалось выходить за ограду, общаться с внешним миром, и вместо семидесяти тысяч коку * риса, составлявших доход нашей семьи при жизни отца, на содержание узников расходовалось теперь всего лишь семьдесят коку, но ведь с тех пор, как я начала себя помнить, весь мир состоял для меня только из этой нашей темницы. Тюрьма не казалась мне тесной. Я чувствовала себя вполне свободной.

Однако по мере того, как созревало мое тело и сознание вины все сильнее отягощало мне душу, когда появляться на глаза братьям стало для меня мукой, я утратила это ощущение свободы. Теперь я уже понимала, что наш одинокий дом в горной долине окружен высокой оградой из устремленных к небу заостренных бамбуковых кольев, что в сторожевой будке нас днем и ночью караулят стражники — самураи, а там, за оградой, лежит далекий, свободный мир, созданный для того, чтобы в нем жили люди.

Сознание вины, мучившее меня, было похоже на предчувствие беды, и это предчувствие не обмануло меня. С того времени несчастья одно за другим посыпались на нашу семью.

Сперва заболел старший брат. Мне было семнадцать, когда он слег. А тринадцатого июня, в 7-м году эры Эмпо **, когда мне исполнилось девятнадцать, брат скончался.

В детстве его взяли в заложники и увезли в Эдо. Там он и вырос. В 3-м году эры Камбун ***, когда отца постигла опала, брата отозвали домой и назначили главой рода, но уже в следующем году третьего марта всей семье вынесли приговор — заточение.

Брат провел в неволе пятнадцать лет и в неволе скончался. Он знал — пока он жив, ему не будет прощения.

Но все же — пусть мало, не до конца,— но он успел узнать и увидеть *жизнь*. И считал, что здесь, в заточении, жизнь по-прежнему должна идти своим чередом, видел свой долг в том, чтобы научить младших сестер и братьев, как нужно *жить*. Если все эти сорок лет наше существование хоть в малой степени напоминало жизнь, достойную человека, то этим мы обязаны старшему брату, который посеял и взрастил в наших душах семена знания.

Брат обучил нас грамоте, научил читать книги. Читать и понимать написанное доставляло мне радость. Я верила, что в этом и состоит жизнь, и вполне довольствовалась таким сознанием. В те годы в темнице царил мир и покой, и брат был здоров и весел.

Но к тому времени, как брат слег, я уже поняла, что читать и понимать книги — это еще не все. И уже догадывалась, сколько пришлось выстрадать брату за эти десять с лишним лет заточения.

Я до боли жалела его. Мне хотелось ухаживать за ним, стать ему

---

* В феодальной Японии дворяне (самураи) получали за свою службу крупному земельному магнату (князю) определенное количество риса — так называемый «рисовый паек». Один коку риса весит в среднем 150 кг.

** 1679 г.

*** 1663 г.

опорой и утешением. Но вместе с тем в моей душе росла какая-то необъяснимая злоба.

Впервые эта злоба возникла тогда по отношению к старшему брату, а потом то же чувство я испытывала ко всем моим братьям, умиравшим по очереди,— и к безумному господину Кинроку, погибшему такой жалкой, ужасной смертью, и к самому любимому и почитаемому господину Кисиро, и, наконец, к бесконечно дорогому младшему брату, господину Тэйсиро... Смерть похищала моих братьев одного за другим, а эта тайная злоба все жила в моем сердце, подобно некоему дьявольскому сосуду, погруженному на дно болота и тускло мерцающему сквозь болотную жижу...

Откуда она взялась, эта злоба к братьям, так бесцельно прожившим жизнь и друг за другом сходившим в могилу?

Сейчас я смутно догадываюсь — причина была в том, что я стала женщиной, а они, увы, доводились мне братьями...

Мужчина и женщина, состоящие в кровном родстве,— что может быть бесплоднее и напраснее этих родственных уз, скованных цепями стыда?

Сознание вины, терзавшее меня днем и ночью, мои отчаянные старания скрыть полноту грудей и эта беспричинная, тайная злоба — все объясняется одним: мы были родными по крови, нас связывали злосчастные, безнадежные родственные отношения.

Внешне мы жили дружно. Я была привязана к братьям, и братья относились ко мне с любовью.

Но так же, как в моей душе жила тайная злоба к братьям, так и они, возможно, безотчетно ненавидели нас, сестер. Кто знает, как бесстыдно оскверняли нас братья в своих сновидениях и мечтах? Кто решится утверждать, что этого не было? (Мне кажется, я и сейчас еще слышу жуткие вопли запертого в клетке господина Кинроку...)

Вдобавок к этой необъяснимой злобе я чувствовала, что старший брат попросту обманывает меня.

Мне почему-то казалось, что он насмеялся, подшутил надо мной. Моя созревающая плоть подсказывала мне, что читать и понимать книги — это еще не вся жизнь, она подсказывала, что есть вещи, которые от меня скрывают.

Зачем нам вся премудрость науки? Что может дать учение Мэн-цзы или Чжу-си* нам, пожизненно обреченным на заточение? Людям, осужденным угаснуть в темнице, ни с кем не общаясь, никого не любя,— зачем им учиться законам *жизни*?

Конечно, я понимала, что мою обиду нельзя высказать вслух — это было бы подло. Тем сильнее накипала горечь в душе. Видеть брата, неизменно ровного и приветливого, было невыносимо тяжело. Хотелось сорвать с него личину притворства и, будь моя власть, даже причинить ему боль. И все же я любила и почитала его, как отца...

В глубине души я преисполнилась отвращения даже к науке, к бесчисленным ее теориям и законам, которые еще недавно согревали мне душу, дарили радость и укладывались в сознании с такой же легкостью, с какой вода проникает в сухой песок. Для нас, узников, все эти заповеди не имели ни малейшего смысла. Теперь я сердилась даже от одной мысли, что когда-то с такой страстью предавалась этому бессмысленному занятию. Мне казалось, будто брат своим красноречием просто морочит меня, сбивает с толку.

Но истинная причина моей досады крылась совсем в другом. Горечь и озлобление родились оттого, что господин Сэйсити доводился мне братом, родным братом, а не чужим человеком.

* Мэн-цзы (IV в. до н. эры) и Чжу-си (ум. в 1200 г.) — китайские философы-конфуцианцы.

Враги отца на сорок лет заключили нас в темницу только за то, что мы были детьми своего отца. Они хотели мстить отцу даже после смерти, обрушив кару на его потомство, и надо признать, блестяще достигли цели.

Восьмерых детей постигла участь более страшная и жестокая, чем рассчитывали даже его враги.

Старший сын, прямой наследник отца, глава опальной семьи Нонака, всегда ровный, сосредоточенный, тихий, проводил дни за чтением. Заменяя младшим братьям и сестрам наставников и отца, он обучал нас наукам, молча принимал мою безрассудную, беспричинную злобу и в конце концов умер.

Я была потрясена. Мне никогда не приходило в голову, что брат может умереть. Только потому и жили в моей душе злость и обида, что я и подумать не могла, что брата не станет.

В его памяти, словно далекий отзвук, сохранились воспоминания о живом мире, в котором он провел первые шестнадцать лет жизни. Он помнил разноголосый шум и говор города Эдо. От его голоса, от всего его существа нет-нет да и повеет вдруг ароматом далекого, никогда не виданного мною мира, и это безотчетно влекло меня к нему.

Моя детская привязанность к брату, почтение, которое я к нему испытывала, гнев и обида на него, когда я стала девушкой,— все это самым тесным образом переплеталось со страстным стремлением к внешнему миру, с которым старший брат был связан неуловимыми нитями, и с горьким сознанием бесплодности этого моего стремления.

Я поняла это, когда брата не стало.

На четвертый год после смерти старшего брата, в 3-м году эры Тэнва*, сошел с ума и погиб второй брат, господин Кинроку. Рожденный от другой матери, он был годом моложе господина Сэйсити и неразлучен с ним, словно тень.

После смерти старшего брата господин Кинроку стал особенно молчалив. Постоянно погруженный в задумчивость, он, казалось, прислушивался к какому-то голосу, все настойчивее звучавшему в его душе.

Кто говорил с ним? Мы не придавали значения молчанию господина Кинроку, он и прежде был не особенно разговорчив. Все были убиты горем из-за смерти старшего брата, тревожились о будущем, тщетно тосковали о прошлом. Мы словно оцепенели, сгибаясь под бременем постигшего нас несчастья.

Никто не понимал, что за существо поселилось в груди господина Кинроку. Мы не представляли себе, что с ним творится. А между тем это существо исподволь терзало его плоть и сосало кровь.

Вплоть до того рокового утра, когда это чудовище, иссушив душу господину Кинроку, внезапно в бешенстве вырвалось на свет божий, приняв облик нашего несчастного брата, мы, увы, бездумно не замечали, как этот зверь тайно мучил его, постепенно помрачая его рассудок, в те долгие дни, которые брат проводил, запираясь в своей каморке, молчаливый, как будто вовсе лишившийся дара речи.

Наше преступное равнодушие сделало господина Кинроку добычей этого зверя. Несчастный брат наш, конечно, в душе взывал к нам о помощи, безмолвно молил о спасении.

Я и сейчас еще слышу его жуткие вопли...

Если бы мы ни на минуту не оставляли его одного, не позволяли целыми днями сидеть, запершись в своей каморке, возможно, он не погиб бы такой ужасной, горестной смертью.

* 1683 г.

Мы должны были убедить его, что после смерти старшего брата он стал главой дома Нонака, нашей опорой и надеждой, незаменимым, нужным нам человеком, в которого мы верим, на силу которого уповаем...

Теперь я понимаю, что причиной его безумия была не столько тоска по умершему брату, сколько ощущение собственного бессилия, неполноценности, слабости.

Вскоре после смерти старшего брата на имя господина Кинроку из Эдо пришло послание; власти сообщали, что наше содержание — семьдесят коку риса — сокращается до тридцати шести.

Извещение

Начиная с 1-го дня 7-го месяца года Овна устанавливается Кинроку Нонака, его младшим братьям и сестрам новое содержание — тридцать шесть коку риса; в том числе двадцать один коку — троим лицам мужского пола и пятнадцать коку — троим лицам женского пола.

Вышеуказанное содержание назначается в связи со смертью Сэйсити Нонака его младшим братьям и сестрам, о чем и доводится до их сведения.

Дано 29-го дня 9-го месяца 7-го года эры Эмпо.*

Это послание больно ранило самолюбие господина Кинроку. Он воспринял распоряжение правительства как личное оскорбление, как незаслуженное, несправедливое унижение. Ему казалось, что этим указом власти хотят подчеркнуть, как ничтожна его личность по сравнению с личностью покойного брата,— мысль и без того постоянно его терзавшая... Между тем указ этот был всего лишь очередным проявлением непреходящей ненависти властей к семье покойного Нонака...

С самого детства господин Кинроку всегда был как бы на втором плане. Уж не потому ли привык он считать себя хуже старшего брата? Или, может быть, остальные члены семьи тоже не принимали его всерьез, хотя, конечно, не высказывали своего пренебрежения открыто?

Я не помню, чтобы господин Кинроку когда-нибудь возражал старшему брату или ссорился с ним.

Только раз, помнится, братья, как безумные, схватились в борьбе. Напрягая все силы, они старались одолеть друг друга, повалить, прижать к земле.

Сейчас мне понятно, что побудило их вступить в этот неистовый поединок...

Мы с сестренкой, плача от страха, метались по галерее.

— Братец, перестаньте! Перестаньте! — кричали мы, бросаясь от одного к другому.

Я чуть не умерла от страха, мне казалось — еще немного, и братья задавят друг друга насмерть.

— Госпожа о-Эн! Ведь это борьба... Господа часто так развлекаются. Это благородная забава. Не надо бояться! — на все лады уговаривала нас кормилица. Но мы с сестренкой не унимались.

Братья, словно и впрямь потеряв разум, изо всех сил сжимали друг друга, тела их переплелись, казалось, каждый готов убить другого. Бороться и нападать — такова утеха мужчин... В эти короткие минуты братья чувствовали себя *мужчинами*. Страсть, бросившая их в эту схватку, означала, что они *мужчины*.

Да, братья были *мужчинами*, и это до беспамятства напугало нас с сестренкой. Впрочем если бы мы, повзрослев, попытались вести себя как *женщины*, наши братья, наверно, в смущении отвели бы глаза...

* 1679 г.

Я понимала это. Так же, как братьям не суждено было стать мужчинами, так и мы, сестры, не смели чувствовать себя женщинами.

Мы проводили дни, обманывая друг друга, как будто жили среди странных людей, лишенных признаков пола.

...Как вулканическая лава извергается сквозь самое тонкое место в земной коре, так и бесцельность нашего пустого, насквозь пронизанного ложью существования отыскала трещину в больной душе господина Кинроку и бурно устремилась наружу...

Однажды утром господин Кинроку, как дикий зверь, внезапно набросился на родную свою сестру, госпожу Кан и, с неистовой силой заломив ей руки за спину, повалил на пол. Сбежавшись на отчаянные крики сестры, мы остолбенели от ужаса. В глазах потемнело от страшного зрелища, представившегося взору.

Наказанные за то, что в наших жилах течет отцовская кровь, мы в эти минуты в полной мере познали тяжесть обрушившейся на нас кары...

...По указанию семейства Андо в одной из отдаленных комнат вскоре соорудили домашнюю тюрьму-клетку. В этой — теперь уже двойной — клетке заперли господина Кинроку. Много дней он провел там — то лежал неподвижно, в оцепенении, как мертвый, то выкрикивал непристойности, оглашая темницу громкими воплями.

Внезапно, точно испуганный чем-то, он разражался плачем, то вдруг начинал выть, изрыгая столь чудовищные слова, что хотелось заткнуть уши руками, то, содрогаясь от рыданий, оплакивал свою горестную судьбу, молил братьев и сестер спасти его, то просил у кого-то прощения.

Порой он весело смеялся, прыгал и метался в радостном возбуждении. А иногда сидел неподвижно, прямой, исхудавший, и вел себя так смиренно, что в душе невольно пробуждалась надежда — уж не вернулся ли к нему разум?

Он один мог теперь считаться вполне свободным. Здесь, в заточении, где всеобщий обман был единственным средством кое-как поддерживать внешний порядок, он один мог говорить, что хотел, мог плакать, смеяться, кричать, что пожелает.

Мы продолжали жить, делая вид, будто ничего не слышим, не замечаем. Иного выхода не было.

Вместе с младшим братом я сидела за книгой напротив господина Кисиро, третьего брата, и под непристойные вопли господина Кинроку слушала толкования «Учения о центре истины»*.

— Начало Пути исходит от Неба, человек проникается его истинной сутью и уже не властен от него отказаться. Поэтому благородный муж должен чтить одиночество...

— Путь совершенного человека простирается далеко, но начинается с простейших вещей. Он начинается с отношений между супругами и простирается вплоть до постижения вечных законов Земли и Неба...

— Путь Неба не есть путь, недоступный для человека. Нужно совершенствовать самого себя, но не требовать того же от других. Предающийся страстям может свернуть с Пути...

Я слушала терпеливые объяснения господина Кисиро, а сердце снова не желало смириться. «Какие загадочные существа эти мужчины... Хотя бы наш отец, или те, кто мстит нам из ненависти к отцу, или Танские и Сунские ** государи... Неужели власть способна так помрачать мужской разум?»

Я не могла больше с прежней страстью предаваться науке. Ведь оборотная сторона учения о добродетели есть не что иное, как наука о люд-

---

* «Учение о центре истины» — одна из канонических конфуцианских книг, входящая в «Четырехкнижие».

** Династия Тан правила Китаем с 618 по 907 г. Династия Сун — с 960 по 1279 г.

ских слабостях и пороках. Не рассуждений о Пути истины жаждала я, а общения с живыми людьми.

Там, за стенами нашей тюрьмы, живут люди — ненавидят, преследуют, обманывают, любят друг друга. Мне хотелось узнать хотя бы одного из этих людей.

Господин Кисиро заметил, что мои мысли отошли от науки и витают где-то вдали.

— Тебе, Эн, кажется, уже прискучило учение,— как-то раз сказал он.

Мне страстно захотелось воспользоваться случаем и открыть брату все, что было на сердце. В душе шевельнулась все та же старая злоба.

— Вы правы, братец, Эн смертельно надоели люди из книг... Так хотелось бы немного узнать настоящих, живых людей...

В последнее время господин Кинроку вел себя очень смирно. Вот и в тот день он сидел в своей клетке унылый, исхудавший, печальный. Сестры Кан и Сё готовили ужин. Вечернюю тишину нарушало только легкое позвякиванье посуды.

Брат, обхватив руками колени, примостился на краю жалкой, узенькой галереи и смотрел из-под навеса кровли на угасающее небо и горы, очерченные краем высокого частокола.

— А знаешь, Эн, мне кажется, что в конце концов вполне достаточно знать хотя бы одного человека... Пусть мы в темнице, но ведь мы здесь не одиноки. С нами был старший брат, была старшая сестра. А сейчас — матушка, младший братец и сестры...

— Да, конечно. Но здесь нет...

Нет чужих. Чужие — вот кто мне нужен. Совсем чужие, посторонние люди, в жилах которых течет чужая, а не родная кровь, хотела ответить я. Но, разумеется, промолчала.

Заговорить об этом означало бы признаться в постыдных мыслях, которые я таила в душе, признаться в своем сожалении, что он мне брат, а не чужой человек, открыть всю досаду и гнев на то, что он брат и, значит,— запретный для меня мужчина.

Смутившись, я неожиданно сказала:

— Мне хотелось бы получше узнать, что такое политика, власть...

Власть, из-за которой сходят с ума мужчины, политика, ради которой рисковал жизнью отец... Причудливый мир, в котором Танские, Сунские и прочие государи так легко предавали смерти сотни людей, подносили им яд и сами погибали от рук убийцы...

«История немыслима без убийства...» — учил меня брат. А по-моему — историю творит *ненависть*.

— По правде говоря, мне хотелось бы знать, что за человек был наш отец... В чем причина той злобы, которая преследует даже нас... Каков он, этот мир власти, где способны так ненавидеть...

Об отце нам много рассказывали и покойный господин Сэйсити, и матушка, и кормилица. От них мы узнали, что отец обладал необыкновенным умом и несгибаемой волей, что он стремился претворить в жизнь свои идеалы. От увлечения дзэн-буддизмом * он перешел к учению Чжу-си, ночи напролет слушал толкования ученых, разыскивал подлинные китайские книги, еще не переведенные на японский язык, и самозабвенно трудился, изучая и самостоятельно комментируя эти произведения.

Совсем молодым, двадцати двух лет, он стал правителем обширного клана Тоса — эта должность перешла к нему по наследству — и в течение двадцати семи лет своего правления последовательно и неуклонно воплощал в жизнь идеи, почерпнутые в книгах...

Мы слышали о его многочисленных свершениях — он изменял течение рек и сравнивал горы, прокладывал оросительные каналы, чтобы на-

* Дзэн — одна из буддийских сект, учение которой, проникнув из Индии через Китай в Японию, широко распространилось там с XII столетия.

поить поля, и углублял гавани, чтобы в них могли заходить большие суда... Не осталось ни единого, самого отдаленного уголка в горах и бухтах нашего края, где бы идеи отца, как мощный заступ, не изменяли природу до основания...

В раннем детстве эти рассказы глубоко трогали и волновали меня. В воображении постепенно сложился образ отца — великого человека, гениального правителя. Отец стал для меня почти кумиром.

Я и сейчас готова признать, что отец был незаурядной, выдающейся личностью. Вполне возможно, что жестокое чувство, которое я тайно испытывала по отношению к братьям, было как бы оборотной стороной моей гордости за отца — талантливого, сильного человека.

...Неужели сильный мужчина всегда внушает женщине любовь, уважение и восхищение, а к слабому она способна относиться только жестоко? Я хорошо понимала, что мои братья неповинны в своем бессилии, и все же не могла побороть приступов злобы...

Но сейчас, беседуя с господином Кисиро, я имела в виду другое. Мне хотелось знать корни той ненависти, которую власти все еще питают к отцу, той злобы, от которой мы, его дети, страдаем и по сей день. В какой степени повинен в этом человек, который был нашим отцом?

— Конечно, братец, я согласна — отец был человеком необыкновенным... Но не кажется ли вам, что последние дни его жизни отмечены явной слабостью духа? И эта страшная кара, которая обрушилась на нас с его смертью... Заслужил ли он ее?.. Вот о чем мне хотелось бы знать побольше...

Некоторое время брат молчал.

— Я не собираюсь судить отца и оценивать его поступки. Возможно, ты не поймешь меня — женщинам недоступны глубокие мысли,— но я не считаю себя несчастным оттого, что я его сын и обречен умереть в тюрьме. Старший брат рассуждал точно так же. Тогда я не соглашался с братом, не понимал его. А сейчас понимаю. В последние годы жизни, когда отец находился в изгнании, он часто перечитывал поэму «Лисао» *...

Я подавляю чувства и стремленья,
И оскорблениям не внемлю я.
Чтить чистоту и умереть за правду —
Так в старину учили мудрецы.**

Эта мысль мне близка — видно, так судил рок. Нет, это не смирение — я принимаю это по доброй воле. Здесь, в темнице, тело наше сковано. Но дух свободен. Здесь перед нами раскрылись все формы духовной жизни, и потому наше существование достойно человека. Да, мы живем в заточении... Что ж, таков истинный облик властителей. Но здесь существуют и привязанности, и земные страсти... (Брат бросил беглый взгляд на клетку господина Кинроку.) Здесь свой маленький мир, точь-в-точь такой, как и повсюду, здесь мир людей... Даже если б мы жили на воле, в том, внешнем мире — не все ли равно? Мир, окружающий человека, так же тесен, как наша темница. Да, это так, всегда и повсюду... Ведь люди, живущие на свободе, нередко сами уходят от мира, становятся отшельниками... Что ты на это скажешь, Эн? Задумывалась ли ты над тем, что находятся люди, которые сами лишают себя свободы, добровольно покинув мир?

— Это потому,— ответила я, подумав,— что такая жизнь им по вкусу. Каждый понимает свободу по-своему. А я так мечтаю взглянуть на этот греховный мир, который оставляют монахи, и хоть немножко пожить там...

---

* «Лисао» — поэма великого китайского поэта Цюй Юаня (III в. до н. э.).

** Цюй Юань. «Стихи». Перевод А. Ахматовой, М., Гослитиздат, 1954 г.

Мне вдруг захотелось рассмешить брата, напомнив ему слова Сэй Сёнагон * «О проповедник, бесчувственный деревянный чурбан!..»

И еще мне хотелось добавить: «Господин Кисиро говорит, что женщинам недоступны глубокие мысли, зато у мужчин они так глубоки, что напоминают темную бездну, в которой ничего нельзя разглядеть...»

После этого разговора я поняла, что судить поступки отца нам запрещено.

Не потому, что это нарушало заповедь почтения к родителям. Сомнение в деяниях отца, в его величии потрясло бы самые основы нашей жизни в заточении, которая длилась уже больше двадцати лет, лишило бы ее смысла и не принесло бы нам ничего, кроме глубокого разочарования и отчаяния.

Очевидно, господин Кисиро считал, что нужно любой ценой уберечь нас, младших сестер и братьев, от малейших сомнений на этот счет. Ибо от такого разочарования и от отчаяния, которое за ним последует, может исцелить только смерть.

Вот почему брат, казалось, принял решение смиренно преклоняться перед отцом. Я понимала, что меня обуревает гордыня, но притворялась, будто вовсе не замечаю этого.

Господин Кисиро был человеком светлого ума и большой души. Моя любовь к нему напоминала почти влюбленность. И брат, я знаю, тоже любил меня. Наши души сливались воедино, совершенно забывая по временам, что мы брат и сестра.

Но сейчас каким-то уголком моей памяти я с большей нежностью вспоминаю несчастного господина Кинроку, его буйство, его непристойные вопли. И он кажется мне ближе и роднее Кисиро.

Пока он был здоров, я относилась к нему совершенно равнодушно, пожалуй, даже чуть презирала, хотя и безотчетно. Но когда он потерял разум, он стал мне дорог. В сущности, это был скромный, застенчивый человек, с добрым сердцем и легко ранимой, слабой душой.

Нет, он ничем не походил на твердого, сильного духом господина Кисиро, всегда владеющего собой. Это был слабый человек, дитя природы. Вот за нее-то, за эту слабость я и любила несчастного господина Кинроку — а иногда так ненавидела, что готова была убить своими руками.

В это жгучее, знойное лето господин Кинроку постепенно слабел. Он больше не сотрясал в исступлении решетки своей клетки-тюрьмы, перестал оглашать весь дом дикими выкриками и воплями и, обессилев, проводил дни в полузабытьи. А однажды утром, ранней осенью, его нашли мертвым — в неясном свете зари, тускло освещавшем клетку, он лежал бездыханный, похожий на какого-то зверя. На рассвете, когда от остывших за ночь циновок уже веет первыми осенними холодами, он лежал в своей клетке, неприглядный и изможденный, словно семидесятилетний старик. А ему было всего тридцать три года...

Глава II

Ненависть

Смолкли вопли господина Кинроку, клетку убрали, и одинокое строение, затерянное в горном краю, окутала скорбная, пронзительная, почти звенящая тишина.

Вдали над карнизом кровли виднелись горные склоны, покрытые

* Сэй Сёнагон — придворная дама, жившая на рубеже X—XI вв., автор прославленной классической книги «Записки у изголовья».

красными кленовыми листьями ослепительной красоты. Мне исполнилось двадцать три года.

С каждым днем я все больше стремилась узнать, что за человек был отец. В этом крылся для меня и смысл моего рождения на свет, и причина заточения в темницу.

Случалось, матушка или кормилица невзначай упоминали об отце или вспоминали разные мелочи из его жизни — я с жадностью прислушивалась даже к этим мимолетным рассказам.

До совершеннолетия отца звали Сахатиро, детство у него было трудное. Он родился в области Бансю, в городе при замке Химэдзи*, когда отец его, Кагэю Ямаути, уже стал ронином **.

Затем семья перебралась в Киото, и здесь Кагэю умер, оставив жену и четырехлетнего сына в горькой нужде. После смерти мужа вдова с ребенком скиталась в столице и в окрестностях; нередко случалось, что мать и сын попросту голодали.

Между тем в прошлом Кагэю, самурай клана Тоса ***, состоял на службе и получал жалованье в двадцать тысяч коку зерна. Он доводился родным племянником князю Кадзутоё Ямаути, первому властителю клана — богатой вотчины с доходом в двести сорок тысяч коку риса. Судьба Кагэю сложилась так несчастливо отчасти по его собственной вине.

Мне хотелось подробней узнать историю нашего деда — казалось, между личностью Кагэю и внезапной опалой, постигшей в конце жизни отца, была какая-то неуловимая связь.

...Кагэю, старший сын и наследник самурая Гонносин Нонака и его жены Го Ямаути, родился в первом году эры Тэнсё ****, когда Ода Нобунага ***** разгромил войско сёгуна ****** Асикага и власть в стране и юридически и фактически перешла к дому Нобунага. Семи лет Кагэю потерял отца и рос под надзором матери и дяди с материнской стороны, князя Кадзутоё Ямаути. Дядя любил племянника, пожаловал ему родовое имя Ямаути и содержание в три тысячи коку риса.

После гибели рода Тёсокабэ князь Кадзутоё стал властителем клана Тоса, и Кагэю получил владения в местечке Накамура, в уезде Хата, с жалованьем в двадцать тысяч коку. В будущем ему была обещана прибавка — еще десять тысяч.

Но к этому времени счастье отвернулось от Кагэю.

У князя Кадзутоё не было сыновей, и он любил племянника, словно родного сына. Все считали Кагэю будущим зятем князя, мужем его любимой дочери. Никто не сомневался, что он станет наследником.

Эта перспектива вовсе не улыбалась Сюриноскэ, младшему брату князя.

Однако случилось так, что княжна еще ребенком трагически погибла под обломками здания во время землетрясения в 13-м году эры Тэнсё *******. Впрочем, смерть княжны еще не означала, что у Кагэю нет другой возможности стать наследником.

---

* В феодальной Японии города часто возникали вокруг княжеских замков.

** Ронинами назывались самураи, ранее состоявшие на службе у какого-либо феодала, но потом по разным причинам потерявшие эту службу.

*** Самурай-дворянин; в феодальной Японии, кроме владений центрального правительства, существовали отдельные княжества (кланы), управление которыми было «доверено» местным феодалам-князьям.

**** 1573 г.

***** Диктатор Японии, возглавивший в конце XVI в. борьбу против местных феодалов. Войны, которые вел Нобунага, положили конец феодальной раздробленности, междоусобицам и открыли эпоху абсолютизма.

****** Сёгун — верховный воинский титул в феодальной Японии; с установлением абсолютизма сёгуном именовался верховный правитель, возглавлявший центральное правительство. Титул сёгуна переходил по наследству.

******* 1585 г.

Но когда ему исполнилось двадцать лет, у Сюриноскэ родился долгожданный сын и наследник Тадаёси. Таким образом, ко времени вступления Кадзутоё во владение землями Тоса стало очевидно, что наследником дома Ямаути будет этот младенец Тадаёси.

В 10-м году эры Кэйтё * князь Кадзутоё удалился от мирских дел, и четырнадцатилетний Тадаёси стал владетельным князем Тоса. Вскоре старый князь умер, и Сюриноскэ, как опекун юного князя, фактически забрал всю власть в свои руки.

В ходе этих событий Кагэю оказался в доме Ямаути как бы на вторых ролях и по занимаемой должности и по кровным связям — он был родственником по женской линии.

Природа наделила Кагэю суровым и непреклонным нравом — он был живым олицетворением так называемого «нрава Нонака». Вдобавок от матери, Го Ямаути, он унаследовал гордость и вспыльчивость.

Он был на редкость молчалив, жена и дети зачастую по целым дням не слышали от него ни единого слова. Любил науку и глубоко постиг философию дзэн, не чужд был искусству — увлекался театром «Но»**. Однако и наука и философия дзэн оказались бессильны смягчить его крутой нрав — слишком крепко сидела в нем «закваска Нонака».

Этот злосчастный склад характера можно считать наследственным в семействе Нонака — отец в полной мере унаследовал те же свойства.

Кагэю был женат на двоюродной сестре князя Тоситака Икэда, властителя замка Химэдзи; влияние дома Икэда немало способствовало почетному положению Кагэю в семье Ямаути. Обещание увеличить жалованье Кагэю до тридцати тысяч коку тоже было дано по ходатайству Тоситака Икэда. Но старый князь умер, не успев выполнить обещание, а Сюриноскэ, опекун нового князя, не только нарушил волю покойного, но еще и сократил жалованье Кагэю до одиннадцати тысяч.

Вне себя от гнева, Кагэю сел на корабль и в полном одиночестве покинул клан Тоса, бросив на произвол судьбы и дом и жену, как будто решил навеки порвать все связи с родиной.

Высадившись в Химэдзи, он нашел временный приют в доме Икэда, но отверг предложение князя Тоситака, который, жалея его, предложил ему службу, и отбыл дальше, в Киото. Он разуверился в людях, возненавидел самурайскую службу. Никогда в жизни он не будет больше служить, так решил Кагэю.

Жена последовала за ним, но вскоре умерла в Амагасаки. Впоследствии он женился вторично на некоей Ман Акита из города Осака. От этой Ман и родился мой отец. Это произошло в 1-м году эры Гэнва ***, в городе при замке Химэдзи.

Годы военных смут миновали, страной правил третий сёгун из дома Токугава. Наступили новые времена, отныне человека ценили не только по его заслугам на поле брани, не за одну лишь воинскую доблесть.

В ту пору Сакаи превратился в оживленный торговый город, там процветала торговля с дальними странами, в гавань приходили даже голландские корабли — покупателей привлекали диковинные заморские товары. В одной из таких лавок приютились мать с сыном, добывая пропитание поденной работой. В оживленной торговой гавани было не так уж трудно добыть средства к существованию. Даже слабые женские руки здесь могли найти применение. Тут и поселилась госпожа Ман. Могучее дыхание новой эпохи, ощутимое на каждом шагу, будет полезно сыну, которому предстоит жить в новые времена, решила мать.

Об этом периоде жизни отца ни матушка, ни кормилица, ни старший

* 1605 г.

** Театр «Но», расцвет которого относится к XIV—XV вв., был популярен среди дворян-самураев.

*** 1615 г.

брат почти ничего не знали, о нем сохранились скудные сведения. Сам отец тоже никогда не рассказывал о своем детстве, полном лишений. Характером он пошел в своего отца — такой же молчаливый, суровый, порывистый и прямой. Так называемый «нрав Нонака» он унаследовал полностью. Взгляд отца был всегда устремлен только вперед. Вплоть до самой опалы он никогда не ведал сомнений. Отцу миновало двенадцать лет, когда случай свел его в городе Сакаи с Сёскэ Окура, одним из главных сановников клана Тоса. Своей блестящей карьерой он во многом обязан прозорливости Окура, сумевшего разглядеть незаурядные способности мальчика. Вскоре, благодаря содействию Окура, отца усыновил Гэмба Нонака, дальний родственник, глава дома Нонака, старший самурай и верховный правитель клана Тоса. В доме Гэмба еще здравствовала бабка отца, госпожа Го. Таким образом, вступление отца в семью Нонака было вполне оправданно.

Гэмба Нонака, который приходился мне не родным дедом, владел доходом в пять тысяч девятьсот восемьдесят коку зерна и считался одним из шести «главных людей» клана Тоса. Перед ним трепетали — он обладал огромной властью и, как правитель, отличался суровостью. Отцу предстояло стать его зятем — Гэмба принял его в семью с намерением выдать за него младшую дочь, госпожу Ити. Тринадцати лет отец переехал в Тоса и вместе с матерью поселился в доме Нонака.

О моей бабке, госпоже Ман, я много слыхала и от матушки, и от старшего брата. Довелось мне читать и оставшиеся после нее рукописи.

Отец горячо любил свою мать и оказывал ей все почтение, какое только возможно. Право, можно без преувеличения сказать, что дороже всех на свете была ему не законная супруга госпожа Ити, не моя матушка и другие наложницы, не дети, рожденные от этих наложниц, а политика и вот эта госпожа Ман. Поистине, трудно было бы сыскать мать и сына, которые до такой степени обожали друг друга, почти как влюбленные.

Похоже, что госпожа Ман была влюблена скорее в сына, чем в своего мужа Кагэю. Из ее рукописей нетрудно понять, как глубоко верила она в его таланты (казалось, она почти предвидела блестящую карьеру отца), каким обожанием его окружила и вместе с тем как беспристрастно и трезво сумела оценить его властный нрав, вызывавший мучительную тревогу за его будущую судьбу. Все эти чувства были отражены в ее манускриптах так ярко, что, читая их, я невольно ощутила привкус чего-то почти греховного в ее отношении к сыну.

Когда Гэмба Нонака пожелал усыновить Сахатиро и сделать его своим наследником, госпожа Ман долго колебалась. Годы лишений сделали ее осторожной, она не доверяла этому внезапному повороту судьбы.

Она не сомневалась в талантах сына и горевала, что лишена возможности отшлифовать его дарования — в новые времена наука стала необходимостью. Что бы ни ожидало ее впереди, недопустимо зарывать в землю таланты сына. Ради него она готова была терпеть любые страдания. Какими бы горестями ни была чревата новая жизнь, она все стерпит ради сына. Должна стерпеть...

Так мать с сыном переехали в Тоса и поселились в обширной усадьбе семейства Нонака, рядом с главными воротами замка Коти. Отец больше не носил детское имя* и назывался теперь Дэнэмон Иосицугу Нонака.

Двадцати двух лет, в 13-м году эры Канъэй**, он стал главой дома Нонака, одновременно унаследовав от приемного отца должность главного правителя клана.

---

* Когда подросток достигал совершеннолетия, ему давали новое, «взрослое» имя. Это отмечалось специальным обрядом.

** 1636 г.

Сёскэ Окура, отыскавший подростка Сахатиро в закоулках города Сакаи, усиленно рекомендовал влиятельным лицам клана доверить Дэнэмону Нонака должность правителя — юноша был воплощением прямоты, честности, верности идеалам, обладал острым, как у сокола, взглядом. С помощью Окура удалось преодолеть сопротивление некоторых знатных семейств, недовольных назначением молодого правителя. Окура — невысокий, тихий, вдумчивый человек, известный своей осмотрительностью и высоким чувством ответственности, был весьма влиятелен, с его мнением считались.

Это он, одаренный математик и терпеливый, усердный труженик, постепенно выправил финансовые дела клана и предотвратил неминуемый крах.

Окура любил Дэнэмона. Не мог не любить, хотя нрав Дэнэмона был прямой противоположностью его собственному. Много лет спустя, когда старик удалился от мирских дел, он по-прежнему сохранил привязанность к моему отцу и продолжал следить за его делами. И пока вдумчивый взгляд старого Окура следил за деяниями молодого правителя, замыслы отца воплощались в жизнь один за другим, и ни злоба, ни зависть не смели чинить ему тайных козней.

Мне представляется злой иронией, почти издевкой, что мы, братья и сестры, занимаемся здесь, в темнице, наукой, которой посвятил свою жизнь отец, и эти чисто книжные упражнения составляют единственный смысл нашего существования...

Потому что ненависть, которая до сих пор преследует нас, вызвана именно неустанной практической деятельностью отца. Увлеченно преодолевая все трудности, воплощал он в жизнь свои политические идеалы. Эти идеалы целиком и полностью вытекали из учения «нангаку»*, которому он был так самозабвенно предан...

Отец отошел от философии дзэн и обратился к конфуцианству в 14-м году эры Канъэй**, когда, сопровождая князя во время очередной поездки в Эдо, он получил в подарок от одного из друзей «Учение о центре истины». Новое учение сразу покорило отца силой, новизной, свежестью. Он с увлечением погрузился в изучение его догматов.

В клане Тоса тоже были ученые-конфуцианцы. В ураганах междоусобиц наука, казалось, окончательно захирела, однако слабый огонек ее все еще теплился — Нансон Байкэн, потомок вассалов Оути, укрывшийся от военных бурь в клане Тоса, продолжал развивать конфуцианское учение. Его дело продолжил Дзитю, настоятель храма Синдзёдзи, вскоре сбросивший рясу. Он принял мирское имя Тани Дзитю и, поселившись в Нагахама, на юге Тоса, занялся врачеванием, в то же время проповедуя основы конфуцианства.

Особенность его учения состояла в новом толковании понятия материи и в признании важности опыта. Он ставил материю превыше всего, придавал большое значение экономике и считал, что конечная цель науки состоит в том, чтобы способствовать процветанию страны.

Все заботы и тревоги отца, вступившего в должность правителя разоренного войной края, при соприкосновении с этой наукой разом рассеялись, словно озаренные светом, как будто среди темной ночи заго-

---

* Так называлась одна из разновидностей позднего конфуцианства в Японии, возникшая во 2-й половине XVII в. на юге страны, в первую очередь — в клане Тоса. Учение «нангаку» отличалось от ортодоксального, консервативного конфуцианства, в первую очередь, элементами стихийного рационализма: придавало большое значение понятию материи, подчеркивало важность экономики. Все это ставило учение «нангаку» в положение оппозиционной идеологии.

** 1637 г.

релся яркий фонарь. С этого времени наука стала для него неотделима от его службы, от управления всей жизнью клана.

Он находил ученых-конфуцианцев не только в Эдо, но и в Сакаи, в Нагасаки, разыскивал китайские подлинники и проводил бессонные ночи, стараясь вместе с друзьями понять и прокомментировать их значение; по его распоряжению редкие тексты вырезали на досках и размножали затем на его личные деньги в книгопечатнях Эдо и Киото. То были «Комментарии к Малому учению», «Собственноручные записи Чжу-си», «Лекции Яшмовой горы», трактат «Ранней ночью» и многие, многие другие...

Отцу хотелось разделить радость познания новых истин с друзьями. Он разрешал присутствовать на занятиях всем желающим, даже крестьянам и горожанам, и двери его обширной усадьбы за воротами замка каждый вечер были открыты для молодых людей, которые устремлялись сюда потоком.

Пожалуй, то был лучший период в жизни отца, и сам он в эти годы представляется мне наиболее привлекательным и понятным. Думаю, что его беспощадный, жестокий взгляд, внушавший такой страх людям,— «взгляд сокола, выслеживающего неправду», как о нем говорили,— в ту пору светился добротой и юной жаждой познаний.

Правление, власть... С тех пор как я себя помню, я постоянно слышала от окружавших меня людей слово *власть* — в нем всегда таился какой-то мрачный оттенок.

Кормилица и матушка произносили это безотчетно пугавшее меня слово со страхом, скорбью и гневом. Еще совсем малым ребенком я уже смутно понимала, что с ним тесно связана наша горькая участь. За этим словом, казалось, тянется мрачная тень. Мне был неведом истинный облик «власти». Я знала лишь это ее зловещее обличье.

К чему стремился отец, чего он хотел — и что успел осуществить лишь наполовину,— я не видела и ничего об этом не знаю. Знаю только по книгам. По рассказам старшего брата.

Брат говорил нам о деяниях отца, как будто верил, вернее — хотел убедить себя, что нам, обреченным на заточение, сама мысль о заслугах отца облегчит бессмысленное, бесцельное существование в тюрьме. И мы, надо сказать, охотно верили брату. В самом деле, общая картина преобразований экономики клана, осуществленных отцом, была так грандиозна, что могла с успехом заставить нас, с малолетства не знавших воли, впасть в подобный самообман.

...Как податливая, мягкая глина послушна рукам ваятеля, так покорно распростерлись у ног молодого правителя разоренные, опустевшие в долгих междоусобицах долины и горы Тоса; в запустении прозябали не только земли — души людские тоже одичали и загрубели.

Отец начал действовать энергично, неистово, словно одержимый. Передо мной лежит его «Памятная записка» — она досталась мне от старшего брата.

В 15-м году эры Канъэй* (отцу было тогда двадцать четыре года) начато строительство плотины на реке Мори, притоке реки Иосино. В следующем году прорыт оросительный канал Накаи. Еще через год перестраивается гавань Муроцу. Проложен еще один оросительный канал Каминои, берущий начало от плотины Ямада.

1-й год эры Сёхо**... Возделаны поля Кагамино, распахана целина на равнине Ноити. Завершено строительство канала Камии. 1-й год эры Кэйан***... Начато строительство новой плотины Хатта на реке Ниёдо и целой сети оросительных каналов Хироока...

---

* 1638 г.
** 1644 г.
*** 1648 г.

И дальше, вплоть до 3-го года эры Камбун *, года, когда отца постигла опала (ему исполнилось тогда сорок девять лет), без передышки идет строительство плотин, гаваней, водохранилищ, шлюзов, водных путей и целой сети каналов, общим числом до тридцати и длиной более тридцати ри**. По берегам новых рек стали плодоносить земли, прозябавшие ранее в запустении. С волнением взирал отец на красоту и богатство родной земли, возрожденной его трудами. То было живое воплощение его мечтаний, высокое искусство, в которое он вложил всю свою душу.

Достаточно взглянуть на тщательно, вплоть до мельчайших деталей, разработанный закон о податях и налогах, который составил отец, сообразуясь с реальным положением вещей, закон, проникнутый доброжелательностью и заботой о людях, чтобы понять — издать подобный закон мог лишь человек, одержимый страстью, не уступающей вдохновению художника, или зодчего, или мастера, расписывающего узорами ткани...

Но мы, его дети, не видели ничего из творений отца и, следовательно, не можем по справедливости ни оценить, ни понять значение его деяний (так же, как истинных причин ненависти, которая все еще тяготеет над нами...).

Мне кажется, впервые тень омрачила блестящие успехи отца не тогда, когда удалился на покой любивший и уважавший его старый князь, и даже не во время отъезда нового князя в Эдо, а значительно раньше, задолго до всех этих событий.

Это случилось, когда умерла его горячо любимая мать, и отец похоронил ее так, как того требовали строгие конфуцианские заповеди, а его заподозрили в том, что он тайно исповедует христианство и замышляет мятеж против центральной власти.

Поводом для таких обвинений послужила усыпальница, которую воздвигли во владениях отца в тихом, уединенном месте, в живописном лесу, на пологих склонах вершины Гандзан. Целых два месяца тысяча кули трудилась над постройкой этой усыпальницы. Всю дорогу до кладбища, десять с лишним ри, отец шел пешком рядом с гробом, босой, в грубой одежде. Это были настоящие торжественные конфуцианские похороны по обычаям рода Вэнь-гуна из древнего китайского царства Цзинь ***. Наверно, отцу хотелось воздвигнуть для обожаемой матери гробницу, достойную императора. Он желал, чтобы место, где будет покоиться ее прах, отличалось той совершенной красотой, к которой он сам всегда стремился душой.

Масштабы и величественность сооружений в сочетании с непривычным и странным погребальным обрядом вызвали уйму толков. О похоронах судили и рядили на все лады. В конце концов поползли слухи, что «правитель Нонака впал в христианскую ересь, выстроил в своих владениях настоящую крепость и, судя по всему, намерен поднять мятеж». Эти слухи докатились до Эдо.

Князь, живший в ту пору в Эдо, затрепетал от страха, узнав, что центральное правительство учредило расследование и подозревает его в измене. На родину полетел гонец с приказом отцу срочно явиться в Эдо. Со времени восстания христиан в Симабара **** минуло десять лет; с тех пор христианство находилось под строжайшим запретом, тайных христиан и поныне усиленно разыскивали и жестоко карали. Уличенных

---

* 1663 г.

** Один ри — около 4 км.

*** Вэнь-гун — государь удела Цзинь в Китае (VII в. до н. э.).

**** Крестьянское восстание в Симабара (1637—1638) своими грандиозными масштабами стало грозным испытанием для феодального правительства. Это восстание, в котором участвовало много крестьян, исповедовавших христианство, было жестоко подавлено. Более 37 000 человек были казнены.

в христианстве неминуемо ждала казнь — распятие или отсечение головы. Подозрение в христианстве никогда не кончалось добром. Даже слухи такого рода считались зловещим знаком, предвещающим гибель.

Отец поспешно пустился в путь как был, в траурном одеянии, ехал безостановочно день и ночь и, прибыв в Эдо, приложил все усилия, чтобы опровергнуть порочившую его клевету, разъяснив суть и форму похорон матери. Власти поручили ученому-конфуцианцу Хаяси Радзан, официальному правительственному советнику*, расследовать и доложить, насколько истинны представленные отцом объяснения. Заключение Хаяси Радзан гласило: «Полагаю, что похороны матери правителя клана Тоса проводились в полном соответствии с подлинным конфуцианским обрядом; с обычаями же христиан сии похороны ничего общего не имеют».

Итак, отцу, к счастью, удалось рассеять павшие на него подозрения. Сам сёгун удостоил его аудиенции, и отец благополучно вернулся домой. Благополучно ли?.. Можно ли утверждать, что в конечном итоге все обошлось благополучно?...

— Тогда-то меня и увезли как заложника в Эдо...— рассказывал старший брат.

В том же году скончался третий сёгун и страной начал править четвертый, князь Иэцуна. Наступило смутное, тревожное время, в июле были раскрыты заговоры ронинов — Юи Сёсэцу, Гюя Марубаси и других**. Осложнения с похоронами госпожи Ман случились как раз после этих событий. И что хуже всего, к этому времени отец уже успел прославиться как мудрый правитель.

Шла молва, что вместо двухсот сорока тысяч коку риса в Тоса фактически собирают более трехсот и что таким благополучием клан обязан мудрому правлению отца. Между тем в сознании сёгуна и его приближенных имя отца, верховного правителя клана, запечатлелось в сочетании с самыми страшными, ненавистными понятиями: «мятеж» и «христианство». Это не сулило добра.

При дворе сёгуна хорошо знали, что отец давно разыскал в городе Сакаи и других селениях самых искусных кузнецов, мастеров по изготовлению холодного и огнестрельного оружия, поселил их в Тоса и обласкал, что он возвратил землю и рисовые пайки десяти тысячам бывших вассалов Тёсокабэ, вывел их из бедственного положения и тем положил конец давнишним смутам на землях Тоса; знали также, что эти действия отца, по сути своей восстановившие спокойствие и порядок в клане, вызвали недовольство его врагов, что пошла молва о некой «дружине Нонака», которой отец-де распоряжается по единоличному усмотрению и в любую минуту может выставить ее в качестве послушной боевой силы... Обо всем этом доносил правительству властитель соседнего клана Мацуяма, князь Мацудайра.

Род Мацудайра состоял в родстве с семейством самого сёгуна. Сестра князя Мацудайра, племянница сёгуна, была просватана в соседний клан Тоса, и, таким образом, князья находились в родстве. Но центральное правительство отнюдь не радовалось обогащению и без того могущественного «внешнего»*** клана Тоса, и князь Мацудайра получил тайный приказ следить за тем, что происходит во владениях шурина.

---

* При центральном правительстве существовала конфуцианская Академия, во главе которой стоял представитель рода Хаяси. Он считался главным ученым советником правительства.

** Мятеж ронинов во главе с Юи Сёсэцу и другие восстания ронинов были подавлены в 1651 году, а их вожаки казнены.

*** «Внешними» назывались княжества, в прошлом выступавшие против правящего дома Токугава во время его борьбы за власть. Эти княжества подвергались особенно жесткому контролю со стороны центрального правительства, во главе которого стоял сёгун из рода Токугава.

Но пока, что бы там ни говорили, все обстояло благополучно. Так прошло несколько лет. Успешно, к полной выгоде Тоса, решился давний спор об острове Окиносима и землях Синояма, служивших причиной распрей с соседним кланом, закончилась прокладка водных путей и оросительной сети на реках Ниёдо, Монобэ, Симанто, на впервые распаханных землях выросли новые города Гомэн и Ямада. В 1-м году эры Камбун * отец приступил к переустройству гаваней Муроцу и Цуро. Слава его была в зените.

В новогодние праздники оба князя, старый и молодой, посетили отца в его усадьбе у ворот замка, поздравили с долгим и успешным правлением, превозносили его заслуги, пожаловали еще тысячу коку риса в год и свиту в пятьдесят самураев — личных вассалов, отданных в непосредственное подчинение отцу...

В том же году в усадьбе отца родилась его третья дочь — то была я.

Миновало меньше трех лет, и отец впал в немилость, удалился в изгнание и вскоре скончался. Говорили, что у него хлынула горлом кровь. А еще шептались, что его отравили. Но это неправда — отец и в самом деле был болен чахоткой...

Об истинных причинах опалы нам, детям, ничего не известно. То немногое, что удалось узнать старшему брату, заключалось в нескольких фразах, оброненных суровым отцом, скупым на слова даже в общении с сыном, да в скудных сведениях, которые удалось почерпнуть от вассалов. Несомненно, главную роль тут сыграла политика, которую проводил отец в клане Тоса. И все же мне кажется, что по существу вся эта интрига была построена на песке; пожалуй, имели значение соображения чисто эмоционального порядка, может быть, некоторая доля амбиции, стремление врагов отца во что бы то ни стало настоять на своем, вот и все...

Так или иначе, но девятнадцатого июня 3-го года эры Камбун** князю было представлено послание, подписанное тремя лицами — старшим самураем Фукао Дэва, его сыном и зятем. Они обвиняли отца в неправильном управлении кланом. Обвинение состояло из трех пунктов: неудовлетворительное состояние финансов, чрезмерные подати и трудовые повинности, ложившиеся тяжелым бременем на крестьян, и невыносимые налоги, которыми облагалось купечество... «Дошло до нас, что некоторые крестьяне и рыбаки предпочитают бежать в соседние кланы, что, по смиренному нашему разумению, не идет на пользу родному краю...» — говорилось в послании.

Это письмо было доставлено отцу вместе с посланием князя. Господин писал, что «всесторонне обсудил положение с тремя вышеупомянутыми персонами», и приказывал отцу «смягчить» режим. Рядом с подписью господина отец увидел также подпись удалившегося от дел старого князя.

Его прежний господин, которому он двадцать восемь лет служил верой и правдой и вместе с ним заново переделывал весь край, теперь осуждает дело всей его жизни и, поверив наветам каких-то ничтожеств, приказывает изменить политический курс! А он-то считал, что изречение «господин и вассал едины» полностью относится к нему и к его князю, и не сомневался, что и князь ему доверяет! Отец, самолюбивый и властный, за долгие годы своего правления ни разу не слышавший ни единого укора или упрека, был уязвлен до глубины души.

Итак, не суждено осуществиться его заветной мечте — создать на земле пусть маленькое, но идеальное общество, добиться совершенной

* 1661 г.
** 1663 г.

красоты и гармонии, о которых рассказывает наука... Все теперь в прошлом.

Прошение отца об отставке было принято двадцать восьмого июля. Четырнадцатого сентября, по его просьбе, ему разрешили удалиться от мира. Брата вернули из Эдо и назначили главой рода. Мне было тогда три года.

Отец поселился в полном уединении отдельно от семьи в Накано, возле Фунаири, одного из каналов, отходящих от плотины на реке Монобэ — в сооружение этой плотины, стоившей ему огромных трудов, он вложил всю душу.

Он жил одиноко, избегая людей, в бедном жилище на берегу канала, плавно катившего свои воды среди обильно зеленевших полей. Прислуживал ему всего лишь один вассал — восемнадцатилетний Дзирохати Комаки. Из вещей отец взял с собой всего несколько книг и большую раковину, которой бесконечно дорожил. Она напоминала ему о днях, когда он был буквально одержим сооружением плотин и каналов. Сигнальщик громко трубил в эту раковину утром, днем и вечером, возвещая начало и конец работы и обеденный час. А из книг он больше всего любил стихи чуских поэтов *.

Сейчас я перечитываю одно из этих произведений — поэму «Лисао»...

...Я твердо знаю: прямота — несчастье,
Но с ней не в силах разлучиться я.
В свидетели я призываю небо —
Все это ради князя я терплю.
Я говорю: сперва со мной согласный,
Потом сошел ты с этого пути...

«...Но ты, всесильный, чувств моих не понял, внял клевете и гневом воспылал...» — наверно, отец, как никто другой, мог понять горькие переживания Цюй Юаня, когда тот, скорбя, мысленно обращался к чускому государю...

Через несколько дней после отставки отца вышел закон, по-новому определявший статут самураев, еще через две недели — указ о снижении налогов и прощении задолженностей, числившихся за крестьянами и купцами, затем указ о прощении долгов рыбакам и судовладельцам. Понадобилось всего несколько дней, чтобы не оставить камня на камне от гармоничного, идеального общества, которое стремился создать отец.

Дзирохати неотлучно находился при отце до его последнего часа, усердно прислуживая ему во всем. Отец почти все время молчал. Юноша ни словом не обмолвился о бурных переменах, происходящих в клане, о новом курсе правительства. Он хорошо понимал, что это может вызвать негодование его господина.

Над каналом Фунаири, вздымая легкую рябь, проносился вечерний ветер. В лодках, груженных снопами риса, проплывали крестьяне, отталкиваясь шестом,— сидя на открытой веранде, отец провожал их пристальным взглядом. Ветер с полей приносил аромат созревающих злаков.

Прошла осень, наступила зима, становилось все холоднее, и здоровье отца ухудшалось. По ночам сильный кашель не давал сомкнуть глаз, и Дзирохати, терзаясь душой, ухаживал за больным. Пятнадцатого декабря на рассвете внезапно начался жестокий приступ кашля, кровь хлынула горлом, и отец тут же скончался...

Останки решили перенести в родовую усадьбу, у ворот замка Коти. За гробом, который вынесли из опального жилища в Накано, шли родные и вассалы; под вечер процессия добралась до Коти. Однако у ворот

* Чуские поэты — Цюй Юань и его последователи (по названию древнего китайского царства Чу, IV—III вв. до н. э.).

замка путь преградила стража, сообщившая, что проход запрещен, ибо «мертвое тело оскверняет ворота». Стиснув зубы, люди терпеливо свернули на боковую тропинку; сквозь зелень кустов совсем рядом виднелись освещенные окна усадьбы — гроб так и не разрешили пронести в замок.

Пришлось пуститься в обратный путь и снова шагать всю ночь по уже скованной морозом дороге добрых три ри. Люди молча несли гроб. Стоял жестокий декабрьский холод. Среди участников печальной процессии, охваченных негодованием и скорбью, был и Дзирохати — он ни на шаг не отходил от своего господина, так же как и при его жизни.

Похороны отца состоялись семнадцатого декабря в Накано, месте его изгнания, неподалеку от усадьбы семейства Комаки. С мрачного неба падали редкие сухие снежинки, когда похоронное шествие направилось к кладбищу на горе Томияма. В густой темной чаще поставили белый деревянный столбик с посмертным именем* — Кэйсёин Согаку Ниссо, и на этом церемония закончилась. Только снег падал и падал с неба.

Скрывшись в снежной мгле, Дзирохати спустился на заросшую травой поляну неподалеку от кладбища. Выходя из дому, он, словно невзначай, простился с матерью — в действительности то было прощание навеки.

Он тихонько вызвал мать, хлопотавшую на кухне среди служанок, взял у нее короткое кимоно «кособэ», надел его под одежду прямо на тело и попросил чашечку сакэ. С момента смерти господина он еще ни на минуту не сомкнул глаз. Воспользовавшись суматохой, поднявшейся при выносе гроба, он попросил мать тоже пригубить сакэ и долго смотрел на нее в полутемных сенях воспаленными от бессонницы глазами. На груди у него лежало письмо, адресованное одному из друзей.

«Я, недостойный, пользовался бесконечными милостями глубоко почитаемого моего господина и потому был преисполнен желания никогда не покидать его ни в жизни, ни в смерти. Ныне же ничем не смог послужить ему и потому хотел выполнить свое намерение в ту же ночь, как гроб вернули из Коти. Но от душевного расстройства и скорби, видимо, растерялся, за что достоин осмеяния. Теперь господина похоронили, и я нынче же ночью предаю себя смерти.

Хотя господин мой всегда питал отвращение к «смерти вдогонку», считая ее дурным обычаем нашего государства, и говорил, что истинно благородный муж должен ненавидеть этот обычай, я все же осмелюсь нарушить этот его завет. Перед смертью господина, во время его болезни, я один находился при нем неотлучно. Глубина его сердца была поистине безгранична. Чем же отблагодарю я его за это? Как посмею жить, дорожа сей суетной и быстротечной жизнью, если он мертв? Понимая, что поступок мой противоречит воле господина, я, недостойный, все же решил не расставаться с ним даже в смерти, а посему нынче же лишу себя жизни.

Но опасаясь сим поступком навлечь на себя немалый гнев покойного господина и в оправдание моего преступления (ибо известно мне, что в нынешнее время «смерть вдогонку» запрещена законами нашего государства), составил я сие неумелое послание. Желание отблагодарить моего господина за его милости — вот единственная причина, побудившая меня уйти из жизни. Прошу понять меня и простить. Такова моя просьба, в чем и ставлю собственноручную подпись».

Суровый приказ о посмертной каре отца — уничтожение дома Нонака с конфискацией всех владений и ссылкой его сыновей и дочерей

* По буддийскому обряду после смерти человеку дается новое, «посмертное» имя.

в Сукумо — был вручен семье Нонака в следующем году третьего марта, в день весеннего Праздника кукол*.

Точно так расправлялись власти с семьями и имуществом опальных князей. Но подобное наказание постигало только бунтовщиков, вот почему у многих зародилось сомнение — уж и впрямь не замышлял ли отец мятеж?

Старший сын Сэйсити шестнадцати лет, третий сын Кисиро восьми лет, я — четырех лет, младший сын Тэйсиро пяти месяцев и наша мать Киса Икэ... Второй сын Кинроку с матерью Кати Кобун... Старшая дочь Ионэ восемнадцати лет, с матерью Яна... Вторая дочь Кан семи лет и младшая дочь Сё трех лет с матерью Цума Минобэ... В заточение отправили восьмерых детей и их матерей.

Матушка несла Тэйсиро на руках, меня вела за руку кормилица. Мы сели в приготовленный для нас паланкин. В гавани Урато нас ожидали две лодки, присланные семейством Андо, владельцами Сукумо, где нам предстояло жить в заточении.

В этот роковой день, решивший нашу судьбу, я, совсем еще дитя, беззаботная, как ясное утро, радостно уселась в паланкин и, наверно, весело резвилась и щебетала среди онемевших от отчаяния взрослых. В несчастье, как гром поразившем всю семью, я, ребенок, наверно, видела что-то интересное, необычное, вызывавшее во мне детский восторг...

Глава III

Незнакомец

Наша темница приютилась у подножия горы Хондзё, к западу от усадьбы Андо, одного из пяти знатных семейств клана Тоса. Из этой семьи происходила супруга нашего деда Гэмба Нонака.

Одинокое строение, крытое камышом, окружал высокий, почти до самой крыши, бамбуковый частокол; с годами бамбук подгнивал, и тогда его заменяли новым.

Селений поблизости не было; люди избегали долину, давшую пристанище узникам,— тяжкое наказание, обрушившееся на головы несчастных, повергло в трепет весь клан.

Осенью, вплоть до наступления зимы, на окрестных холмах по ночам то и дело вздымались к небу столбы белого дыма и виднелись языки пламени, они изгибались по ветру, как змеиные жала. Всю ночь дым и пламя ползали по склонам гор, а на следующее утро весь склон превращался в одно сплошное черное пожарище.

Затем на холмах появлялись крохотные фигурки людей. Эти далекие крестьяне были первыми людьми из внешнего мира, которых мне довелось увидеть, если не считать стражи.

Странно, ребенком я почему-то ужасно боялась этих людей. Согнувшись как-то неестественно в три погибели, эти страдальцы день-деньской копошились на черных выжженных склонах, взмахивали мотыгами, бросали в землю семена. Замирая от страха и любопытства, я с жадным интересом следила за их крохотными фигурками — своим усердием они походили на муравьев.

Нет, мне не приходило в голову завидовать им. Весь день напролет они сновали по крутым, обрывистым склонам, рыхлили землю, таскали корзины с удобрениями и казались мне одинокими и несчастными, как

* 3 марта в Японии справляют так называемый Праздник кукол — народный праздник, связанный со множеством красочных, веселых обрядов.

те заколдованные горной ведьмой бедняжки, обреченные на тяжкий, изнурительный труд, о которых рассказывала мне в сказках кормилица.

Меня мучил безотчетный страх — что, если они вдруг нагрянут сюда? Случалось, я капризничала и плакала, но мгновенно смолкала, стоило кормилице пригрозить: «Тише, тише, госпожа Эн... Нельзя так упрямиться, а то, смотрите, придут сюда люди с гор... Придут и скажут: «А ну, кто здесь плачет? Подавайте нам эту плаксу!»

В те времена я была вполне счастлива и чувствовала себя свободной. Я знала, что за бамбуковым частоколом лежит запретный мир, куда я не смею ступить ногой, и боялась живущих в этом мире людей, которые вовсе не казались счастливыми.

С наступлением весны на выжженных склонах зеленели поля гречихи, летом гречиха цвела, покрывая горы волнами белых цветов. В лунные ночи эти сплошь окутанные цветами склоны казались сказочным зачарованным миром.

Прошли годы, я выросла и теперь уже любила смотреть на крестьян, работавших в поле. Теперь я уже знала, что эти труженики, казавшиеся мне когда-то такими несчастными, в отличие от меня свободны, а я — узница; и уже понимала, что праздность только на первый взгляд может казаться счастьем, между тем как свободный труд усердно работающих людей выглядит иногда со стороны наказанием.

Когда-то я боялась этих крестьян, трепетала от страха, как бы они ненароком не явились к нам в дом. Теперь же я стремилась к ним всей душой (о, если бы они хоть раз заглянули сюда!..) и целыми днями наблюдала за их работой.

В нашем маленьком садике, окруженном бамбуковым частоколом, рос дуб, за его ветви цеплялась дикая горная глициния. Каждый год с наступлением лета она расцветала лиловыми гроздьями.

Летом 9-го года эры Камбун* умерла наша бабушка госпожа Гэнрин. После смерти старшей сестры это была вторая постигшая нас утрата. Но госпожа Гэнрин, вместе со своей дочерью госпожой Ити, жила в усадьбе семейства Андо, у меня не сохранилось о ней воспоминаний, и потому я довольно равнодушно отнеслась к ее смерти.

Зато о госпоже Ити, законной супруге отца, одиноко доживавшей свой век в усадьбе Андо, я думала часто и подолгу. Эта женщина, которую мне ни разу не довелось увидеть, время от времени посылала нам через стражу разные подарки, стараясь хоть как-нибудь скрасить наше существование. Однако я интересовалась ею не из благодарности к ее доброте — скорее мной владело чисто женское любопытство, даже с некоторой долей злорадства; хотелось знать, что на сердце у этой женщины. Ее судьба, о которой мне рассказали, когда я стала взрослой, потрясла мое воображение.

Семнадцати лет госпожу Ити выдали замуж за моего отца. Ему было двадцать три года, свадьба состоялась ровно через год после его вступления в должность правителя клана. Всецело увлеченный наукой, отец наткнулся среди различных конфуцианских догм на заповедь, гласившую, что браки между родственниками вредны и потому их следует избегать. Отец и госпожа Ити состояли в родстве — у них была общая бабка. Не знаю, что пережил тогда отец, как он мучился и страдал,— об этом мне ничего не известно. Знаю только, что в конце концов его верность науке оказалась сильнее любви к госпоже Ити.

Он решил жить врозь с молодой женой и склонил ее согласиться с этим решением. Правда, госпожа Ити осталась в доме отца, но близости между ними не было. Безрадостно и уныло проводила она дни, пе-

* 1666 г.

чальная свидетельница того, как наложницы отца — моя матушка в том числе — одна за другой рожают ему детей.

Когда семью приговорили к вечному заточению, госпожу Ити оставили на свободе, и не только потому, что она была дочерью Гэмба Нонака: очевидно, приняли во внимание это прискорбное обстоятельство — отсутствие брачной связи с отцом. Впервые услышав эту историю от старшего брата, я была потрясена.

— О, бедная... Как жестоко поступил с ней отец! — невольно вырвалось у меня.

— Нет, отец превыше всего ставил науку, она служила ему путеводной звездой во всех случаях жизни. Истина нуждается в людях, способных мужественно претворять ее в жизнь, только при этом условии она становится действенной и живой. Философские догмы и законы науки лишь тогда обретают силу, когда находится человек по-настоящему смелый, готовый сам испытать законы науки и применить их в реальной жизни. Иногда я поистине завидую отцу — ему посчастливилось соприкоснуться с таким учением... Пусть оно требовало подчас жестоких поступков, зато смогло увлечь его с такой силой...

Я тоже нередко с завистью думала об отце, о его страстной преданности науке. В новом философском учении он обрел идеалы, сиявшие ему ярким светом до самой смерти. По сравнению с той безжизненной, чисто книжной наукой, которая досталась на нашу долю, какое это было действенное, полное живой силы учение!..

И все же, узнав историю госпожи Ити, я впервые усомнилась в чисто человеческих качествах отца. Не берусь судить об этом чудище, именуемом «властью», которое я не в силах постичь. Но в отношениях между супругами, между женщиной и мужчиной, разбиралась, пусть неполно и смутно, даже я, навеки обреченная на безбрачие.

И если тогда я не возразила брату, то лишь потому, что не столько в его словах, сколько во внезапном его смущении мне неожиданно открылось его отчаяние, его глубокое разочарование в науке, которое он пытался скрыть от нас, младших сестер и братьев. Это открытие ошеломило меня, я смутилась и растерялась еще больше, чем он.

Я и сама не раз с досадой и горечью думала о том, что узникам, обреченным прозябать в темнице до конца дней, бесполезно заниматься наукой; но прочитав те же мысли в сердце брата, я была потрясена до глубины души. Ведь несмотря на все мои обиды и даже гнев на брата, мне так нужно было получить от него подтверждение, что наука сама по себе стоит того, чтобы жить только ради нее...

Шли в заточении годы. На смену эре Эмпо пришла эра Тэнва, затем Тэйкё *... И вот, на третий год эры Тэйкё **, наступил летний день, который я не забуду, пока жива. В этот день с нами случилось чудо.

Оно подкралось к нам незаметно. День стоял знойный, жгучий, солнце палило, одуряюще пахли густые травы вокруг нашей темницы. И по узкой тропинке среди этих благоухающих трав к нам тихонько явилось чудо. Ибо как иначе назвать то, что произошло?

В то время как не только крестьяне, но даже огни в поле, казалось, сторонятся нашей мрачной темницы, нашелся человек, преодолевший долгий путь в тридцать ри из далекого города Коти только для того, чтобы навестить нас... Поистине, разве это не чудо?

Мы узнали об этом лишь на следующий день. Стража ни словом не обмолвилась о появлении незнакомца, пока не доложила начальству.

— Вчера сюда приходил некий Тандзабуро Тани из Коти. Просил свидания, но так как у него не было письменного разрешения властей,

---

* Эра Эмпо—1673—1680 гг., эра Тэнва—1681—1683 гг., эра Тэйкё—1684—1687 гг.
** 1686 г.

пришлось отказать. Ну, а на словах могу передать, это я взял на себя...— сказал старый стражник, знакомый брату.

— Как ты говоришь — Тандзабуро Тани? Кто бы это мог быть?.. Не знаешь?

— Толком не знаю, но, по его словам, он вроде бы ученик сэнсэя * Андзай... Молодой такой, худощавый...

— В самом деле?! Как это великодушно с его стороны!.. Если он еще здесь, хорошенько поблагодари его от нашего имени!..

Как только стражник ушел, господин Кисиро направился прямо к нам. Мы с господином Тэйсиро слышали весь разговор и затаив дыхание уставились на старшего брата. Он тоже взволнованно смотрел на нас. Некоторое время никто не мог произнести ни слова.

Так я впервые услыхала имя сэнсэя Тани Синдзан **. Ученик сэнсэя Ямадзаки Андзай... Молод и худощав... Вот и все, что мы о нем знали. Но и этого нам было вполне достаточно. Главное — с нами случилось чудо. Взволнованные, мы всей семьей обсуждали это событие.

Сэнсэй Андзай рассказал ему об отце и о нас. Значит, после двадцати трех лет заключения о нашем существовании помнят не только враги отца. О нет! Пусть хоть один-единственный, но на свете есть человек, пожелавший встретиться с нами!

Это событие в самую критическую минуту предотвратило подстерегавшую нас опасность, преградило путь нравственному падению, которое, как плесень, начало разъедать наши души, ибо в ту пору мы уже стали постепенно терять смысл жизни, готовые утратить не только веру, но и самую способность во что-то верить. В самом деле, к тому времени я уже почти раскаивалась, зачем мы впустую приобщались к науке, и в тайных помыслах не раз сомневалась — не лучше ли, не мудрствуя лукаво, сойтись здесь, в этой клетке, со старшим братом и, уподобившись животным, бездумно наслаждаться той жизнью, какая есть, обретая утеху в примитивном и беспечном мире греха, который — кто знает? — возможно, мысленно уже совершали братья и сестры...

В действительности это начисто исключалось, но тем опаснее были такие мысли. Появление незнакомца развеяло это наваждение, как дурной сон. Тогда я не отдавала себе в этом отчета, только вдруг почувствовала, что на душе стало легко и как-то светло. Я вновь ощутила ту же легкость, очнувшись от сна, который приснился мне той же ночью.

Допоздна мы беседовали, мирно и тихо, и лишь после полуночи улеглись в постель.

...Мне снилось, что на окрестных горах сплошь пылают огни. Языки пламени, словно живые существа, извиваясь, ползут все ближе и ближе. Я смотрю на эти огни. Вот поток пламени стремительно мчится вниз, прямо ко мне, и я понимаю, что это человек, которого я жду. Пламя вытягивается длинной струей, вот оно подступило к самым моим ногам, превратилось в густой столб дыма... Когда дым рассеется, оттуда появится человек.

...Я стою у бамбукового частокола и смотрю на огонь. Пламя ползет и лижет основания бамбуковых кольев. Нужно окликнуть этого человека, назвать по имени. Тогда он сможет перебраться через забор, подойти ко мне. Но я не в силах вспомнить, как его зовут. Вернее, я знаю его имя, но не могу произнести.

Надо позвать его, скорее позвать. Иначе он исчезнет. Стража прогонит его прочь. Я вся покрываюсь потом, силюсь выдавить из горла

---

* Сэнсэй — ученый, учитель; почтительное обращение к старшим, уважаемым людям.

** Синдзан — псевдоним, который мог добавляться к фамилии или вовсе заменять ее. Традиция предписывала ученым, подобно художникам, поэтам или артистам, иметь псевдоним, под которым они и были известны в науке.

хоть единый звук, произнести его имя — ведь это просто необходимо,— но почему-то никак не могу: нет сил, голос изменил мне...

Я мечусь вдоль ограды, и пламя тоже, вздымаясь, следует за мной. А-а!.. Миг невыносимого напряжения, внезапно с моих губ слетает какой-то крик, и пламя вдруг охватывает мое тело...

Вся в поту, я открыла глаза. То был лишь сон, но все тело еще горело от мгновенно обдавшего меня жара, я явственно ощущала, как постепенно затихает, отступает, словно морской прилив, горячая, трепетная волна чувств. Мое женское естество впервые пробудилось во мне в эти огненные мгновения, изведанные не то во сне, не то наяву. Я металась и задыхалась во мраке под действием непонятного, пылавшего в моем теле никогда еще не изведанного волнения.

Стояла глубокая ночь, рядом слышалось тихое дыхание спавшей матери. Я вдруг поймала себя на том, что улыбаюсь неизвестно чему. Радостное предчувствие, больше того, предвкушение счастья или, может быть, какой-то блаженный покой — не знаю, как назвать это ощущение,— владели мной. Кровь бурлила в жилах, сердце билось ровно и сильно — каждый удар как взмах могучих крыльев.

И эта невольная улыбка... Я никак не могла согнать ее с губ. Все мое тело налилось силой, в каждом суставе, в каждой клеточке билась и трепетала полнокровная жизнь.

Мне казалось, что я впервые по-настоящему узнала себя, убедилась, что действительно существую.

В небе над кровлей нашей темницы с громким криком пролетела кукушка. Я подумала, что эту ночь он проводит недалеко отсюда, на постоялом дворе в Сукуме. И там, наверно, тоже кричит кукушка...

Я так и не уснула в ту ночь, поднялась раньше всех и принесла воды из колодца. У бамбуковой ограды расцвели мелкие, голубые, как бирюза, цветочки, сплошь осыпанные росой. Я сорвала их и поставила на стол брату.

Весь день я была молчалива и, наверно, со стороны казалась задумчивой, но на душе у меня было невыразимо спокойно, я чувствовала умиротворение и счастье. Даже если мне суждено всю жизнь провести в неволе, все равно — хорошо, что я родилась на свет... Иногда на глаза беспричинно навертывались слезы. Никогда еще я так не любила всех моих близких — и двух несчастных старших братьев, которых уже не было с нами.

Прошел почти год, прежде чем брату доставили длинное письмо от этого человека.

Этот срок вовсе не показался мне особенно долгим. Я ни минуты не сомневалась, что рано или поздно мы обязательно получим от него весточку.

Я знала: не может быть, чтобы он нас забыл. В самом деле, он появился, когда мы находились в заточении уже больше двадцати лет, да и после того провели в тюрьме еще почти двадцать. Что значил год по сравнению с этим бесконечно долгим сроком?

Нет, никак нельзя считать запоздалым это письмо, доставленное нам, узникам, с разрешения властей в эту зачумленную, всеми покинутую долину, в самом отдаленном западном углу Тоса, за тридцать с лишним ри от города Коти...

Дрожа от радости, мы обступили брата и, не отрываясь, следили за его руками, вскрывающими конверт.

«...Девяти лет начал я читать «Малое учение». К тому времени я уже знал, что прежний правитель (так писал он о нашем отце) уже умер, а дети его живут в Сукумо. Об этом мне рассказали по секрету.

Впоследствии довелось мне общаться с некоторыми благородными господами, но бывшие вассалы вашей семьи многое испытали за эти годы и потому отказывались отвечать на мои вопросы...»

Из этого письма мы впервые узнали, как относятся во внешнем мире к нашей семье; узнали, что люди до сих пор боятся даже произнести наше имя и что ненависть, преследующая нас, ни в коей мере не смягчилась.

И еще мы узнали, что старания бессердечных людей искоренить страсть к науке, горевшую в душе отца до конца его дней, оказались бессильны, что эта страсть не погасла вместе с ним и его вдохновенное служение науке смогло внушить человеку, родившемуся в год его смерти, глубокое уважение и восхищение.

«...Долгие годы мечтал я, чтобы случай привел меня в Сукумо, и радовался, что наступил день, когда сие заветное желание мое исполнилось. И вот я здесь. Ищу Ваше жилище — оказывается, это хижина в поле; спрашиваю, кто Ваши слуги,— увы, это тюремные стражи... И опечалился я, и вздохнул, и заплакал, и промолвил, скорбя: семнадцать с лишним лет миновало с тех пор, как узнал я о Вас, но еще ни разу не смог повидаться с Вами... О злой, о жестокий рок!

Мне удалось разыскать несколько Ваших стихотворений. Я прочел их. Радостно мне, что не погиб голос Вашего рода, и прискорбно, что столь долго терпите Вы нужду и лишения. Невыразимое волнение стесняет душу, по щекам бегут слезы... Смятенные мысли, как перепутанные стебли в охапке конопли, переполняют сердце...»

Нас сослали в Сукумо, во владения семейства Андо, родного дома нашей бабки госпожи Гэнрин. Понятно, что автор письма уж никак не предполагал, что мы живем в такой глуши, в жилище, больше похожем на логово лисиц или барсуков, чем на людское жилье, и вдобавок под непрерывным надзором стражи. «Позвольте хоть повидаться с ними, молча посмотреть друг на друга, если невозможно поговорить...» — просил он, но ему отказали...

Возвращаясь по узкой горной тропинке, среди благоухания цветущих трав, он, наверно, не раз горестно оглянулся на бамбуковый частокол. Ему удалось разыскать несколько стихотворений брата, и они его взволновали — эти строчки письма безмерно обрадовали не только брата, но и меня. Впервые наши слова дошли до человека из внешнего мира.

«...В этом году мне исполнилось двадцать пять лет, но зрение мое уже наполовину угасло, в ушах стоит звон, и тело ослабло, как у дряхлого старика. Само собой разумеется, я не получаю даже самого ничтожного рисового пайка; мало того — власти постоянно подозревают меня в злокозненных умыслах. Боюсь, как бы внезапная смерть не помешала мне выполнить мои заветные стремления. По этой причине решился я, неразумный, после долгих сомнений и колебаний нарушить Ваш покой сим несовершенным посланием. Но я бессилен связно изложить все, что волнует мой ум и душу, быть может, тысячную долю мыслей и чувств передаст Вам сие беспорядочное послание...

По прочтении — сожгите».

Мы без конца читали и перечитывали письмо, но даже почти выучив наизусть, не бросили в огонь. Уничтожить такое сокровище своими руками?.. Мыслимое ли дело!..

Мы перечитывали послание с невыразимой благодарностью, более того — с каким-то необъяснимым трепетом. Эта власть, эта политика, которая вот уже более двадцати лет неотступно простирает над нами свою жестокую, карающую десницу, все еще существует там, в том далеком мире, откуда прилетели к нам эти строки... Всякий раз, перечи-

тывая письмо, мы с невольным страхом вновь и вновь убеждались в этом.

Но я, как ни странно, испытывала своеобразную радость. Письмо развеяло тревогу, тайно терзавшую нас, хоть никто не отважился бы признаться в этом: что, если мы вообще позабыты здесь, на краю света? Это было бы страшнее всего.

Все можно было вынести: и двадцать лет заточения, и жестокую, злобную ненависть. Но примириться с тем, что мы забыты, забыты даже теми, кто ненавидит, было бы выше человеческих сил. Ибо только сопротивление ненависти — вот единственное, что придавало смысл нашему существованию. «...Само собой разумеется, я не получаю даже самого ничтожного рисового пайка; мало того, власти постоянно подозревают меня в злокозненных умыслах»...— в этих строчках угадывалась та же ненависть сильных мира сего. Он тоже подвергается преследованиям и гонениям — эта мысль, не знаю почему, приводила меня в волнение.

Я знаю — с той поры моя жизнь нераздельно слилась с его судьбой, с судьбой мужчины по имени Тандзабуро Тани. С судьбой бедного, изможденного молодого ученого-конфуцианца...

Отныне этот человек принадлежал мне. Только теперь я поняла, как нуждалась в нем, как ждала его.

Никто, в том числе, конечно, и старший брат, не догадывался о моих чувствах к сэнсэю.

С того часа в нашей темнице тоже потекло время. Двадцать с лишним лет оно стояло на месте и, казалось, остановилось навеки. Но теперь время снова пришло в движение. Мы постоянно обменивались с сэнсэем посланиями. Письма шли через горы и реки, долгим путем в тридцать с лишним ри, и приходили всего раз в год, но благодаря этим весточкам месяцы и годы неслись, как на крыльях.

Нам разрешалось писать только о непонятных местах в книгах, которые мы читали,— сэнсэй разъяснял нам эти трудные строки,— да обмениваться стихами. Но в письмах, приходивших на имя брата, всегда содержались ответы также и на мои вопросы. Эти несколько строк — редко больше десятка,— предназначенных для меня, я умела прочитать так, как если б их были сотни. Сэнсэй писал очень кратко, ни на шаг не отступая от темы, но именно поэтому я научилась по-своему толковать его слова и умела разглядеть между строк душу того, кто их писал.

Этот человек уже знал обо мне, знал, что на свете существую я, женщина, обойденная судьбой; знал, что переживала, о чем думала, из-за чего страдала эта женщина все двадцать лет заточения; знал, какие книги она читает, о чем мечтает, о чем горюет. В самом деле, разве в письмах, приходивших на имя брата, мы не подавали друг другу тайные знаки, без труда читая в душах друг друга?

Когда господин Кисиро занемог и вскоре скончался, мне показалось, будто на меня обрушился удар железного молота. «Небо покарало меня за своеволие...» — думала я.

Мы с братом любили друг друга, как самые нежные, преданные супруги, разве что не было между нами плотской связи, но мы буквально составляли с ним одно целое. Нет, никогда не поверю, что жена, потерявшая мужа, скорбит сильнее, чем горевала я в те минуты! «Заройте и меня вместе с ним!» — молила я в душе, сидя у гроба брата. Отчаяние, близкое к безумию, охватывало меня при мысли о предстоящем бесконечно долгом одиноком существовании без него в этой темнице... Мне хотелось вцепиться в гроб, который выносили из дома стражники, и завопить, запричитать во весь голос, но я сидела, не шевелясь, напрягая все силы, чтобы сдержаться. Даже матушка не проронила ни слезинки в присутствии стражи. Последние в семействе Нонака, мы хорошо научились переносить и страдания и смерть наших близких...

«...Скончался 11-го дня, 4-го месяца, 11-го года эры Гэнроку *, сорока двух лет от роду...» Сквозь просветы бамбукового частокола было видно, как по узкой тропинке тюремщики уносят на плечах гроб с телом брата. Одуряюще пахла молодая листва в горах, зеленые блики трепетали на сёдзи в нашей темнице, падали на мои босые ноги. Мне исполнилось тридцать восемь. Я сидела неподвижно, не отрывая глаз от голубых жилок, явственно проступивших на тыльной стороне рук.

Теперь мне нужно было впервые самой написать сэнсэю Синдзан. Я обязана была сообщить ему о смерти брата и поблагодарить за добрые чувства, которые сэнсэй питал к покойному. Но кисть не повиновалась мне и сама поведала о моих чувствах — о, как хотелось мне упасть ничком возле этого человека и выплакать ему мою скорбь!

«...ребенком попала я в заточение и вот нахожусь здесь уже тридцать пять лет. Двух старших братьев нет в живых, а сейчас не стало и третьего, который был мне дороже жизни. Отныне на кого опереться мне в моих горестях и страданиях? Сердце разрывается от боли, слезы текут рекой, и за ночь рукава моей одежды насквозь пропитываются соленой влагой. Моя слабая кисть не способна передать, как любил и уважал сэнсэя покойный брат, как горевал он, что покидает сей мир, так ни разу не повидавшись с Вами. Воспоминания о его горе терзают душу нам, его пережившим... И вот, в нарушение приличий, я решилась написать Вам моей жалкой, несовершенной кистью, чтобы Вы знали об этом его заветном желании. Прошу Вас, сэнсэй, принять это послание как выражение глубокой благодарности моего покойного брата...»

В ответ от сэнсэя пришло длинное письмо. Он выражал соболезнование по случаю смерти брата и в традиционном некрологе восхвалял его ум и благородную душу.

С той поры между мной и сэнсэем завязалась тоненькой ленточкой переписка. Письма приходили вдвое реже, чем при жизни брата, и были гораздо короче, но благодаря этим немногочисленным весточкам я выдержала последовавшие пять лет заточения.

За эти пять лет мне пришлось пережить еще две смерти. Смерть несчастной госпожи Ити, доживавшей свой век в семействе Андо, и младшего брата, господина Тэйсиро — последнего моего бесконечно милого брата.

Да, в течение сорока лет вокруг меня один за другим умирали близкие люди, как опадают листья с деревьев. Старшая сестра, старший брат, второй брат, третий, потом младший... Бабка и матери сводных сестер и братьев, госпожа Ити и многие наши слуги...

Смерть стала для меня теперь самым близким, простым понятием. Мертвые знают — они жили только для того, чтобы умереть. Вот почему, бесплотные, они и сейчас, точно так же, как и при жизни, остаются рядом с нами в нашей обветшалой темнице. Каждый из них по-прежнему занимает свое привычное место рядом с нами, живыми.

Сейчас в нашей старой темнице с покосившейся кровлей, подгнившими столбами и рваными, грязными сёдзи остались только престарелая матушка, кормилица Нобу, шестидесяти пяти лет, и три сестры, каждой из которых уже за сорок...

В доме, где неслышно витают тени мертвых, в эту холодную позднюю осень живые жмутся друг к другу, стараясь согреться теплом дыхания...

Такими нас застало помилование. Когда и стремления, и страсти, и мечты о свободном мире, некогда столь желанном, уже безвозвратно увяли...

Из политических врагов отца тоже, наверно, нет никого в живых.

---

* 1698 г.

Они отомстили за оскорбление, которое он, гордый и властный, нанес им в давно минувшие времена; теперь, когда ни отца, ни его врагов уже давно нет на свете, эта месть наконец-то полностью завершилась. Род Дэнэмона Иосицугу Нонака угас, три его дочери, как цикады в осеннюю пору, выброшены в увядший, утративший краски мир.

Таков блестящий итог непримиримой ненависти этих людей. Мои губы невольно складываются в холодную, ироническую улыбку.

Этим утром мы, сестры, шли туда, откуда слышался шум — удивительный, таинственный шум, не похожий ни на завывание ветра, ни на шелест деревьев. Нам говорили, что это грохот потока.

Когда-то в детстве эти звуки, напоминавшие то близкий, то отдаленный шепот, а порою — звериный рык, будили в нас, юных узниках, бесконечные мечты и стремления. И вот мы свободны и идем навстречу этим звукам. От волнения учащенно стучало сердце. В опустевшей сторожке, покинутой хозяевами, стояла тишина, обильная роса покрывала увядшие травы и красные листья кленов.

Мы пересекли долину и стали спускаться по склону среди низкорослых сосен. Грозный рев, словно надвигаясь на нас, с каждым шагом все приближался. Оробев, мы невольно взялись за руки. Травянистый склон внезапно отступил — река текла внизу под обрывом. Здесь течение превращалось в стремнину, поток, похожий на белую ткань, повисшую в воздухе, пенился и бурлил; шум, напоминавший рычанье зверя, доносился отсюда.

Лучи утреннего солнца, пробиваясь между одетыми в зелень горами, били нам в спину, озаряя противоположный берег и часть реки. Освещенная солнцем и погруженная в тень вода бесконечно меняла оттенки и потому казалась удивительно живой. В лучах солнца она сверкала мириадами драгоценных камней, взметалась яшмово-синими, золотыми и алыми брызгами, блистала неземной, причудливой красотой.

Возглас восторга невольно вырвался из наших уст. Не в силах вымолвить ни слова, мы молча любовались волшебным зрелищем. Я и помыслить не могла, что такое существует на свете — движение, ни на мгновенье не прекращающее свой бег, ни на секунду не принимающее неподвижной, застывшей формы.

Мне говорили, что река способна иногда погубить человека. Если вода так прекрасна, ей, пожалуй, и в самом деле невозможно сопротивляться, даже когда она смертоносна... Если великолепие ее столь совершенно, неудивительно, что и буйство реки так всесильно. Глубокое волнение стрелой пронзило мне душу. Таинственная прелесть текущей воды, каждый миг меняющей цвет, меняющей облик, казалась мне символом свободного мира... Наверно, все, что существует там, в этом мире, живет такой же удивительной и прекрасной жизнью, которую мое воображение было бессильно нарисовать за все сорок с лишним лет моего заточения в темнице.

Сердце охвачено страстным желанием — скорее в Коти, как можно скорее! Я думала о человеке, образ которого ни на секунду не исчезал из потаенного уголка моего сердца. Мне хотелось жить!

— Госпожа о-Эн, да вы побледнели, как полотно...— взглянув на меня, воскликнула старшая сестра.

— И вы тоже, госпожа Кан!.. — отозвалась я, стараясь перекричать шум бурлящей реки. Всех троих била дрожь, мы стояли неподвижно, бледные, с посиневшими губами.

Я думала о господине Кисиро и о младшем брате, таком ласковом, добром. Как мне хотелось, чтобы они хоть одним глазком взглянули на эту красоту. Как бы хотелось полюбоваться рекой вместе со старшим

братом!.. Но мечтать об этом было бесполезно и глупо. Если бы братья жили, мы не вышли бы на свободу.

Судорожный смех с непреодолимой силой поднимался откуда-то из глубины моего существа. Я смотрела вниз на бурлящий поток, не в силах сдержать тихого, короткого, прерывистого смеха. Сколько я ни старалась, этот припадок смеха не проходил, и я боялась, как бы он внезапно не превратился в рыдание.

Новое, неизведанное ранее чувство овладело мной: словно все мое судорожно напряженное, закоченевшее тело вдруг ощутило облегчение и кровь, замерзшая в жилах, оттаяв, начинает струиться вновь.

Мне хотелось и смеяться и плакать, хотелось с рыданием припасть к земле и грызть, кусать эту землю.

Так вот какова она — свобода, к которой я так стремилась душой! В эти мгновения я с нестерпимой остротой ощущала ее каждой клеточкой своего тела. У сестер по мертвенно побледневшим щекам тоже струились слезы. Возвращались мы молча, взбираясь по озаренному солнцем склону.

...Несколько дней спустя к нам явился издалека бывший вассал нашей семьи Куробэй Игути. Крепкий старик, прошагавший пешком тридцать с лишним ри через горы и долы, был покрыт с ног до головы толстым слоем дорожной пыли. Матушка и кормилица молча обнимались со стариком. От волнения все трое не могли проронить ни слова.

Старик этот жил в селении Асакура, в одном ри к западу от города Коти. Матушка уповала на его помощь. Его сын и наследник Тёдзаэмон тоже был сослан — когда нас отправили в заточение, он тайно хлопотал, добиваясь смягчения нашей участи; об этом узнали власти, и Тёдзаэмона сослали в Мотояма. Он поселился там неподалеку от кладбища, где покоилась наша бабушка Ман, и жил как простой крестьянин. Старик рассказал, что одновременно с нашим помилованием сына простили, и он уже вернулся домой.

Старик проговорил всю ночь до рассвета, как будто хотел разом излить весь свой гнев и всю скорбь, накопившиеся в душе за долгие годы. Из его рассказов я узнала, что из-за отца пострадал не только его сын Тедза, но и многие ученые, выпестованные отцом, и самураи, на которых хоть однажды упал его благосклонный взгляд.

Но особенно запечатлелись в моем сердце слова старика (такое, пожалуй, никогда не приходило в голову ни мне, ни покойным братьям).

— Покойный правитель был человеком необыкновенным...— сказал старик.— Он обладал слишком глубоким умом... Этот сосуд оказался слишком велик для клана Тоса...

...Будь князь потверже духом,— говорил старый Игути,— правитель сумел бы приблизить его поближе к центральной власти и проводить через него свои политические и хозяйственные преобразования по всей стране. Тогда, несомненно, удалось бы создать то идеальное, построенное по законам философии государство, о котором мечтал правитель, государство, где воплотились бы в жизнь основы науки. В Эдо нет и не было ни в прошлом, ни в настоящем ни одного сановника таких выдающихся дарований, какими обладал покойный правитель... Но у князя не хватило ни храбрости, ни решимости — вот причина всех несчастий правителя,— сокрушался старик.— Он был вынужден действовать в пределах клана Тоса, слишком тесного, чтобы вместить столь дерзновенные замыслы. Негде было развернуться талантам и искусству правителя, и в результате он пал жертвой зависти и клеветы подлых, мелких людишек...

Не берусь судить, насколько талантливы чиновники центрального правительства в Эдо, какова политика, которую они там проводят. Но старший брат, до шестнадцати лет проживший в Эдо, всегда говорил, что его высочество сёгун наделен беспримерной мудростью и глубиной мысли и постоянно пресекает стремление удельных князей к личному обогащению. Стремясь упрочить судьбу своих потомков, сделать их власть твердой, как скала, он сокрушил и полностью уничтожил всех без исключения вассалов бывшего сёгуна Хидэйоси *...

Слушая старика, я с невольным страхом подумала, что если бы отец был близок центральной власти, его судьба, скорее всего, сложилась бы еще более трагично...

Конечно, если бы ареной деятельности отца стала вся Япония и все совершалось бы по его указаниям, его мечты об идеальном государстве, созданном по законам науки, возможно, осуществились бы в масштабах, несравнимых с масштабами клана Тоса. Его величие и слава, возможно, во много раз превысили бы тот почет, который выпал на долю отца в дни, когда его власть находилась как бы в зените — в 1-м году эры Камбун **, роковом году моего рождения.

Однако кто поручится, что вскоре на него не обрушились бы несчастья гораздо более тяжкие? И тогда уже не заточение выпало бы на долю его детей — пожалуй, я вовсе лишилась бы своей младенческой жизни...

Мне кажется, отец был чересчур большим идеалистом, чтобы жить в согласии с этим стоглавым, стопалым змеем, имя которому власть. Слишком прямой и импульсивный, слишком увлекающийся, порывистый, он никак не способен был обуздать и приручить это чудище...

Я не стала возражать старику Игути. Только в глубине души преисполнилась жалости к отцу, мечтателю, в погоне за идеалами поставившему на карту жизнь и погибшему, как мотылек в огне.

Слушая речи старика, я поняла, что он человек прямой и честный. Отец был для него кумиром. Живя в тюрьме, я хорошо усвоила, что есть люди, для которых счастье состоит именно в преклонении перед такими кумирами. Мне не хотелось разочаровывать старика...

Появление старого Игути несколько приободрило нас; под его кровом мы могли хотя бы на первое время найти приют. Раньше мы лишь смутно предполагали, что, вероятно, вернемся в Коти, но будущее было окутано густым туманом, словно мы блуждали в необозримых морских просторах.

Сестры, однако, по-прежнему не изменили решения поселиться в здешних краях. Их желание остаться во владениях семейства Андо объяснялось главным образом страхом перед незнакомой им жизнью в городе, где нас ждала полная неизвестность. Однако я поняла и другое: они предпочитали устроить свою жизнь отдельно от меня, их сводной сестры. Я как бы воочию увидала пропасть, возникшую между нами за долгие сорок лет совместной жизни в тюрьме.

Я питала искреннюю привязанность к сестрам, не любившим читать, зато искусным в шитье и стряпне.

Сестры со своей стороны ни в коей мере не относились ко мне враждебно. Скорее наоборот, после смерти братьев оказывали мне ту же любовь и уважение, какую проявляли раньше к братьям. Они с радостью прислуживали мне, как, бывало, прислуживали покойным братьям.

Однако их общество бывало мне приятно лишь самое короткое время и вскоре начинало невыносимо тяготить. Меня охватывало раздражение. Раздражало их спокойствие, не омрачаемое никакими сомнениями, умение находить радость в мелких повседневных житейских хло-

* Феодальный диктатор Японии конца XVI в.

** 1661 г.

потах, готовность без устали изо дня в день заниматься стряпней, шитьем.

Может быть, во мне говорила зависть? Напрасная зависть к сестрам — просто женщинам, покорным и кротким, полностью примирившимся с участью узниц?

Они проявляли привязанность ко мне как могли, и я, в свою очередь, не могла не заботиться о них. Это, естественно, сказалось на наших отношениях.

— Госпожа о-Эн не уступает умом мужчине... Прошу вас принять на себя старшинство в семье...— с низким поклоном, упираясь руками в циновку, обратилась ко мне старшая сестра. Рядом с нею и младшая тоже склонила голову. В этих словах я уловила и слишком большое доверие, которое они незаслуженно питали ко мне, и в то же время безотчетную, едва уловимую неприязнь, которая потихоньку, капля за каплей скопилась у них в душе за сорок лет совместной жизни в темнице; и еще я в полной мере ощутила горькую иронию, прозвучавшую для меня в словах: «Госпожа о-Эн умом не уступает мужчине...»

Но как бы то ни было, если сестры останутся здесь, покойным братьям и бесчисленным нашим родным и близким, спящим в здешней земле, будет не так тоскливо. А я уеду в Коти. В город Коти, о котором напрасно мечтали те, кто сошел в могилу...

Я ничего не знаю о жизни, но хочу поехать туда, где великое множество людей живет вместе, где они борются, любят и ненавидят...

По совету матушки я написала письмо господину Курандо с просьбой оказать нам содействие и помочь осуществлению этого заветного желания. Курандо Ямаути был одним из главных чиновников клана и состоял в каком-то далеком родстве с домом Нонака. Письмо взялся доставить старый Игути.

Покидая нас, старик обещал все подготовить для нашей встречи, и мы стали собираться в далекий путь. Сшили дорожную одежду, скроили для матушки кимоно из ткани, подаренной семейством Андо, тщательно пересмотрели все старье, отобрав обноски, которые еще могли пригодиться, и поделили между собой.

В эти дни, полные хлопот и волнений, пришло послание — впервые после помилования — от человека, о котором я не забывала ни на минуту. Велев гонцу подождать, я уселась прямо среди разбросанных в беспорядке вещей и поспешно написала ответ.

«С радостью и благодарностью получила Ваше письмо. Прежде всего, я счастлива, что все у Вас благополучно и Вы находитесь в добром здравии. Как Вам уже известно, нам вручили грамоту о помиловании. Мысли мои всецело обращены к прошлому, слезы скорби не просыхают... Думаю, Вы поймете меня. Ведь я совсем одинока, нет никого, кто бы мог дать мне совет, все приходится решать самой, своим глупым женским умом, так что трудно передать Вам, какие душевные муки я ныне переживаю. Вместе с двумя престарелыми женщинами, из которых одной уже больше восьмидесяти, намерена я, для начала, отправиться в селение, называемое Асакура. Что Вы думаете об этом?

Мы хотим выехать, как только закончим сборы. Если все сбудется, как задумано, я вскоре смогу увидеть Вас и выслушать Ваши советы. Таковы мои планы; молю небо, чтобы эти планы осуществились.

Желаю Вам здоровья,

Эн.

Приписка: Так хотелось бы поскорее покинуть эти места, но, увы, мы все еще здесь, ведь не всегда удается поступать по желанию сердца. Во всяком случае, на первое время мы собираемся в Асакура, об этом я известила господина Курандо.

24-го дня 9-го месяца».

С того самого дня, как я отправила это письмо, начались холода. По утрам выпадал обильный иней, а в сердце моем гулким набатным звоном стучались тревога и нетерпение.

Накануне отъезда я привела в порядок все помещение и сожгла возле полусгнившего бамбукового забора старые бумаги и документы, переходившие из рода в род в семействе Нонака, начиная с манускрипта, прославлявшего боевые подвиги нашего прапрадеда Синтаро. Среди этих бумаг было много хвалебных грамот, полученных в течение жизни трех поколений, но и эти грамоты я бросила в огонь без малейшего сожаления.

Я даже испытала при этом радость.

Эти награды, столь драгоценные для мужчин, не представляли для меня ни малейшего интереса. Даже само понятие «род Нонака» утратило для меня какое-либо значение. Мне не хотелось, чтобы эти понятия тяготели надо мной в будущем. (Братья, милые братья, трое старших и младший, видите ли вы, что я натворила?.. Вы были мужчинами, и потому вам не суждено было жить. Чтобы дать жизнь мне, женщине, вы должны были умереть. Так следите же за мной из гроба, смотрите, как устрою я свою жизнь...)

На следующий день я без колебаний сожгла весь наш скарб, за исключением того, что могло быть обращено в деньги или пригодиться в хозяйстве. Сиреневый дым струился по опустевшей, обветшавшей нашей темнице, где незримо витали скорбные мысли братьев, плыл по ветру и медленно тянулся в сторону горы Хондзё, ярко разукрашенной красными осенними листьями. Вскоре все превратилось в груду черного пепла, покорно рассыпавшегося от малейшего дуновения ветра.

В моей шкатулке осталось только несколько стихотворений господина Кисиро и письма сэнсэя.

Мы покинули темницу лишь в середине октября холодным утром, когда все кругом побелело от инея.

В дорожных одеждах мы прибыли в город Сукумо и прежде всего поспешили в усадьбу Андо, чтобы поблагодарить за покровительство, оказанное нам на протяжении долгих лет нашего заточения. В доме Андо нам дали в спутники юношу, чтобы женщины не путешествовали одни. Мы усадили матушку в паланкин, а сами пешком покинули город Сукумо.

Сестры провожали нас до окраины. Когда мы расставались, горечь разлуки с неожиданной силой наполнила мне душу; сердце, казалось, вот-вот разорвется от горя. Меня тревожила их дальнейшая судьба, ведь они навсегда оставались в Сукумо, и было так грустно, что и не выразишь словами. Сестры тоже прослезились и долго-долго смотрели нам вслед.

Я знала, что на реке Мацуда находится построенная отцом плотина и водохранилище Кодо, и попросила нашего провожатого отвести меня туда. Много лет назад, когда сэнсэй Синдзан приходил повидаться с нами и, огорченный, так и не добившись свидания, возвращался обратно ни с чем, он с волнением остановился возле этой плотины — впоследствии он написал нам об этом. Мне тоже хотелось побывать там — для меня это означало своего рода первую встречу с отцом, встречу с прошлым, с тем, что явилось первопричиной преследовавшей нас ненависти. Отныне мне, возможно, еще не раз представится случай видеть деяния отца, но сейчас это было впервые.

Мне рассказывали, что строительство этой плотины, необычайно трудное, завершилось за четыре года до того, как отец попал в немилость. Открытая снегам и ветрам, плотина успешно выдержала испы-

тание временем и сейчас мирно пересекала сверкающий светлыми бликами водоем, обширный и полноводный. Бамбук, посаженный заботами отца для укрепления земляных насыпей, длинной полосой окаймлял берега, образуя живописные заросли; поникшие его ветви нежным и смутным силуэтом рисовались на фоне неба. Год за годом, в течение долгих сорока лет, что мы провели в темнице, сопротивляясь ненависти, здесь каждую весну росли и зеленели новые побеги... Только и всего.

— У подножия той горы находится водохранилище Арасэ, построенное сэнсэем Кэндзан...— указал рукой наш молодой спутник (отец пользовался разными псевдонимами — Кэндзан, Кодзан, Мёикэн и другими).

Это место прозвали «ведьмина заводь», крутые скалы вздыбились здесь торчком, пробиваться сквозь них было необычайно трудно. Я слыхала, что даже в сильные снегопады отец не позволял крестьянам, согнанным на строительство, прерывать работу, он говорил, что отдохнуть они успеют, когда снег окончательно засыплет реку и русло насквозь промерзнет, и сам, невзирая на метель, неотлучно присутствовал на строительстве, отдавая распоряжения.

— Здешние ребятишки и сейчас еще, играя в мяч, распевают песенку: «Снег, сильнее посыпай, лед, скорее замерзай!» Говорят, эта песенка появилась в те времена, когда крестьяне очень уж мучились на работе. Вот они и сложили такую песню,— беспечно говорил юноша, пересказывая то, что слышал от родителей или от дедов. Сам он, конечно, не испытал этих страданий. Молча кивнув, я продолжала смотреть на плотину.

— Благодаря плотине бедная деревня, ежегодно страдавшая от наводнений, стала зажиточной, и все теперь радуются обильному урожаю. В деревне говорят, что сэнсэй Кэндзан правил княжеством, провидя на сотню лет вперед, и поклоняются ему, как богу...

Я усмехнулась украдкой.

Дети и внуки благоденствуют. А их отцы и деды, возможно, положили здесь свою жизнь. Но ведь драгоценна именно каждая, отдельная, своя жизнь: как мне жизнь дарована лишь однажды, так и тем крестьянам жизнь дана была только одна...

Нет, я не хочу приносить себя в жертву, пусть даже во имя великой цели. Так решила я про себя (пожалуй, до самой смерти я не осмелюсь открыто признаться в этом).

Окрестные горы уже почти полностью погрузились в зимнее оцепенение, лишь кое-где пламенели в лучах вечернего солнца алые листья кленов. По пути нам несколько раз пришлось переправляться через реки; в ожидании лодки матушка выходила из паланкина и, сдвинув широкополую дорожную шляпу, любовалась пейзажем. Путь был нелегким — ведь мы не привыкли к долгой ходьбе,— но разнообразным и интересным: мы передвигались и на лодках, и в паланкинах.

Нам не удалось повидать гавани Касивасима и Окиносима, построенные отцом, зато мы побывали возле огромных водохранилищ и оросительных каналов на реках Накасудзи и Симанто. Одно из них, водохранилище Адзо, длиной в девяносто кэн *, поило водой канал, протянувшийся почти на полтора ри и орошавший заливные поля площадью в восемьсот тридцать тамбу **. Отсюда же брал начало другой канал, снабжавший водой городок Накамура и земли площадью в шестьсот тамбу.

В городке Накамура жил некогда наш дед Кагэю Ямаути. Мы тоже остановились здесь на ночлег и провели ночь в этом очаровательном уголке. Теперь городок оказался во владении потомков Сюриноскэ, с

* Один кэн равен 1,81 метра.

** Один тамбу — около 1 га.

которым всю жизнь так непримиримо враждовал дед, и это невольно всколыхнуло в моей душе множество дум и воспоминаний. Мы сели на корабль в той же гавани Симота, откуда много лет назад уехал дед, в гневе бросивший навсегда родные края; дальше предстоял путь по морю. В Симота мы распрощались с юношей, сопровождавшим нас по поручению семейства Андо. За несколько дней совместного пути он привязался к нам и, сожалея, что приходится расставаться, упрашивал позволить ему сопровождать нас до Коти.

Море было спокойно, ни волн, ни качки; но все же, когда через сутки мы добрались до гавани Сусаки, то решили ехать дальше по суше, так как матушка плохо переносила морское путешествие. Отсюда наша дорога лежала вдоль реки Ниёдо, на которой устроена плотина Камада и водоотводный канал Хироока. От водохранилища Камада, перегороженного величественной плотиной, отходит множество оросительных каналов. Вместе с главным каналом Хироока они питают влагой обширные земли площадью в тысячу пятьсот тёбу *. Ни плотина, ни каналы нисколько не обветшали за сорок лет; вода бежит себе и бежит, ни на секунду не замедляя бег, неизменная и бесстрастная.

Жизнь и смерть, расцвет и увядание, потрясения и перемены — удел смертных людей... Мне сказали, что воды этой реки сообщаются через залив Сэто с водами канала Фунаири, на берегах которого окончил свою жизнь отец, и я смотрела на реку с невыразимым волнением. В голове проносились тысячи мыслей.

Я не увидела и половины того, что создал отец, но и этого оказалось достаточно, чтобы считать отца не столько великим, сколько счастливым. Да, как правитель своего края, он познал удовлетворение и счастье, способное внушить зависть его врагам, оклеветавшим его и покаравшим нас, его детей.

«Он строил не для себя — для всех!» — всегда подчеркивал старший брат. Однако велико ли различие между идеалами, воплощаемыми в жизнь с помощью насилия, и жаждой личной славы?

Пусть все это строилось для крестьян, однако тяжкий труд уносил их жизни, а страдания заставляли бежать за пределы родного края — вот какой ценой стремительно, не переводя дыхания, осуществлял отец свои идеалы. Чем же отличаются такие идеалы от низменных честолюбивых стремлений?.. Подобно тому, как я не могу простить моим палачам сорок лет заточения, так и политические противники не могли простить отцу этих свершений — я почти реально ощутила это каким-то уголком сознания.

Мне кажется, я наполовину готова понять те чувства, которые питали эти люди к отцу. Но ненависть, преследовавшую нас, простить не могу. Никогда не прощу, пока жива...

И все же, если деяния отца переживут века и будут по-прежнему служить людям, то по сравнению с этим все остальное ничтожно и мелко. И зависть, и месть его врагов, и наши страдания — все не более чем мимолетная рябь на воде...

Мы отдохнули в чайном доме и провели ночь на постоялом дворе. Я с любопытством приглядывалась к людям и к делам, которыми они занимались. У каждого было что-то, повергавшее меня в изумление. И всякий раз, удивляясь, я думала: так вот, оказывается, каковы они, люди... Как бы искусно ни рисовали художники людей, картинкам недоставало жизни. Казалось бы, я успела хорошо изучить людей по книгам. Но теперь, когда я увидела их своими глазами, люди оказались совсем не такими, какими я их себе представляла. Каждый имел свое, особое дело, особые взгляды, различные интересы... Даже счастье, на-

* Один тёбу — около 1 га.

верно, каждый понимал по-своему, на свой, особый лад. И если власть призвана в равной мере принести удовлетворение и счастье всем этим людям, то...

Встреча с людьми полностью опрокинула мои былые представления о жизни.

Все, кто встречался на нашем пути, казались мудрее меня, они гораздо лучше разбирались в том, что нас окружало, а главное — чувствовалось, что они в полной мере *живут*. Жизненная сила крепко сидела в них. Смутные надежды и опасения все сильнее завладевали моей душой при мысли о будущем.

Глава IV

Что значит *жить*

По желанию матушки, хотевшей прежде всего увидеть город и замок Коти, мы сделали крюк, и наши паланкины понесли окольной, дальней дорогой.

Уже вечерело, когда мы вступили в город, но в лавках, тянувшихся рядами вдоль улиц, еще не зажигали огня, и по дороге, озаренной красноватыми лучами заката, суетливо сновали люди; с замиранием сердца смотрела я на эту картину.

Старик Игути встречал нас. Выйдя из паланкинов, мы увидели возвышавшийся перед нами замок. Над густыми зарослями деревьев, черневшими на фоне заката, высоко в небе виднелись белоснежные стены трехъярусной главной башни, розовевшие в сиянии заходящего солнца.

Так вот, оказывается, какая кристально четкая форма и совершенная красота нужны для выражения величия и власти! Вот какой великолепный дворец необходим, чтобы появилось на свет таинственное чудовище, именуемое политикой!.. Все бессчетные свершения отца, дело всей его жизни, а потом и его опала, и тяжкий труд, стоивший жизни сотням крестьян, и наше мрачное заточение — все шло отсюда, из этой башни...

Спокойно и величаво высился замок как символ несокрушимой, всепобеждающей мощи. Чем суровее становилась власть, тем прекраснее выглядел замок; чем беспощаднее и мрачнее правление, тем стройней и изящней красовался он над буйным цветением вишневых деревьев, похожих на белые облака. Таким оставался он и в дни славы отца, и в тот день, когда нас ссылали в вечное заточение, думала я.

Третий князь, правивший в ту пору, уже скончался, его наследник тоже сошел в могилу; сейчас правил пятый, князь Тоёфуса. Но я почувствовала, что ни смысл, ни значение замка не изменились — он все тот же, что раньше.

Матушка и кормилица чуть не молились на замок, с таким восторгом смотрели они на его стены и башни, и с загоревшимися глазами вспоминали былое великолепие усадьбы Нонака, некогда находившейся возле главных ворот.

Но я думала о другом. О том, что здесь, в этом городе, живет сэнсэй Синдзан. С февраля прошлого года его назначили главным ученым советником клана, он выступал с публичными лекциями по астрономии и конфуцианской науке. В одном из уголков этого города, под теми же небесами, которые простираются сейчас над моей головой, живет и сэнсэй...

Паланкины понесли вдоль плотины, окутанной вечерними сумерками. Носильщики зажгли фонари.

Селение Асакура уже погрузилось в ночную тьму, но во дворе дома

Игути ярко пылали костры, и множество людей с фонарями, украшенными гербом Игути, поджидало нас за воротами.

Во дворе мы вышли из паланкинов. Я ощутила приторно-сладковатый запах конской мочи и сырой соломы. В темноте двигались чьи-то тени, слышались приглушенные голоса женщин, хлопотавших на кухне в углу двора. Я уловила множество обращенных на меня взглядов и невольно внутренне сжалась. В душе пробудилась настороженность, с ранних лет присущая узнице, или, быть может, страх перед людьми из «внешнего» мира, судить не берусь, но меня охватило какое-то щемящее беспокойство.

Нас провели в зал для гостей, где нас встретил сын старика Игути, Тёдза, в парадном платье, и усадили за ужин, приготовленный заботливо и радушно. Тёдза не походил на своего отца, твердого и прямого, с громкой и властной речью; сын говорил тихо, вдумчиво и спокойно. Выглядел Тёдза старше своих лет — чувствовалось, что жизнь не баловала этого человека. Он всего лишь раз окинул меня долгим, пристальным взглядом, а потом, опустив глаза, больше ни разу не посмотрел в мою сторону, обращаясь исключительно к матушке. Это запечатлелось в моей памяти.

Усадьба Игути была просторной, но дом был чисто крестьянский, и во всем сквозила откровенная бедность.

Через дорогу чернела роща при храме Ки-но-Мару; когда-то, в древности, здесь стояло временное жилище императрицы Саймэй. На горизонте в ярко-голубом зимнем небе высилась горная цепь Китаяма, изрезанная темно-синими складками. Там, на землях Саю, находилось некогда поместье отца.

Неожиданно для себя я оказалась в водовороте хлопотливой жизни, полной обязанностей и забот. Нас ежедневно навещало множество посетителей — бывшие вассалы и дальние родственники. Почти все уже старики, они подолгу беседовали с матушкой и с кормилицей. Разговоры почти всегда вертелись вокруг одной и той же темы. Меня это утомляло и раздражало. Я ждала одного-единственного гостя, а его-то как раз и не было.

Наконец, меня осенило: ведь он мой учитель, я — его ученица, значит, было бы вполне естественно мне первой навестить сэнсэя. При этой мысли меня охватило такое нетерпение, что я готова была тотчас же лететь к нему.

Но старый Игути в замешательстве покачал головой. «Лучше воздержаться от такого визита...» — остановил он меня. Когда живешь в городе, нужно вести себя осмотрительно, нельзя давать пищу для сплетен... И без того уже все женщины в городе только и судачат, что о возвращении госпожи о-Эн. Она, мол, писаная красавица, и хотя ей, как слышно, больше сорока лет, выглядит она не старше тридцати... И еще многое в том же духе. Нужно остерегаться людской молвы. Женщине же, в особенности, не следует навещать мужчину, не взвесив все заранее, объяснил мне старик. Сплетни могут повредить не только мне одной...

Я уже примирилась с тем, что вызываю любопытство городских жителей. Это любопытство я не раз читала во взглядах навещавших нас старых вассалов нашей семьи. В этих взглядах сквозило не столько сострадание к несчастной женщине, обойденной судьбой, сколько именно любопытство, какое испытывают при виде какого-нибудь диковинного, странного зверя. В самом деле, в сорок три года — не замужем, брови не сбриты, не чернит зубы, ходит в кимоно с длинными рукавами, словно юная девушка...* Неудивительно, что на такую женщину смотрят с тем

* В феодальной Японии замужние женщины сбривали брови и покрывали зубы специальным черным лаком. Кимоно с очень длинными, свисающими почти до пола рукавами носили только молодые девушки.

же жестоким интересом, с каким рассматривают выставленного напоказ калеку, редкостного урода...

Я догадалась, что подразумевает старик: визит такой женщины может причинить неприятности сэнсэю. Дело не только в сплетнях и пересудах — это может дурно отразиться на его службе.

Старый Игути пообещал найти надежного посланца, и я написала письмо сэнсэю — первое письмо с воли.

«...время несется быстро, день пролетает за днем, миновал уже почти месяц, как мы прибыли в Асакура. Я думала, что сразу же полечу к Вам, едва прибудем на место, но, увы, человек не всегда волен поступать согласно своим желаниям. Как сложно устроен мир, невольно ропщу я в сердце... Я знаю, у сэнсэя нет свободной минутки, но все же мне так хотелось бы повидать Вас! Жду Вас всем сердцем.

С почтением...»

Мое письмо еще не успело дойти до адресата, как с визитом ко мне явилась супруга сэнсэя.

Когда жена Тёдза доложила о гостье, я так удивилась, что даже переспросила. Меньше всего я ожидала увидеть его жену. Возможно, то была непростительная беспечность с моей стороны, но до тех пор я ни разу не подумала о том, что у сэнсэя есть жена.

Нет, я не считала, конечно, что сэнсэй холост, что у него вообще нет жены. Просто я никогда не задумывалась над тем, что она существует. Да и с чего бы мне пришли в голову подобные мысли?

Я была несчастная узница, обреченная злой судьбой на вечное заточение, сэнсэй находился далеко, за горами и долами, за тридевять земель. О его существовании рассказывали мне только письма, доходившие через эти дальние расстояния. И он весь, целиком принадлежал мне...

Пока кормилица приводила в порядок мою прическу, сердце у меня учащенно билось, лицо побледнело.

Жена сэнсэя вошла в комнату с легким поклоном, ведя за руку мальчика лет пяти. Это была женщина невысокого роста, но крепкого сложения, с ясными, живыми глазами, в которых светился ум; на ее круглом смугловатом лице играла приветливая улыбка. Она обратилась ко мне со словами соболезнования по поводу безвременной смерти братьев и пережитых нами страданий, и хотя речь ее не отличалась изысканностью, чувствовалось, что говорит она от чистого сердца.

...У сэнсэя сейчас самые напряженные дни, он мало спит, трудится даже по ночам и никак не может выбрать время, чтоб навестить нас, хотя тоже очень хочет поскорее повидаться... Само собой, нет и речи, чтобы мне, скудоумной, заменить его особу — я пришла лишь затем, чтобы передать его извинения... Как только у сэнсэя будет возможность, он непременно явится сам — таков был смысл ее слов. «Вот оно что, значит, в мире существует обычай, чтоб жена заменяла мужа...» — впервые уразумела я, слушая ее речи. Это показалось мне странным и неприятным. Какая нелепость!.. Первый же жизненный урок причинил мне огорчение и боль.

Вдобавок какая-то непреодолимая сила заставляла меня все упорнее избегать взгляда гостьи. Я не могла принудить себя прямо взглянуть на жену сэнсэя, как будто от нее исходило ослепляющее сияние. Впрочем, нет, мне мешало то, что происходило в моей собственной душе.

...Передо мной находился не он, которого я так жаждала видеть, а всего лишь его жена, и тем не менее я ощущала его присутствие так живо и безошибочно, как будто он сам сейчас сидел здесь. Вот она, удивительная, таинственная связь, существующая между супругами!.. Казалось бы, передо мной был не он, а совсем другой человек, но вместе

с тем я воспринимала эту женщину как нечто абсолютно тождественное сэнсэю. Не общий ум, не одинаковая душа, а именно единая плоть, связанная общим биением жизни, роднила ее с сэнсэем.

Все это не имело никакого отношения ни к ее искренности, ни к мягкому нраву; что-то жестокое и отталкивающее чудилось мне в этой неразрывной связи ее с сэнсэем. Теперь я больше не удивлялась, что жена выполняет поручения мужа, что так заведено в мире. И еще я узнала — чтобы усвоить даже такую простую истину, мне, в моем положении, придется платить за это ценою душевных ран.

Свидание с сэнсэем состоялось, когда я совсем этого не ждала. В один прекрасный день он неожиданно навестил нас.

Да, совсем нежданно-негаданно... Все семейство Игути разошлось по делам, кормилица впервые за долгое время выбралась в гости к каким-то знакомым, дома оставались только я и престарелая матушка.

В полутемных сенях в дверном проеме я увидела силуэт человека, совсем черный в ослепительном свете полуденного зимнего солнца, бившего ему в спину. Ничего нельзя было разглядеть — ни лица посетителя, ни его фигуры.

Я опустилась на колени у порога, приветствуя гостя, как вдруг с уст этого неподвижно стоявшего человека сорвалось невнятное восклицание, и этот возглас мгновенно пронзил мне душу.

— О-о!.. Это вы, госпожа о-Эн?

Я обомлела.

Не знаю почему, но внутренне я была тогда совершенно не готова к посещению сэнсэя. Отчасти, может быть, потому, что все время уговаривала себя примириться с мыслью, что рассчитывать на его визит почти безнадежно.

Тихий голос, назвавший меня по имени, стрелой вонзился мне в душу, проник в самую глубину сердца. «О-о, это вы, госпожа о-Эн...» Какой женщине не хочется, чтобы ее хоть раз в жизни назвали вот так, по имени? Какая женщина не мечтает, чтобы ее так окликнул заветный голос? Я убедилась в этом, услышав этот негромкий, но полный внутренней силы голос. Ноги у меня подкосились, и я, как стояла, бессильно уселась на пол, безмолвно уставившись на черную фигуру — лица я не могла разглядеть.

В одну секунду я поняла, что этот короткий миг стоит всех долгих двадцати лет, миновавших с тех пор, как я впервые узнала о существовании сэнсэя. Один миг встречи значил больше, чем все двадцать лет заточения, в течение которых я так непоколебимо верила, будто сэнсэй принадлежит мне одной. Я впервые постигла в эти минуты, что отношения между женщиной и мужчиной невозможны без общения, без встречи.

Непринужденным жестом отряхнув пыль с таби, сэнсэй поднялся в дом. Я провожала его в комнаты, остро ощущая, что рядом со мной идет *мужчина*. Задохнувшись от волнения, я некоторое время неподвижно стояла на месте.

Пока сэнсэй здоровался с матушкой, я рассматривала его, стоя сзади. Худощавый, небольшого роста, он выглядел почти пожилым. Мне вдруг вспомнился старший брат в последние годы жизни, и я растерялась.

В то же время я уловила в этом человеке самообладание и спокойную уверенность в себе, лишенные какой бы то ни было позы или рисовки. Вот почему, несмотря на малый рост и тщедушное телосложение, он не казался жалким или ничтожным. На бледном, худом лице выделялись густые брови, и мягкий взгляд чуть прищуренных глаз, зате-

ненных этими густыми бровями, ласково устремлялся на меня и на матушку.

Утомленная долгим путешествием, матушка в последнее время почти не вставала с постели, плохо ела и стала удивительно многословной, всем и каждому жалуясь на судьбу. Вот и сейчас она непрерывно изливала сэнсэю свое горе, рассказывая о гибели сыновей, а потом завела разговор о том, что не может вечно жить в чужом доме, причиняя беспокойство хозяевам, что ей хотелось бы иметь свой угол.

С тех пор как матушка заболела, она вела себя словно малый неразумный ребенок, изо дня в день повторяя одно и то же. Она упорно требовала, чтобы я пораскинула мозгами, как обзавестись собственным домом. Между тем я и сама неотступно думала о том же, вынужденная ухаживать за больной матушкой в чужом доме, где по утрам холод пробирал до костей и запах конского и коровьего навоза пропитывал все насквозь. Но я еще слишком плохо разбиралась в этом новом для меня мире и не умела толком сообразить, с чего начать, как подыскать хотя бы участок для будущего жилища.

Согласно кивая в ответ на жалобы матушки, сэнсэй уговаривал ее не тревожиться — дом наверняка скоро будет построен, не надо зря волноваться — и беспечно рассказывал о лишениях, выпавших на его долю в юные годы.

...Род Тани, где должность настоятеля храма переходила от отца к сыну, во времена князей Тёсокабэ был одним из самых знатных аристократических родов. Но с гибелью Тёсокабэ захирел и род Тани, детские годы сэнсэя прошли в горькой нужде, в доме подчас не было даже масла, чтобы заправить светильник, и нередко случались дни, когда нечего было есть. Слабый от рождения, сэнсэй из-за недоедания страдал тяжелой глазной болезнью. Зрение у него и поныне плохое, что причиняет ему немало неприятностей...

Да и потом, уже взрослым, он не мог похвалиться здоровьем. «Желудочные боли, кровохарканье, головокружение, когда темнеет в глазах...» — все так, как писал он в письмах, адресованных нам в темницу... Оказалось, что путешествие в Хата, когда по пути он вздумал навестить нас, было предпринято для того, чтобы продавать вразнос лекарства собственного изготовления. «Ныне, чтобы прокормить себя и семью, мне ничего другого не остается, как встать на путь преступления...» — писал он в ту пору кому-то из своих друзей в Киото. И все же, рассказывая о пережитом, он говорил весело, словно дело шло о совсем постороннем для него человеке, и речь его, полная добродушного юмора, в конце концов развеселила матушку.

— Даже на похороны отца мне пришлось одолжить у приятеля кимоно и хаори... Богатство и бедность не вечны и приходят на смену друг другу, так что не стоит из-за этого убиваться...

Я смотрела на него и думала, что он преждевременно постарел, наверно, не только из-за болезней и выпавших на его долю лишений, но еще и потому, что мужественно сопротивлялся судьбе.

Вернулась кормилица, приготовила кое-какую закуску, к нам присоединились старый Игути с сыном, все расположились у очага, и в ход пошли чарки с сакэ.

Сэнсэй достал из складок одежды миниатюрную тушечницу и, покусывая кончик кисти, написал и протянул мне следующий шутливый экспромт:

Госпоже Нонака, по случаю встречи

На Ваш облик смотрю
И в волнении слезы роняю,

Нет, не зря рождено
Дитя в благородной семье.
Красоту Ваших черт
Я Комати самой уподоблю,
Вы в движеньях своих
Весеннему ветру сродни.
Солнце заключено
В очертаньях зеркального диска —
Вас низвергла судьба
За железные двери тюрьмы.*
Но старались душой,
И усердью явилась награда,
Прах и тьму одолев,
Засияла свободно луна.

Это был парафраз стихов, присланных некогда мне в темницу, в ответ на китайские стихи, которые я сочинила и послала сэнсэю. Тогда он тоже ответил мне стихами:

Посвящается госпоже Нонака

На Ваш почерк смотрю
И в волнении слезы роняю,
Нет, не зря рождено
Дитя в благородной семье.

Ваш изысканный стиль
Я Комати самой уподоблю,
Вы в познаньях своих
Мудрецам и ученым сродни.

Солнце заключено
В очертанья зеркального диска,
Вас низвергла судьба
За железные двери тюрьмы.

Но старайтесь душой,
И усердию будет награда,
Прах и тьму одолев,
Ясным светом засветит луна.**

Теперь, в шутливой импровизации, он отнес похвалы, обращенные когда-то к моим стихам, к моей внешности и манерам. Я приняла этот экспромт с улыбкой, но в душе почувствовала смятение.

Пусть это только узоры поэзии, всего лишь шутка, но за ней я ощутила пристальный взгляд мужчины. Вероятно, я показалась сэнсэю странной — сорокалетняя женщина с несбритыми бровями, с зубами, не покрытыми чернью, в кимоно с длинными рукавами...

В довершение всего Тёдза, захмелев, вдруг принялся громко всхлипывать, повторяя:

— Сердце разрывается, когда я вижу госпожу о-Эн, подумать только, такая красавица, такая моложавая — и не замужем!.. Так жаль ее, так жаль, мочи нет!

Эти речи окончательно повергли меня в смущение. Но я была слишком самолюбива и, чтобы не выдать себя, весело рассмеялась.

— Простите его, госпожа! Мой дурень Тёдза за годы ссылки научился распускать нюни!..— оглушительно расхохотался старый Игути.

Стояла поздняя ночь, когда я провожала у порога возвращавшегося в город сэнсэя, и здесь, в полумраке сеней, он схватил мою холодную руку своими разгоряченными от вина руками и крепко стиснул.

Итак, мы свиделись. Казалось бы, я должна быть довольна. Счастлива. А я была угнетена и подавлена. Безотчетная грусть томила душу.

Несколько дней спустя к нам явился Дансити Окамото. «Я слыхал,

* В старину в Японии и в Китае зеркала изготовляли из полированной бронзы
** Перевод В. Сановича.

сэнсэй навестил вас. Поздравляю!» — сказал он, и при этих словах у меня вдруг мелькнула смутная догадка об истинной причине моей печали.

Эта печаль и та едва уловимая растерянность, которую я ощутила, впервые увидев Дансити,— звенья одной цепи. Да, именно так!.. Юный Дансити походил на образ сэнсэя, рисовавшийся моему воображению в темнице... Образ человека, которого я ни разу в жизни не видела, но о котором думала с того дня, как мы получили его первое письмо.

Уж не потому ли я так растерялась, увидев сэнсэя, что была обманута собственным воображением? Но разве могла я представить себе сэнсэя, который был двумя годами моложе меня, таким невзрачным, пожилым человеком?

Прожившая в заточении сорок лет, откуда я могла знать, что жизнь состоит из множества ошибок и заблуждений? Первое же испытание повергло меня в растерянность и уныние.

Дансити был сыном бывшего вассала нашей семьи Окамото из Ямада. Вскоре после нашего прибытия в Асакура отец и сын вместе явились к нам с официальным визитом.

Господину Окамото, старому вассалу отца, пришлось опуститься до положения простого крестьянина, но двадцатитрехлетний Дансити, выглядевший старше своих лет, широкоплечий и стройный, с ясным лбом и умными, живыми глазами, ничем не походил на простого деревенского парня.

Он смотрел на меня в упор серьезным и даже как будто сердитым взглядом. Наверно, я вызывала в нем острое любопытство или, может быть, сострадание. Но меня это почему-то не раздражало.

Стыд шевельнулся в моей душе не потому, что Дансити был похож на тот образ сэнсэя, который нарисовала моя фантазия; причина моего смущения крылась скорее в том, что вне всякой связи с сэнсэем я увидела в Дансити тот тип мужчины, который казался мне привлекательным. Облик, созданный воображением и безотчетно слившийся в моем сознании с сэнсэем — единственным мужчиной, о котором мне довелось узнать.

И все же, проснувшись ночью, я тихонько взяла одной рукой другую свою руку и крепко сжала. В памяти живо воскресло новое ощущение — впервые изведанное прикосновение мужской руки — сильной, грубой, горячей мужской руки...

Потом я узнала, что к этому времени сэнсэй уже принял решение оставить службу. Он сообщил мне об этом в письме, присланном в том же месяце, девятнадцатого ноября.

В это утро, не в силах терпеть разлуку, я отправила ему письмо с нарочным, но, разминувшись с моим посланием, прибыло письмо от сэнсэя; он писал, что уходит со службы и уезжает на родину, в местечко Суэ, в краю Ямада.

Служба в замке, писал он, требует участия в многочисленных церемониях, совершаемых с наступлением очередного сезона, непрерывного утомительного общения со старшими по рангу и с сослуживцами; он слишком невоспитан и груб для такой светской жизни, так что, в конечном счете, и по службе не успевает, да и наукой не может заниматься так, как хотел бы. Вот почему он решил оставить службу, поселиться на родине в своем доме, всецело отдаться науке и писать книги; к счастью, князь внял его дерзкой просьбе и отпустил...

Двадцать лет прошло с тех пор, как мы узнали друг друга, и вот, когда я, всеми помыслами стремясь к нему, очутилась, наконец, так близко, всего в каком-то ри от него, он покидает меня и уезжает в дале-

кий край — Суэ, или как там называется это место... Преподносил мне такие стихи, а сам уже знал, что скоро уедет... Какая жестокость!

Какой наукой занимается сэнсэй, к какой школе она относится — об этом я все же имела некоторое, пусть не полное, представление.

После обучения догмам «синто» у престарелого ученого Андзай сэнсэй около десяти лет назад стал учеником Сибукава Сюнкай, главного астронома при центральном правительстве в Эдо. Еще со времени изучения «синто» сэнсэй горячо заинтересовался астрономией и много лет переписывался со своим учителем.

Андзай утверждал, что существует связь между движением небесных тел и моральными свойствами человека, его астрономическая теория носила крайне субъективный характер, была весьма примитивна, больше походила на религию, чем на науку. А Сибукава Сюнкай строил свое учение исключительно на наблюдениях и опытах, что позволило ему создать так называемый «календарь Сэйкё». Таких высот достигла его наука. Его учение захватило сэнсэя, он целиком посвятил себя этой новой науке.

Он мечтал вскрыть общность между принципами древнего японского культа «синто» и движением небесных тел и одновременно на основе долгих и непрестанных опытов установить объективные законы вселенной. Астрономия открывала путь к решению обеих этих задач.

Сибукава Сюнкай уделял главное внимание практическому опыту и все свое время отдавал наблюдениям за движением небесных тел и математическим расчетам. Полученные результаты он проверял на практике. Так появился календарь с семидневной неделей. Сюнкай измерил движение солнца, луны, пяти планет, рассчитал время солнечных и лунных затмений, фазы луны, день 29-го февраля, прибавляемый для более точного совпадения с солнечным годом, и многое другое, о чем раньше не имели понятия.

Я понимала увлеченность сэнсэя. Приобщившись к учению Сюнкай, он готов был ради науки бросить и службу в замке, и занятия с учениками, дававшие ему средства к существованию, и предпочесть всему этому труды и размышления. Подобно тому как отец некогда пожертвовал всем ради политики, так и сэнсэй все поставил на карту ради науки.

Я понимала волнение его души, биение его сердца, устремленного к истине, далекой и прекрасной, как висящая в небе радуга. Как бесконечно далеки были эти высокие помыслы от моих низменных горестей и душевных терзаний, всецело прикованных к этой грешной земле!.. Получив письмо сэнсэя, я словно окаменела, не решаясь поделиться новостью ни с матушкой, ни со старой кормилицей.

Я ожидала, что жизнь уготовит нам тяжкий труд и неисчислимые заботы. Но чтобы выполнить просьбу матушки, мечтавшей о собственном доме, и не причинять больше хлопот приютившему нас семейству Игути, увы, нужны были деньги. Переломив себя, я в конце концов написала письмо господину Курандо с униженной просьбой оказать нам хотя бы малую помощь.

Дом решено было строить на месте бывшей усадьбы Магосина. Река протекала рядом, это было удобно, однако, по правде сказать, я выбрала этот участок по другой, гораздо более важной причине. Место было уединенное, ни одного дома рядом, и если бы сэнсэй навестил нас, он мог бы не опасаться чужих любопытных глаз. Как же горько было мне, предусмотревшей даже такие детали, получить от него сегодняшнее послание!..

Итак, сэнсэй уехал в Ямада, и письма больше не приходили. Утренние морозы постепенно слабели, уже наступил декабрь. Приближалась весна. Год, полный головокружительных перемен, подходил к концу.

Моя жизнь проходила в заботах и хлопотах. Выбор участка, планировка дома... Каждый день приходилось встречаться с людьми, обсуждать вопросы, связанные с постройкой дома, а в свободное время — готовить лекарство для матушки, вместе с кормилицей растирать в ступке порошки, скатывать пилюли, а потом раздавать бывшим вассалам, чтобы, продав эти снадобья, они выручили для меня хотя бы немного денег.

Наши скромные сбережения исчезли в одно мгновение, кормилица продала даже ручной топорик. На эти деньги мы купили рис и приготовили ужин. За едой я подшучивала над кормилицей:

— Няня, оказывается, и топор, если надо, годится в пищу!

— Да еще какой вкусный, объедение! — отвечала в тон мне кормилица.

Я чувствовала, что душа моя постепенно черствеет, покрывается, словно панцирем, крепкой защитной оболочкой. Как кожа младенца, открытая ветрам жизни, постепенно становится способной сопротивляться любым ненастьям, так и моя душа за два с лишним месяца, проведенных на воле, как бы обрела новый защитный слой. Если раньше я во всем полагалась на других, то теперь мало-помалу начала становиться на собственные ноги. Одиночество в этом мире оказалось еще более суровым, чем в заточении, но зато имелась опора — сама жизнь, дающая силу сопротивляться этому жестокому одиночеству. Очевидно, это и значит *жить*...

Вести от сэнсэя не приходили, однако я старалась не обращать на это внимания и с каждой оказией посылала ему письмо. Я поверяла ему все радости или горести, которые уготовила для меня жизнь. Как ребенок радуется и удивляется новой игрушке, так я, широко открыв глаза, изумленно следила за сложным переплетением событий, которые ежедневно преподносила мне бегущая, текущая, бурлящая вокруг меня жизнь. Если случалась оказия, я могла писать ему трижды на день — счастье, совершенно недоступное мне в прошлом, когда я жила в темнице. Я буквально упивалась этой возможностью свободно писать сэнсэю.

Роль нарочного чаще всего исполнял Дансити, каждые три дня приезжавший к нам из Ямада. Он сам вызвался собирать и привозить мне целебные травы для изготовления лекарств — эта работа постепенно стала для меня главным источником средств существования.

Но как-то раз, принимая от меня очередное письмо, он, опустив глаза и внезапно вспыхнув, сказал:

— Сэнсэй сказал мне: «Ты что, нарочно пошел ко мне в ученики, чтобы носить письма госпожи о-Эн?»

В его словах звучала обида, которую он не решался высказать напрямик. Вплоть до этого дня мне ни разу не приходило в голову, что пишу я, пожалуй, чересчур часто. Я вообще не задумывалась, позволительно ли подобное своеволие.

Смущение Дансити, румянец, выступивший на его щеках, мгновенно передались мне — я покраснела, больше того, меня бросило в жар.

— Он так сказал?..— с трудом пролепетала я наконец, чувствуя жгучий стыд перед Дансити.— Сэнсэю неприятно, что я так часто пишу, да? — замирая от робости, проговорила я.

— Он пошутил...— все так же не поднимая глаз, ответил Дансити и залился краской еще сильнее. Даже веки у него покраснели. Они казались слегка припухшими, эти веки, и все лицо Дансити выражало какое-то упрямство и протест, как у обиженного ребенка.

Неуловимое и в то же время опасное чувство вдруг шевельнулось в моей душе. Я поняла, что нечто сходное с этим чувством испытывает и Дансити,— это подсказал мне наш неожиданный разговор...

Потом я размышляла, в чем же заключалась тогда моя ошибка?

Да, конечно, жизнь состоит из вереницы заблуждений и промахов. Но все же невероятно, чтобы юноша, моложе меня двадцатью годами, заставил трепетать мое сердце. И уж подавно немыслимо и предположить, чтобы ко мне — ко мне, старой женщине,— этот мальчик испытывал... Нет, это невозможно! — твердила я себе, как будто пытаясь убедить себя, что ошиблась.

С тех пор я почему-то стала стесняться передавать письма сэнсэю через Дансити. И уже полностью отдавала себе отчет, что поступаю так не из жалости к Дансити, а из-за тайной симпатии к нему самому.

Не приходится сомневаться, что мои чувства без слов передавались Дансити.

— Сегодня письма не будет? — всякий раз спрашивал он.— Пожалуйста, не придавайте значения тому, что я вам сказал...— он говорил, глядя в землю и старательно избегая встречаться со мной взглядом, но веки его дрожали, выдавая смятение сердца этого юноши, крепко-накрепко запретившего себе открыто выражать свои чувства. Теперь я уже понимала все.

В один из таких дней Дансити принес мне письмо сэнсэя и вдруг тихо добавил:

— А супруга сэнсэя на будущий год опять будет с прибылью...

В здешних краях рождение ребенка называется «прибыль».

Эта новость почему-то ошеломила меня.

— Она сама тебе об этом сказала? — спросила я.— На будущий год? Когда же?..

— Зачем говорить, и так понятно... Должно быть, в апреле...— отводя взгляд, ответил Дансити.

А ведь я совсем недавно встретила жену сэнсэя и ничего не заметила. Не заметила того, что бросилось в глаза даже молодому мужчине Дансити...

Какая непростительная рассеянность! Мне захотелось спрятать глаза от Дансити, так остро ощутила я что-то невыразимо мужское, чем повеяло от него в эту минуту. Странный гнев и обида против воли вспыхнули в сердце. Я не могла простить ему, почему он заметил то, что ускользнуло от меня, женщины.

Но самый тяжкий удар нанесло мне письмо сэнсэя, полученное в тот день.

Он писал, что сочувствует моей тревоге, вызванной болезнью матушки, понимает, как много мне приходится хлопотать в связи с постройкой нового дома, и потому хотел бы навестить нас, но сплетни о его недавнем визите и без того уже гуляют по городу Коти. «А посему,— гласило письмо,— сейчас я намерен некоторое время воздержаться от посещения Вашего дома...»

— Послушай, Дансити, ты тоже слыхал эти сплетни? — пораженная, спросила я Дансити.

— От злого языка никто и нигде не убережется...— неохотно ответил он под моим испытующим взглядом.

— Но о чем же тут сплетничать? Неужели все это так серьезно, что грозит неприятностями сэнсэю?

Дансити молчал.

— Или, может быть, бывшим узникам даже после освобождения нельзя общаться с людьми, как всем прочим? — вырвалось у меня. Во мне заговорила оскорбленная гордость, гордость дочери человека, бывшего когда-то верховным правителем клана. Но Дансити понял мои слова по-своему и окончательно растерялся.

— Нет, что вы, не в том дело, совсем не в том... Все это потому, что госпожа о-Эн такая красавица...— запинаясь, проговорил он с видом человека, у которого пыткой, против воли, вырывают признание.

Мне вдруг вспомнилось, как несколько дней назад к нам явился чиновник из Коти проверить, где и как поселились бывшие узники, и потом болтал везде и повсюду, что госпожа о-Эн выглядит, ну, прямо как двадцатилетняя девушка... Когда мне передали эти слова, я почувствовала себя оскорбленной. Мне вспомнился липкий взгляд этого ничтожного, грязного человека, взгляд, ползавший по мне, как слизняк, и воспоминание это еще усилило чувство унижения...

— Ты тоже смеешься надо мной, Дансити!..— в сердцах вырвалось у меня.

Да, я сердилась. Но не так, как тогда, на чиновника. В этом гневе было что-то радостное, от чего трепетало сердце, и я смутилась. Но Дансити, снова не сумев разглядеть, что творилось в моей душе, окончательно пришел в замешательство.

— Что вы, как можно... Никогда...— произнес он и залился краской так, что даже шея покраснела.— Простите меня, простите...— опустив голову, пробормотал он.

— Ну, полно, полно... Довольно. Я тоже хороша — рассердилась ни с того ни с сего...

Я вдруг поймала себя на мысли, что успела как-то незаметно увериться в собственной красоте. Красота — самое желанное достояние женщины... Однако в моем положении она всегда была связана с унижением. И все же в общении с людьми, которых я презирала, даже в минуты обиды и унижения мое сердце всегда оставалось спокойным. Когда же дело касалось сэнсэя или Дансити, сердце сжимала непонятная тревога, и это было еще тягостнее, чем чувствовать себя оскорбленной.

Но как бы то ни было, не встречаться со мной из-за людских пересудов — как не вязался с характером сэнсэя такой поступок! Все мое существо протестовало против его решения.

Думала ли я, когда томилась в темнице, что мне придется услышать из уст этого человека столь малодушные речи! В те годы между нами не существовало преград. А сейчас между мной и сэнсэем встала загадочная, непостижимая преграда, именуемая «людской молвой». И меня огорчило, что такой человек, как сэнсэй, видимо, считает непреодолимой эту преграду и примирился с ней, даже не пытаясь сопротивляться.

Его письмо явилось для меня тяжким ударом еще и потому, что на меня ошеломляюще подействовала услышанная перед тем от Дансити весть о предстоящем в скором времени рождении его ребенка.

Новая жизнь, рожденная любимым человеком от другой женщины,— для меня, навеки лишенной права иметь детей, эта новость прозвучала как гром небесный, обрушилась на меня сокрушительной, грубой силой. Вот когда я в полной мере изведала, что означает ад одиночества, какого не знала даже в темнице.

— Знаешь, Дансити, иногда мне кажется, что я слишком долго прожила в заточении... Или наоборот, мне следовало оставаться там гораздо дольше.... Пока я не превратилась бы в шестидесятилетнюю старуху. А так я ни то ни се... Как ты считаешь?

Дансити молчал. Честный и строгий юноша наконец-то уразумел, как бессмысленно со всей откровенностью отвечать на признания такого рода. Наконец-то он решился хоть в чем-то держать себя на равных со мной, всегда подчеркивавшей разницу между дочерью сюзерена и сыном его вассала.

— Разве я не права, скажи? Что для сэнсэя женщина по имени Эн? Ничто! У него есть его наука, исследования, труды, есть жена и дети. Даже службой в замке он пренебрег и добровольно ушел в отставку. Зачем же ему, вопреки собственному желанию, общаться с бывшей узницей Эн, поддерживать отношения, которые общество осуждает, вызывать

любопытство, толки и пересуды?.. И если он говорит, что не хочет со мной встречаться, так ведь, пожалуй, он прав, а, Дансити?

Дансити по-прежнему не отвечал ни слова. Он сидел неподвижно, опустив голову. Лицо у него было страдальческое, словно юношу подвергали пытке. Мне доставляло почти физическое наслаждение видеть, что мои слова причиняют ему страдание. Мне даже захотелось помучить его еще сильнее.

— Наверно, сэнсэй написал так после долгих раздумий...

— Раздумий? Что ты хочешь этим сказать?

— Нет, мне ничего не известно... Откуда я знаю...

(Только несколько лет спустя, когда над сэнсэем разразилась гроза, я поняла, что Дансити не мог сказать тогда ничего, кроме этих слов. Но в то время я видела только, что Дансити страдает, слушая мои речи.)

Вечером я одна стояла на веранде в нелепой позе, просунув руки в разрезы кимоно под мышкой, и сжимала свои груди.

Эти груди, не знавшие ни прикосновения мужчины, ни материнства, непорочные, ненужные груди сорокалетней женщины все еще сохраняли девичью полноту и упругость. Жизнь, которой так и не дано было расцвести, и сейчас настойчиво рвалась к свету. В глубине моего существа до сих пор бурлило непонятное волнение, обессиливающее и опасное,— последняя яркая вспышка женской жизни, обреченной на бесплодное увядание. Это волнение все еще не угасло во мне.

Нестерпимо тягостны и мучительны были эти минуты.

В воздухе носился запах каштанов, которые варила кормилица. Этот запах, похожий на запах материнского молока, навевал на меня печаль.

Я прошла в комнату и бесцельно уселась перед зеркалом. Потом завернула рукав кимоно и принялась разглядывать свою обнаженную руку.

Белая кожа, испещренная едва заметными, тонкими, как нити, голубыми прожилками, всегда скрытая от солнца и воздуха, казалось, излучает таинственное благоухание. Меня вдруг охватили досада и раздражение, я готова была поранить чем-нибудь острым эту кожу, напоминавшую влажный шелк.

Откуда она, эта загадочная, проклятая моложавость? Я не могла этого постичь. Нельзя так молодо выглядеть, это приносит только несчастье...

Сорок лет, проведенные в заточении, лишили меня всего, отняли все надежды на счастье, зато сохранили это удивительно моложавое тело и трепещущую, охваченную волнением душу. Да, теперь я сполна узнала, что даже эта необъяснимая моложавость тоже была своего рода наказанием, выпавшим мне на долю.

Эта ненужная свежесть и чистота женщины, не оскверненной прикосновением мужского тела, мужского пота, не знавшей в прошлом ни счастья, ни горя из-за мужчины, эта безупречная кожа, на которой никогда не оставляли ни синяков, ни царапин жестокие мужские объятия, казалась мне не столько красивой, сколько отталкивающей, даже страшной.

И чтобы исцелиться от сознания этой ущербной, неестественной моложавости и напрасной, ненужной красоты, я напрягала все свои душевные силы, стараясь призвать на помощь высокомерие.

— Сэнсэй боится меня. Он меня избегает...

Я надеялась, что эта надменная, нескромная мысль хоть немного утешит меня в страданиях этой минуты, когда я чувствовала себя такой несчастной и жалкой.

Наступил Новый год, и Дансити привез мне поздравительные стихи сэнсэя — по случаю окончания старого и начала нового года.

В эти праздничные дни сэнсэй, вероятно, приезжал в город и замок Коти с традиционными новогодними визитами, но у нас в доме не появлялся.

Я тоже передала ему через Дансити поздравительное стихотворение.

По случаю Нового года

Бесследно исчезла зима,
Весною объято небо.
Пришел, наконец, Новый год —
Обновились природа и люди.
Но весна не всегда теплом
Глушь и город равно наделяет;
Вот и слива моя лишена
Благодати для новой жизни.*

К стихотворению я приписала: «Итак, мне не придется увидеть Вас. Скорблю об этом!»

В этом году сэнсэю предстояла поездка в Эдо по делам, связанным с его наукой. Исполнялось его давнишнее заветное желание. Скованная людскими пересудами, буквально связанная по рукам и ногам из-за боязни дать новую пищу досужим сплетням, я воспринимала его отъезд как своего рода дуновение свежего ветра, который, может быть, развеет окружавшую меня гнетущую духоту.

Кто знает, может быть, долгая разлука постепенно изменит все к лучшему, надеялась я. Сэнсэй тоже, по-видимому, возлагал на эту поездку те же надежды — в его письмах, приходивших в последние дни, между строк, между ничего не значащих слов я отчетливо чувствовала любовь и заботу.

Он советовался со мной, среди прочих дел, также и по поводу моей давнишней просьбы — в свое время я передала ему любимый меч отца и зеркало, которое отец в молодости привез из далекого Нагасаки в подарок матушке, чтобы сэнсэй продал их за хорошие деньги людям, знающим толк в таких изделиях. Теперь сэнсэй писал, что в Коти вряд ли найдется настоящий ценитель, и спрашивал — не лучше ли взять с собой эти вещи, чтобы продать их повыгоднее в Киото или в Эдо?

Я мечтала, чтобы он хоть разок, хотя бы украдкой, повидался со мной перед отъездом, и на эту мою просьбу он ответил согласием — обещал, что в скором времени навестит нас.

В эти решающие дни и случилось несчастье, от которого у меня все похолодело в груди,— мое письмо, ответ на последнее послание сэнсэя, пропало в пути.

В тот день Дансити не пришел; Магобэй, которого я обычно посылала к сэнсэю, был болен, и тут, как на грех, подвернулся странствующий торговец, сказавший, что зайдет по пути в Ямада. По легкомыслию, я доверила ему свое письмо. Сколько потом ни упрекай себя — беда уже свершилась, как ни раскаивайся — утешиться невозможно...

«...несомненно, он распечатал Ваше письмо в пути. Нет ли там чего-нибудь, чего не следует видеть постороннему взору? Теперь, пожалуй, лучше всего делать вид, что я вообще ничего об этом не знаю...» — писал сэнсэй, и по его письму нетрудно было понять, что он встревожен и огорчен.

Это происшествие послужило поводом для новых досадных толков и разговоров, мы опасались, что власти могут даже отобрать выданное сэнсэю разрешение на путешествие в Эдо, и я, несчастная вдвойне, трепетала от страха.

* Перевод В. Сановича.

«...я совершила эту непоправимую ошибку только потому, что Вы уезжаете, и, глубоко сознавая свою вину, смиренно прошу прощения. Но не тревожьтесь, ничего предосудительного, такого, чего нельзя было бы прочесть посторонним, я не писала, будьте совершенно спокойны. Теперь я уже примирилась с мыслью, что увидеть Вас не придется. Я буду думать о Вас каждый день, улетая мечтой вслед за бегущими по небу облаками,— вот единственное, что мне осталось. Прощайте, прощайте...»

Так рухнули мечты о свидании, которого я ждала с таким волнением.

Я надеялась, что при встрече с сэнсэем смогу выяснить у него нечто важное для себя — связь, существующую между мною, сэнсэем и *обществом*. Мне казалось, что отношения, сложившиеся между нами, каким-то непонятным образом, незримо, но тесно переплетены с политикой.

Не боявшийся высказывать независимые, решительные суждения, когда дело шло о науке, смело опровергший даже теории своего учителя Асами Кэйсай, сэнсэй почти робел, когда вопрос касался такого незначительного, с моей точки зрения, понятия, как *общество*. Это казалось мне странным, необъяснимым. В отношении сэнсэя к *обществу* мне чудилось нечто сходное с тем смутным страхом, который испытывала я в заточении, когда заходила речь о политике, власти. Или, может быть, это пресловутое *общество* тоже не что иное, как один из обликов власти?

Я узнала, что отъезд сэнсэя назначен на десятое февраля. Разрешение было дано, сборы закончены, но из-за легкого недомогания пришлось отложить поездку. Я поспешно приготовила целебный настой и вместе с письмом вручила Дансити.

«...Как Ваше самочувствие? Мне сказали, что Вы больны. Желаю Вам скорейшего выздоровления и благополучного отплытия при ясной погоде. Да сопутствует Вам удача, с почтением...»

Двенадцатого февраля сэнсэй отбыл в Эдо морским путем из гавани Урато. Разумеется, я не провожала его. Зато мне приснился сон.

...Огромный корабль под парусами. Я стою на палубе в дорожной одежде, в широкополой шляпе. Брови у меня сбриты, зубы покрыты чернью. Приподняв поля шляпы, я говорю: «Я всегда мечтала хоть одним глазком повидать Эдо. Какое счастье поехать туда вместе с сэнсэем!..»

Проснувшись, я почувствовала себя несчастной. Не потому, что у той, второй «я» во сне были сбритые брови и зачерненные зубы, а оттого, что во сне я беззаботно смеялась и о чем-то весело, оживленно болтала, исполненная радости и горячего, как огонь, счастья.

Мне стало и больно за себя, и горько, что даже пустой, призрачный сон способен дарить мне эту иллюзию счастья, и я заплакала в ночной тишине на своем одиноком ложе. Горько было сознавать, что, понимая всю тщетность пустых сновидений, я в тайных помыслах готова все время возвращаться к ним, лелея память хотя бы об этих снах...

Вот почему, получив княжеские грамоты, я почувствовала себя уязвленной до глубины души — слишком уж невыносимо было бы мне, еще живущей призрачными мечтами, пойти наперекор самой себе.

«Эн, дочери покойного Дэнэмона Нонака, назначается жалованье— восемь коку риса»,— гласила первая грамота. В другой содержался совет князя: он рекомендовал мне выйти замуж.

Наследник человека, отнявшего у меня все, заключившего меня, четырехлетнюю девочку, в темницу на сорок лет, теперь жалует мне содержание размером со слезинку воробья! Какое оскорбление! Лучше ходить в тряпье, просить подаяние, умереть с голоду, но такой милости мне не надо.

Я не хотела даже отвечать князю. Обращу все в шутку, скажу, что служить при дворе князя не собираюсь, значит, и жалованье получать не за что... Но старый Игути чуть ли не со слезами уговаривал меня согласиться.

— Князь — отпрыск боковой ветви, он прибыл к нам из Эдо, из семейства Симбаси, но несмотря на это стал главой княжества Тоса. Это поистине выдающийся человек... Совсем еще молод, ему едва исполнилось тридцать,— но необычайно мудр и великодушен. Он весьма уважает сэнсэя Синдзан, назначил его советником при правительстве клана, оказывает ему содействие в занятиях наукой. По его приказу свыше шестидесяти юношей города Коти слушают в большом Северном зале замка лекции сэнсэя по «Анналам Японии»*. Поверьте мне, старику,— сэнсэй Синдзан смог по-настоящему заниматься наукой только после того, как в Тоса стал править этот князь... И содержание это пожаловано не столько вам, госпожа о-Эн, сколько вашей престарелой матушке и старухе кормилице...

Так я впервые услыхала о молодом, болезненном властителе клана Тоса. Выйдя на волю, я твердо решила остаток моей жизни прожить полностью вне политики. Но теперь я поняла — кем бы ты ни был, узником, выпущенным на волю, или самой жалкой маленькой мошкой, все равно, пока ты жив, оградить себя от политики невозможно.

Вот почему в конце концов я приняла это крохотное жалованье в восемь коку. Не потому, что поняла, как бессмысленно сопротивляться воле молодого князя, о котором все твердили, будто он глубоко почитает науку; просто я убедилась, что жить вне политики не удастся. Главная же причина заключалась в том, что с больной матерью и старухой кормилицей на руках я была так бедна, что мне не хватало буквально на пропитание. Я согласилась, хотя все мое существо яростно протестовало против этой подачки.

Каким бы милосердным и мудрым ни был молодой князь, он жил в замке, в том самом замке с белыми стенами, окруженном рвом. Смягчить жестокость замка было не в его власти. К тому времени, как он стал князем Тоса, мы находились в темнице уже тридцать семь лет. Если бы он сразу освободил нас, младший брат, попавший в заточение грудным младенцем, смог бы хоть немного, пусть всего лишь два года, пожить на воле...

Но нас не щадили... Наша судьба решалась не по воле милосердного, кроткого сердцем князя, а по велению замка, высоко вознесшего над землей свои белые стены. Этого я не могу простить. И никогда не прощу.

А совет князя выйти замуж за кого-нибудь из бывших вассалов — уж вовсе непрошеное благодеяние. Я ведь больше не пленница!

Будь сэнсэй Синдзан дома, я села бы в паланкин, отправилась к нему и, упав перед ним ничком, выплакала бы свою обиду, думала я.

И еще мне хотелось — конечно, если бы удалось благополучно миновать стражу у ворот замка,— бросить прямо в лицо этому молодому и, по слухам, столь великодушному князю мой отказ, бесповоротный и резкий.

Очевидно, он не догадывается, что, когда живешь в замке, милосердие бессмысленно, больше того — иногда оно вредоносно. Он не замечает, что его участие выглядит подчас даже комично. А его советы попросту смехотворны!

Итак, князь советует мне выйти замуж — он печалится, что исчезнет род моего отца, талантливого, одаренного человека...

— Если вы сейчас вступите в брак, у вас обязательно будут дети.

---

* «Анналы Японии» — одна из самых древних японских книг (VIII в.), в которой собраны древние мифы, легенды и исторические хроники.

Это священный долг госпожи, неужели вы со мной не согласны? Если вы не захотите внять княжескому совету, мне, старику, не будет оправдания ни перед князем, ни перед господином правителем...— с жаром убеждал меня старый Игути.

— Что же ты станешь делать, если я не послушаюсь? — с улыбкой ответила я, вставая.

Не столько душа, сколько тело мое содрогнулось при этих словах. Родить ребенка? Я никогда и не помышляла, что моему бедному телу придется испытать нечто подобное.

В то же время я подумала, что физически я все еще женщина в полном смысле этого слова. Доказательства тому повторялись из месяца в месяц, точь-в-точь, как и в первые годы моей печальной девичьей жизни; они и сейчас еще бесконечной чередой продолжали терзать мне душу, безжалостно напоминая о бесплодно уходящей жизни...

Любить мужчину, родить ребенка, жить полной жизнью — да, я еще была на это способна. Если бы я согласилась, быть может, и мне достались бы крохи того, что считается женским счастьем,— это неожиданное открытие не столько удивило меня, сколько напугало, повергло в смятение.

В дни заточения, твердо уверенная, что мне суждено окончить жизнь в темнице, я позволяла себе в мечтах отдаваться сэнсэю. Но встреча с сэнсэем в жизни развеяла это наваждение дьявола.

Облик сэнсэя, с детских лет истерзанного бедностью и болезнями, иссушенного напряженной работой мысли, внушал совсем иные чувства. Видеть в нем мужчину было бы почти святотатством.

Нет, не такого мужчину я рисовала в своих мечтах.

Женщина, жившая во мне, создала свой идеал мужчины, гордого, сильного. Этот идеал она боготворила, о нем мечтала долгие годы, хотела сберечь его до конца дней и ни за что не согласилась бы с ним расстаться.

Как человек богатого интеллекта, как человек сильного духа и большого сердца, сэнсэй несомненно мог считаться настоящим мужчиной, но женщина, жившая во мне, никогда не примирилась бы с несовершенством его физического облика. Идеалом мужчины казался мне молодой Дансити. Сэнсэй, вернее сказать, не сэнсэй, а тот мужчина, которому я принадлежала в своих безумных мечтах, в жизни оказался похожим не на ученого Синдзана, а на юного Дансити.

И вот теперь, по непрошеной прихоти молодого сердобольного господина, этой женщине приказывают, не рассуждая, связать себя с каким-нибудь бывшим вассалом и родить ребенка от человека, бесконечно далекого и духом, и телом!..

Я поняла, что мое тело способно предать меня, и содрогнулась при этой мысли.

Нет, мой путь в жизни будет иным, если только достанет сил.

Возможно, я еще могла бы стать женой и матерью, то есть выбрать то, о чем все женщины, сколько их есть на свете, с юных лет мечтают с необъяснимым трепетом и восторгом. Но раз я помилована, значит, теперь я вправе сама решать, как жить дальше.

Когда-то в прошлом меня покарали за то, что в моих жилах течет отцовская кровь. Теперь во имя той же отцовской крови мне приказывают — выходи замуж! Приказывают мужчины, те самые мужчины, которые всегда, во все времена, стоят у кормила власти,— так неужели я могу обрести свое женское счастье по их велению?

Будь мне дозволено, я сказала бы, что во искупление сорокалетних страданий в темнице мне нужны и твердый дух сэнсэя, и молодое, могучее тело Дансити. Я хочу их обоих.

Как мужчины имеют одновременно много жен и наложниц, так и я,

подобно принцессе Сэн*, хочу одновременно иметь двух любовников... Конечно, будь это в моей власти...

Однако какие бы сумасбродные мысли ни приходили мне в голову, в жизни я всего лишь слабая, нищая женщина, вчерашняя узница. Всего-навсего пожилая женщина, которой уже за сорок...

В эти минуты во мне созрело твердое, отчетливое решение: я собственными руками задушу в себе женщину, чтобы, задохнувшись, она умолкла навеки.

Восемьсот моммэ ** серебром—дар господина Курандо, содействие бывших наших вассалов, и в первую очередь господина Окамото, отца Дансити, наконец распродажа всего, что можно было превратить в деньги, принесли свои результаты — к концу февраля наш скромный маленький домик был если и не совсем готов, то, во всяком случае, уже пригоден для жилья.

Дом стоял у холма, откуда открывался вид на храм Ки-но-Мару, за домом зеленела красивая бамбуковая роща, переходившая в смешанный лес, одевший горы. Со скалы стекал чистый горный источник, огибал сад и бежал к проходившей внизу дороге.

Дансити устроил бамбуковый желоб и провел воду в сад. Вода стекала в большой каменный водоем — было что-то торжественно-праздничное в этой огромной каменной чаше,— переливалась через край, наполняла маленький пруд в саду и струилась дальше, пробираясь сквозь травы, чтобы соединиться с прежним потоком.

Никто не нарушал нашего уединения. Лишь изредка в дверь стучался больной или прохожий, чтобы купить лекарство. Стояла весна, и одинокое жилище в тени деревьев дышало тишиной и покоем.

Нынче март на исходе:
в разгаре весна в Асакура,
Горы зелень покрыла,
цветы пламенеют на нивах.

Но шалаш травяной мой
не знает весны и цветенья,
Заслонила мне солнце
калитка из сучьев корявых.

Сумрак в доме моем,
сумрак в доме моем — непроглядный.
И сквозь слезы вновь вижу я
братьев своих незабвенных,
И родителей вижу я
в сердце своем безутешном...

Гордость предков сановных,
по мне, лишь тщеславье пустое;
Обрету утешенье,
мотыльками в полете любуясь!***

Каждый день мы с кормилицей варили целебные настои, изготовляли пилюли. Лекарства мы раздавали нашим бывшим вассалам, а те продавали их вразнос.

Случалось, приходил больной за советом, оставлял немного риса и овощей или деньги. Так мало-помалу создавалась возможность заработать на скромное пропитание.

---

* Принцесса Сэн — аристократка, жившая в XVI в. Легенда приписывает ей двоемужество.

** Один моммэ — около 4 граммов серебра.

*** Перевод А. Голембы.

Сэнсэй возвратился на родину второго июня, когда лето было уже в разгаре.

Разумеется, я не встречала его и не поехала с приветственным визитом. Разлука длилась долго, больше четырех месяцев, но я не могла бы сказать с уверенностью, как отразится она на наших отношениях, какие перемены принесет в наш маленький, только нам двоим принадлежащий мир.

Дансити сообщил мне, что ученики, с нетерпением ждавшие сэнсэя, решили собраться в доме Окамото, чтобы послушать его первую лекцию, а потом устроить в его честь маленький пир, и я, после недолгого колебания, ответила, что приеду. Проехав около трех ри в паланкине, я вперные посетила дом Дансити.

Носильщики бежали вдоль канала Фунаири, проложенного отцом. Полноводный поток бесстрастно струился среди необозримых зеленых полей. Летний день, клонившийся к вечеру, дышал безмятежным покоем.

Было уже темно, когда я подъехала к дому Окамото. Парадные комнаты были ярко освещены и переполнены людьми. Лекция уже началась. Никем не замеченная, я проскользнула в задние ряды и, усевшись возле веранды, стала впервые в жизни слушать лекцию сэнсэя о «Великом учении» *.

Загорелый до черноты, сэнсэй показался мне здоровее и крепче, чем был прежде. Глаза у него сверкали, он выглядел совсем другим человеком, не таким, каким я увидела его при первом нашем свидании.

С одного взгляда я поняла, как много дали сэнсэю эти четыре месяца, проведенные вдали от родины. Чем больше я его слушала, тем сильнее мне казалось, что он, хрупкий, по-прежнему худощавый, постепенно растет; нечто властное и великое переполняло все его существо, передавалось слушателям, покоряя и подчиняя их своей неодолимой, могучей силе.

Что-то новое почудилось мне в сэнсэе, что-то незнакомое появилось и зрело в нем, и эта перемена могла не приблизить, а, напротив, отдалить его от меня. Так оно и случилось — я узнала об этом позже, но в те минуты я всецело подпала под чары нового, ослепившего меня чувства.

Окружающие исчезли, я была здесь одна, наедине с ним, только вдвоем...

Вот он, тот человек, которого я любила долгие двадцать лет! Вот оно, счастье, к которому так стремилась душой... Говорят, что любовь между мужчиной и женщиной всегда неповторима и складывается поразному, на десять тысяч ладов, значит, и мой союз с сэнсэем так же тесен, как и любой другой, и наша любовь ни в чем не уступит любви всех остальных людей... Так буду же беречь этот союз, дорожить этим счастьем, украдкой думала я в эти минуты.

Когда лекция закончилась, в зале начался скромный ужин.

Мать Дансити любезно предложила мне отдохнуть и провела в глубину дома. Я прилегла на веранде, прислушиваясь к веселым молодым голосам, долетавшим из зала. Оживление все нарастало, голоса звучали задорнее. Эти минуты одиночества дарили мне отраду.

— Вы здесь, госпожа о-Эн? — в комнату внезапно вошел сэнсэй. Завернув рукава кимоно, он присел на веранде и устремил взгляд в темневший впереди сад.— Я хотел непременно поговорить с вами...— и он повел речь о письме князя, которое я получила в его отсутствие. — По правде говоря, это я посоветовал его светлости написать вам... Но я слыхал, что госпожа о-Эн очень разгневалась, получив это письмо, и потому пришел просить прощения...— тихо, отрывисто произнес он.

Ошеломленная, я молчала.

---

* «Великое учение» — одна из четырех канонических конфуцианских книг.

— Раз вы сердитесь, мне не остается ничего другого, как только просить прощения. Но мне и сейчас по-прежнему жаль, что род вашего отца исчезнет с лица земли...— опять произнес сэнсэй, все так же устремив глаза в темноту.

— Пусть бы так говорили другие... Но я не ожидала, что мне придется услышать такое из *ваших* уст... Мне это больно...— сказала я, безотчетно придвигаясь к сэнсэю.

Но сэнсэй продолжал сидеть молча и смотреть в темный сад. В его неподвижной фигуре я вдруг остро ощутила мужчину. Совсем иного, чем юный Дансити, более сурового, более прозорливого и сильного. Я смутно уловила сложные переживания, владевшие в эту минуту его душой, где сплелись в одно неразрывное целое мужская суровость, способность провидеть далеко вперед, знание жизни во всей ее неприглядной наготе и бесстрашное умение смотреть в лицо этой жизни, бросая ей смелый вызов.

Он может казаться внешне боязливым и робким — в действительности, напротив, он умеет подчинять себе жизнь и брать от нее все. Притворяясь, будто ему жаль, если исчезнет род отца, сэнсэй на самом деле любит женщину, которая все еще живет во мне, жалеет огонек, готовый вот-вот угаснуть... Я сидела неподвижно, борясь с желанием припасть к его коленям и зарыдать. Слышно было, как молодые люди в зале зовут и ищут сэнсэя.

В тот час мне хотелось верить, что сэнсэй меня любит. Что есть любовь, не смеющая проявить себя иначе, чем в такой форме...

Не знающая жизни, настороженная, приходящая в смятение от малейшего затруднения, я в этот короткий миг в муках освободилась еще от одной иллюзии.

Как бабочке нужно сбросить кокон, чтобы свободно летать, так и я мучительным усилием сбросила узы, сковывавшие мне душу.

В эту осень скончалась матушка. Сэнсэй вместе с Дансити приехал разделить со мной обряд ночного бдения возле покойницы. Мы скоротали ночь за беседой.

После поездки в Эдо сэнсэй стал еще больше занят, чем прежде. Он часто выступал с лекциями, переписывался с учеными Сибукава Сюнкай, Кайбара Эккен, с астрономом Ангэ, так что возможности повидаться с ним не было.

У меня же после смерти матушки стало больше досуга. Я навещала больных бедняков, щедро раздавала лекарства. Кормилица, всегда приветливая, неизменно ласковая, была со мной, и я могла, сколько хотела, зачитываться любимыми книгами.

Из дома я выходила только ночью.

В хакама* для верховой езды, оставшихся от старшего брата, с отцовским кинжалом за поясом, прикрыв лицо высоким лиловым капюшоном, я выходила за ворота.

В полях громко звенели осенние цикады. Мои тихие шаги не нарушали их неумолчного пения. Они спешили жить, не считаясь с опасностью, торопливо доживали свой век, и печаль их наполняла поля.

Великая грусть таилась в этом бурном стремлении к жизни, и мне, бредущей в мужской одежде через ночное поле, была по сердцу эта пронзительная тоска. Она как нельзя лучше гармонировала с моим собственным настроением.

Об этих моих ночных прогулках, о моей непочтительности, выражавшейся в том, что в разговоре я не прибавляла почетных титулов к име-

* Хакама — широкие брюки, заложенные у пояса в глубокие складки.

нам влиятельных персон клана, а также о частых посещениях нашего дома юным Дансити люди сплетничали на все лады. Вскоре после Нового года я получила за это выговор от сэнсэя.

«...Вы вправе бранить меня, если видите в моих поступках только дурное,— ответила я на его письмо.— Я понимаю это и со смирением принимаю Ваши слова. Но ведь сам Чжу-си учил, что добродетель женщины — в любви, вот я и старалась, как умела, соблюдать эту заповедь. Беда лишь в том, что от природы я неспособна и глупа, оттого и рождаются все эти слухи, вызывающие Ваше негодование...»

Сэнсэй был вправе бранить меня, однако я и впредь не собиралась почтительно именовать знатных особ клана. А также не думала прекратить свои ночные прогулки, и уж тем более — частые визиты юного Дансити.

Но упреки сэнсэя наполнили душу каким-то теплым и сладким чувством. Мне казалось, что я вновь убедилась в его любви, так неожиданно открывшейся мне в ту ночь, когда он читал лекцию в доме Окамото, только на этот раз его любовь ко мне выразилась в новой, своеобразной форме.

Впрочем, все это уже не могло изменить мой образ жизни. Пусть я всего лишь жалкая мошка, пусть погрязну в жизненной скверне, но у меня все же достанет сил продержаться на собственных слабых крыльях.

Я боялась лишь одного — как бы эти сплетни не дошли до ушей Дансити или его отца и не заставили его прекратить свои посещения.

Раз уж до сэнсэя докатилась эта молва, не может быть, чтобы ни Дансити, ни его отец ничего не слыхали. В поведении Дансити не было заметно никаких перемен, однако мне не верилось, что он ничего не знает.

— Госпожа о-Эн, какие бы небылицы вам ни пришлось услышать, не обращайте внимания и не сердитесь...— с решительным видом сказал мне однажды Дансити.

У меня даже перехватило дыхание, так твердо прозвучали эти слова.

— Зачем же мне сердиться из-за каких-то нелепых слухов... Боюсь только, как бы тебе не причинить неприятностей...— спокойно сказала я.

Дансити вспыхнул до корней волос.

— Что вы, как можно! Дансити — простой крестьянин, какие тут могут быть неприятности!.. Я хотел бы всю жизнь служить госпоже, если только позволите...— и Дансити посмотрел на меня долгим, пристальным взглядом.

В этом взгляде светилась такая сила, что я невольно опустила глаза. Искреннее, чистое чувство сияло во взоре Дансити, но в ту минуту этот мальчик внушал мне страх.

Да, я боялась страсти этого юноши, простого крестьянина, молодого и сильного, пышущего здоровьем, похожего на резвое, молодое животное, привольно живущее среди лугов и полей.

Наверно, мой страх передался Дансити, потому что он, чуть изменившись в лице, внезапно отвел глаза.

— Я сказал дерзость... Разрешите мне удалиться...— проговорил он и встал.

Через четыре дня, снова навестив нас, Дансити держался так же почтительно, как всегда, был, как обычно, скромен и прост, как будто ничего не произошло. Без всяких указаний он отыскивал для себя работу и усердно трудился. Очевидно, за эти дни он окончательно уяснил, какое может занимать место подле меня.

Так постепенно менялась и я, приобретала житейский опыт, становилась человеком.

Глава V

Погребальная песня

«...С радостью получила Ваше послание от двенадцатого декабря, с нетерпением распечатала конверт и вся ушла в чтение, ведь я давно не имела от Вас известий. Да, Вы правы, в этом году исполняется ровно пятьдесят лет со дня смерти отца, и мысли мои все время обращены к далекому прошлому, которого мне не дано было знать. Вспоминаю я также покойных братьев, и сон бежит от моей подушки. Думаю, Вам хорошо понятны эти чувства.

Вам, разумеется, ясно, что из-за судьбы, постигшей отца, я не могу пригласить на поминки ни единого человека из нашего клана. Поэтому я решила позвать только бывших наших вассалов, долгие годы терпевших нужду и всяческие невзгоды, и поблагодарить их от всей души, устроив в их честь чайную церемонию.

Жизнь моя проходит уединенно, если кто и посещает наш дом, то лишь совсем чужие, незнакомые люди, приходящие за лекарством. В последние годы я нигде не бываю, в город тоже не езжу. Время бежит, а видеть Вас, увы, по-прежнему невозможно. Но мысленно я всегда с Вами, вот все, что мне остается. Так и живу.

С почтением...

26-го декабря».

Скоро уже шесть лет, как исчезла всякая возможность видеть сэнсэя. Вести от него приходили редко, я же писать стеснялась.

Но сегодня, во втором году эры Сётоку *, вскоре после окончания скромных обрядов, которыми я отметила пятидесятилетнюю годовщину смерти отца, впервые за долгое время я получила дорогое сердцу послание.

...Мне казалось, что гроза над головой сэнсэя разразилась совсем внезапно, но теперь я вижу, что ошиблась. Несомненно, сэнсэй давно уже знал, что рано или поздно буря неминуемо грянет.

Теперь мне ясно, что по-другому он и не мог бы жить в этом мире...

Шесть лет назад в марте сэнсэй закончил, наконец, свою рукопись «Учение «синто» школы Тоса». В апреле он отправился в Киото представить свой труд на суд ученого-астронома Иосида.

Князь Тоёфуса, один из немногих доброжелателей сэнсэя, к тому времени был окончательно прикован к постели. С нетерпением, в сердечной тоске ожидал он возвращения сэнсэя. Семнадцатого мая он приветствовал его в замке и радостно пожимал его руку, а шестого июня скончался в расцвете лет, на тридцать пятом году жизни.

Болезненный, мечтательный, он оставил после себя большой глобус с изображением созвездий, которым пользовался, наблюдая по ночам небесные светила, но не оставил, увы, ни одного наследника-сына.

Замку требовался хозяин. Значит, неизбежна была борьба и распри. Как и во все времена, повсюду...

У прежнего князя тоже не было наследника; князь Тоёфуса, отпрыск боковой ветви Симбаси, как уже говорилось, прибыл в Тоса по приказу из Эдо.

Князья Симбаси были потомками Сюриноскэ, младшего брата князя Кадзутоё Ямаути, первого властителя Тоса. Один из сыновей Сюриноскэ — самый младший — служил центральному правительству, за что и получил земли в области Мусаси. Здесь, в местечке Симбаси, он построил себе усадьбу, от названия которой пошло имя нового рода.

* 1712 г.

Однако на родине, в Тоса, тоже имелись претенденты на княжеский престол. Глава знатного самурайского рода Вакаса Фукао был внуком старшего сына Сюриноскэ. Когда князь Тоёфуса стал властителем Тоса, Вакаса был недоволен — он считал, что имеет больше прав на княжеский престол, как потомок старшего из сыновей Сюриноскэ. Однако до поры до времени скрывал свое недовольство.

Но теперь, когда со смертью князя Тоёфуса снова встал вопрос о наследнике и опять, по приказу из Эдо, властелином Тоса был назначен брат покойного князь Тоётака из того же рода Симбаси, Вакаса Фукао вне себя от гнева обратился к сэнсэю Синдзан за советом: какой порядок наследования можно считать справедливым, по семейной линии или по старшинству в роде? И сэнсэй, руководствуясь законами конфуцианской науки, ответил, что справедливо наследовать власть по старшинству в роде.

Вакаса и его сын ревностно почитали учение конфуцианства; они пригласили сэнсэя к себе в усадьбу и назначили день для открытой лекции. Вопрос о новом наследнике обсуждался во всем клане Тоса, о назначении князя Тоётака открыто говорили как о нарушении заповедей науки. К партии недовольных принадлежал также другой ученик сэнсэя, старший самурай Идаю Сэнгоку, один из самых преданных его почитателей.

Однако семейство Ямаути и другая знатная родня в Эдо, при поддержке некоторых членов Государственного совета, утверждали, что такова была воля покойного, и ссылались на его письменное завещание. Их стремление постепенно свести на нет дом Симбаси и отобрать принадлежавшие этому дому земли совпадало с намерениями центральной власти.

Почему родичи князей Ямаути были заинтересованы в уничтожении дома Симбаси — этого я, конечно, знать не могу. Ясно только, что эти планы вынашивались давно, еще с тех пор, как они отправили в Тоса молодого, болезненного князя Тоёфуса. Возможно, он отлично понимал сокровенные намерения своей родни и только притворялся, будто ни о чем не подозревает, думала я, представляя себе тайную тоску покойного князя и его философскую отрешенность от мирских дел...

Седьмого августа новый князь Тоётака прибыл в Тоса, и тотчас же начались гонения против тех, кто выражал недовольство его назначением.

Первым был осужден старший самурай Идаю Сэнгоку — его приговорили к затворничеству. Затем последовал приказ дому Фукао — главе семейства Вакаса было велено удалиться в затворничество, старшинство в доме передать сыну; в случае неповиновения всему дому грозила гибель. Некоторые вассалы Вакаса, возмущенные приказом, советовали своему господину вовсе покинуть Тоса, но мудрый Вакаса, трезво оценив обстановку, предпочел покориться.

За всеми этими событиями я наблюдала со стороны холодным и равнодушным взором. Все казалось мне пустой суетой; пусть делают, что хотят... Судьба, некогда постигшая моего деда, обернулась теперь против Вакаса Фукао, правнука Сюриноскэ, торжествовавшего в ту пору победу. Так же, как его дед Сигэаки, когда-то преследовавший отца, повинный в его опале и заключивший нас в темницу на сорок лет, Вакаса гордился своей ролью «опекуна» княжеской семьи Ямаути; зато теперь знатные люди клана не замедлили воспользоваться удобным моментом, чтобы лишить род Фукао могущества и влияния.

Как и в былые времена, мужчины враждовали, оттесняя друг друга в борьбе за власть, и колесо ненависти, вращаясь, по-прежнему творило историю...

Как же мог сэнсэй прожить свою жизнь вне этой борьбы, даже будучи не политиком, а всего-навсего скромным ученым? Наивно было бы ожидать, что сэнсэй Синдзан, наставник и советчик Вакаса, не будет втянут в этот водоворот страстей, если даже четырехлетняя девочка, какой была я когда-то, оказалась достойным объектом ненависти.

Потом я узнала, что ненависть к сэнсэю вспыхнула отнюдь не из-за одних этих событий. Она зрела исподволь, уже очень давно.

Центральное правительство поручило своим мэцукэ * Хаяси и Имаэда следить за каждым движением сэнсэя Синдзан и доносить все властям. Содержание этих доносов мне рассказал господин Курандо.

«...Тани-Синдзан еще при жизни покойного князя состоял в близких, дружеских отношениях с господином Идаю Сэнгоку, а также с господином Вакаса Фукао и постоянно общался с ними. На днях он снова тайно посетил вышеупомянутого Фукао в его усадьбе в Сакава; у господина Идаю Сэнгоку бывает он всякий раз, как приезжает в город Коти.

Стало известно, что в Сакава он тайно совещался с господином Фукао. Беседа касалась предстоящего прибытия в Тоса его светлости князя Тоётака, с чем оба выражали резкое несогласие, договорившись написать о том бумагу. Буде же сия бумага останется без ответа, порешили до конца стоять на своем и нового князя не принимать, даже если поступок сей привел бы к гибели все семейство...»

Это сообщалось в феврале. В марте последовало новое донесение.

«...Тани-Синдзан прибыл в Сакава и оставался там несколько дней. Господин Идаю Сэнгоку, по-видимому, избегает общения с ним, однако Тани часто к нему приходит и тайно с ним беседует. Вышеупомянутый Тани, как сообщают, имеет широкие связи в обществе и пользуется известностью. И хотя одарен он, как говорят, недюжинными способностями, однако и поныне образ мыслей имеет злонамеренный».

В апреле новый донос:

«...Относительно Тани докладываем, что с давних пор известен он умом злокозненным и коварным, с каковым мнением и мы согласны. Он обладает искусством завлекать людей, а посему все его ученики и многие простодушные люди почитают его за мудреца. Из числа своих приспешников сколотил он шайку единомышленников и верховодит в ней, всеми распоряжаясь по своей воле. Сей Тани — субъект искусный и хитроумный, умеющий ловко втираться в доверие к влиятельным лицам. Сообщают также, что, будучи сведущ в астрономии, умеет он заранее предсказывать различные явления природы, о чем широко оповещает народ. Как ученый — талантлив, однако душа у него порочная, а посему многие говорят, что он может причинить немалый вред государству».

Все предали сэнсэя — и простые, и знатные. «Подумать только, каким зловредным, всемогущим и хитрым выглядит сэнсэй в этих доносах!» — горько усмехнулась я, обращаясь к Дансити и к кормилице. Все поступки сэнсэя — от научных споров до астрономических наблюдений — внушали страх, не меньший, чем черная магия христианских падэрэн **.

А ведь сам сэнсэй всегда относился к обществу с такой робостью, почти с боязнью! Или, может быть, так оно и бывает — когда все пути для взаимопонимания отрезаны, людям остается только одно: либо бояться, либо ненавидеть друг друга...

«Однако и поныне образ мыслей имеет злонамеренный...» Что означали эти слова?

---

* В буквальном переводе «присматривающие», «следящие» — так называли чиновников центрального феодального правительства, осуществлявших явный и тайный надзор за представителями власти на местах.

** Искаженное испанское слово padre — святой отец, священник.

Я поняла, что, не считая нескольких лет, пока жив был покойный князь, судьба сэнсэя как ученого, в общем, сложилась крайне несчастливо. Недаром еще юношей он писал нам в темницу, что власти постоянно подозревают его в злокозненных умыслах...

Ненависть к сэнсэю имела глубокие корни — она восходила еще к тем временам, когда после опалы отца в Тоса началось преследование ученых.

Гонениям подверглись почти все ученые, так или иначе связанные с отцом; эти безрассудные действия местной власти вызывали насмешки и осуждение по всей Японии. Ведь в стране царил мир, и все княжества соперничали друг с другом в стремлении привлечь на службу ученых и вырастить новую ученую поросль, дабы обрести в будущем могущество и богатство.

Чтобы как-то обелить себя и восстановить пошатнувшуюся репутацию, власти Тоса пригласили из Киото ученого Мунэтэцу Мороката, положив ему громадное жалованье в триста коку риса, и почти насильно отправили к нему учеников.

К тому времени сэнсэй Синдзан уже успел завоевать признание как ученый-конфуцианец. Юноши Тоса наперебой стремились слушать его лекции, а желающих учиться у Мороката не оказалось.

Власти решили, что их престижу нанесен новый урон; так возник первый повод для недовольства сэнсэем.

Что же касается последних событий, то это был не более чем предлог, чтобы старая ненависть, накапливавшаяся исподволь, наконец открыто вылилась наружу.

Шестого апреля в дом сэнсэя в селении Суэ явился посланец и от имени властей клана объявил ему приговор — затворничество.

«Тани-Синдзан, против вас имеются обвинения. Отныне вы обязуетесь никуда из дома не отлучаться. Ввиду мягкости наказания прическу разрешается носить прежнюю. Однако принимать посетителей и обсуждать с ними вопросы науки запрещено...»

Я узнала об этом два дня спустя.

— Простите за промедление... Я хотел в тот же день сообщить вам, но захворал... Сильный жар и боль в горле...— Дансити выглядел бледным, он еще не оправился после болезни. Я слушала его молча.

...Когда-то в прошлом я томилась в темнице, а сэнсэй жил на воле. Теперь я остаюсь на свободе, а сэнсэя приговорили к затворничеству...

Что-то похожее на сильный звон в ушах внезапно пронзило меня насквозь и так же внезапно исчезло. Затем наступило состояние странного отупения, я как будто перестала ощущать свое тело и вдруг очутилась в пустоте, не в силах сообразить, где я и что со мной.

Пошатываясь, я встала, молча подошла к Дансити, сидевшему передо мной с обвязанным горлом, и тихонько приложила руку ко лбу юноши. Машинальным движением я проверила, есть ли у него жар, и, кажется, подумала, что нужно приготовить ему лекарство.

Дансити испуганно вздрогнул, и мочки ушей у него покраснели. Я заметила это, но не восприняла сознанием.

Лоб у него был горячий и влажный. Приготовить лекарство для этого юноши, который, не считаясь с болезнью, поспешил ко мне с печальным известием,— вот единственное, что я могла перед лицом поразившего нас несчастья.

После осуждения сэнсэя власти передали всех его учеников ученому Мунэтэцу Мороката. Первым отправили в Киото господина Яситиро Миядзи, за ним настал черед Гэнсиро Усуси и других. Но вскоре молодые люди один за другим вернулись на родину. Господин Яситиро подал властям прошение:

«Будучи направлен в Киото для обучения у сэнсэя Мунэтэцу Мороката, я пытался учиться, однако никаких знаний не получил, а посему впредь от посещения лекций отказываюсь и прошу отныне жалованья мне не выплачивать...»

— Другие юноши последовали примеру господина Яситиро и тоже подали такие же заявления. Вот уж когда наши власти действительно осрамились...— сообщил мне Тёдза, сын старика Игути. Этот мрачный человек никогда не навещал меня, казалось, почти умышленно избегал, однако сегодня, не в пример обычаю, приехал, чтобы поделиться этими новостями.

— Как бы их не наказали еще более жестоко...— сказала я, наливая чай сидевшему на веранде Тёдза.

— Ни угрозами, ни самыми страшными наказаниями нельзя заставить людей изменить своим убеждениям...— ответил он с холодной и упрямой усмешкой.

Я тихонько отвела взгляд. Я высоко ценила верность нашей семье, которую Тёдза сохранял на протяжении всей своей жизни. Но почему-то у меня не лежала к нему душа, я не питала к нему таких теплых чувств, как к старику Игути. В его обществе мне было не по себе, он внушал мне смутную неприязнь.

Наступило лето, и наказание, которого я так боялась, обрушилось на молодых учеников сэнсэя.

Тяжелее всех досталось господину Яситиро, его приговорили к изгнанию из города и затворничеству в бухте Уса, в краю Такаока.

Господин Яситиро был любимым учеником сэнсэя; сэнсэй возлагал на него самые большие надежды. Известие о ссылке господина Яситиро было для сэнсэя страшным ударом, он метался по комнате и стонал, как раненый зверь.

— То вскакивал, то вновь садился к столу, ничего не ел и всю ночь просидел неподвижно, глотая слезы...— рассказывал Дансити.— У господина Яситиро жива только мать; наверно, сэнсэй страдает, представляя себе ее горе...— добавил он.

...Я молча слушаю рассказ о несчастьях, обрушившихся на голову сэнсэя. Сижу, не шевелясь, опустив глаза на худые, заострившиеся колени, и слушаю, как внимают зимнему урагану, ревущему за окном...

Прошло уже десять лет с тех пор, как я вышла из заточения,— так вот, оказывается, каков этот внешний, свободный мир, о котором я так мечтала...

В темнице я страстно желала увидеть своими глазами облик *власти, политики.* Сейчас я очутилась в самом сердце этой политики — беснующейся, ревущей бури.

Я отказываюсь видеть в этих распрях величественную трагедию. Все эти потрясения порождены тупостью и бессмыслицей и потому по сути своей безобразны, так я считаю. Тем не менее люди без устали снова и снова повторяют эту нелепость, эту бессмыслицу. Повторяют во имя жажды власти...

Вчера, одиннадцатого сентября, я отметила очередную годовщину со дня сооружения «Дома мертвых» семьи Понака. Вся моя семья состояла теперь только из мертвых, но ведь и мертвым хочется иметь хотя бы небольшое жилище. Тем более моим ни в чем не повинным братьям...

«Дом мертвых» размером всего лишь в квадратный кэн, воздвигли в селения Ямада, близ усадьбы Комаки. Деньги на покупку пяти тан * земли удалось выручить с помощью сэнсэя, еще раньше продавшего по моей просьбе отцовский меч и зеркало матушки.

* Один тан — около 0,09 га.

Усадьба Комаки — родной дом юного Дзирохати, добровольно последовавшего в могилу вслед за отцом. Поминальную дощечку с его именем я поместила в «Доме мертвых» — пусть он навечно будет гостем этого дома. В длинный лакированный ящик я уложила немногие вещи, оставшиеся от покойных.

Все обитатели этого храма, кроме отца, родились на свет только затем, чтобы умереть. Смерть была единственной обязанностью, выполнения которой ждали люди от этих несчастных. Теперь они дружно собрались в этом маленьком «Доме мертвых», и покой, царивший здесь, согрел мне душу.

Нет, не для молитв, не для чтения сутр воздвигла я этот храм. Раньше, когда у них еще не было этого маленького жилища, мертвые жили в моей душе. Освящение этого храма — сугубо личное дело, мое и моих покойников. Грязные жрецы и монахи тут ни при чем.

В день открытия храма мне исполнилось сорок восемь, но я оставалась все той же, какой меня знали при жизни мои родные,— с несбритыми бровями, с незачерненными зубами, в кимоно с длинными рукавами. Я прочла грамоту, которую сама сочинила, а потом долго разговаривала с покойными.

Скоро настанет и мой черед войти в этот уютный маленький домик. Пусть тогда похоронный обряд по мне совершит семья Комаки. Пусть они разговаривают со мной.

«...Каждый год отмечайте день одиннадцатого сентября праздничным рисом и сакэ. Не оскверняйте души усопших несправедливыми обвинениями, ни в коем случае не приглашайте монахов или монахинь. Распорядителями назначаю потомков семьи Комаки... Сегодня я почтительно подношу душам усопших родных и предков рис и сакэ и тем выполняю свое заветное желание...»

Нынче я отмечаю уже седьмую годовщину со дня основания этого храма. С позавчерашнего дня я нахожусь в усадьбе Комаки.

Из кухни доносится плеск воды, слышно, как хлопочут и суетятся женщины. Там толкут рис, готовят угощение в честь молодой невестки, лишь накануне вступившей в дом. Какое бы ненастье ни бушевало кругом, люди стремятся создать себе свое маленькое счастье, и это помогает им жить...

Я выхожу одна в поле и вот уже незаметно достигаю Накано — места, где жил когда-то мой опальный отец.

Погода в этом году стоит теплая, мягкая; равнина Кагамино, пробужденная к жизни трудами отца, дышит обилием, покрыта волнами спелого осеннего риса. Десятки лет прошли над этой равниной, и поля полны ласки, как будто уже свыклись с владычеством человека, полюбили его и шлют ему привет со своих безбрежных просторов. Воздух прозрачен, напоен благоуханием спелого риса, дикие хризантемы, такие лазоревые, что кажутся крохотными осколками ясного неба, рассыпали по земле голубоватые блики. Отсюда рукой подать до Суэ, где находится дом сэнсэя, отыскать посланца нетрудно, и сегодня утром я уже отправила сэнсэю письмо:

«...Здесь все в богатом цветении осени, особенно хороши дикие хризантемы, одну из них посылаю Вам в этом конверте. Годы идут, я старею, жизнь моя безотрадна, единственная утеха — чтение. Но что бы там ни было — Вы здоровы, Вы живы, так берегите же себя, прошу Вас об этом...»

Написав эти строки, я вспомнила слова утешения, некогда присланные мне в темницу сэнсэем. «Есть Небо и у Вас, за решеткой тюрьмы,— писал он когда-то.— Судьбу посылает Небо...»

Но теперь, обращаясь к нему почти с такими же утешениями, я уже

не верю этим словам. Что значит *Небо?* И что такое *судьба?* В нашем мире все творят сами люди.

Канал Фунаири и сейчас полноводен, едва не выходит из берегов; по водной глади в разных направлениях скользят, чуть не задевая друг друга бортами, крестьянские лодки, груженные снопами риса... Я шла по берегу, срывая по дороге цветы для маленькой кумирни, воздвигнутой на том месте, где стояло когда-то опальное жилище отца.

У маленького крутого мостика мне вспомнилось, как год назад, приехав сюда отметить очередной «праздник мертвых», я неожиданно встретила возле этого мостика супругу сэнсэя.

Стоял такой же ясный, погожий день. Жена сэнсэя сказала, что несет заказчице кимоно — она теперь шитьем зарабатывала на жизнь. В руках у нее был объемистый сверток. Мы немного постояли под теплым осенним ветром, доносящим аромат спелого риса, и перекинулись несколькими словами.

Шел уже восьмой год затворничества сэнсэя. Мне ясно представилась трудная жизнь его семьи, весь доход которой зависел теперь только от тонких рук этой женщины. За эти годы один за другим умерли трое маленьких сыновей сэнсэя, и эта утрата переплеталась в моем сознании с болью, пережитой когда-то при смерти братьев.

Мы расстались, и я некоторое время смотрела ей вслед. Весь облик этой женщины, ее прямые плечи, казалось мне, выражали решимость и твердость — чувствовалось, что забота о семье целиком лежит на этих плечах. Безраздельно посвятившая себя мужу, фанатически преданному науке, она несомненно счастлива по-своему, думалось мне. Муж, дети, жизнь, в которой переплелось великое множество радостей и горестей,— как недоступно было все это мне, в сорок три года впервые узнавшей волю!..

Я шла полями, и вечерний ветерок, проносясь над колосьями, раздувал рукава моего кимоно.

И река, и поля, и ветер — все было точь-в-точь как год назад. Солнце садилось, спелые нивы, окутанные золотистой дымкой, волновались под ветром, в просветах между колосьями ярко блестел канал Фунаири.

Когда я вернулась в усадьбу Комаки, меня уже ждало письмо сэнсэя.

«...труд мой постепенно близится к завершению, кажется, я уже примерно на середине задуманного. Но теперь меня охватывает сомнение — достойно ли людского взора то немногое, чего я сумел достичь? Впрочем, если мой труд поможет хотя бы единственному моему сыну продвинуться по стезе науки, я буду считать, что достиг своей цели. Может быть, сын окажется способнее меня и сумеет, продолжив мои труды, подняться к высотам знания...»

Сэнсэй сокрушался, что достиг в науке так мало... Я несколько раз перечитала письмо. Оно показалось мне почему-то похожим на завещание, и душа моя сжалась от тягостного предчувствия.

В последнее время здоровье сэнсэя резко ухудшилось, и это удручало меня.

Кормилица, согбенная старостью, но по-прежнему неутомимая, бодрая, как всегда, усердно трудилась, помогая мне готовить лекарства. Мы стали ближе друг другу, чем мать и дочь или родные сестры. Мне казалось, что наши жизни неразделимы. Я так привыкла к ней, что думала: пока я жива, она всегда будет рядом.

А она внезапно скончалась, умерла от пустяковой простуды, почью, в начале сентября, всего через год. Утром пожаловалась на недомога-

ние и прилегла. Маленькая, ссохшаяся от старости, она лежала, накрывшись тоненьким одеялом, жалкая, как осенняя стрекоза. Я приготовила лекарственный настой, напоила ее отваром, а ночью постелила себе с ней рядом.

Допоздна я читала «Повесть о Гэндзи» * и уснула за полночь. Перед тем, как уснуть, я склонилась над спящей — она дышала ровно и тихо.

Но когда наступило утро и, открыв глаза, я прежде всего взглянула на больную — великое таинственное спокойствие уже снизошло на маленькое тело кормилицы, спокойствие, в котором я безошибочно угадала смерть.

Она умерла, как жила,— ушла из жизни тихонько, как будто, заботясь обо мне, решила не причинить мне ни малейших хлопот своей кончиной, и слезы жалости хлынули у меня из глаз. Не попросила даже подержать ее за руку в последнюю, роковую минуту... При мысли об этом я, теперь уже совсем одинокая, горевала еще сильнее.

Овдовевшая в молодости, она выкормила меня и добровольно пошла в заточение вместе с семьей Нонака.

Старший брат считал, что было бы чересчур жестоко заставлять молодую женщину угасать в заточении, и всячески уговаривал ее выйти замуж во второй раз, но она и слушать об этом не хотела. От природы мягкая, ласковая, она тем не менее умела быть твердой — раз уж решила, нипочем не уступит.

«Не горюйте, госпожа о-Эн, ведь мне хорошо...» — казалось, скажет она сейчас, когда я обнимала ее еще не остывшее тело.

Теперь я осталась совсем одна. Ни единого звука, кроме журчанья воды, не раздавалось в доме. Ни одного живого существа, кроме кошки, не было рядом.

Днем я запираю калитку и сижу в комнатах, погруженная в чтение вымышленных историй, а по ночам, закрыв лицо капюшоном, выхожу из дома.

Деревенские хижины окружены густыми зарослями деревьев, перед каждой благоухает цветущая слива. С окончанием зимы, когда иней больше не ложится на землю, ночи в деревне напоены ароматом цветущей сливы.

В этих хижинах спят мои нищие пациенты. С некоторых пор они почему-то решили, что и лекарства, и советы, которые я даю,— все полагается им бесплатно. Это крестьяне, одинаково нищие и в то же время по-своему хитрые и корыстные, но они простодушно привязались ко мне и относятся ко мне с уважением.

За мое несчастье, за то, что я отвергнута миром, они простили мне мое происхождение, забыли, что я дочь человека, когда-то властвовавшего над ними, что я принадлежу к враждебному им сословию, и допустили меня в свой круг.

Они простили меня, странную, обойденную судьбой женщину с несбритыми бровями и незачерненными зубами, перестали бояться и дают мне место у своих очагов. Неосознанное презрение к убогой, смешанное с сочувствием, помогло им понять, что я не враг.

Я хорошо изучила их, узнала их ум, их удивительную способность безошибочно распознавать друзей и врагов и вместе с тем хитрость, иногда даже наглость. Я оценила мудрость, которая помогает им жить, несмотря на жестокий гнет.

Мне полюбились вечера у их бедных очагов, где разве лишь хворост да грубый чай были в достатке; вглядываясь в их лица, озаренные красными отблесками огня, в морщины, по которым угадывалась трудная жизнь, я прислушивалась к их разговорам.

* Классический роман XI в., одно из самых прославленных произведений японской средневековой литературы.

Так прошла зима и наступила весна.

Сэнсэй Синдзан встречал в затворничестве уже двенадцатый год. Вот и нынче, как всегда, Дансити принес мне его стихи по случаю ухода старого и наступления нового года.

Провожаю минувший год Петуха *

Одиннадцать лет
Я слыву преступившим законы —
Одиннадцать лет
С меня обвиненье не снято.

Седею, склоненный
Над книгами всех мудрецов,
Читая творенья
Философов древних Китая.

С тревогой в душе
Провожаю я год уходящий,
И, если в груди моей
Сотни мятежных порывов,

Усильем одним
Отметаю я прошлое сразу
И к небу высокому
Благостный взор устремляю.

Встречаю Новый год Пса **

С клеймом преступника
Живу двенадцать лет,
В благополучии
Всегдашнем пребываю:
В полнейшем здравии,
Не покидая дома,
Но на хозяйском месте,
Как и встарь...

Как глубоки
Пять Мудрых Сочинений,
Дошедшие
До самых недр народа,
Дарящие
Нам всем покой
И мудрость...
Мне ветер Вечности
Теплом в лицо повеял...***

Втайне я надеялась: может быть, в этом году сэнсэю выйдет помилование, но надежды не оправдались.

Вокруг моего жилища в полях пестрым ковром цвела вика; в горах туманной дымкой клубилась, плыла под дуновением весеннего ветерка цветочная пыльца зеленеющих криптомерий, и воздух благоухал весенними ароматами.

В моем саду свисали с ветвей обильно цветущие золотые цветы ямабуки, так что даже после захода солнца казалось, будто сад все еще озарен золотистым сиянием. Каждую весну Дансити заменял бамбуковый желоб, расчищал пруд в саду.

Этой весной он принес целую охапку пышных пионов. Два самых больших цветка, пурпурный и белый, он поставил в старинную фарфоровую вазу, принадлежавшую еще моему отцу, и украсил нишу в одной из комнат.

Миновала весна, наступило лето, и вот первого мая сэнсэй Синдзан

* Год Петуха по старинному японскому летоисчислению соответствует 1717 году.
** Год Пса — 1718 год.
*** Перевод А. Голембы.

получил извещение, что, хотя обвинение с него по-прежнему не снимают, ему разрешается выходить из дома «в окрестности, на близкое расстояние».

Разумеется, я обрадовалась до слез. Но от визита воздержалась и ограничилась лишь письменным поздравлением.

Я понимала, что мое посещение может причинить ему неприятности — ведь сэнсэй все еще считался опальным: город Коти был достаточно далеко и никак не входил в «окрестности», а селение Асакура, где я жила,— и подавно. Но в сентябре мне предстояла очередная поездка к моим мертвым в Ямада. Вот тогда я смогу повидать сэнсэя так, чтобы это не бросалось в глаза.

Теперь уже никто не сможет помешать нашей встрече. Я жила ожиданием предстоящего счастья. Ожидание — вот единственная доступная мне радость...

Вместе с тем я отдавала себе отчет, что все эти соображения — не более чем отговорки, самообман... Что-то заставляло меня откладывать свидание с сэнсэем, больше того — я испытывала даже какой-то страх перед этой бесплодной встречей.

И пока меня одолевали эти сомнения и колебания, тридцатого июня сэнсэй внезапно скончался.

В полном одиночестве, как обычно, я растирала в ступке лекарства, когда Дансити, задыхаясь от быстрого бега, появился на пороге, чтобы сообщить мне о его смерти. Не помня себя, я вцепилась в руку Дансити и, не в силах произнести ни слова, затряслась, как в ознобе. Я смотрела на Дансити, широко открыв глаза, и дрожала всем телом.

С того дня я живу в странном оцепенении. Каждое утро всходит солнце, каждый вечер оно скрывается за горизонтом. Жизнь продолжается, как будто в мире ничего не случилось.

Я не чувствую жары, не замечаю, когда кончается день, ощущаю только нестерпимый блеск солнца. Вселенная кажется мне раскаленным добела, странно беззвучным миром.

Дни и ночи я провожу в праздности, неподвижно сидя в полутемных комнатах. Без дум, без мыслей.

С наступлением ночи я бессильно падаю на свое жалкое ложе и с тоской встречаю сияние утра. Мне кажется, я стала похожа на сову. Когда я смотрю за окно на мир, озаренный жгучим сиянием летнего солнца, я не в силах выдержать этот палящий свет и щурюсь, словно слепая. Мне казалось, я никогда уже не смогу выйти на улицу, залитую ярким солнечным светом.

Что-то непрерывно утекало из моей души, и взамен ширилась и росла пустота. Дансити, тревожась обо мне, по-прежнему приходил, но мне было тягостно с ним встречаться. Лучше всего я чувствовала себя одна.

От Дансити я узнала, что ученик сэнсэя господин Яситиро Миядзи, осужденный на затворничество в бухте Уса и проживший там уже восемь лет, подал прошение о «выезде на чужбину». Все эти годы он поддерживал связь с сэнсэем, изредка обмениваясь с ним письмами, но теперь, когда сэнсэя не стало, господин Миядзи не захотел оставаться на родине. Разрешение было дано, и господин Миядзи уехал в Киото.

А в ноябре единственный сын сэнсэя, господин Какимори, тоже покинул княжество Тоса и отбыл в Киото. Центральное правительство не разрешило ему унаследовать род, так как сэнсэй умер, не дождавшись прощения.

Все уезжают. У молодых есть чужбина, куда они могут бежать, чтобы обрести там новую родину, есть будущее и новые пути в жизни, по которым они смогут шагать, думала я, пытаясь улыбнуться. Но мои пересохшие губы и увядшие щеки не складывались в улыбку.

Я никуда не собираюсь бежать, У меня нет чужбины, куда я могла бы стремиться. Да и зачем, ведь я и здесь на чужбине. Куда бы я ни уехала, я всегда останусь чужая среди чужих.

Какие бы политические страсти ни бушевали вокруг, меня это уже не касается. Да, я стала чужой всему и для всех.

Меня больше нельзя сломить — я и так уже сломлена навсегда; зато и ничье участие не может меня согреть. Я уже не столько человек, сколько неодушевленный предмет.

Я проводила дни, запершись в доме,— доставала пачку писем сэнсэя, перечитывала их одно за другим и вспоминала свои ответы на то или иное его послание.

Это единственно доступные мне рукописи сэнсэя, потому что из всех его многочисленных сочинений, созданных им на протяжении всей его жизни, и в особенности за долгие годы затворничества, ни одно не увидело света.

После смерти сэнсэя власти запретили выносить его сочинения за пределы дома.

— Похоже, что отец тревожился, как бы его книги, если их напечатают, не принесли мне и матери новых несчастий...— с печальной улыбкой сказал мне сын сэнсэя, господин Какимори.

Заперев калитку, в полном одиночестве, забросив даже изготовление лекарств, я все дни напролет просиживала в сумраке комнат, мысленно разговаривая с сэнсэем. Теперь он снова вернулся ко мне и опять принадлежал мне одной. Так же, как когда-то, в дни заточения, теперь за плетеной калиткой, в этой новой темнице, мы были только вдвоем.

Покинув одну тюрьму, я перешла в другую, только и всего.

Здесь тоже безжалостно летят дни, ночи, годы,

Наступил и миновал 4-й год эры Кёхо*.

Как и прежде, я верчу жернов, скатываю пилюли и тем живу.

Изредка я выхожу по ночам в мужской одежде. Но теперь уже ничто не трогает сердца, и я почти никогда не помню, какой нынче месяц, какое число.

Иногда я сижу у очага в домах крестьян-бедняков, но чувствую себя далекой от них, как чужестранка. Я сижу в кругу, очерченном ярко-красным светом огня, смутно слышу их грубые голоса, они доносятся как будто издалека, и даже не пытаюсь понять, о чем они говорят, будто не знаю их языка.

Наступил 5-й год эры Кёхо**, потом и он миновал.

В 6-м году*** из далекого Сукумо в области Хата пришло известие о смерти моей сестры Сё. Я прочла письмо сухими глазами и аккуратно сложила его, не проронив ни слезинки.

Прошло девятнадцать лет с тех пор, как я вышла на волю, и вот опять смерть дорогих мне людей окружает меня со всех сторон. А мне исполнился уже шестьдесят один год. Так я и живу здесь одна. И буду жить дальше.

Послесловие автора

Весной 1944 года, возвратившись на родину, в Тоса, я прошла по местам, где жила Эн. Мне удалось ознакомиться с ее письмами, хранившимися в библиотеке города Коти. У подножия замка Коти на краю густой рощи стояла некогда усадьба Нонака. Роща эта, со множеством могучих старых деревьев, казалась сумрачной даже днем. Здесь родилась Эн. К тому времени, как я переписывала в блокнот письма Эн,

* 1719 г.
** 1720 г.
*** 1721 г.

здесь еще сохранилась часть сада, пруд и старый колодец, прозванный «колодцем Эн» — отсюда будто бы брали воду, чтобы обмыть новорожденную девочку. Токио в ту пору подвергался ожесточенным воздушным бомбардировкам, а здесь, на юге страны, пышно цвела весна и небо сияло безмятежной голубизной. Деревня Асакура, где Эн одиноко доживала свой век после выхода из тюрьмы, находится теперь в десяти минутах езды трамваем от замка на западной окраине города, у подножия невысокой горы.

На месте жилища Эн, среди полей, покрытых ярким ковром буйно цветущей вики, местное женское общество соорудило памятный обелиск. «Обитель Возвращенного Покоя» — гласит надпись, вырезанная на необработанном камне. Я увидела пологий холм и обычное поле, но источник, сбегавший с гор, как бы огибал границы бывшей усадьбы, вокруг, наподобие живой изгороди, росли дикие, удивительно крупные цветы ямабуки, все буквально утопало в цветах. Чувствовалось, что когда-то здесь жили люди. Мне представилась Эн — как она моет овощи, опустившись на колени у этого водоема...

Могла ли я думать, что всего через год тихие улицы Коти сгорят в огне воздушных бомбардировок? Собственноручные письма Эн, уже упакованные и приготовленные к отправке среди другого имущества библиотеки, тоже погибли как раз накануне эвакуации. Мне почудился перст судьбы в том, что за год до катастрофы я переписала ее письма к себе в тетрадь. С той поры Эн поселилась в моей душе; и вот спустя десять с лишним лет на свет появилась эта повесть.

Мне очень хотелось побывать в западной части Тоса, в Сукумо — маленьком городке, где Эн сорок лет томилась в неволе, но только в прошлом году, воспользовавшись приглашением прочесть цикл лекций, я наконец-то смогла осуществить это намерение и посетить Сукумо. Я была поражена: местность оказалась точь-в-точь такой, какой я ее себе представляла. В местном муниципальном реестре до сих пор числился участок, обозначенный «усадьба Нонака». Сохранился старый колодец и статуя будды Дзидзо. Я увидела небольшую долину, чуть в стороне от городка Сукумо; у подножия холмов вьется узенькая тропинка. «По этой дорожке среди высоких трав проходил когда-то молодой сэнсэй Синдзан, чтобы повидаться с детьми опального Нонака, и, так и не добившись свидания, огорченный, возвращался обратно...» — думала я.

Братья Эн, умершие в неволе, похоронены в ряд, к востоку от бывшей темницы — старший Сэйсити, следующий за ним безумный Кинроку, третий, самый любимый, Кисиро и младший Тэйсиро. Только у Сэйсити могила отмечена высоким каменным обелиском, у остальных на земляных холмиках лежат небольшие камни. Памятник Сэйсити, густо поросший мхом, пострадал от землетрясения, верхушка обвалилась. Тут же высятся большие, пышные памятники первому владельцу Сукумо Иосиудзи Андо с супругой и их дочери — бабке Эн (приемной матери Кэндзан Нонака), а также находится могила его законной супруги госпожи Ити.

Чуть пониже, в роще, похоронены Кан и Сё, сводные сестры Эн, оставшиеся в Сукумо и закончившие там свой жизненный путь. Могилы их словно прижались вплотную к могиле матери, Цума Минобэ. Памятник на ее могиле довольно большой, сестры поставили его, выйдя на волю. «Кан, дочь Кэндзан Нонака, вместе с младшей сестрой воздвигла сей памятник за упокой души матери, госпожи Минобэ, скончавшейся 2 мая 1694 года в возрасте шестидесяти двух лет...» — с трудом прочитала я сквозь толстый слой мха вырезанную на камне надпись.

Ночь я провела в гостинице Сукумо. Из окна моей комнаты во втором этаже я глядела на горы, у подножия которых находилась когда-то

темница семьи Нонака, и невольно ощутила тоску, таким печальным показался мне этот вид. Если даже в наше время местность выглядит так уныло, как же безотрадно было здесь в старину!..

В городке Ямада, на востоке области Тоса, мне показали кумирню о-Эн — крохотный храм, размером в квадратный кэн. Погода в тот день капризничала — то налетал сильный дождь, то снова проглядывало солнце, как это часто бывает весной в здешних краях. Я шла полями, покрытыми цветущей сурепкой и викой, воздух благоухал ароматом цветов, и сквозь струи дождя вдали то появлялась, то снова тонула в дымке кумирня о-Эн.

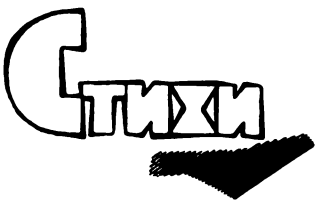
Неподалеку плавно течет канал Фунаири, берущий начало от плотины Ямада. По-весеннему полноводный, он чуть ли не выходит из берегов. Место, где стояла хижина опального Нонака, отмечено маленьким каменным обелиском; кажется, будто здесь ничто не переменилось — так же, как раньше, проплывают вниз по течению лодки... Непогода помешала мне подняться на гору, к могиле сэнсэя Синдзан, но сквозь пелену дождя я увидела вдали смутные очертания деревни Суэ, где когда-то был его дом.

Сама Эн, ее отец и мать похоронены в городе Коти, на склоне горы Таками. Меня проводил туда сотрудник местной газеты. Вид с горы прекрасный, вокруг в изобилии растут могучие старые деревья сакуры, так что весной весь склон, должно быть, утопает в цветах. В центре — могила Кэндзан Нонака, по обеим сторонам от нее — могилы деда и прадеда Эн, а чуть впереди — могилы самой Эн и ее матери Киса Икэ. Все устроено еще при жизни Эн, ее стараниями. На могиле матери стоит памятник. «Госпожа Икэ, мать сыновей Нонака»,— прочла я надпись, а на оборотной стороне камня было написано: «От безутешной дочери Эн».

Пониже этой семейной могилы похоронены кормилица Нобу, не покидавшая Эн до последнего вздоха, и семнадцатилетний юноша Дзирохати Комаки, совершивший харакири после смерти своего господина Кэндзан Нонака.

Таким образом, все родные и близкие Эн люди покоятся в землях Тоса — Сукумо, Коти и Ямада. С возвышенности, на которой находится могила Эн, открывается чудесный вид на бухту Урато, ослепительно сияет в лучах восхода и заката ясное, лазурное небо, и мягко плещут синие волны Тихого океана, гонимые теплым течением Куросио.

МУИН БСИСУ



Перевод с арабского
МИХАИЛА КУРГАНЦЕВА

Весьма сожалею, мадам

Весьма сожалею, мадам,
но вы опоздали —
вы прибыли в нашу страну,
когда распродано все.
Недавно старуха туристка
купила — задешево! — гроб Саладина.
Недавно сады Вавилона
пошли с молотка.
Не проданы лишь пирамиды —
слишком громоздкие камни —
да сфинкс —
он весь изрешечен,
изранен,
и если расстанется с этой землей,
то умрет.

Мадам, сожалею,
но продано все:
саркофаги,
папирусы,
перстни — с пальцами вместе,—
отсеченные руки поэтов
и прочая мелочь.
Продано все.
Остался лишь бог;
он бежит,
нагоняемый псами,
загравленный,
словно газель,
бедняк,
заарканенный ложью.

Его мы поймаем
для вас.
Хотите, мадам?

Платите.
Кто родину продал,
продаст вам и бога.

Нитка, растущая на ветру

Опальные знамена
возвратились
в свои столицы.
Лишь твое, мой край,
изодранное,
изгнанное знамя
скитается по свету.
Им торгуют.
Его сбывают на аукционах
подонкам говорливым
по дешевке.
Эй, глотки полированные,
горла, набитые речами,
забирайте,
хватайте наше знамя,
не стыдитесь!
Берите за бесценок,
за картонный
или фанерный меч
да за облезлый
венок для петушиной головы.
Пусть процветает лысенький петух,
что кукарекает любым наседкам
и спит во всех курятниках земли!

Кому из нас нужна
вся эта рухлядь?
На свалку выкинем
истлевший хворост:
фанерный меч,
венок для петуха.
Никто из нас не станет отдавать
свое зерно
для мельницы, где мелют
бумагу
и словесную труху.
А наше знамя...
От него осталась
лишь ниточка одна.
Но на ветру
она растет, накапливает силы.
И снова станет
знаменем твоим,
о Родина!

Высохший полумесяц

Мачты стоят,
а на них полощутся флаги.
Мачты стоят,
словно шеренги штыков.

Нынче торжественный день —
открывается ярмарка,
будет большой балаган,
и любой, у кого есть отчизна,
может вдосталь
налюбоваться
на свой любезнейший флаг.

Родина,
моя родина,
высохший полумесяц,
без земли и без неба!
Страшно идти
среди флагов чужих —
ветер становится бурей.
Мачты дрожат и шатаются,
стонут под ветром,
гнутся дугой,
вот-вот коснутся земли.
Крохотная отчизна,
высохший полумесяц!
Таскаю тебя в рюкзаке,
удрал с мансарды,
бреду от тюрьмы до тюрьмы.

Страшно идти
среди флагов —
ветер становится бурей.
Вдруг сломается
и упадет на меня
чья-то мачта
и плотно придавит,
накроет полотнищем...
К черту!
Я не хочу умирать
под чужими знаменами.
Странник,
чужак,
не хочу умирать
под флагом,
где мне противна каждая нитка.

Господи боже!
Отчизна моя!
Маленький высохший полумесяц —
ношу тебя в рюкзаке.
Бездомный,
сижу в деревянном коне —
где арабская Троя?
Звездам вручаю свои почтовые марки.
против гиен и волков
я сражаюсь
цветами нарцисса.
Молчу
и молчу,
а стихи распирают заклеенный рот.

Огни светофора

Красный свет — стоп!
Зеленый — иди!
Красный,
раскаленный...
Зеленый,
безопасный...
Зеленый...
Красный...
Зеленый...
Красный...
Стоп —
огненный сноп!
Иди —
кошачий глаз впереди!
Стоп —
и по сердцу озноб.
Иди —
и холод в груди.
Мальчик родился —
в автомобиле.
Вырос, женился —
в автомобиле.
Газет начитались,
детей наплодили.
Жили,
любили,
лежат в могиле —
в автомобиле.

Красный — стоп,
и по сердцу озноб.
Зеленый — иди,
и холод в груди.
Кровь на асфальте
пятнами краски...
Кровь на губах
волною соленой...
Красный...
Зеленый...
Красный...
Зеленый...
Красный...
Зеленый...

ДЖОН ЛЕ КАРРЕ

В одном немецком городке

РОМАН

Перевод с английского
И. КУЛАКОВСКОЙ-ЕРШОВОЙ
и Т. ОЗЕРСКОЙ

7. Де Лилл

Понедельник. После полудня

Американского клуба не стояло такой сильной охраны, как у посольства.

— Мечты гастрономов не нашли здесь своего воплощения,— заметил де Лилл, показывая документы американскому солдату у входа,— зато у них роскошный плавательный бассейн.

Он заказал столик у окна, выходившего на Рейн... Поплавав и освежившись, де Лилл с Тэрнером сидели, пили «Мартини» и наблюдали за тем, как гигантские бурые вертолеты проносились мимо и снижались где-то выше по течению реки. На иных были красные кресты, на других — ничего. Время от времени в тумане скользили белые пассажирские суда с туристами, направлявшимися в страну Нибелунгов,— радио на борту оглушило их раскатами грома. Мимо прошла стайка школьников — донеслись звуки «Лорелеи», лихо исполняемой на аккордеоне в сопровождении хора ангельских, хотя и не очень стройных голосов. Размытые туманом контуры семи зубцов Кёнигсвинтера, казалось, были совсем рядом.

С подчеркнутой почтительностью де Лилл указал на Петерсберг,— лесистый конус, увенчанный квадратным зданием отеля.

— В тридцатые годы здесь останавливался Невилл Чемберлен,— пояснил он,— после того, конечно, как мы отдали Чехословакию... По окончании войны здесь помещалась Верховная союзническая комиссия, а позже — это была резиденция королевы, когда она приезжала в Германию с официальным визитом. Правее — Драхенфельс, где, по преданию, Зигфрид убил дракона, а потом купался в его крови.

— А где дом Гартинга?

Продолжение. Начало в № 1.

— Отсюда не видно,— спокойно сказал де Лилл, сразу оставив тон любезного гида.— Он у подножия Петерсберга. Гартинг поселился, образно говоря, под крылышком Чемберлена.— И он перевел разговор на более близкие им темы: — А плохо, наверно, быть таким вот пожарником: примчитесь на пожар, а огня уже и нет, правда?

— А здесь он часто бывал?

— Мелкие посольства устраивали тут приемы — те, что не располагают большими гостиными. Это было по его части.

Де Лилл понизил голос, хотя в столовой никого не было. Только в углу у входа, возле бара, за стеклянной перегородкой сидели извечные иностранные корреспонденты; они жестикулировали, пили и жевали, точно моржи.

— Неужели вся Америка такая? — заметил де Лилл.— Или, может быть, еще хуже? — Он медленно обвел взглядом комнату.— Впрочем, это, конечно, создает впечатление *масштабности* и рождает оптимизм. Но в этом, пожалуй, и главная беда американцев, не правда ли? Эта устремленность в будущее. Очень опасная штука. Они не замечают настоящего и уничтожают его. Я всегда считал, что куда добрее оглядываться назад. Я не питаю надежд на будущее и оттого чувствую себя намного свободнее. И заинтересованнее в сегодняшнем дне. Люди лучше друг к другу относятся, когда сидят в камере, из которой нет выхода, правда? Впрочем, не принимайте меня слишком уж всерьез, хорошо?

— Если бы вам поздно ночью понадобились кое-какие папки с документами аппарата советников, что бы вы сделали?

— Разыскал бы Медоуза.

— Или Брэдфилда?

— Ну, это уж слишком. Роули, конечно, знает комбинации бронированной комнаты, но пользуется этим лишь в крайнем случае. Скажем, если Медоуз попадет под автобус, Роули сумеет добраться до бумаг. А вы, я смотрю, хорошо поработали утром,— сочувственно заметил он.— И до сих пор еще не пришли в себя.

— Так что же вы бы все-таки сделали?

— О, я бы взял папки во второй половине дня.

— Позвольте: а если вдруг понадобилось бы работать ночью?

— Если архив работает сверхурочно, тогда все просто. А если он закрыт, ну что же, у нас почти у всех есть сейфы и металлические ящики для хранения секретных документов, и мы имеем право держать там бумаги до утра.

— А у Гартинга ничего такого не было.

— Может быть, мы отныне будем называть его просто *он*?

— Хорошо, так куда же *он* пошел бы работать? Если бы *он* взял папки вечером — секретные папки — и решил работать допоздна, как бы он это проделал?

— Наверно, отнес бы их к себе в комнату, а уходя, отдал бы охраннику, который дежурит в коридоре. Если бы, конечно, он не остался работать в архиве. У охранника есть сейф.

— И охранник расписался бы в получении этих документов?

— О господи, конечно. Не настолько уж мы безответственны.

— Значит, я мог бы увидеть эту расписку в книге ночного дежурного?

— Могли бы.

— А он ушел, не попрощавшись с охранником.

— О господи! — Де Лилл был явно озадачен этим сообщением.— Вы хотите сказать, что он отнес эти папки домой?

— Какая у него была машина?

— Небольшой «пикап».

С минуту оба молчали.

— А он больше нигде не мог работать? На первом этаже нет ника-

кой специальной комнаты для чтения документов, секретного помещения?

— Нет,— коротко ответил де Лилл.— Послушайте, мне кажется, вам надо выпить еще чего-нибудь и немножко освежить мозги.

Он подозвал официанта.

— Знаете, я сегодня провел совершенно кошмарный час в министерстве внутренних дел с этими унылыми типами, что работают у Людвига Зибкрона.

— Чем же вы там занимались?

— О, оплакивал бедняжку мисс Эйк. Очень было мерзко. И весьма *любопытно*,— признался он.— Очень даже любопытно...— И тут же перескочил на другое:— Вы знаете, что кровяную плазму хранят в консервных банках? Так вот, министерство пожелало дать несколько таких банок посольству — на всякий случай. Прямо как в романах Оруэлла. Воображаю — то-то взбесится Роули. Он и так уже считает, что они слишком далеко зашли. Очевидно, там думают, что у нас у всех одна группа крови — единокровие какое-то. Так здесь, видимо, понимают равенство.— И добавил:— Зибкрон начинает изрядно злить Роули.

— Почему?

— Да все из-за этой его чрезмерной заботы о бедных англичанах. Допустим, Карфельд в самом деле настроен резко против англичан и против Общего рынка. И в Брюсселе решаются судьбы очень многого, а вступление англичан в Общий рынок затрагивает националистические чувства сторонников Карфельдовского движения и бесит их, а в пятницу состоится весьма опасное сборище, и все чрезвычайно обеспокоены этим обстоятельством. Да еще пренеприятные события произошли в Ганновере. Все это, конечно, так. И тем не менее мы не заслуживаем такого внимания, никак не заслуживаем. Сначала — комендантский час, затем — охрана, а теперь еще и эти тени на мотоциклах. У нас такое впечатление, что Зибкрон с какой-то целью делает все это.— И протянув свою тонкую женственную руку за спину Тэрнера, де Лилл взял огромное меню.— Как насчет устриц? Гурманы, кажется, именно это едят? Здесь у них есть устрицы в любое время года. Они получают их, по-моему, из Португалии, а может быть, откуда-то еще.

— Никогда не ел устриц,— несколько агрессивно заявил Тэрнер.

— В таком случае вы должны взять дюжину, чтобы наверстать упущенное,— весело заметил де Лилл и отхлебнул немного «мартини».— Так приятно встретить человека со стороны. Вам, наверно, этого не понять.

Наступило молчание. Вверх по реке, преодолевая течение, ползли цепочкой баржи.

— Больше всего раздражает нас, по-моему, отсутствие уверенности в том, что все эти охранительные меры принимаются действительно для нашего блага. Немцы внезапно спрятались, как улитка в раковину,— точно мы их чем-то спровоцировали, точно это мы устраивали демонстрации. Они с нами почти не разговаривают. Полнейший лед. Да. Вот так-то.— И он добавил:— Они стали относиться к нам как к врагам. А это вдвойне неприятно, если учесть, что мы-то добиваемся как раз хороших отношений.

— *Он* обедал с кем-то в пятницу вечером,— вне всякой связи с предыдущим произнес Тэрнер.

— В самом деле?

— Но в дневнике его никаких записей об этом нет.

— Вот неразумный человек! — Де Лилл обернулся, но никого не обнаружил.— Куда запропастился этот чертов малый?

— Послушайте, а где был Брэдфилд в пятницу вечером?

— Перестаньте,— сухо оборвал его де Лилл.— Я не люблю такого

рода расспросов.— И тут же продолжал как ни в чем не бывало:— Взять хотя бы самого Зибкрона... Да, все мы знаем, что он человек ненадежный, все мы знаем, что он заигрывает с коалицией, и все мы знаем, что он жаждет политической карьеры. Мы знаем также, что ему очень нелегко будет поддерживать порядок в будущую пятницу и что у него куча врагов, которые только и ждут возможности сказать, что он плохо справился со своей задачей. Прекрасно,— он посмотрел на реку, словно она могла каким-то образом разрешить его недоумение,— но почему, скажите на милость, ему надо было сидеть шесть часов у постели умирающей фрейлейн Эйк? Неужели так интересно было наблюдать ее кончину? И зачем ему понадобилось выставлять охрану возле каждого английского владения, каким бы крошечным оно ни было,— это же нелепость! Клянусь, у него какая-то навязчивая идея в отношении нас, он хуже Карфельда.

— А кто такой Зибкрон? Чем он занимается?

— О, ловит рыбу в мутной воде. В какой-то мере из одного с вами мира. Ох, извините, пожалуйста.— И он вспыхнул, явно огорченный своим промахом. Вовремя появившийся официант — совсем молоденький мальчик — вывел его из неловкого положения. Де Лилл был с ним необыкновенно вежлив, просил у него совета в выборе мозельского вина — что было явно выше разумения этого юнца — и долго расспрашивал о качестве мяса.— В Бонне говорят,— продолжал он, когда они снова остались одни,— что, если у тебя есть такой друг, как Людвиг Зибкрон, тебе уже не нужен враг. Людвиг — существо здешней породы. Он — та левая рука, о существовании которой не хочет знать правая. Без конца твердит о том, что не может допустить, чтобы кто-нибудь из нас погиб. Вот почему он нагоняет такой страх. Он делает эту возможность слишком осязаемой. Не следует забывать,— мягко добавил он,— что хотя Бонн и демократия, но демократов здесь до ужаса мало.— Он помолчал.— Скверная штука даты,— задумчиво продолжал он,— вся беда в том, что они делят время на отрезки. С тридцать девятого по сорок пятый. С сорок пятого по пятидесятый. Но к Бонну неприменим термин «довоенный», или «военный», или «послевоенный». Это просто маленький немецкий городок. И рассечь его на периоды нельзя, как нельзя рассечь Рейн. Он себе живет и живет — или как там еще говорится в песне. А туман сглаживает краски и очертания.

Де Лилл вдруг покраснел и, отвинтив крышку с бутылочки, стал осторожно капать острую приправу на устрицы — по одной капле на каждую. Это занятие всецело поглотило его.

— Мы вечно извиняемся за Бонн. Это отличительная черта местных жителей. Как жаль, что я не коллекционирую модели поездов,— без всякого перехода продолжал он.— Мне бы хотелось уделять много больше внимания мелочам. А вы занимаетесь чем-нибудь таким — я хочу сказать, у вас есть хобби?

— У меня нет на это времени,— ответил Тэрнер.

— Так вот: номинально он возглавляет комиссию по связям министерства внутренних дел — насколько я понимаю, название это придумал он сам. Я как-то спросил его: по связям с кем, Людвиг? Он решил, что это очень удачная шутка. Он, конечно, человек нашего возраста — фронтовое поколение минус пять лет. Как мне кажется, он немного досадует на то, что упустил войну, и ему не терпится поскорее стать старше. Заигрывает с ЦРУ, но это ему по статусу положено. Главное его занятие — знать все, что связано с Карфельдом. Стоит кому-нибудь вступить в сговор с этим движением, и Людвиг Зибкрон тут как тут. Странная у него жизнь,— поспешил он добавить, заметив выражение лица Тэрнера.— Но Людвиг обожает ее. Невидимое правительство — это ему по душе. Четвертое сословие. Он был бы очень на месте в Веймаре.

Кстати, имейте в виду, что в здешнем правительстве все деления чрезвычайно искусственны.

Иностранные корреспонденты, словно подчиняясь единому порыву, вдруг покинули бар и теперь длинным косяком потянулись к накрытому для них столу в центре комнаты. Очень крупный мужчина с усами, заметив де Лилла, смахнул длинную прядь черных волос на правый глаз и выбросил руку в нацистском приветствии. Де Лилл в ответ поднял бокал.

— Это Сэм Аллертон,— пояснил он,— в общем порядочная скотина. О чем это я говорил? Ах, да, об искусственном делении. Они здесь ставят нас в тупик. Вечно одно и то же: мы, точно безумные, шарим в тумане, пытаясь нащупать абсолюты. Антифранцузская ориентация, профранцузская ориентация, коммунисты, антикоммунисты. Все это чистейшая глупость, и тем не менее мы вечно этим занимаемся. Вот почему мы неправы относительно Карфельда. *Отчаянно* неправы. Мы спорим об *определениях*, о *ярлыках*, тогда как должны были бы спорить о *фактах*. Боннские правители пойдут на виселицу, но все будут спорить, какой толщины должна быть веревка, на которой надо повесить нас. Право, не знаю, как определить Карфельда,— да и кто знает? Немецкий Пужад? Лидер восстания средних слоев? Если это так, то мы гибнем, потому что вся Германия — средние слои. Как и Америка. Вопреки своему желанию и воле они одинаковы. А они не хотят быть одинаковыми, да и кому этого хочется? Но так оно есть. Единокровие.

Официант принес вино, и де Лилл предложил Тэрнеру попробовать:

— Я уверен, что вкус у вас еще не притупился, как у меня.

Тэрнер отклонил предложение, тогда он попробовал сам, не торопясь, старательно причмокивая.

— Вполне разумный выбор,— оценив по достоинству вино, сказал он официанту,— очень хорошо. Так вот,— немного помолчав, продолжал он.— Все модные термины без исключения применимы к Карфельду — они вообще применимы к кому угодно. Как в психиатрии: опишите симптомы, и вы всегда сможете назвать болезнь. Он — изоляционист, шовинист, пацифист, реваншист. А помимо этого он стоит за торговый договор с Россией. Он человек прогрессивных взглядов, что очень устраивает немецких стариков; он — реакционер, что очень устраивает немецкую молодежь. А молодежь здесь весьма пуританская. Они хотят очиститься от скверны процветания: им нужны луки и стрелы и походы Барбароссы.— Усталым жестом он указал на семь зубцов Кёнигсвинтера.— Они хотят возвращения всего этого, но в современном обличье. Неудивительно поэтому, что старики — гедонисты. А вот молодежь...— он помолчал,— молодежь,— повторил он с глубочайшим отвращением,— пришла к самой жестокой из всех правд: она поняла, что наиболее действенный способ наказать родителей — это им подражать. Карфельд — человек старшего поколения, которого приемлют студенты... Извините, пожалуйста. Я сел на своего конька. Вы мне скажите, когда вам надоест.

Тэрнер, казалось, не слышал его. Он смотрел на полицейских, стоявших вдоль дорожки на равном расстоянии друг от друга. Один из них обнаружил лодку, пришвартованную к берегу, и поигрывал со шкотом, крутя его, как веревку, через которую прыгают дети.

— В Лондоне нас все время спрашивают: кто его поддерживает? Откуда он получает деньги? Дайте определение, дайте характеристику. Ну, что я могу им сказать? «Человек улицы,— написал я однажды,— в классовом отношении труднее всего поддающийся определению». Они обожают такие ответы, и все обстоит хорошо, пока дело не доходит до Управления по исследованию международных проблем. «Он — из разочарованных,— сказал я как-то,— из сирот, оставшихся после покой-

ной демократии, жертва, не нашедшая себе применения при коалиционном правительстве. Социалисты, считающие, что их продали консерваторам; антисоциалисты, считающие, что их продали красным; люди, считающие ниже своего достоинства голосовать,— все это Карфельд. Как охарактеризовать умонастроение? До чего ж они у нас там, в Англии, тупы! Мы теперь больше не получаем инструкций — одни вопросы. Я как-то сказал им: «Ну, конечно, у вас в Англии есть такое же явление. Это сейчас всеобщее поветрие». Никто не считает, что в Париже готовится заговор против всего мира. Почему же мы ищем его здесь? Умонастроения... невежество... скука.— Он облокотился на стол.— Вы когда-нибудь голосовали? Уверен, что да. Ну и что? Вы почувствовали в себе перемену? Будто прослушали мессу? Или ушли с избирательного участка, чужой всем и всему? — Де Лилл проглотил устрицу.— У меня такое ощущение, будто Лондон разбомбили и его больше нет. Может быть, этим все объясняется? А вы — ширма, скрывающая от нас действительность и тем вселяющая в нас бодрость. Возможно, на свете и остался-то всего один лишь Бонн. Страшная мысль. Мир в изгнании! Однако именно такова наша участь. Изгнанники, окруженные изгнанниками.

— Почему Карфельд так ненавидит англичан? — спросил Тэрнер, хотя мысли его были далеко.

— Это, признаюсь, одна из нераскрытых тайн мироздания. Все мы, в аппарате советников, пытались ее разгадать. Мы говорили об этом, читали, спорили. Ответа не дал никто.— Он передернул плечами.— Ну, кто теперь верит в какие-то побудительные причины, тем более когда речь идет о политическом деятеле? И все-таки мы пытались что-то установить. Возможно, мы где-то чем-то ему насолили. Возможно, он где-то чем-то насолил нам. Говорят, дольше всего в человеке живут впечатления детства. Кстати, вы женаты?

— А какое это имеет отношение к делу?

— Ого! — не без одобрения воскликнул де Лилл.— А вы колючий.

— На что он живет?

— Занимается промышленной химией. Имеет большой завод возле Эссена. Поговаривают, будто англичане немало попортили ему крови во время оккупации: демонтировали его предприятие, разорили его. Не знаю, верно ли это. Мы предприняли попытки кое-что выяснить, но не от чего оттолкнуться, а Роули совершенно справедливо запретил нам открыто наводить справки. Одному богу известно,— сказал он и слегка поежился,— что подумал бы о нас Зибкрон, если бы мы повели такую игру. Пресса утверждает, что он нас терпеть не может — просто так, без всяких объяснений. Вполне возможно, что она права.

— А какая у него биография?

— Ничего особенного. Перед войной окончил институт, попал в инженерные войска; воевал на Русском фронте в качестве специалиста-подрывника; был ранен под Сталинградом, но сумел выбраться оттуда. Разочарован в послевоенном мире. Много усилий — мало достижений. Все это очень романтично. Смерть духа — и постепенное возрождение. Как водится, говорят, будто он родственник Гиммлера, и прочие глупости. На это никто не обращает внимания: нынче стоит человеку прибыть в Бонн, как восточные немцы непременно придумают про него какую-нибудь небылицу.

— И это все небылицы?

— В таких слухах всегда есть доля правды, но всегда только доля. Во всяком случае, всем на это наплевать, кроме нас,— почему же мы должны так уж беспокоиться? К политике, как утверждает Карфельд, он пришел постепенно: любит говорить о долгих годах, которые провел в спячке, и о своем пробуждении. Говорит он так, будто вещает мессия — во всяком случае, когда говорит о себе.

— Вы с ним когда-нибудь встречались?

— Упаси боже, конечно нет. Только читал о нем. Слышал его по радио. Но в известном смысле он всегда *присутствует* в нашей жизни.

Взгляд светлых глаз Тэрнера снова был прикован к Петерсбергу; солнце сквозь щель в холмах било прямо в окна серого отеля. Один из холмов был весь изрыт каменоломнями,— какие-то маленькие машины, белые от пыли, копошились у его подножия.

— Надо отдать ему должное: за полгода он перекроил все на этой галере. Кадры, организацию, термины. До появления Карфельда это были слабоумные маньяки — неприкаянные, вроде цыган, бродячие проповедники, гитлеровские выкормыши. Сейчас это вполне оформленная группа интеллектуалов-патрициев. Никаких орд в рубашках с закатанными рукавами, никаких глупостей, присущих социалистам,— если не считать, конечно, студентов, а он достаточно умен, чтобы терпеть их. Он знает, какая тонкая грань отделяет пацифиста, набрасывающегося на полицейского, от полицейского, набрасывающегося на пацифиста. Словом, мы имеем дело с Барбароссой, который ходит в чистой рубашке и имеет диплом доктора промышленной химии. «Герр доктор Барбаросса» — таков он сегодня. И с ним — экономисты, историки, статистики, ну и, конечно, юристы. Юристы — это великие гуру * германского народа, всегда так было. А вы знаете, сколь нелогичны могут быть юристы. При этом — никаких политиков: политиков не уважают. К тому же в понимании Карфельда они всегда играют представительскую роль. А Карфельд не нуждается ни в каком представительстве, отнюдь. Его лозунг: иметь власть, но не править. Все знать лучше всех — ни за что не отвечать. Это, как вы понимаете,— конец, а не начало,— сказал он с глубоким убеждением, так не вязавшимся с его апатичностью.— И мы, и немцы прошли через демократию, и никто не сказал нам за это спасибо. Все равно как человеку, сбрившему щетину. Никто не поблагодарит вас за то, что вы побрились, никто не благодарит вас за демократию. Теперь мы подошли к другому ее концу. Демократия возможна только при наличии строго регламентированной классовой системы; это игрушка, которую снисходительно бросают массам привилегированные классы. Больше мы не можем этим заниматься. Это была вспышка света между феодализмом и веком автоматики, ныне угасшая. С чем же мы остались? Избиратели отрезаны от парламента, парламент отрезан от правительства, правительство отрезано от всех. Отсюда лозунг: правительство правит молча. Правительство правит в отчуждении. Впрочем, мне нет нужды говорить вам об этом — это ведь явление чисто английское.

Он умолк, ожидая, что скажет Тэрнер. Но Тэрнер глубоко задумался и молчал. За длинным столом в центре спорили журналисты. Кто-то пригрозил переломать кому-то кости; кто-то третий заявил, что тут же размозжит им обоим головы.

— Я не знаю, что я защищаю или что представляю. Да и кто знает? В Лондоне вам говорят, подмигнув, что вы — джентльмен, который врет направо и налево на благо своей страны. Причем учтите: добровольно. Но сначала скажите, какую правду я должен скрывать. Никто об этом понятия не имеет. За стенами министерства несчастные люди думают, будто у нас есть книга в золотом переплете, на обложке которой написано ПОЛИТИКА... Господи, если бы они знали...— Он допил вино.— Может, *вы* знаете? Предполагается, что мы должны добиваться максимума благ при минимуме трений. Ну, а что подразумевается под благами? Власть? Сомневаюсь, чтобы власть была нам ко благу. Может, нам полезнее упадок? Может, нам нужен Карфельд? Новый Освальд Мосли? Боюсь, мы даже не заметили бы его появления. Противополож-

---

* Индийские мудрецы.

ность любви апатия, а не ненависть. Вот в состоянии апатии мы здесь и живем. В состоянии истерической апатии. Выпейте еще мозельского.

— Как вы считаете,— спросил Тэрнер, по-прежнему не отрывая взгляда от холмов,— может Зибкрон уже знать насчет Гартинга, и если да, может ли это ожесточить их? Может это быть причиной такого чрезмерного внимания к нам?

— Обсудим это потом,— спокойно сказал де Лилл.— Не при детях, если не возражаете.

Солнце опустилось на реку и осветило ее; оно казалось большой золотой птицей, которая, распустив крылья, слегка коснулась ими поверхности воды, и все сразу ожило, точно веселым весенним днем. Приказав юному официанту отнести две рюмки лучшего коньяка на улицу к теннисным кортам, де Лилл изящно продефилировал между пустыми столиками к боковой двери. Журналисты, сидевшие в центре комнаты, умолкли; они накачались вином и угрюмо осели в своих кожаных креслах, тупо ожидая какой-нибудь новой политической катастрофы, которая возродила бы их к жизни.

— Бедняга вы, бедняга,— заметил де Лилл, когда они вышли на свежий воздух.— Я вам, наверно, ужасно надоел. Вам всегда так везет? Но, видно, всем нам хочется излить душу стороннему человеку, правда? Неужели все мы кончаем тем, что становимся маленькими Карфельдами? И только-то? Анархистами-патриотами из средних слоев населения? Вам такая перспектива должна казаться особенно унылой.

— Я должен посмотреть его дом,— сказал Тэрнер.— Мне надо кое-что выяснить.

— Ничего не выйдет,— все тем же ровным тоном заметил де Лилл.— Людвиг Зибкрон поставил вокруг его дома охрану.

Было три часа. Они сидели в саду под парусиновым зонтом, потягивая коньяк, и наблюдали за тем, как дочери дипломатов играют в мяч и смеются на мокрых кирпично-красных площадках кортов.

— Я подозреваю, что Прашко — мошенник,— заявил де Лилл.— Он давно числился в нашем активе, но потом повернул против нас.— Он зевнул.— В свое время это был человек весьма опасный — настоящий политический пират. Ни один заговор не обходился без него. Я видел его несколько раз: мы, англичане, до сих пор время от времени беспокоим его. Как всех отступников, его тянет к утраченной вере. Сейчас он свободный демократ. Может быть, Роули уже говорил вам? Сейчас это прибежище для всех, потерпевших крушение; у них там есть весьма странные личности.

— Но он же был нашим другом!

— До чего вы наивны,— вяло проронил де Лилл.— Совсем как Лео. Можно знать человека всю жизнь и не быть его другом. Можно знать человека пять минут и стать другом на всю жизнь. Неужели Прашко так для вас важен?

— Он мой единственный ключ,— сказал Тэрнер.— Единственный, за кого можно ухватиться для начала. Только он общался с Гартингом вне посольства. Ему была отведена роль шафера на будущей свадьбе.

— На *свадьбе?* У Лео?— Де Лилл резко выпрямился, сразу утратив всю свою невозмутимость.

— Гартинг был давно уже помолвлен с некой девицей по имени Маргарет Айкман. Они знали друг друга еще до того, как Лео стал работать в посольстве.

Де Лилл с явным облегчением снова откинулся на спинку кресла.

— Если вы собираетесь говорить с Прашко...— сказал он.

— Не собираюсь, не волнуйтесь — это мне разъяснили.— Тэрнер

отхлебнул немного вина.— Но *кто-то* предупредил Лео. *Кто-то* это сделал. И он потерял голову. Он узнал, что время у него ограничено, что он живет в долг,— и тотчас прихватил все, что мог. Все. Письма, документы... И бежал, даже не позаботившись закамуфлировать свой побег отпуском.

— Роули никогда бы не дал ему отпуска — в нынешней ситуации.

— Отпуск по семейным обстоятельствам он бы получил. Брэдфилд, например, сразу об этом подумал.

— А тележку тоже он украл?

Тэрнер молчал.

— Наверно, и мой новый электрический вентилятор тоже. Это, несомненно, пригодится ему в Москве.

Де Лилл удобнее откинулся в кресле. Небо было голубое-голубое, яркое солнце так сильно припекало, точно светило сквозь увеличительное стекло.

— Если дело затянется, придется мне покупать новый вентилятор.

— Кто-то его предупредил,— повторил Тэрнер.— Это единственное объяснение. Он сдрейфил. Потому-то я и подумал о Прашко: он ведь в прошлом принадлежал к левым. Был попутчиком, следуя терминологии Роули. Они давние друзья с Лео — вместе пробыли в Англии всю войну.

Он посмотрел на небо.

— Сейчас вы выдвинете теорию,— пробормотал де Лилл.— Я уже вижу, как она рождается.

— Оба они вернулись в Германию в сорок пятом, послужили в армии, потом расстались. Пути их разошлись: Лео остается британским подданным и этим прикрывается, а Прашко натурализуется и начинает заниматься политикой в Германии. Должен сказать, эти двое могли бы быть весьма полезной парой в качестве долгосрочных резидентов. Возможно, оба они были втянуты в одну и ту же игру — завербованы кем-то еще в Англии, когда Россия была нашим союзником. И дружбе их пришел конец. Так обычно бывает. Стало небезопасно даже поддерживать отношения: дескать, наши имена не должны быть связаны. Но они продолжали эти отношения поддерживать — поддерживать тайно. И вот однажды Прашко что-то узнает. Всего несколько недель назад. Возможно, совершенно неожиданно. Представим себе, что он это узнает по секретным боннским каналам, о которых вы такого высокого мнения, слышит, что Зибкрон напал на след. Всплыла какая-то старая история; кто-то проболтался: мы преданы. А возможно, под подозрение попал один Лео. И вот Прашко говорит: укладывай чемоданы. Забирай с собой все, что можешь, и беги.

— Какой страшный у вас ум,— с искренним восторгом заметил де Лилл.— Какая жуткая, изощренная фантазия.

— Беда в том, что на этот раз она работает вхолостую.

— В самом деле? В жизни так не случается? Я рад, что вы это сознаете. Так вот: Лео никогда не сдрейфил бы — это не в его натуре. Слишком он держит себя в руках. И как это ни глупо звучит, но он к нам очень привязан. Без лишней скромности говорю: очень. Это наш по складу человек, Алан. Не их. Ему невероятно мало нужно от жизни. Шахтерская лошадка — таким почему-то представлялся он мне в нашей проклятой конюшне на первом этаже. Даже когда он поднялся выше, перешел на другой этаж, он словно принес с собой что-то снизу, какую-то атмосферу таинственности. Все считали его славным малым. Славным и несколько излишне любопытным...

— Ни один из тех, с кем я говорил, не называл его таким уж славным.

Де Лилл повернул голову и с нескрываемым интересом посмотрел на Тэрнера.

— В самом деле? Как страшно! Значит, каждый из нас считал, что собеседник шутит. Точно клоуны в трагедии. Это очень гадко,— заметил он.

— Ну хорошо,— сказал Тэрнер.— Он не был привержен никакой догме. Но мог быть привержен в юности, не так ли?

— Мог.

— В таком случае он мог преспокойно спать — я имею в виду, его политическое сознание могло спать...

— А...

— ...пока Карфельд не заставил его проснуться, пока новый национализм — этот старый враг — внезапно не разбудил его. «Эге, что же это происходит?» Он увидел, что все начинается сначала, и сказал об этом людям: история, мол, повторяется.

— Кажется, Маркс сказал: история повторяется, но в первый раз как трагедия, а второй раз — как фарс. Весьма остроумно для немца. Хотя должен признаться, что в сравнении с Карфельдом и его движением коммунизм кажется иногда необычайно привлекательным.

— Каким он все-таки был? — упорно добивался своего Тэрнер.— Каким он был на самом деле?

— Лео? Господи, а какие все мы?

— Вы-то знали его, а я — нет.

— Вы что, собираетесь меня допрашивать? — спросил де Лилл, и вопрос прозвучал совсем не шутливо.— Черта с два стану я платить за ваш ленч, если вы намереваетесь сорвать с меня маску.

— Брэдфилд любил его?

— А кого Брэдфилд любит?

— Он присматривал за ним?

— На работе — безусловно, там это необходимо: Роули знает свое дело.

— Он ведь, кажется, католик, не так ли?

— О, боже милостивый,— вздохнул де Лилл с неожиданно прорвавшимся чувством.— Какие чудовищные вещи вы говорите! Нельзя так делить людей — из этого ничего хорошего не получится. Жизнь ведь не меряют тем, сколько на свете ковбоев и сколько индейцев. Тем более жизнь дипломатов. Если вы в самом деле так понимаете жизнь, лучше подавайте в отставку.— Произнеся эти слова, он откинулся на спинку кресла и закрыл глаза, давая теплым лучам солнца немного восстановить его душевное равновесие.— А именно это и тревожит вас в Лео, верно? — добавил он прежним, утраченным было, безразличным тоном.— Вот он взял и исчез, следуя какой-то глупой вере. А ведь бог мертв. Нельзя же поклоняться одному и сжигать другое,— это уже отдавало бы средневековьем.— И окончательно примирившись с собой, он снова умолк.— Мне вспоминается один случай с Лео,— после паузы снова заговорил он.— Это может пригодиться для записи в вашей маленькой книжечке. Интересно, как вы это истолкуете. Однажды роскошным зимним днем я возвращался со скучнейшей конференции, которую проводили немцы; время около половины пятого, делать особенно нечего, съезжу-ка в горы за Годесберг, решил я. Солнце, мороз, снег, ветерок — именно в такой день, надеюсь, моя душа отлетит когда-нибудь в рай. И вдруг я увидел Лео. Это был — бесспорно, безусловно, вне всяких сомнений — он, Лео. В этаком фантастическом черном тулупе с поднятым воротником и в отвратительной фетровой шляпе, какие носят карфельдовские сподвижники. Он стоял у края футбольного поля, наблюдая, как гоняют мяч какие-то юнцы, и курил одну из своих тонких сигар, на которые все всегда жаловались.

— Один?

— Совершенно один. Я хотел было остановиться, но передумал. Он

был без машины — во всяком случае поблизости не видно было ни одной — и за много миль от обжитых мест. И все же я не остановился, потому что подумал: не надо, не мешай, он молится. Он видит перед собой детство, которого никогда не знал.

— Вы испытывали к нему теплые чувства, да?

Де Лилл, наверно, ответил бы — вопрос явно не смутил его, но их беседу неожиданно прервали.

— Привет! Завели себе новую тень? — заплетающимся языком пробубнил рядом с ними кто-то.

Человек стоял против солнца, и Тэрнер прищурился, чтобы его разглядеть. Понемногу в покачивающейся фигуре с копной черных косматых волос он признал английского журналиста, который здоровался с ними во время ленча. Журналист тыкал пальцем в Тэрнера, но наклоном головы явно адресовал свой вопрос де Лиллу:

— Он кто — сутенер или шпион?

— Кем вы предпочитаете оказаться, Алан? — весело спросил де Лилл и, не получив ответа от Тэрнера, нимало не смущаясь, продолжал:— Алан Тэрнер — Сэм Аллертон. Сэм представляет тут целую кучу газет, верно, Сэм? Это необычайно могучий человек, хотя он не ценит свое могущество. Журналисты вообще его не ценят.

Аллертон продолжал глядеть на Тэрнера.

— Ну, хоть откуда он взялся?

— Из города под названием Лондон,— ответил де Лилл.

— А из какой части города Лондона?

— Из министерства сельского и рыбного хозяйства.

— Врете вы все.

— Ну, в таком случае из министерства иностранных дел. Неужели трудно догадаться?

— Надолго он тут?

— Проездом.

— А надолго проездом?

— Ну, вы же знаете, что такое визиты.

— Я знаю, что такое *его* визиты,—сказал Аллертон.—Он ищейка.— Его тусклые желтые глаза медленно оглядели Тэрнера и отметили: ботинки на толстой подошве, костюм из легкой тропической ткани, бесстрастное лицо и светлые, смотрящие в упор, не мигая, глаза.— Белград,— сказал он наконец.— Вот где я вас видел. Какой-то посольский парень залез в постель к одной шпионке, и их сфотографировали. Нам пришлось про это дело промолчать, не то посол всех нас вышвырнул бы оттуда. Сотрудник безопасности — вот что вы такое, Тэрнер, выкормыш Бевина. Вы подвизались и в Варшаве, верно? Это я тоже помню. И там был переполох, верно? Какая-то девица пыталась покончить с собой. Девица, которую вы чересчур прижали. И этот материальчик нам тоже пришлось сунуть в мусорную корзину.

— Проваливайте-ка отсюда, Сэм,— сказал де Лилл.

Аллертон расхохотался. Смех у него был какой-то жуткий, безрадостный, больной, к тому же он и в самом деле, видимо, вызвал у него боль, потому что Аллертон вдруг опустился на стул и длинно выругался. Черные жирные волосы его подпрыгивали, разметавшись, как плохо причесанный парик, огромный живот подрагивал, свисая над перетягивавшим его ремнем.

— Ну, Питер, как же поживает наш друг Людвиг Зибкрон? Следит за тем, чтобы мы остались целы и невредимы? Спасает империю?

Не произнеся ни слова, Тэрнер и де Лилл поднялись и направились через лужайку к стоянке машин.

— Эй, кстати, а вы слыхали новости? — крикнул им вслед Аллертон.

— Какие новости?

— Эх, ребята, ни черта вы не знаете! Федеральный министр иностранных дел только что вылетел в Москву. Переговоры на высшем уровне для заключения советско-германского торгового соглашения. Немцы вступают в СЭВ и подписывают Варшавский договор. Все, чтобы угодить Карфельду и спутать карты в Брюсселе. Британию — вон, Россию — милости просим. Раппальский договор — только на этот раз о ненападении. Что скажете на это?

— Скажем, что вы врун, каких мало,— заявил де Лилл.

— Приятно чувствовать, что ты нравишься,— намеренно сюсюкая, как гомосексуалист, отпарировал Аллертон.— Только не говори мне, радость моя, что этого никогда не будет, потому что в один прекрасный день это произойдет. В один прекрасный день они на это пойдут. Вынуждены будут. Врежут мамочке по шее и найдут себе нового папочку для своего фатерланда. Но это будет уж конечно не Запад. Верно? Так кто же это будет? — И, повысив голос, поскольку они уже отошли от него, он заорал:— Вот чего вы, дурачье, не понимаете! Карфельд — единственный человек в Германии, который говорит правду: холодная война окончена. Всем это ясно, кроме вонючих дипломатов!— Последний его залп настиг их, когда они уже закрывали дверцы машины:— А впрочем, все это не страшно, дорогулечки,— донеслось до них.— Теперь мы можем спать спокойно, раз Тэрнер с нами!

Маленькая спортивная машина медленно продвигалась мимо стерильно чистых аркад американской колонии. Церковный колокол, усиленный динамиком, гудел, славя солнце. На ступеньках типично американской часовни жених и невеста позировали фотографам — то и дело вспыхивали «блицы». Машина свернула на Кобленцерштрассе, и гул толпы захлестнул их волной. Наверху мигали электронные индикаторы, указывая скорости машин. Портретов Карфельда стало много больше. Мимо промчались два «мерседеса» с арабскими буквами на номерных знаках, обогнали их, врезались в один с ними поток, снова из него вышли и исчезли.

— Этот лифт...— сказал вдруг Тэрнер,—...в посольстве... Он давно вышел из строя?

— Бог ты мой, кто помнит, когда что случилось? Где-то в середине апреля, должно быть.

— Вы уверены?

— Вы все думаете насчет тележки? Она ведь тоже исчезла в середине апреля!

— А вы догадливы,— заметил Тэрнер.— Даже очень.

— А вы допускаете непоправимую ошибку, если считаете себя великим специалистом,— парировал де Лилл с неожиданной силой, которую Тэрнер однажды уже подметил в нем.— И не воображайте себя человеком в белом халате, а всех нас — подопытными кроликами.— Он резко свернул в сторону, чтобы не столкнуться с грузовиком, и за их спиной тотчас яростно завизжали тормоза.— Я спасаю вашу шкуру, хотя вы, возможно, этого и не замечаете.— Он улыбнулся.— Не сердитесь. Просто Зибкрон действует мне на нервы — вот и все.

— У него в дневнике стоит буква «П»,— неожиданно сказал Тэрнер.— Запись сделана после рождества: «Встретиться с П. Пригласить П. на обед». И больше никаких упоминаний об этом «П». Ведь это мог быть Прашко.

— Мог.

— Какие министерства расположены в Бад-Годесберге?

— Строительства, науки, здравоохранения. Насколько мне известно, только эти три.

— Он ездил туда на совещания каждый четверг во второй половине дня. В какое из этих министерств он мог ездить?

Де Лилл остановил машину у светофора. Сверху на них хмуро смотрел Карфельд, похожий на циклопа: один глаз у него был содран чьей-то возмущенной рукой.

— Не думаю, чтобы он ездил на какие-либо совещания,— осторожно предположил де Лилл.— Во всяком случае, в последнее время.

— Что вы хотите этим сказать?

— Только то, что сказал.

— Послушайте...

— А кто вам говорил, что он ездил на совещания?

— Медоуз. Причем Медоуз слышал это от самого Лео. Лео сказал ему, что он ездит каждую неделю на совещания по договоренности с Брэдфилдом. Это как-то связано с финансовыми претензиями немецких граждан.

— О господи,— еле слышно пробормотал де Лилл. Он вывернул машину влево, пропуская вперед сигналивший ему белый «порш».

— Что значит «о господи»?

— Сам не знаю. Но, наверно, не то, что вы думаете. Никаких совещаний не было. Во всяком случае, таких, на которых должен был присутствовать Лео. Ни в Бад-Годесберге, ни где-либо еще, ни по четвергам, ни по каким-либо другим дням. До приезда Роули он, правда, бывал на совещаниях низшего звена в министерстве строительства. Там обсуждались частные контракты на восстановление домов, поврежденных во время маневров союзных войск. И Лео утверждал их.

— До тех пор, пока не приехал Брэдфилд?

— Да.

— А что произошло потом? Эти совещания окончились, что ли? Так же как и вся его работа.

— Более или менее.

Вместо того чтобы свернуть направо к воротам посольства, де Лилл повернул влево, решив сделать еще один круг.

— Что значит «более или менее»?

— Роули положил этому конец.

— Совещаниям?

— Я же сказал вам. Гартинг выполнял там чисто механические функции. Разрешение можно было давать и письменно.

Тэрнер чувствовал, что близок к отчаянию.

— Ну чего вы крутите? В чем дело? Прекратил Брэдфилд поездки на совещания или нет? Какую роль он в этом играл?

— Спокойнее,— предостерег его де Лилл, приподняв руку, лежавшую на руле.— Не спешите. Роули стал посылать меня вместо него. Ему не нравилось, что такой человек, как Лео, представляет посольство.

— Такой человек, как...

— Я имею в виду, человек временный. Только и всего! Временный сотрудник, не имеющий постоянного дипломатического статуса. Роули считал, что это неправильно, и передал эти функции мне. После этого Лео перестал со мной разговаривать. Он решил, что я интриговал против него. А теперь хватит. Не спрашивайте меня больше ни о чем.— Они снова проезжали мимо гаража «Арал», только на этот раз в северном направлении. Служитель, заливающий бензин, узнал машину и весело помахал де Лиллу.— У вас свои мерила и правила, у меня свои. Я не стану обсуждать с вами Брэдфилда, даже если вы будете орать на меня, пока не посинеете. Он мой коллега, мой начальник и...

— И ваш друг! Кого вы, черт возьми, здесь представляете? Самих себя или несчастных маленьких налогоплательщиков? Хотите, я скажу вам кого: клуб. *Ваш* клуб. Этот чертов Форейн-оффис. И если вы уви-

дите, что Роули Брэдфилд стоит на Вестминстерском мосту и торгует вразнос архивами, чтобы немного подработать к основному окладу, вы отвернетесь, черт побери, и сделаете вид, будто ничего не заметили.

Тэрнер не кричал. Но он произносил каждое слово отдельно и так весомо, что это придавало его речи необычайную силу.

— Так бы и наклал на вас на всех. На весь ваш паскудный, насквозь прогнивший балаган. Пока Лео был с вами, вы и двух пенни не дали бы за него, ни один из вас. Ну, что он был такое — ничтожество, мразь! Ни именитых родителей, ни привилегированной школы в детстве — ничего. Загнать его на другой берег, где никто не станет обращать на него внимание! Упрятать в посольские катакомбы вместе со служащими-немцами. Угостить такого стаканом вина — можно, а обедом — уже нельзя. Ну, и к чему это привело? Что он дал деру, утащив с собой половину ваших секретов. И тут вы вдруг почувствовали свою вину и застыдились, как девственница,— придерживаете рукой передничек и рта не смеете раскрыть перед чужим мужчиной! Все — и вы, и Медоуз, и Брэдфилд. Вы знаете, как он сюда проник, как всех облапошил, всех провел за нос и бежал с украденным. Вы знаете и еще кое-что: знаете о существовании в его жизни дружбы, любви — это-то и выделяло его среди вас, делало интересным. Он жил в своем особом мире, и ни один из вас не хочет этот мир назвать. Что это был за мир? Кто был этим миром? Куда, черт побери, он ездил по четвергам во второй половине дня, если не в министерство? Кто направлял его действия? Кто ему покровительствовал? Кто давал ему задания и деньги и кто получал от него информацию? Кому на руку он играл? Ведь он же шпион, черт побери! Он же залез к вам в карман! И вот как только вы это обнаружили, вы стали на его защиту!

— Нет,— сказал де Лилл. Они остановились у ворот посольства, машину окружили полицейские, в окно застучали. Но он не спешил опустить стекло.— Нет, все это неправда. Вы с Лео — одного поля ягода. Вы оба — по ту сторону барьера. И тот, и другой. Понять и найти Лео — ваше дело. Несмотря на все объяснения и все ярлыки. Потому-то вы так и взбиваете пену.

Они подъехали к стоянке для машин, и де Лилл свернул к столовой, где утром, глядя вдаль, стоял Тэрнер.

— Мне нужно осмотреть его дом,— сказал Тэрнер.— Нужно.

Оба помолчали, уставившись прямо перед собой в ветровое стекло.

— Я так и думал, что вы меня об этом попросите.

— В таком случае забудьте об этой просьбе.

— Почему? Я не сомневаюсь, что вы все равно попробуете туда пробраться. Рано или поздно.

Они вылезли из машины и медленно пошли по асфальту. Фельдъегери лежали на лужайке неподалеку от своих мотоциклов, стоявших возле флагштока. Под солнцем пламенели герани, выстроившиеся в ряд, точно крошечные солдаты на военном параде.

— Он любил армию,— произнес де Лилл, когда они уже поднимались по ступенькам особняка.— Действительно любил.

Оба остановились, чтобы показать пропуска сержанту с лицом хорька, и Тэрнер оглянулся на аллею, по которой они только что проехали.

— Смотрите-ка! — воскликнул он.— Та самая пара, что прицепилась к нам в аэропорту.

Черный «оппель», покачиваясь, подъехал к проходной. На переднем сиденье — двое. Отсюда, со ступенек, Тэрнеру хорошо видны были блики солнца, отражавшиеся от длинного смотрового зеркала.

— Ну что ж, Людвиг Зибкрон проводил нас на ленч,— с сухой усмешкой заметил де Лилл,— а теперь привез домой. Я ведь говорил вам: не считайте себя великим специалистом.

— В таком случае, где вы были в пятницу вечером?

— В сарае,— рявкнул де Лилл,— поджидал леди Анну, чтобы убить ее и завладеть прославленными бриллиантами.

Шифровальная была снова открыта. Корк прилег на раскладную кровать на колесиках, возле него на полу валялся проспект с виллами Карибского побережья. На столе в рабочей комнате лежал голубой конверт со штампом посольства, адресованный Алану Тэрнеру, эсквайру. Имя и фамилия были напечатаны на машинке, стиль письма сухой, довольно неуклюжий. Автор доводил до сведения мистера Тэрнера, что ему известен целый ряд вещей, связанных с проблемой, приведшей мистера Тэрнера в Бонн. Если мистер Тэрнер не возражает, продолжал автор письма, он готов встретиться с ним за бокалом вина по указанному выше адресу в половине седьмого. Место встречи в Бад-Годесберге, а автором письма была мисс Дженни Парджитер из отдела прессы и информации, прикомандированная в данное время к аппарату советников. Подписавшись, она — для ясности — напечатала ниже свое имя и фамилию на машинке. Крупная буква «П» бросилась Тэрнеру в глаза и, открыв книжку-календарь в синей дерматиновой обложке, он позволил себе многозначительно улыбнуться. «П» могло означать Прашко, «П» могло означать и Парджитер. А именно «П» стояло в записной книжке. *А ну-ка, Лео, заглянем в твою тайну.*

8. Дженни Парджитер

Понедельник. Вечер

— Насколько я понимаю,— начала беседу с заранее подготовленной фразы Дженни Парджитер,— разговор конфиденциального характера не может явиться для вас неожиданностью.

На низеньком стеклянном столике перед диваном стояла бутылка шерри. Квартира была темная, неприглядная: викторианские плетеные стулья, немецкие тяжелые гардины. В нише над обеденным столом — репродукции Констэбля.

— У вас своя профессиональная этика — как у врача.

— О, будьте спокойны,— сказал Тэрнер.

— Сегодня на утреннем совещании у нас в аппарате советников говорилось о том, что вы ведете расследование по делу Лео Гартинга. И нам было предложено не подвергать этот вопрос обсуждению, даже между собой.

— Со мной вам его обсуждать можно,— сказал Тэрнер.

— Без сомнения. Но я, естественно, хочу знать, насколько может простираться доверительность нашей беседы. В частности, например, каков ваш статус применительно к Управлению кадров?

— Это зависит от характера полученной мной информации.

Она подняла бокал с шерри и держала его на уровне глаз, словно прикидывая, сколько в нем налито. По всей видимости, это была попытка продемонстрировать присутствие духа, придать беседе непринужденно-светский характер.

— Предположим, кто-то в чем-то слегка перешел границы... предположим, я. В чисто личных делах.

— Все будет зависеть от того, с кем вы перешли границы,— ответил Тэрнер, и Дженни Парджитер внезапно залилась краской.

— Я вовсе не это имела в виду.

— Вот слушайте,— сказал Тэрнер, пристально наблюдая за ней.— Если вы придете и признаетесь мне по секрету, что забыли в автобусе

папку с документами, я обязан буду доложить об этом Управлению кадров. А если вы сообщите мне, что время от времени встречаетесь где-нибудь с каким-то вашим приятелем, я не упаду от этого в обморок. Как правило,— сказал он, пододвигая к ней свой бокал, чтобы она налила ему еще шерри,— Управление кадров предпочитает не знать о моем существовании.— Он сидел, свободно развалясь в кресле, и произнес это очень небрежно, словно разговор мало его интересовал.

— А если вопрос касается третьих лиц, о которых надо позаботиться, так как они не могут сделать этого сами?

— Значит, это опять-таки вопрос безопасности,— сказал Тэрнер.— И если бы вы не считали дело серьезным, вы бы вообще не обратились ко мне. Так что решайте сами. Я не могу дать вам никаких гарантий.

Резким, немного угловатым движением она взяла сигарету, закурила. Она была не лишена привлекательности, но одета как-то не по летам — то ли слишком молодо, то ли наоборот, и, может быть, поэтому она показалась Тэрнеру человеком другого поколения.

— Пусть будет так,— сказала она и с минуту хмуро-сосредоточенно смотрела на Тэрнера, словно стараясь определить, в какой мере можно ему довериться.— Тем не менее вы неправильно поняли, почему я пригласила вас сюда. Дело вот в чем. Поскольку до вас несомненно дойдут всевозможные сплетни относительно Лео Гартинга и меня, я предпочитаю, чтобы вы услышали правду из моих уст.

Тэрнер поставил на стол бокал и открыл записную книжку.

— Я приехала сюда в самый канун рождества,— начала Дженни Парджитер.— Из Лондона. А перед этим я была в Джакарте. В Лондон я возвратилась, чтобы обвенчаться. Быть может, вы видели в газетах объявление о моей помолвке?

— Боюсь, что это как-то прошло мимо меня,— сказал Тэрнер.

— Человек, с которым я была обручена, решил в последнюю минуту, что мы не созданы друг для друга. Это было очень мужественное решение. Тогда я добилась назначения в Бонн. Мы знали друг друга много-много лет, учились вместе в университете, и я всегда считала, что у нас с ним много общего. Но он взглянул на вещи по-другому. На то и существуют помолвки. Я ни в коей мере не чувствую себя обиженной. И не вижу никаких оснований выражать мне сочувствие.

— Итак, вы приехали сюда на рождество?

— Я специально просила о том, чтобы мне дали возможность провести праздники здесь. Все прошлые годы мы обычно проводили рождество вместе. За исключением, конечно, тех лет, когда я была в Джакарте. Оказаться в эти дни... врозь было, как вы понимаете, мучительно для меня. Я очень рассчитывала на то, что новая обстановка поможет мне забыться.

— Ясно.

— Одинокой женщине в посольстве на рождество отбою нет от приглашений. Почти все сотрудники аппарата советников приглашали меня провести праздники в их семье. Брэдфилды, Крабы, Джексоны, Гевистоны — все звали меня к себе. Пригласили меня и Медоузы. Вы, конечно, уже познакомились с Артуром Медоузом?

— Познакомился.

— Он вдовец, живет со своей дочерью Майрой. В сущности-то он — «Б-3», хотя официально эти ранги теперь уже у нас не в ходу. Я была очень тронута, получив приглашение от сотрудника ниже меня по положению.

Ее произношение временами выдавало провинциалку, хотя она и очень старалась это скрыть.

— В Джакарте мы всегда придерживались таких традиций. Мы общались шире. А в таком большом посольстве, как здесь, в Бонне, все

склонны скорее замыкаться в своем более узком кругу. Я не хочу сказать, что не должно существовать никаких перегородок: это, по-моему, тоже не годится. У сотрудников категории «А», например, другие интеллектуальные интересы, другие запросы и вкусы, чем у сотрудников категории «Б». Но я нахожу, что в Бонне эта обособленность слишком уж резко бросается в глаза и разграничения слишком строги. «А» — только с «А», «Б» — только с «Б», даже если они работают в разных местах — в торговой миссии, в атташатах, в аппарате советников,— все держатся в рамках своих крошечных каст. Мне кажется, что это неправильно. Хотите еще шерри?

— Спасибо.

— Словом, я приняла приглашение Медоуза. Кроме меня он пригласил еще и Гартинга. Мы очень приятно провели у них целый день. Вечером Майра Медоуз была куда-то приглашена... Она ведь перенесла очень тяжелую душевную травму: в Варшаве у нее был, как я поняла, роман с каким-то подозрительным типом из местных, и все это едва не кончилось трагедией. Я лично против предуказанных браков. Ну, словом, Майра отправлялась куда-то, где собиралась молодежь, сам Медоуз был приглашен к Коркам, и нам с Гартингом оставалось только откланяться. Когда мы уходили, он предложил немного прокатиться. Тут неподалеку есть славное местечко, сказал он, и было бы неплохо подышать свежим воздухом после всех этих яств и возлияний. Я обожаю ходить пешком. Мы немного погуляли, и потом он стал уговаривать меня поехать к нему поужинать. Он был очень настойчив.

Она больше не глядела на Тэрнера. Она сложила руки на коленях, соединив кончики пальцев.

— Я почувствовала, что отказаться неудобно. В таких ситуациях женщине всегда бывает очень трудно. Я бы с удовольствием вернулась пораньше домой, но мне не хотелось его обидеть. В конце концов, это же был сочельник, Гартинг во время прогулки вел себя безупречно. Но с другой стороны, мы ведь были почти незнакомы до этого дня. Все же я согласилась, предупредив его, однако, что не хочу поздно возвращаться домой. Он принял это условие, и я в своей машине поехала следом за ним в Кёнигсвинтер. К моему изумлению, оказалось, что дома у него все уже было приготовлено заранее. Стол был накрыт на двоих. Он даже упросил истопника прийти и разжечь камин. После ужина он объяснился мне в любви.— Она снова взяла сигарету, глубоко затянулась. Ее голос звучал все более сухо-деловито — хочешь не хочешь, придется все рассказать.— Он сказал, что никогда в жизни не испытывал подобного чувства. Сказал, что потерял голову с первой секунды, когда увидел меня на совещании. «Все ночи напролет я простаиваю у окна своей спальни, глядя, как они поднимаются вверх по реке,— сказал он, указывая на цепочку огней: по реке плыли баржи.— Каждое утро я встречаю здесь восход солнца». Это было наваждение, и виной всему была я. Его признание ошеломило меня.

— Что вы ответили ему?

— Он, в сущности, не дал мне произнести ни слова. Заявил, что хочет сделать мне подарок. Даже если ему не суждено никогда больше увидеть меня, он все равно хочет, чтобы я приняла от него рождественский подарок — знак его любви ко мне. Он исчез за дверью своего кабинета и тотчас возвратился с каким-то свертком в руках, к которому уже была прикреплена карточка с надписью: «Моей любимой». Как вы легко можете себе представить, я совершенно растерялась. «Я не могу этого принять,— сказала я.— Я отказываюсь. Я не могу допустить, чтобы вы делали мне подарки. Это ставит меня в ложное положение». Я попыталась объяснить ему, что хотя он ведет себя во многих отношениях как прирожденный англичанин, однако в этом случае он делает то, что

у англичан не принято. Это на континенте вошло в обычай брать женщин штурмом, а в Англии за женщиной ухаживают долго и тактично, окружают ее вниманием. Мы сначала должны получше узнать друг друга — образ мыслей, взгляды. А потом, у нас разница в возрасте; я не должна забывать о своей карьере. Признаюсь, я просто не знала, что делать.— Сухая деловитость исчезла из ее голоса, он звучал беспомощно и немного жалобно.— Но он продолжал твердить: это же рождество! Я должна рассматривать это просто как рождественский подарок.

— Что было в свертке?

— Фен для сушки волос. Он сказал, что особенно восхищается моими волосами. Он все любуется, как солнце играет в них по утрам. Во время наших утренних совещаний, понимаете? Он, по-видимому, выражался фигурально, потому что погода была в ту зиму премерзкая.— Она вздохнула.— Вероятно, этот фен стоил не меньше двадцати фунтов. Еще никто не делал мне таких дорогих подарков — даже мой бывший жених в период нашей самой большой близости.

Теперь она проделала некий ритуал с пачкой сигарет: протянула было руку, затем рука повисла в воздухе, словно выбирая, какую бы сигарету взять — эту, нет, лучше ту, точно это были шоколадные конфеты... Наконец она закурила, хмуро сдвинув брови.

— Мы посидели, поставили пластинки. Я не слишком музыкальна, но мне казалось, что музыка может его развлечь. Мне было мучительно жаль его и очень не хотелось оставлять одного в таком состоянии. Он сидел и молча смотрел на меня. Я не знала, куда девать глаза. Потом он подошел и сделал попытку меня обнять, но я сказала, что мне пора домой. Он проводил меня до машины. Держался очень корректно. По счастью, впереди было еще два дня праздников, и я имела возможность решить, что делать. Он дважды звонил мне, приглашал поужинать, я отказалась. В последний день праздников решение мое было принято. Я написала ему письмо и возвратила подарок. Я чувствовала, что не могу поступить иначе. Я приехала в посольство пораньше и оставила сверток у дежурного аппарата советников. Я много думала над его словами, написала я в письме, и пришла к убеждению, что никогда не смогу ответить ему таким же чувством. А значит, я не должна поощрять его, и, поскольку мы с ним коллеги и нам предстоит постоянно встречаться друг с другом, простая порядочность требует, чтобы я сразу же, не откладывая, откровенно объяснилась с ним, прежде чем...

— Прежде чем — что?

— Прежде чем пойдут сплетни,— сказала она с внезапной горячностью.— В жизни не видала таких сплетников, как здесь. Шагу нельзя ступить, чтобы про тебя не наплели каких-нибудь мерзких небылиц.

— Что же они про вас наплели?

— А бог их знает,— сказала она беспомощно.— Бог их знает.

— Кому из дежурных передали вы этот сверток?

— Уолту-младшему. Сыну.

— Он рассказал об этом кому-нибудь?

— Я специально предупредила его, чтобы он не болтал.

— Это, несомненно, должно было произвести на него впечатление,— сказал Тэрнер.

Она сердито уставилась на него, щеки ее пылали от смущения.

— Ладно. Значит, вы возвратили ему эту штуку. Что он по этому поводу сделал?

— В тот же день мы встретились с ним, как обычно, на совещании, и он поздоровался со мной так, словно ничего не произошло. Я улыбнулась ему, и только. Он был бледен, но спокоен — хоть и грустен, но вполне владел собой. Я поняла, что самое неприятное позади... К тому же как раз тогда ему поручили новую работу в архиве.

и я надеялась, что это отвлечет его. Недели две мне почти не пришлось с ним разговаривать. Время от времени мы встречались в посольстве или на каких-нибудь приемах, и он выглядел вполне счастливым. Ни разу ни словом не обмолвился про тот рождественский вечер или про подарок. Иногда на коктейлях он вдруг подходил и останавливался возле меня, и я понимала, что он... хочет ощутить мою близость. Я постоянно чувствовала на себе его взгляд. От женского чутья такие вещи не могут укрыться: я понимала, что он еще надеется. Порой он так на меня глядел... этот взгляд не оставлял сомнений. Я до сих пор не понимаю, как я могла не замечать этого прежде. Тем не менее я ни в чем не поощряла его. Мое решение было принято, и какие бы ни возникали у меня соблазны, как бы мне ни хотелось утешить его, я понимала, что в конечном счете это ни к чему... нет смысла поощрять его. К тому же все произошло так внезапно, так... иррационально, что, мне казалось, так же быстро должно и пройти.

— И прошло?

— Так продолжалось еще недели две, и мало-помалу стало действовать мне на нервы. Я не могла никуда пойти, не могла принять ни одного приглашения — всюду я встречала его. И он даже не пытался больше завязывать со мной беседу. Просто глядел на меня. Его взгляд преследовал меня. У него темные глаза, и взгляд проникает в самую душу. Темно-карие глаза, и какие-то поразительно преданные. В конце концов я уже просто боялась появляться где-нибудь. Стыдно сказать, но в те дни у меня даже мелькала одна недостойная мысль. Я подумала, не читает ли он мою корреспонденцию.

— Теперь вы отказались от этой мысли?

— У каждого из нас есть свой почтовый ящик в канцелярии. Для писем и телеграмм. И все мы помогаем сортировать почту. А приглашения здесь, как и в Англии, принято, разумеется, посылать в незапечатанных конвертах. Ему ничего не стоило заглянуть в мои конверты.

— Почему же вы считаете свою мысль недостойной?

— Потому что это неправда, вот почему! — вспыхнула она.— Я высказала ему свои подозрения, и он заверил меня, что я абсолютно неправа.

— Понятно.

Она заговорила еще более категорично и наставительно, отметая всякие возражения; в голосе ее зазвучали резкие нотки.

— Он никогда бы себе этого не позволил. Это совершенно не в его характере. Ему такая вещь и в голову не могла бы прийти. Он самым решительным образом заверил меня, что ни одной минуты не намеревался... «меня преследовать». Он сказал, что если это меня хоть сколько-нибудь раздражает, то он готов в дальнейшем отклонять все приглашения до тех пор, пока я не сниму свой запрет. Меньше всего на свете хотел бы он обременять меня своим присутствием.

— И после этого вы снова стали друзьями, так, что ли?

Он видел, как она подыскивает лживые слова, чтобы не сказать правды, видел, как она колеблется на грани признания и неуклюже отступает.

— После двадцать третьего января он не перекинулся со мной ни словом,— пробормотала она. Даже при этом тусклом освещении Тэрнер не мог не увидеть, как слезы покатились по ее поблекшим щекам, хотя она быстро наклонила голову и закрыла лицо руками.— Я ничего не могу поделать с собой. Я думаю о нем беспрестанно, день и ночь.

Тэрнер встал, распахнул дверцу кабинетного бара и налил полстакана виски.

— Ну-ка,— сказал он мягко,— вы же предпочитаете это. Бросьте прикидываться и выпейте.

— Это от переутомления.— Она взяла стакан.— Брэдфилд не дает ни минуты покоя. Он не любит женщин. Ненавидит их. Он с радостью загнал бы нас всех в гроб.

— А теперь расскажите мне, что произошло двадцать третьего января.

Она съежилась в кресле, повернувшись к Тэрнеру спиной; голос ее временами помимо воли начинал звенеть.

— Он перестал меня замечать. Делал вид, будто поглощен работой. Я заходила в архив за бумагами, а он даже не поднимал глаз. Не глядел в мою сторону. Никогда. Всех других он замечал, но только не меня. О нет! Прежде он не проявлял особого интереса к работе — достаточно было понаблюдать за ним во время наших совещаний: это сразу бросалось в глаза. В глубине души он был совершенно равнодушен. Не честолюбив. Но стоило мне появиться, он делал вид, будто с головой ушел в работу. Даже когда я здоровалась с ним, он смотрел на меня так, словно перед ним неодушевленный предмет. Даже когда я лицом к лицу сталкивалась с ним в коридоре, он не замечал меня. Я для него больше не существовала. Мне казалось, что я сойду с ума. Такому поведению нет названия. В конце концов он, как вам известно, всего-навсего сотрудник категории «Б», и к тому же временный; он, в сущности,— никто. У него же нет никакого веса — вы бы только послушали, как они все говорят о нем. Вот что он такое в их глазах: сметливый малый, но полагаться на него нельзя.— На какую-то минуту она явно почувствовала свое превосходство над ним.— Я писала ему письма. Я звонила ему по телефону в Кёнигсвинтер.

— И все замечали, что с вами творится? Вы не сумели скрыть свои чувства?

— Да ведь это он сначала преследовал меня.

Она совсем скорчилась в кресле, уронив голову на согнутый локоть, и тихонько всхлипывала: плечи ее вздрагивали.

— Вы должны все рассказать мне.— Тэрнер подошел к ней, тронул ее за руку.— Слышите? Вы должны рассказать мне, что произошло в конце января. Произошло что-то важное, не так ли? Он попросил вас что-то для него сделать. Что-то, имеющее политическую подкладку. Что-то такое, из-за чего вы теперь очень напуганы. Сначала он обхаживал вас, задурил вам голову. Затем получил то, что ему было нужно. Что-нибудь совсем простое, но чего он не мог добыть сам. А когда получил, вы ему стали не нужны.

Всхлипывания утихли.

— Вы сообщили ему то, что ему надо было выведать. Вы оказали ему услугу и тем облегчили его задачу. Ну что ж, это не такая уж редкость. Немало людей делают то же самое в различных обстоятельствах. Так что же это было? — Тэрнер опустился на колени возле ее кресла.— В чем вы перешли границу? И почему вы говорили про третьих лиц? Как они здесь замешаны? Расскажите мне! Вы чем-то смертельно напуганы. Расскажите мне, в чем дело!

— О господи! — пробормотала она.— Я дала ему ключи! Дала ключи...

— Дальше.

— Ключи дежурного. Всю связку. Он пришел и попросил меня... Нет, он даже не просил, нет.

Она выпрямилась в кресле, лицо ее побелело. Тэрнер подлил в стакан виски, сунул стакан ей в руку.

— Я дежурила. Была ответственной ночной дежурной. В четверг, двадцать третьего января. Лео до дежурств не допускали. Есть вещи, к которым временным сотрудникам не положено иметь доступа: специальные инструкции, планы чрезвычайных мероприятий. Было часов восемь, может быть, половина восьмого, я разбирала телеграммы. Я вышла из шифровальной, чтобы пойти в канцелярию, и увидела, что он стоит в коридоре. Стоит, словно кого-то ждет. И улыбается. «Дженни,— сказал он.— Какая приятная неожиданность!» Я почувствовала себя такой счастливой.

Она снова расплакалась.

— Я была безумно обрадована. Я так мечтала, чтобы он опять заговорил со мной, как прежде. Он ждал меня. Я это сразу поняла; он только делал вид, будто эта встреча — простая случайность. И я сказала: «Лео!» Я никогда не называла его так до этой минуты. Лео. Мы поговорили, стоя в коридоре. Какая приятная неожиданность, повторял он снова и снова. Может быть, поужинаем вместе? Я же на дежурстве, напомнила я ему — на случай, если это вылетело у него из головы. Жаль, сказал он, ничуть не смутившись, тогда, может быть, завтра вечером? А как насчет уик-энда? Он позвонит мне. Он позвонит мне в субботу утром, идет? Это будет очень мило, сказала я, меня это вполне устраивает. Сначала мы немного погуляем, сказал он, по холмам, за футбольным полем, хорошо? Я была счастлива. В руках у меня была пачка телеграмм, и я сказала: отлично, а сейчас мне надо передать эти телеграммы Медоузу. Он хотел отнести их вместо меня, но я сказала: нет, не утруждайте себя, я отнесу сама. Я уже повернулась к нему спиной, понимаете, не хотела, чтобы он ушел первый,— но не успела сделать и двух шагов, как он вдруг сказал — в этой своей обычной, вкрадчивой манере: «Да, Дженни, послушайте, вот какое дело... Нелепая получилась история: весь наш хор собрался внизу, на лестнице, и никто не может отпереть дверь конференц-зала. Кто-то ее запер, а ключа нет, и мы подумали, что, наверно, у вас он должен быть». Все это показалось мне довольно странным, по правде говоря. Прежде всего я не представляла себе, кому это могло прийти в голову запереть дверь зала. Ну, я сказала: хорошо, я сейчас спущусь вниз и отопру дверь, только мне сначала надо разделаться с телеграммами. Он, конечно, знал, что у меня есть ключ: у дежурного всегда должны быть запасные ключи от всех комнат посольства. «Зачем вам утруждать себя и спускаться вниз,— сказал он.— Дайте мне ключ, я все сделаю сам. В две минуты». И тут он заметил, что я колеблюсь.

Она закрыла глаза.

— Он был такой... жалкий. Его так легко было обидеть. И я уже однажды оскорбила его — заподозрила, что он заглядывает в мои письма. Я любила его... Клянусь вам, я никогда никого не любила прежде...

Мало-помалу ее рыдания утихли.

— И вы дали ему ключи? Всю связку? Ключи от комнат, от сейфов...

— Да, и от всех столов и несгораемых шкафов, от парадного входа, и от черного, и от сигнала тревоги в архиве аппарата советников.

— И ключ от лифта?

— Лифт тогда еще не был на ремонте. Его заперли только в конце следующей недели.

— И долго он держал ключи?

— Минут пять. Может быть, даже меньше. Это ведь недолго, верно? — Она умоляюще вцепилась в его рукав.— Скажите, что это недолго.

— Чтобы снять отпечаток? За это время он мог снять пятьдесят отпечатков, если у него был навык.

— Но ему нужен был бы воск, или пластилин, или еще что-нибудь... Я потом проверяла — смотрела в справочнике.

— Он мог держать все это наготове у себя в комнате,— равнодушно заметил Тэрнер.— Она ведь на первом этаже. Не расстраивайтесь,— сочувственно добавил он.— Может быть, он и в самом деле просто хотел впустить хор. Может быть, у вас слишком разыгралось воображение.

Она перестала плакать. Ровным, монотонным голосом она продолжала свои признания:

— Хор не репетирует в эти дни. Только по пятницам. А это был четверг.

— Вы это выяснили? Справились у охраны?

— Я знала это с самого начала. Знала, когда давала ему ключи. Делала вид, будто не знаю, но знала. Просто я не могла отказать ему в доверии. Это был акт самопожертвования, неужели вы не понимаете? Акт самопожертвования, акт любви. Но разве мужчина может это понять!

— И после того, как вы отдали ему ключи,— сказал Тэрнер, поднимаясь с колен,— он не захотел вас больше знать?

— Все мужчины таковы. Разве нет?

— Позвонил он вам в субботу?

— Вы же понимаете, что не позвонил.— Она снова уронила голову на руку.

Он захлопнул свою записную книжечку.

— Вы слушаете меня?

— Да.

— Упоминал он когда-нибудь о женщине, которую зовут Маргарет Айкман? Он был помолвлен с нею. Она знала и Гарри Прашко.

— Нет.

— А о какой-нибудь другой женщине?

— Нет.

— Говорил он с вами о политике?

— Нет.

— Были у вас основания предполагать, что он человек крайне левых убеждений?

— Нет.

— Случалось вам видеть его в компании каких-либо подозрительных личностей?

— Нет.

— Говорил он с вами когда-нибудь о своем детстве? О своем дядюшке, который жил в Хэмпстеде? Дяде-коммунисте, воспитавшем его?

— Нет.

— О дяде Отто?

— Нет.

— Упоминал он когда-нибудь о Прашко? Упоминал или нет? Вы слышите? Упоминал он о Прашко?

— Он говорил, что Прашко был его единственным другом на всей земле.— Она снова разрыдалась, и он снова ждал, пока она успокоится.

— Говорил он о политических взглядах Прашко?

— Нет.

— Говорил, что они по-прежнему дружны?

Она отрицательно покачала головой.

— Гартинг обедал с кем-то в четверг. Накануне своего исчезновения. В «Матернусе». Это были вы?

— Я же вам говорила! Клянусь, я не видела его больше!

— Признайтесь, это были вы?

— Нет!

— Он сделал пометку в своей записной книжке, которая указывает на вас. Буква «П». И в других случаях он делал такие же пометки, имея в виду вас.

— Это была не я!

— Значит, это был Прашко, так, что ли?

— Откуда я могу знать?

— Потому что вы были его любовницей! Вы признались мне только наполовину, не рассказали всего! И вы продолжали спать с ним до последнего дня, пока он не скрылся!

— Это неправда!

— Почему Брэдфилд покровительствовал ему? Лео был ему глубоко антипатичен, почему же Брэдфилд так опекал его? Поручал ему всевозможные дела? Держал на жалованье?

— Будьте добры, оставьте меня,— сказала она.— Пожалуйста, уходите. И никогда больше не появляйтесь.

— Почему?

Она выпрямилась.

— Уйдите,— сказала она.

— В пятницу вечером вы ужинали с ним. В тот вечер, когда он исчез. Вы были его любовницей, но не хотите в этом признаться!

— Неправда!

— Он расспрашивал вас о Зеленой папке! И заставил вас передать ему спецсумку, в которой она хранилась!

— Неправда! Неправда! Убирайтесь вон!

— Мне нужна машина.

Тэрнер спокойно ждал, пока она звонила по телефону.

— Sofort! * — сказала она.— Sofort! Сейчас же приезжайте и заберите этого господина отсюда.

Он направился к двери.

— Что вы с ним сделаете, когда разыщете его? — спросила она упавшим голосом: волнение истощило ее силы.

— Это уж не моя забота.

— А вам, значит, все равно?

— Мы его не найдем, так что это не имеет значения.

— Зачем же тогда искать?

— А почему бы и нет? Разве не в этом проходит наша жизнь? Все мы ищем людей, которых нам не суждено найти.

Он не спеша спустился по лестнице в вестибюль. Из соседней квартиры доносился гомон — там веселились. Компания арабов, сильно навзводе, пробежала мимо него вверх по лестнице; они громко переговаривались, сбрасывая на ходу плащи. Тэрнер остановился в подъезде. По ту сторону реки неяркая цепочка огней висела в теплом полумраке, словно ожерелье, опоясывая чемберленовский Петерсберг. На противоположной стороне улицы высилось новое здание. Оно производило странное впечатление, словно было построено сверху вниз — сначала кран навесил крышу, потом подвели все остальное. У Тэрнера мелькнула мысль, что прежде он видел это здание в другом ракурсе. Улицу пересекала эстакада железнодорожного моста. Когда по ней с грохотом промчался поезд, в окнах вагона-ресторана промелькнули безмолвные силуэты людей, уткнувшихся в свои тарелки.

— В посольство,— сказал Тэрнер.— В британское посольство.

— Englische Botschaft?

---

* Немедленно *(нем.)*.

— Не английское — британское. И побыстрей.

Шофер выругался, буркнув что-то по адресу дипломатов. Машина понеслась с головокружительной быстротой, на одном из поворотов они чуть не столкнулись с трамваем.

— Вы что, черт побери, не умеете водить машину?

Тэрнер потребовал квитанцию. Шофер порылся в отделении для перчаток, достал квитанционную книжку и резиновую печать. Он хлопнул печать с такой силой, что квитанция смялась. Посольство выплыло из-за угла, словно корабль, сверкая всеми своими окнами. Темные силуэты пар двигались в гостиной, слитые воедино медленным ритмом бального танца. Стоянка была забита машинами. Тэрнер выбросил квитанцию: Ламли не станет оплачивать проезд на такси. Согласно новому распоряжению об очередном сокращении расходов. И взыскивать не с кого. Разве что с Гартинга, который и так, кажется, уже по уши в долгах.

Брэдфилд на совещании, сказала мисс Пит. Возможно, сегодня же ночью он улетит вместе с послом в Брюссель. Она отложила в сторону свои бумаги и вертела в руках синий кожаный овал, на котором в надлежащем порядке раскладывала именные карточки для предстоящего официального ужина; с Тэрнером она говорила таким тоном, словно ей вменялось в обязанность бесить его. А де Лилл — в бундестаге, слушает дебаты о чрезвычайных законах.

— Я хочу поглядеть на ключи, которые хранятся у дежурного.

— Очень сожалею, но вы можете получить эти ключи только с разрешения мистера Брэдфилда.

Он сцепился с ней, а она только этого и ждала. Он одолел ее в перебранке, а ей только этого и надо было. Она выдала ему бланк допуска, подписанный хозяйственным отделом и завизированный старшим советником (политическим). Он отнес бланк на контрольный пост, где дежурным оказался Макмаллен. Крупного телосложения, медлительный в движениях, он был когда-то сержантом полиции в Эдинбурге, и все, что ему довелось слышать о Тэрнере, никак не располагало его в пользу последнего.

— И ночной регистрационный журнал,— потребовал Тэрнер.— Начиная с января.

— Пожалуйста,— сказал Макмаллен, продолжая маячить рядом, пока Тэрнер просматривал журнал, словно боясь, как бы тот его не унес. Было уже половина девятого, и посольство заметно опустело.

Фамилия Гартинга нигде не значилась.

— Отметьте меня,— сказал Тэрнер, протягивая журнал Макмаллену.— Я пробуду здесь всю ночь.

«Как Лео»,— подумал он.

9. Роковой четверг

Понедельник. Вечер

В связке было не меньше пятидесяти ключей, но только на пяти или шести висели жетоны с номерами. Тэрнер стоял в коридоре на первом этаже — там, где, укрывшись в тени за колонной и глядя на дверь шифровальной, стоял в свое время Лео Гартинг. Было около половины восьмого — тогда, и Тэрнер старался представить себе, как Дженни с пачкой телеграмм в руке выходит из шифровальной. В коридоре было шумно. Девушки из канцелярии то приносили телеграммы для шифровки, то получали их обратно, и стальное окошечко в двери шифровальной все время поднималось и опускалось, словно нож гильоти-

ны. Но в тот четверг вечером здесь было тихо — временная передышка среди нараставших волнений,— и Лео разговаривал с ней *здесь*, где стоял сейчас Тэрнер. Он поглядел на свои часы, снова перевел взгляд на связку ключей и подумал: *пять минут*. Что успел Лео проделать за это время? Шум был оглушающий: человеческие голоса сливались со всякого рода механическими звуками, возвещавшими о том, что мир близится к катастрофе. Но в тот вечер все было спокойно, и Лео стоял здесь, притаясь, воплощение неподвижности и тишины, зверь, стерегущий свою добычу, чтобы выпотрошить ее и уничтожить. За пять минут.

Тэрнер прошел по коридору до верхнего вестибюля, перегнувшись через перила, поглядел вниз, в пролет лестницы, и увидел, как вечерняя смена машинисток, словно спасаясь с горящего корабля, исчезла за дверью, растворившись в ночном мраке. Верно, Лео шел по коридору быстро, но с беззаботно-непринужденным видом — ведь Дженни могла все время глядеть ему вслед, да и Гонт или Макмаллен могли увидеть его, когда он спускался с лестницы — проворно, но без малейших признаков спешки.

Тэрнер остановился в вестибюле. «Но какой же чудовищный риск! — внезапно подумал он.— Какая отчаянная игра». Он увидел, как внизу все расступились, давая дорогу двум немецким чиновникам. В руках у них были черные портфели; они шагали с важным видом, словно пришли совершить хирургическую операцию... *Какой риск!* Дженни могла одуматься. Могла броситься за ним. И в ту же секунду ей стало бы ясно — даже если бы она не знала этого прежде,— что Лео лжет. В ту же секунду, как только она очутилась бы в нижнем вестибюле и заметила, что из конференц-зала не доносится ни звука, увидела бы, что в регистрационном журнале нет отметки о приходе ни одного из участников хора, а на вешалке, возле входной двери, где сейчас разоблачались немецкие чиновники, не висит ни единого пальто, ни единой шляпы,— в ту же секунду она бы уже знала, что Лео Гартинг, эмигрант, космополит, несостоявшийся любовник, поставщик расхожего ширпотреба, обманул ее, чтобы раздобыть у нее ключи.

«Акт самопожертвования, акт любви. Но разве может мужчина это понять?»

Прежде чем войти в коридор, он остановился перед лифтом и внимательно его осмотрел. Позолоченная дверь была заперта. Вместо зеркала напротив двери — черное пятно: зеркало заколотили изнутри досками. Два тяжелых металлических бруса пересекали дверь по горизонтали для большей верности.

— Давно это сотворили?

— Сразу после Бремена, сэр,— ответил Макмаллен.

— А когда был Бремен?

— В январе, сэр. В конце января. По предложению министерства, сэр. Они прислали специального служащего. Он закрыл подвальное помещение и лифт, сэр.— Макмаллен сообщал это так, словно давал отчет олдерменам города Эдинбурга, и, как положено по уставу, методично переводил дыхание между каждой фразой.— Трудился тут всю субботу и воскресенье,— с почтительным удивлением добавил он, ибо, будучи по натуре апатичен и ленив, легко выдыхался на любой работе.

Тэрнер не спеша направился по тускло освещенному коридору к комнате Гартинга. Он думал: «Все эти двери были, вероятно, заперты, свет потушен, комнаты пусты. Может быть, сквозь решетки светила луна? Или представители Британской империи, если они рангом пониже, должны довольствоваться светом этих дешевых голубоватых ночников и только шаги Лео громко отдавались под сводами?»

Две девушки прошли мимо него, одетые на случай боевой тревоги.

Одна из них, в джинсах, окинула Тэрнера пристальным взглядом, словно прикидывая его вес. «Черт побери,— подумал он,— подождите, скоро я поиграю с какой-нибудь из вас». Он отпер дверь комнаты Лео и остановился на пороге в темноте. *Чего же ты все-таки добивался, Лео, ты, вор?*

Жестяные коробки из-под сигар могли сгодиться для этого дела, если их наполнить чем-нибудь вязким: детский пластилин из большого универмага Вулворта в Бад-Годесберге мог, например, сослужить свою службу; если еще немного посыпать бы тальком, отпечаток был бы яснее. Три нажима ключом — одной стороной, другой стороной и вертикально, бородкой вниз; главное, чтобы все выступы и углубления обозначились четко. Конечно, это не лучший способ, все зависит от того, какие получатся болванки, но хороший, мягкий металл податлив, он сам заполнит малейшие углубления в форме... Значит, здесь Лео все держал наготове. Все пятьдесят жестянок. А может, только одну?

Может, только один ключ. Который? Какая пещера Аладдина, какой тайник хранил таинственные сокровища этого угрюмого английского дома?

Гартинг, ты вор! Он начал осмотр с двери, ведущей в комнату самого Гартинга, просто назло ему, чтобы досадить, довести незримо до его сознания, что с его дверью могли побаловаться, как со всякой другой, а потом, не торопясь, пошел дальше по коридору, подбирая ключи к замкам, и всякий раз, когда попадался нужный ключ, он прятал его в карман и думал: «Ну, какую пользу извлек ты для себя здесь?» Большинство дверей оказались просто незапертыми, и ключей оставалась еще целая куча — от шкафов, от туалетов, от комнат отдыха, от служебных помещений, от комнаты первой помощи, где сильно пахло спиртом, от предохранительной коробки над вводом электрических кабелей.

Ты устанавливал микрофоны? В этом разгадка твоего пристрастия ко всякого рода технике? Вот зачем тебе все эти электрические шнуры, фены, всевозможные приспособления, детали каких-то приборов — не безобидный ли все это камуфляж, чтобы вмонтировать где нужно хитроумное приспособление для подслушивания?

— Вздор! — произнес он громко, поднялся обратно вверх по лестнице, гремя связкой оставшихся ключей, ударявших его по ляжке, и попал прямо в объятия личного секретаря посла, суетливого и одновременно чопорного субъекта, в немалой мере усвоившего непререкаемый тон своего начальника.

— Его превосходительство может появиться в любую минуту. На вашем месте я постарался бы ретироваться, и чем быстрее, тем лучше,— промолвил секретарь небрежно и холодно.— Его превосходительство не питает особого расположения к людям вашей профессии.

Почти во всех коридорах было светло, как днем. В торговой миссии справляли шотландский национальный праздник. Шотландская куропатка, задрапированная кэмпбелловским пледом, висела рядом с портретом королевы в форме шотландского стрелка. На листе фанеры была сооружена некая абстракция из крошечных бутылочек с шотландским виски и крошечных волынок и танцоров-волынщиков. В счетно-плановом отделе под ярким плакатом, неистово призывавшим покупать только на Севере, мертвенно-бледные клерки с нечеловеческим упорством нажимали кнопки арифмометров, и только арифмометры оставались, казалось, равнодушными к висевшему на стене грозному предостережению: «Крайний срок — Брюссель!» Тэрнер поднялся еще этажом выше и очутился в Уайт-холле, в атташате, где у каждого из них был свой маленький кабинетик, что и было обозначено на двери вместе со званием владельца.

— Какого черта вы здесь шляетесь? — спросил его дежурный сержант, и Тэрнер посоветовал ему не забывать, что он не в казарме.

Откуда-то доносился голос с военной интонацией, диктовавший что-то стенографистке. Машинистки в своем бюро покорно сидели за машинками, словно ученицы за партами. Две девушки в зеленых комбинезонах заботливо склонились над гигантской копировальной машиной; третья сортировала разноцветные телеграммы, словно прачка — выглаженное белье. На особом помосте, возвышаясь над всеми, старшая машинистка, седая шестидесятилетняя дама с подкрашенными синькой волосами, проверяла восковки. Единственная из всех, она тотчас почуяла появление неприятеля и резко повернула голову в его сторону. Стена у нее за спиной почти сплошь была покрыта пришпиленными кнопками открытками — рождественскими поздравлениями от старших машинисток других посольств и миссий. На одних были изображены верблюды, на других — королевская эмблема.

— Мне нужно проверить, как у вас тут работают замки,— пробормотал Тэрнер и прочел в ее взгляде: «Проверяйте что угодно, только не моих девочек».

«Черт побери, сказать по правде, я бы не отказался от одной из них. Ну, что вам стоит уступить мне одну девчонку для самой короткой прогулочки в рай! *Гартинг, ты вор!*»

Было десять часов. Тэрнер побывал уже везде, куда Гартинг мог с ключами иметь доступ, и в награду за все свои старания приобрел только головную боль. То, что хотел раздобыть Гартинг, уже исчезло отсюда. А возможно, было так надежно упрятано, что для розыска потребовались бы недели, или, наоборот, было так на виду, что оставалось невидимым. Тэрнера мутило, как после перенапряжения, бессвязные воспоминания вертелись в мозгу. Черт! Один только день. За один день — от энтузиазма к унынию. От самолета до его рабочего стола — всюду следы, следы, и никакого ключа к разгадке тайны. За один какой-то сволочной понедельник прожил точно целую жизнь. Он уставился на кипу чистых телеграфных бланков, недоумевая, что, дьявол его возьми, может он сообщить в Лондон. Корк уснул, аппараты молчали. Груда ключей громоздилась перед ним. Он принялся нанизывать их на кольцо. Ну же, думал он, постарайся пригнать одно к другому, черт побери. Ты не ляжешь в постель, пока хотя бы не определишь, в каком направлении надо действовать. «Задача интеллекта,— рычал его толстозадый учитель,— в том, чтобы из хаоса создавать порядок. Что такое анархия? Это — мозг, лишенный системы».— «Допустим, учитель, но что же тогда система без мозга?» Тэрнер взял карандаш и не спеша начертил табличку дней и часов недели. Потом открыл синюю записную книжку. Разобраться в этих отрывочных записях, составить из кусков целое. «Вы найдете его, а Шоу не найдет». *Лео Гартинг, второй секретарь посольства, «Претензии и консульские функции», вор и охотник, я выслежу тебя.*

— Вы, случайно, не разбираетесь немножко в акциях? — спросил Корк, внезапно пробуждаясь от дремоты.

— Нет, не разбираюсь.

— Меня, собственно, вот что интересует,— продолжал Корк, протирая свои розовые, как у кролика, глаза,— если на Уолл-стрите начнется паника, во Франкфурте тоже паника и у нас ничего не получится с Общим рынком, как отзовется это на шведской стали?

— На вашем месте я поставил бы все на чет или нечет в рулетке и избавился от беспокойства раз и навсегда.

— Я, понимаете ли, уже все для себя решил,— объяснил Корк.— Мы подыскали небольшой участок на Карибских островах...

— Ладно, заткнитесь.

Сопоставляй. Конструируй. Изобрази все свои догадки мелом на доске и погляди, что получится. Ну же, Тэрнер, ты у нас философ, давай расскажи, что движет миром. Какое, к примеру, главное побуждение должны мы приписать Гартингу? Давай факты. Строй. В конце концов, мой дорогой Тэрнер, разве ты не отказался от *созерцательной* жизни ученого ради *активной* гражданской деятельности? Строй. Примени свои теории на практике, и де Лилл скажет, что ты знаток своего дела.

Сначала понедельники. Понедельники — это приглашения на приемы вне дома, а-ля-фуршет, как бы между прочим сообщил ему за ленчем де Лилл: это избавляет от необходимости рассаживать по чинам. Понедельники — это, так сказать, матчи на чужом поле. Английская команда против иностранной. Принудительный труд на чужой территории. Гартинг принадлежал к дипломатам второго разряда и посещал второстепенные посольства. С маленькими гостиными. Вся команда категории «Б» играла по понедельникам на чужом поле.

— ...а если родится девочка, мы, я думаю, наймем няньку-туземку, ее, наверно, можно будет немножко подучить — хоть самому необходимому.

— А вы не можете немножко помолчать?

— Но для этого, разумеется, понадобятся деньги,— добавил все-таки Корк.— Даром никто не станет работать, я понимаю.

— А вот понять, что я в настоящую минуту работаю, вы никак не в состоянии?

«Пытаюсь работать»,— подумал он, и мысли его тут же убежали в сторону.

Гартинг, ты вор.

По вторникам — приемы дома. Вторник — это день домашнего очага. Домашний очаг открыт для гостей. Тэрнер составил их список и подумал: «Это хуже, чем у нас в Блэкхизе. Это увековеченный традицией, неистребимый, рабский час пустой, бессмысленной светской болтовни. Ванделунги (из голландского посольства)... Канарды (из канадского)... Обутусы (из ганского)... Кортезиани (из итальянского)... Аллертоны, Крабы и хотя бы раз — Брэдфилды; и вся эта миленькая шайка разбавлена по меньшей мере сорока восемью соответствующими занудами, различие между которыми только чисто количественное: Обутусы — плюс еще шестеро... Аллертоны — плюс еще двое... Брэдфилды — одни. Им ты оказывал особое внимание, не так ли? Насколько я понимаю, он жил в общем-то на широкую ногу». Шампанское обязательно в *такой* вечер. Голос жены снова пресек поток его мыслей: «Милый, почему бы нам не пойти сегодня куда-нибудь вечерком? Уиллоугби будут рады, они знают, что я терпеть не могу возиться со стряпней...»

— ...а если это будет мальчик,— сказал Корк,— все заботы о нем я возьму на себя. Мальчика, уж конечно, можно будет пристроить — даже в таком месте, как здесь. Ведь тут же рай, особенно для учителей.

Среды — это культурно-бытовые мероприятия. Вечерами — пинг-понг, импровизированные концерты с пением, чтением стихов. А в сержантской столовке, бывало: «Мистер Тэрнер, сэр, что в вашем стакане — виски и джин? Подлейте себе капельку вот этого — будет позабористей. Знаете, что говорят про вас ребята,— думаю, вы не будете на меня в претензии, сэр, если я повторю, сегодня же сочельник, сэр: мистера Тэрнера, говорят они — всегда величают вас мистером, сэр,

не то что других,— мистера Тэрнера голыми руками не возьмешь, мистер Тэрнер не слабак. Но мистер Тэрнер — *человек справедливый.* Кстати, сэр, я хотел потолковать с вами насчет моего отпуска...» Вечер в Автоклубе. Вечер, когда можно проникнуть на дюйм, на два глубже в структуру тела посольства. Это деловые вечера. Тут он работал. Тэрнер внимательно изучил все свидания, встречи и подумал: «Да, ты неплохо потрудился, добывая свои секреты, ничего не скажешь. Охотился, не жалея сил. Шотландский дансинг. Клуб любителей игры в кегли. Автоклуб. Собрание Спортивной комиссии. Ты скорее добьешся своего, чем я, мальчик. Ты в самом деле верил в это, приходится признать. Ты шел прямо к цели, верно? Ты действовал, и ты уже пробрался повсюду, ты, вор».

Итак, оставались только — поскольку ни в субботние, ни в воскресные дни не было сделано никаких заметок, не считая случайных записей, относящихся к уходу за садом, и двух-трех поездок в Ганновер,— оставались только четверги.

Подозрительные четверги.

Обведем квадратиком четверг, позвоним в отель «Адлер», узнаем, в котором часу они запирают входную дверь. Не запирают вовсе. Нарисуем прямоугольник вокруг первого квадрата — в длину полтора дюйма, в ширину — полдюйма, украсим пространство между квадратом и прямоугольником свернувшимися в кольца змеями, и пусть их раздвоенные языки многозначительно лижут букву «Ч», написанную готическим шрифтом, и подождем, пока тупо стучащие в истерзанном мозгу молоточки воспрянут и примут на себя роль шифровальной машины. Ну как?

Ничего, ничего, будь оно трижды проклято!

Итак — четверг. Он окутан какой-то сексуальной тайной и вымученным воздержанием. Он заполнен мелочными скрупулезными записями, сделанными непомерно крупным, скучным, должностным почерком человека, которому нечего делать и у которого очень много времени для этого ничегонеделания.

«Англо-Германское общество приглашает на завтрак в честь друзей вольного города Гамбурга... Комитет жен дипломатического корпуса устраивает костюмированный завтрак а-ля-фуршет по подписке, стоимость — 15 немецких марок, включая вино...»; устами ответственного устроителя кричали чудовищные, похожие на ночной кошмар прописные буквы величиной в полстраницы.

Ты пират, Гартинг.

— А вы не могли бы выключить эту чертову штуку?

— Рад бы, да нельзя,— сказал Корк.— Что-то затевается, только не спрашивайте меня — что. «Лично Брэдфилду, расшифровать персонально». «Вручить непосредственно Брэдфилду». «Вручить Брэдфилду через ответственного дежурного»... День рождения у него, что ли, черт бы его побрал.

— Скорее похороны,— проворчал Тэрнер и снова взялся за синюю записную книжку-календарь.

Да, вот по четвергам у Гартинга были действительно какие-то дела. Настоящие, не для отвода глаз; еще не разгаданные. Было что-то такое, что он делал втайне. В глубокой тайне. Что-то настоятельно необходимое, значительное и секретное. Что-то придававшее смысл всем остальным дням недели. Что-то, во что он верил. По четвергам Лео Гартинг ходил по краю и помалкивал. Никаких записей — даже по поводу истекших дней недели, ни малейшей случайной оговорки. Только в самый последний четверг появилась одна-единственная запись,

гласившая: «Матернус». Час дня. П.» И все; чистый лист бумаги, столь же целомудренный и молчаливый, как эти маленькие девственницы, встреченные сегодня в коридоре на первом этаже.

Или столь же тайно порочный?

Вся жизнь Гартинга была сосредоточена в этом дне. Он жил от четверга до четверга, как другие живут из года в год. Что представляли собой их встречи — Гартинга и его шефа? Какие, после стольких лет сотрудничества, были между ними отношения? Где они встречались? Где вручал он все эти документы и письма, где приглушенным голосом делал свои сообщения? В башенной комнате какой-нибудь крытой черепицей виллы? На мягкой постели, на полотняных простынях, с мягкой шелковистой девчонкой и сброшенными на спинку кровати джинсами? Под железнодорожным мостом, по которому проносятся поезда? Или в обветшалом посольстве с пропыленной люстрой и папашей Медоузом на золоченой кушетке, сжимающим его маленькую руку в своей? В изысканной спальне стиля барокко? В номере годесбергского отеля? В сером блочном здании нового жилого района? В уютном загородном бунгало, где в чугунную решетку вплетены инициалы владельца, а парадная дверь украшена витражом? Он пытался представить их себе: Гартинга и его шефа, непроницаемого, уверенного в себе; шутки вполголоса и приглушенный смех. Взгляните: эта недурна, шепчет продавец порнографического товара; признаться, мне даже самому жаль расставаться с нею — она вам сразу приглянулась, верно? Сидели ли они за бутылкой вина, притворно небрежно обсуждая следующий решительный шаг, направленный против той твердыни, которую они должны разрушить, в то время как на почтительном отдалении за их спиной доверенное лицо чуть слышно шелестело бумагами и чуть слышно щелкал фотоаппарат.

А может, все это происходило в отчаянной спешке? Кто-то кого-то подсаживает в машину в глухом закоулке; лихорадочная передача информации, пока они сломя голову петляют по узким улочкам, моля всевышнего, чтобы не случилось аварии. А может, на холме, рядом с футбольным полем? Отправляясь туда, Гартинг надевал балканскую шапку пирожком и серый костюм, как сторонники Движения?

Корк разговаривал по телефону с мисс Пит, нотка благоговейного трепета звучала в его голосе.

— Принимайте: Вашингтон передает семьсот групп. Лондон просит передать и расшифровать лично. Я бы на вашем месте незамедлительно поставил его в известность: он ведь намерен пробыть там всю ночь. Слушайте, драгоценнейшая, мне до этого нет дела, хотя бы он совещался с английской королевой. Это — молния, и я обязан сообщить ему, так что если вы этого не сделаете, то я... Ох! Ну и сука же!

— Приятно услышать это из ваших уст,— сказал Тэрнер, ухмыльнувшись, что случалось с ним не так уж часто.

— Она, кажется, воображает себя капитаном команды.

— В матче сборная Англии против сборной мира,— подхватил Тэрнер, и оба рассмеялись.

Неужели это все-таки был Прашко — тот, с кем он обедал в «Матернусе»? Если так, значит, не Прашко был постоянным связным, иначе наш дорогой Гартинг, который так ловко умеет заметать следы, не поставил бы это предательское «П» и не стал бы к тому же обедать с Прашко в общественном месте после того, как было приложено столько усилий, чтобы порвать существовавшую между ними связь. Или, может быть, в этом случае между ними, между Прашко и Гартингом, имелся посредник? Или в этот день что-то не сработало в налаженной

системе? «Держись, Тэрнер, не сбивайся в сторону, слушайся простого здравого смысла, одно абсурдное предположение может, запутав, привести тебя к краху. Упорядочи весь этот хаос. Не означает ли «П», что Прашко пожелал увидеться с ним лично, захотел, быть может, предупредить Гартинга, что Зибкрон напал на его след? Увидеться с ним, чтобы приказать ему — такая возможность не исключена,— приказать ему *любой ценой, при любых обстоятельствах* похитить Зеленую папку, а затем скрыться?»

Четверг.

Тэрнер взял ключи и медленно покачал их, надев на палец. Четверг был день встречи... трудный, напряженный день... в этот день он получил предупреждение... это день накануне бегства... день, когда были подведены итоги за предыдущую неделю и получены инструкции на дальнейшее... день, когда он на пять минут одолжил ключи у мисс Парджитер.

Боже милостивый! Неужто он в самом деле спал с Дженни Парджитер? Приходится идти на жертвы...

Бесполезные ключи. Что, собственно, надеялся он из них извлечь? Доступ к желанной секретной сумке? Вздор. Он же наблюдал всю процедуру. Медоуз даже специально инструктировал его. Он отлично знал, что в связке ключей дежурного нет запасного ключа от этой сумки. Ему нужен был ключ от архива? Снова вздор. Достаточно хотя бы раз взглянуть на эту дверь, чтобы понять: тут одним ключом не обойдешься, тут есть запоры понадежней.

Так какой же ему был нужен ключ?

Какой это ключ нужен был ему так позарез, что он поставил на карту всю свою карьеру тайного агента, лишь бы снять слепок с этого ключа? Какой ключ был ему так отчаянно необходим, что он готов был обольстить Дженни Парджитер, рисковал скомпрометировать себя в глазах посольства, да и навлек на себя известное неодобрение, судя по словам Медоуза и Гонта? Какой ключ? Ключ от лифта, чтобы погрузить туда все похищенные папки, запрятать их где-нибудь на чердаке и затем понемногу одну за другой вынести в собственном портфеле? Может, в этом разгадка исчезновения тележки?

Самые фантастические видения начинали возникать перед его глазами. Он видел, как невысокая фигура Гартинга устремляется по темному коридору, толкая перед собой к открытой дверце лифта нагруженную до отказа тележку, видел стопку трясущихся папок на верхней полке тележки и разношерстные случайные предметы — на нижней: пишущую машинку с большой кареткой, исчезнувшую из машинного бюро, кипы писчей бумаги, записные книжки, печать, всевозможные канцелярские принадлежности... Видел «пикап», ожидающий у бокового входа в посольство, и безымянного шефа Гартинга, приотворяющего дверцу. И вдруг воскликнул:

— А пошел ты...— совсем как когда-то, в школьные годы, воскликнул в ту минуту, когда мисс Пит вошла забрать телеграммы, и вздох, вырвавшийся из груди мисс Пит, послужил неоспоримым доказательством ее сексуальной стойкости.

— Ему понадобятся шифровальные книги,— напомнил ей Корк.

— Он, между прочим, неплохо справляется с этого рода работой, благодарю вас.

— Послушайте, что же все-таки происходит, что делается в Брюсселе?

— Слухи.

— Какого рода?

— Если бы они хотели посвятить в это вас, едва ли бы они потребовали личной расшифровки, как вы думаете?

— Вы плохо знаете Лондон,— сказал Тэрнер.

Покидая комнату, мисс Пит умудрилась даже самой своей походкой (чувственно покачивать бедрами — это вульгарно и простонародно, *настоящая* англичанка шагает прямо и неуклюже) выразить всю меру своего презрения к Тэрнеру и его профессии.

— Я мог бы ее придушить,— признался Корк.— Перерезать ее жилистую шею. И не почувствовал бы ни малейшего раскаяния. За все три года, что эта особа здесь работает, я только один раз видел, как она улыбнулась — когда Старик помял свой «роллс-ройс».

Это абсурд. Вне всяких сомнений. Он знал, что это абсурд. Тайные агенты такого калибра, как Гартинг, не занимаются воровством — они собирают сведения, зашифровывают или заучивают наизусть, фотографируют, агенты такого калибра, как Гартинг, действуют расчетливо, по заранее продуманному плану, а не под влиянием вдохновения. Они сегодня так заметают следы, чтобы можно было переждать, а завтра приняться за свой обман снова.

И никогда не позволяют себе явной лжи.

Такой агент не скажет Дженни Парджитер, что спевки хора происходят по четвергам, если она за пять минут может установить, что хор репетирует по пятницам. Он не скажет Медоузу, что ездит на совещания в Бад-Годесберг, в то время как и Брэдфилду и де Лиллу известно, что этого нет и не было уже года два, если не больше. Он не станет, прежде чем удрать, забирать все причитающиеся ему деньги и страховки, что, естественно, должно привлечь к себе внимание. Он не станет работать по ночам, рискуя возбудить любопытство Гонта.

Но *где* работать?

Ему необходимо было уединение. Ибо он занимался ночью тем, чем не мог заниматься днем. Чем же именно? Фотографировал документы, надежно спрятанные в каком-то укромном углу, где он мог запереться от всех на замок? А где спрятана тележка? А где пишущая машинка? Или их исчезновение, как предполагает Медоуз, и вправду не имеет отношения к Гартингу? Пока что на все эти вопросы существовал только один ответ: Гартинг днем спрятал в каком-то тайнике документы, а ночью украдкой сфотографировал их, чтобы на следующее утро положить на место... и не положил. Почему? Почему он их украл?

Тайный агент не крадет. Это правило номер один. Посольство, обнаружив пропажу документов, может перестроить свои планы, пересмотреть или отменить соглашения, немедленно принять десятки всевозможных мер, чтобы предотвратить или хотя бы свести до минимума грозящую опасность. Самая желанная женщина — это та, которая тебе не принадлежит. Только тот обман достигает цели, который никогда не будет раскрыт. Так зачем же красть? Причина была как будто ясна. Гартинг попал в цейтнот. Сколь бы ни были рассчитаны его действия, на всем лежал отпечаток спешки. Почему? У него был строго ограниченный срок? Почему?

«Не спеши, Алан. Осторожнее, Алан. *Постарайся как Тони, Алан*». Как очаровательный, неторопливый, гибкий, ритмичный, весьма сведущий по части анатомии, наш добрый друг Тони Уиллоугби, широко известный во всех привилегированных клубах Лондона и прославившийся своей высокой техникой в любви.

— По правде говоря, я бы предпочел, чтобы первым у нас был мальчик,— сказал Корк.— Понимаете, когда первый раз позади, там уж можно рискнуть и еще. Впрочем, я не сторонник очень многодетных семейств, отнюдь нет. Конечно, если проблемы прислуги для вас

не существует, тогда другое дело. А вы, кстати, не женаты? Ох, простите, я это как-то так...

Предположим на мгновение, что это тайное, отчаянное проникновение в архив явилось результатом дремавших в его душе симпатий, пробужденных к жизни событиями прошедшей осени; предположим, что именно это заставило его действовать. В таком случае, чем диктовалась эта бешеная спешка, какова была ее цель? Вовремя выполнить указание нетерпеливого шефа? Только ли это? Первая стадия прослеживалась легко: Карфельд начал набирать силу в октябре. С этого момента многочисленная нацистская партия стала реальностью; даже возможность нацистского правительства перестала быть утопией. Месяц-другой Гартинг размышляет. Он видит физиономию Карфельда на всех заборах, слышит знакомые лозунги. «Он в самом деле возбуждает желание открыть ворота коммунизму»,— заметил однажды де Лилл... Пробуждение происходит медленно и не без внутреннего сопротивления; старые воспоминания и симпатии погребены глубоко на дне души и не стремятся сразу всплыть. Но вот наступает поворотный момент, решение принято. Быть может, сам, быть может уступая уговорам Прашко, он решается на измену. Прашко требует: Зеленую папку. Добудь нам Зеленую папку, и ты сослужишь великую службу нашему делу. Добудь Зеленую папку к знаменательному дню, к Брюсселю. «Содержание этой папки,— сказал Брэдфилд,— может серьезно подорвать нашу позицию в Брюсселе...».

А может быть, он просто пал жертвой шантажа? Может, этим объяснялась его отчаянная торопливость? Может, он был поставлен перед необходимостью исполнить приказ своего алчного шефа, пригрозившего ему разоблачением каких-то его старых грехов? Этот инцидент в Кёльне, например; быть может, там произошло нечто такое, что могло сильно его скомпрометировать? Женщина, торговля наркотиками? Может, в бытность свою в армии он присвоил казенные деньги? Может, он продавал контрабандное виски и сигареты? Может, он был гомосексуалистом и влип в какую-нибудь грязную историю? Словом, быть может, он пал жертвой одного из тех банальнейших соблазнов, которые погубили карьеру не одного дипломата?

Нет, это не в его характере. Де Лилл прав: во всех действиях Гартинга была решимость, напор, беспощадность, исключающая даже самосохранение, была агрессивность, рвение и целенаправленность, не совместимые с поведением человека подневольного, попавшего в тиски шантажа. В этой второй, тайной жизни, которую пытался сейчас исследовать Тэрнер, Гартинг был не слугой, а господином. Он не был послан — он был призван. Он не был загнан — он сам гнал, охотился, преследовал. В этом по крайней мере между ним и Тэрнером существовала полная тождественность. Но дичь, за которой гнался Тэрнер, имела имя. И был оставлен ясный — хотя бы на первых порах — след. Дальше этот след терялся где-то в рейнском речном тумане. И особенно странным казалось следующее: Гартинг охотился в одиночку и даже не искал себе поддержки, покровителей...

А что, если Гартинг шантажировал Брэдфилда? Тэрнер невольно выпрямился на стуле, когда этот вопрос вдруг возник в его уме. Не этим ли объяснялось уклончивое поведение Брэдфилда? Не потому ли Брэдфилд подыскал ему работу в архиве, смотрел сквозь пальцы на эти отлучки по четвергам, на то, как Гартинг слоняется по всем коридорам с портфелем в руках?

Он еще раз перелистал записную книжку и подумал: «Начнем с основного вопроса... Не будем спрашивать, почему Христос был рожден в рождественскую ночь — спросим, был ли он рожден вообще. Почему вообще четверги? Почему послеобеденное время? Почему такая

регулярность? Сколь бы ни был он дерзок, почему все же эти встречи со связным днем, в рабочие часы, в Годесберге, когда его отсутствие в посольстве влекло за собой по меньшей мере необходимость лжи? Ведь это же все нелепо». Вздор, Тэрнер, все твои рассуждения вздорны. Гартинг мог встречаться с нужным ему лицом в любое время. Ночью в Кёнигсвинтере; на лесистом склоне Петерсберга; в Кёльне, в Кобленце и даже за пограничной чертой — в Люксембурге или в Голландии в нерабочие дни, когда не пришлось бы давать никаких объяснений, ни правдивых, ни ложных, ибо они никого не интересовали.

Тэрнер швырнул на стол карандаш и громко выбранился.

— Что-нибудь не ладится? — спросил Корк. Все машины его отчаянно трещали, и Корк бегал от одной к другой, утихомиривая их, как голодных детей.

— Ничего, достаточно хорошенько помолиться, и все пойдет на лад,— сказал Тэрнер, припомнив вдруг, что сказал он утром Гонту.

— Если хотите послать телеграмму,— бесстрастно предупредил его Корк,— советую поспешить.— Он быстро переходил от одного аппарата к другому, нажимая на кнопки, вытягивая бумажную ленту, словно видел свою главную задачу в том, чтобы не давать машинам ни секунды бездействовать.— Похоже, что в Брюсселе, того и гляди, все полетит к черту. Гунны грозят покинуть зал заседания, если мы не повысим наши вложения в Сельскохозяйственный фонд. Холидей-Прайд считает это просто предлогом. Если события будут разворачиваться с такой быстротой, я закажу билеты на самолет на июнь месяц.

— Предлогом для чего?

Корк прочел сообщение вслух:

— «Удобная лазейка, чтобы покинуть Брюссель, пока в Федеративной Республике положение не нормализуется».

Тэрнер зевнул и отодвинул от себя телеграфные бланки.

— Я пошлю свою телеграмму завтра.

— Сейчас уже и есть завтра,— мягко напомнил ему Корк.

«Если бы я курил, я бы выкурил одну из твоих сигар. Немножко нирваны мне бы сейчас не повредило,— подумал он.— Если я не могу добраться ни до одной из девочек, мне бы хоть сигару, что ли». Он знал, что все его построения от начала и до конца неверны.

Все рассыпалось, концы с концами не сходились, ничто не объясняло одержимости, ничто ничего не объясняло. Он выковал цепочку, ни одно звено которой не желало сцепиться с другим. Уронив голову на руки, он дал им волю, всем этим фуриям, наблюдал и смотрел, как они уродливой процессией медленно проходят перед его истерзанным воображением: безликий Прашко, матерый резидент, руководящий со своего неуязвимого парламентского кресла целой сетью шпионов-эмигрантов. Зибкрон, своекорыстный страж общественной безопасности, подозревающий посольство в причастности к многостороннему заговору в пользу России, попеременно то охраняющий, то преследующий тех, на кого падает его подозрение. Брэдфилд, ригорист, педант, аристократ, презирающий сотрудников разведки и покрывающий их; непроницаемый, несмотря на свою явную причастность к преступлению, обладатель ключей от архива и канцелярии, от лифта, от спецсумки, бодрствующий всю ночь и готовый наутро отбыть в Брюссель. Прелюбодействующая Дженни Парджитер, повинная в куда более страшном преступлении, на которое ее толкнула иллюзорная страсть, уже запятнавшая ее имя в глазах всех сотрудников посольства. Медоуз, ослепленный безответной отеческой любовью к Гартингу, кладущий, презрев риск, последнюю из сорока папок на тележку. Де Лилл, интеллектуал

и гомосексуалист, вступающий в борьбу, чтобы помочь Гартингу предать своих друзей. Стократно увеличенные, нелепо искаженные, они маячили перед ним, надвигались, извиваясь, сплетаясь в непотребном танце, и таяли перед лицом его собственных иронических опровержений. Те факты, которые всего несколько часов назад, казалось, приоткрывали перед ним завесу истины, теперь отбрасывали его в непроглядную тьму сомнений.

Шагая по коридору, совсем больной от усталости и тошнотного головокружения, он еще раз задал себе вопрос: «Какие секреты хранит в себе таинственная Зеленая папка? И кто, черт побери, расскажет мне об этом, мне, Тэрнеру, временному человеку здесь».

С полей тянуло туманом, он стлался по шоссе, словно дым, и оно тускло поблескивало под серыми дождевыми облаками. Колеса машин надсадно скрипели на влажном асфальте. Назад, в свой серый склеп, устало подумал Тэрнер. Охота кончена — на сегодня. И никакой хорошенький херувимчик не подарит себя этой старой безволосой обезьяне. Однако если след оборвался, это еще не конец и еще рано делать из меня отступника.

Ночной портье в «Адлере» поглядел на него с сочувствием.

— Удалось немножко развлечься? — спросил он, протягивая ему ключ от номера.

— Не особенно.

— Надо бы вам съездить в Кёльн. Это наш Париж.

На спинку кресла был аккуратно повешен смокинг де Лилла с приколотым к рукаву конвертом. На столе стояла бутылка виски.

«Если Вам непременно хочется поглядеть на это владение,— прочел Тэрнер,— я могу заехать за Вами в среду в пять утра». В постскриптуме содержалось пожелание приятно провести вечер у Брэдфилдов и шутливое предостережение не закапать томатным супом отвороты смокинга, дабы не дать повода к каким-либо кривотолкам относительно цвета политических убеждений его владельца, тем более, добавлял он как бы между прочим, что среди приглашенных, видимо, будет герр Людвиг Зибкрон из федерального министерства внутренних дел.

Тэрнер открыл кран ванны, взял с полки над раковиной стакан, до половины наполнил его виски. Почему это де Лилл вдруг пошел ему навстречу? Из сострадания к заблудшей душе? Боже упаси. И раз уж эта ночь отдана во власть бессмысленных вопросов, то почему его позвали на эту встречу с Зибкроном? Он лег в постель и в полудремоте пролежал до полудня: ему мерещился Борнмут и островерхие, неприступные ели на голых утесах Брэнксома, и он слышал голос жены, упаковывавшей детские вещи в чемодан: «Я пойду своей дорогой, ты — своей, и поглядим, кому из нас посчастливится первому проникнуть в рай», и безутешные рыдания Дженни Парджитер, взывавшей к сочувствию в безлюдной пустыне мира. «Не беспокойся, Артур,— подумал он сквозь дремоту,— я не трону Майры даже ради спасения своей души».

10. «Kultur» у Брэдфилдов

Вторник. Вечер

— Вы должны решительнее запрещать им, Зибкрон,— отважно, хотя и несколько сипло, заявил герр Зааб после изрядной порции бургундского.— Это полоумные идиоты, Зибкрон. Турки.— Зааб уже перепил и перекричал всех, вызвав общее неловкое молчание. Только его жена — миниатюрная белокурая куколка неопределенной национальности

с мило обнаженной нежной грудью — как ни в чем не бывало продолжала одарять его восторженными взглядами. Остальные гости, истомленные скукой и лишенные возможности отмщения, медленно умирали от тоски под гром обличительных речей герра Зааба. Официант и официантка в венгерских национальных костюмах осторожно двигались за спинами гостей, словно в больничной палате, явно получив указание (в этом Тэрнер ни секунды не сомневался) уделять герру Людвигу Зибкрону больше внимания, чем всем остальным пациентам, вместе взятым. В его бледных, увеличенных очками, лишенных всякого выражения глазах, казалось, едва теплилась жизнь; бледные руки, точно две салфетки, лежали по обе стороны прибора; мертвенная неподвижность его позы словно бы говорила: он ждет — сейчас его положат на носилки, поднимут и понесут.

Четыре серебряных подсвечника с восьмиугольным основанием, и, если верить папаше Брэдфилда, весьма недурной марки — Поль де Ламери, год 1729,— ниточкой бриллиантовых огней соединяли Хейзел Брэдфилд с ее супругом, сидевшим по другую сторону длинного стола.

Тэрнера посадили где-то посередине между ними; смокинг де Лилла стягивал его, словно железный корсет. Даже рубашка и та была мала. Ее достал ему старший посыльный отеля в Бад-Годесберге, и Тэрнер заплатил за нее столько, сколько ему еще не приходилось платить ни за одну рубашку на свете, а теперь она душила его, и кончики крахмального воротничка впивались в шею.

— Они уже стекаются со всех сел и деревень. Их на этой чертовой рыночной площади должно собраться около двенадцати тысяч. И они строят Schaffott.— Английский язык и на этот раз подвел его.— Как, черт побери, это перевести? — вопросил он, обращаясь ко всем присутствующим сразу.

Зибкрон пошевелился, словно его оживили глотком воды.

— Помост,— пробормотал он, и его угасающий взор метнулся в сторону Тэрнера, вспыхнул на мгновение и снова потух.

— Это фантастика — как Зибкрон знает английский язык!—возликовал Зааб.— Днем Зибкрон — Пальмерстон, ночью он — Бисмарк. Сейчас вечер, и он, как видите, совмещает в себе и того и другого... Помост. Даст бог, они установят на нем виселицу для этого сволочного типа. Вы слишком к нему снисходительны, Зибкрон.— Он поднял бокал и предложил пространный тост за Брэдфилда, отягощенный мало подходящими к случаю комплиментами.

— И Карл-Гейнц тоже фантастически знает английский,— пролепетала фарфоровая куколка.— Ты слишком скромен, Карл-Гейнц. У него язык такой же хороший, как у герра Зибкрона.

Фрау Зааб было совершенно наплевать на Зибкрона. Да, в сущности, и на любого мужчину, чьи достоинства ставились выше, чем достоинства ее супруга. Ее реплика оборвала нить разговора, и он упал, как воздушный змей, и даже у Зааба уже не хватало сил запустить его снова.

— Вы сказали: запретите ему.— Зибкрон взял серебряные щипцы для орехов; его пухлая рука медленно поворачивала их перед пламенем свечи, отыскивая какое-нибудь предательское несовершенство. Стоявшая перед ним тарелка была безупречно очищена от остатков пищи — словно вылизанное языком блюдечко кошки. Он был бледный, холеный, угрюмый, примерно одного возраста с Тэрнером и чем-то напоминал метрдотеля или директора гостиницы — человека, привыкшего ходить по чужим коврам. Лицо у него было округлое, но жесткое, и рот жил на этом лице своей обособленной жизнью — губы размыкались, чтобы выполнить ту или иную функцию, и смыкались снова, чтобы выполнить другую. Слова не служили ему средством выражения, а лишь средством

вызвать на разговор других, за ними таился безмолвный допрос, начать который мешала усталость или холодное глубокое равнодушие омертвелого сердца.

— Ja. Запретите ему,— повторил Зааб, навалившись грудью на стол, чтобы все могли лучше слышать.— Запретите всякие там митинги, демонстрации. Запретите это все. Как коммунистам, которые только тогда, черт побери, и понимают... «Зибкрон? Sie waren ja auch in Hanover!»* Да, и Зибкрон был там! Почему он не запретил все это? Ведь это же какие-то дикие звери — все они там. И они набирают силу, nicht wahr **, Зибкрон? Великий боже, у меня тоже есть кое-какой опыт.— Зааб был человек немолодой и как журналист сотрудничал в свое время во многих газетах, но большинство из них исчезли с лица земли, когда окончилась война. Какого сорта опыт довелось приобрести герру Заабу в те времена, ни у кого не вызывало сомнения.— Но у меня никогда не было ненависти к англичанам. Вы можете подтвердить это, Зибкрон. Das können Sie ja bestätigen. Двадцать лет я писал об этой сумасшедшей стране. Я был критичен — чертовски критичен порой,— но я никогда не был против англичан. Нет, никогда не был,— заключил он свою речь, так невнятно пробормотав последние слова, что это сразу поставило под сомнение все им сказанное.

— Карл-Гейнц фантастически за англичан,— произнесла его куколка-супруга.— Он ест по-английски, пьет по-английски.— Она вздохнула, словно давая понять, что и остальная его деятельность также носит несколько английский характер. Эта куколка довольно много ела; она еще продолжала что-то пережевывать, а крошечная ручка уже брала очередной кусок, готовясь отправить его в рот.

— Мы перед вами в долгу, Карл-Гейнц,— с тяжеловесной веселостью сказал Брэдфилд.— Да продлится ваша деятельность многие лета.— Он лишь полчаса назад возвратился из Брюсселя и за столом почти все время не спускал глаз с Зибкрона.

Миссис Ванделунг, жена голландского советника, уютно закутала в меховую накидку свои внушительные плечи и самодовольно сообщила:

— Мы ездим в Англию каждый год. Наша дочка учится в школе в Англии, и наш сын учится в школе в Англии...— Она продолжала лепетать. Все, что она любит, чем дорожит, чем восхищается,— все так или иначе имеет отношение к Англии. Ее скелетообразный муж коснулся прелестного запястья Хейзел Брэдфилд и кивнул, засветившись отраженным восторгом:

— Всегда! — прошептал он, словно заклятие.

Хейзел Брэдфилд, выйдя из задумчивости, улыбнулась ему довольно мрачно, не сводя все еще отрешенного взгляда с серой руки, касавшейся ее запястья.

— Как вы милы сегодня, Бернард,— сказала она любезно.— Берегитесь, дамы могут приревновать вас ко мне.— Однако шутка прозвучала не слишком ободряюще — в голосе сохранилась неприятная, резковатая нотка!

«Эта не из тех,— подумал Тэрнер, перехватив злой взгляд, который она метнула на Зааба, снова пустившегося в рассуждения,— кто умеет быть милосердным к своим менее ослепительным сестрам. Между прочим, очень возможно, что я сижу на том самом стуле, на котором некогда сидел Лео? — продолжал он размышлять.— И ем то, что предназначалось для него? Впрочем, нет, по вторникам Лео сидел дома... к тому же его не приглашали сюда ужинать — только выпить»,— напомнил он себе, поднимая бокал в ответ на предложенный герром Заабом тост.

---

* Вы тоже были в Ганновере! *(нем.)*.

** Разве не так *(нем.)*.

— Брэдфилд, вы лучший из лучших. Ваши предки сражались при Ватерлоо, а ваша жена прекрасна, как королева. Вы лучший из лучших в британском посольстве, и вы не привечаете проклятых американцев или проклятых французов. Вы славный малый. Французы все подонки,— заключил Зааб, ко всеобщему смятению, и в столовой на миг воцарилась испуганная тишина.

— Боюсь, что это не слишком лояльно, Карл-Гейнц,— сказала Хейзел, и откуда-то с того конца стола, где она сидела, долетел негромкий смешок — его издала пожилая, ничем не примечательная Gräfin *, приглашенная в последнюю минуту в пару к Тэрнеру. Резкая струя электрического света неожиданно прорезала приятный полумрак: официанты-венгры, словно ночная смена, промаршировали из кухни к столу и с небрежной лихостью очистили его от приборов и бутылок.

Зааб еще грузнее налег на стол, уставив толстый и не слишком чистый палец в почетного гостя.

— Понимаете, наш приятель Людвиг Зибкрон — чертовски странный малый. Все мы — в прессе — восхищаемся им, потому что он, черт побери, остается для нас неуловимым, а журналисты преклоняются только перед тем, что не дается им в руки. А вы знаете, почему он для нас неуловим?

Собственный вопрос сильно позабавил Зааба. Он торжествующе поглядел на всех. Лицо его сияло.

— Потому что он, черт побери, слишком занят своим дорогим другом и... Kumpan.— Он щелкнул пальцами, беспомощно подыскивая слово.— Kumpan,— повторил он.— Kumpan?

— Собутыльником,— подсказал Зибкрон.

Зааб растерянно воззрился на него, огорошенный помощью, пришедшей с такой неожиданной стороны.

— Собутыльником,— пробормотал он.— Клаусом Карфельдом.

И умолк.

— Карл-Гейнц, тебе надо запомнить, как будет Kumpan по-английски,— нежно проворковала его супруга, и он галантно улыбнулся ей в ответ.

— Вы приехали погостить у нас, мистер Тэрнер? — спросил Зибкрон, обращаясь к щипцам для орехов. Внезапно Тэрнер оказался в луче прожекторов, и ему померещилось, что Зибкрон встал со своего больничного ложа и приготовился произвести редкую хирургическую операцию в порядке частной практики.

— Всего на несколько дней,— сказал Тэрнер.

Их диалог не сразу привлек внимание присутствующих, так что некоторое время они разговаривали как бы с глазу на глаз, в то время как остальные продолжали прежнюю беседу. Брэдфилд рассеянно перебрасывался отрывочными фразами с Ванделунгом. До слуха Тэрнера долетело упоминание о Вьетнаме. Зааб, неожиданно возвратившись на поле сражения, подхватил эту тему и тут же целиком присвоил ее себе.

— Янки будут драться в Сайгоне,— объявил он,— но они не станут драться в Берлине.— Голос его звучал все громче и агрессивнее, но Тэрнер слушал его лишь краем уха — его внимание было сосредоточено на немигающем взгляде Зибкрона, устремленном на него как бы из полумрака.— Ни с того ни с сего янки вдруг помешались на самоопределении. Почему бы им не заняться этим хоть немножко в Восточной Германии? Все борются за права этих чертовых негров. Все сражаются за эти чертовы джунгли. Может, зря мы не втыкаем себе перья в волосы? —

* Графиня *(нем.)*.

Он, казалось, старался раздразнить Ванделунга, но безуспешно. Серая кожа старого голландца оставалась гладкой, как хорошо отполированная крышка гроба, и было ясно, что никакие эмоции уже не могут пробиться сквозь нее на поверхность.— Может, жаль, что в Берлине у нас не растут пальмы? — Он сделал паузу и громко отхлебнул вина.— Вьетнамская война — дерьмо.

— Война — это кошмар! — внезапно возопила Gräfin.— Мы лишились всего! — Но ее реплика пропала впустую, ибо уже был поднят занавес: герр Людвиг Зибкрон приготовился говорить, положив в знак изъявления своей воли щипцы для орехов на место.

— А откуда вы, мистер Тэрнер?

— Из Йоркшира.— Воцарилась тишина.— Войну я провел в Борнмуте.

— Герр Зибкрон имел в виду — из какого вы ведомства,— сухо пояснил Брэдфилд.

— Из министерства иностранных дел,— сказал Тэрнер.— Как и все прочие,— добавил он и равнодушно поглядел на своего собеседника.

Белые глаза Зибкрона никогда не выражали ни осуждения, ни одобрения, они просто выжидали момента, когда будет удобнее вонзить скальпель.

— А можно ли поинтересоваться, какой именно отдел министерства имеет счастье пользоваться услугами мистера Тэрнера?

— Тот, что занимается исследованиями.

— Мистер Тэрнер, кроме того, известный альпинист,— донесся из другого угла комнаты голос Брэдфилда, и фарфоровая куколка изумленно воскликнула в сексуальном экстазе:

— Die Berge!* — Покосившись в ее сторону, Тэрнер заметил, как фарфоровая ручка потянула вниз бретельку платья, словно намереваясь в упоении совсем спустить ее с плеча.— Карл-Гейнц...

— В будущем году, дорогая,— негромко прогудел умиротворяющий баритон ее супруга,— в будущем году мы отправимся в горы.

Зибкрон улыбнулся Тэрнеру так, словно приготовил шутку, которую они оба могут оценить.

— Но в настоящее время мистер Тэрнер спустился с гор в долину. Вы остановились в Бонне, мистер Тэрнер?

— В Годесберге.

— В отеле, мистер Тэрнер?

— В «Адлере». Десятый номер.

— И какого же рода исследования, позвольте вас спросить, ведутся из десятого номера отеля «Адлер».

— Людвиг, друг мой,— снова вмешался Брэдфилд, шутливость его тона звучала не слишком убедительно,— думаю, вам достаточно одного взгляда, чтобы распознать тайного агента. Алан Тэрнер — наша Мата Хари, он развлекает наше правительство в своей спальне.

«Хорошо смеется тот, кто смеется последний»,— было отчетливо написано на лице Зибкрона. Он подождал, пока смех утихнет.

— Алан,— спокойно повторил он.— Алан Тэрнер из Йоркшира, сотрудник управления по исследованию международных проблем министерства иностранных дел Великобритании, временно проживающий в отеле «Адлер», известный альпинист. Вы должны извинить мое любопытство, мистер Тэрнер. Мы сейчас, знаете ли, все как на иголках здесь, в Бонне, и поскольку я, на мою беду, несу ответственность за персональную безопасность всех сотрудников британского посольства, мой особый

---

* Горы *(нем.)*.

интерес к людям, охрана которых поручена мне, вполне понятен. О вашем пребывании здесь консульство было, без сомнения, поставлено в известность? Должно быть, эта их сводка как-то ускользнула от моего внимания.

— Он был зарегистрирован у нас в качестве технического сотрудника,— сказал Брэдфилд, уже не скрывая своего раздражения учиненным ему в присутствии гостей допросом.

— Как благоразумно,— произнес Зибкрон.— Насколько проще, чем какие-то исследования. Он ведет себе исследования, а вы регистрируете его как технического сотрудника. А ваши технические сотрудники все по мере сил занимаются исследованиями. Крайне несложная механика. И что же, ваши исследования носят практический характер, мистер Тэрнер? Статистика? Или что-то более близкое к науке, чисто академическое, так сказать?

— Исследования вообще.

— Ага, исследования вообще. Широкие полномочия. Большая ответственность. Вы задержитесь здесь надолго?

— На неделю. Быть может, дольше. Зависит от того, сколько времени потребуется на выполнение задания.

— Задания по исследованиям? Так-так. У вас, значит, имеется задание. А я подумал было, что вы здесь замещаете кого-то другого, Ивена Уолдебира, например. Он занимался исследованиями в области торговли. Или Питера Мак-Криди — тот занимался наукой? Или Гартинга. Вы случайно не замещаете Лео Гартинга? Такая жалость, что его больше нет. Ведь это один из ваших старейших и особенно ценных сотрудников.

— О! Гартинг! — воскликнула миссис Ванделунг, услыхав это имя, и было ясно, что у нее на сей предмет есть что сказать.— Вы знаете, какие сейчас идут толки? Что Гартинг пьянствует в Кёльне. У него бывают запои, понимаете? — Она явно была на седьмом небе оттого, что приковала к себе всеобщее внимание.— Всю неделю он сущий ангелочек, играет на органе и поет в хоре, как истый христианин. А с субботы на воскресенье отправляется в Кёльн и затевает там драки с немцами. Это настоящий доктор Джекиль и мистер Хайд,* уверяю вас! — Она рассмеялась, в ее тоне не чувствовалось осуждения.— Да, да, он очень испорченный, этот Гартинг. Роули, вы помните, конечно, Андре де Хоога? Ему рассказал все это кто-то из здешней полиции: Гартинг устроил страшную потасовку в Кёльне. В ночном баре. Из-за какой-то женщины легкого поведения. Да, да, он очень загадочная личность, уверяю вас. А теперь у нас некому играть на органе.

Зибкрон повторил свой вопрос, развеяв сгустившуюся таинственность.

— Я никого не замещаю,— ответил Тэрнер и услышал откуда-то слева голос Хейзел Брэдфилд, холодный, но вибрирующий от сдержанного гнева:

— Миссис Ванделунг, вы знаете наши глупые английские обычаи, мужчины — так уж повелось — должны теперь поговорить без нас.

Хотя и не слишком охотно, дамы удалились.

Брэдфилд подошел к буфету, где на серебряных подносах стояли графины с вином; венгры подали кофе в великолепном кувшине, и, не оцененный никем, он в гордом одиночестве возвышался в конце стола, где прежде сидела Хейзел. Старикашка Ванделунг, погрузившись в воспоминания, стоял возле балконной двери и глядел на уплывающий вниз

* Персонажи романа Р. Л. Стивенсона «Странная история д-ра Джекиля и мистера Хайда» — как бы две противоположные сущности, воплощенные в одном лице.

во мрак травянистый склон, на котором играли отраженные огни Бад-Годесберга.

— Сейчас нам подадут портвейн,— заверил всех Зааб.— У Брэдфилдов это всегда фантастически роскошная штука! — Он решил на этот раз избрать своей жертвой Тэрнера.— Вы женаты, мистер Тэрнер?

Брэдфилд занял за столом место Хейзел и передвигал сидящим от него по левую руку два подносика с вином, изящно скрепленные друг с другом серебряным жгутиком.

— Нет,— сказал Тэрнер так, словно швырнул в собеседников увесистым булыжником: принимай, кто хочет. Но Зааб был глух к интонациям голоса, он слышал только самого себя.

— Безумие! Англичане должны размножаться! Младенцев! И как можно больше! Продолжайте культуру! Англия, Германия и Скандинавия! К черту французов, к черту американцев, к черту африканцев. Klein-Europa*, вы меня понимаете, Тэрнер? — Он поднял сжатую в кулак руку.— Нам нужны добротные и крепкие. Те, что умеют думать и говорить. Я еще не совсем идиот. Вы знаете, что это значит — Kultur?— Он отхлебнул вина и завопил: — Фантастика! Лучше не бывает! Люкс! Экстралюкс! Какая это марка, Брэдфилд? Наверняка «Кокберн», только Брэдфилд вечно любит со мной спорить.

Брэдфилд был в нерешительности — вот ведь дилемма! Он поглядел на рюмку Зааба, потом на графины, потом снова на рюмку Зааба.

— Я очень рад, что вино понравилось вам, Карл-Гейнц,— сказал он.— Я склонен думать, между прочим, что вы пьете сейчас мадеру.

Ванделунг, все еще стоявший у балконной двери, рассмеялся. Смех был хриплый, злорадный и не смолкал очень долго, сотрясая сухонькое тельце с каждым вдохом и выдохом дряхлых легких.

— Ну что ж, Зааб,— промолвил он наконец, медленно возвращаясь к столу,— быть может, вы заодно завезете немножко культуры и к нам, в Нидерланды?

Он расхохотался снова, словно школьник, прикрывая подагрической узловатой рукой дырки между зубами во рту, и в этот миг Тэрнер почувствовал, что ему жаль Зааба и плевать он хотел на Ванделунга.

Зибкрон пить не стал.

— Вы были сегодня в Брюсселе. Надеюсь, ваша поездка была удачной, Брэдфилд? Я слышал, возникли новые трудности. Я очень огорчен. Мои коллеги утверждают, что Новая Зеландия представляет серьезную проблему.

— Овцы! — вскричал Зааб.— Кто станет есть овец? Англичане устроили себе там овечью ферму, а теперь никто не хочет есть этих овец.

Брэдфилд проговорил еще более неторопливо, размеренно:

— Никаких новых проблем не возникло перед нами в Брюсселе. Оба вопроса — и о Новой Зеландии и Сельскохозяйственном фонде — не стоят на повестке дня уже не первый год. Это не те вопросы, которые нельзя было бы уладить между друзьями.

— Между добрыми друзьями... Будем надеяться, что вы окажетесь правы. Будем надеяться, что дружба достаточно крепка и затруднения достаточно ничтожны. Будем на это надеяться.— Взгляд Зибкрона снова упал на Тэрнера.— Итак, Гартинг пропал,— заметил он и сложил ладони, словно для молитвы.— Какая потеря для нашего общества. Прежде всего — для нашего храма.— И, глядя Тэрнеру прямо в глаза, он добавил: — Мои коллеги сообщили мне, что вы знакомы с мистером Сэмом Аллертоном, известным английским журналистом. Как я понял, вы беседовали с ним сегодня.

* Малая Европа *(нем.)*.

Ванделунг налил себе мадеры и нарочито смаковал ее, словно дегустируя. Зааб, помрачневший и угрюмый, поглядывал на всех поочередно, мало что понимая в происходящем.

— Какая странная фантазия взбрела вам на ум, Людвиг! Что значит — Гартинг пропал? Он в отпуске. Невозможно вообразить, откуда берутся все эти идиотские слухи. Единственная вина бедняги в том, что он забыл предупредить капеллана.— Смех Брэдфилда прозвучал довольно искусственно, однако ему нельзя было отказать в самообладании.— Он взял отпуск по семейным обстоятельствам. Это непохоже на вас, Людвиг: вы всегда так хорошо информированы, а на сей раз я просто удивлен.

— Вот видите, мистер Тэрнер, с какими трудностями мне приходится сталкиваться здесь. На свою беду, я несу ответственность за соблюдение порядка среди гражданского населения во время демонстраций. Я отвечаю перед министром. Роль моя самая скромная, но тем не менее ответственность лежит на мне.

В его скромности был оттенок благочестия. Казалось, надень на него стихарь, и перед вами один из певчих церковного хора, которым руководил Гартинг.

— Мы ожидаем, что в пятницу состоится небольшая демонстрация. К сожалению, среди определенных, не очень многочисленных слоев населения англичане не пользуются сейчас особой популярностью. Надеюсь, вы сумеете оценить мои усилия, направленные к тому, чтобы никто, решительно никто не понес ущерба. Отсюда вам должно быть понятно мое стремление знать местонахождение каждого лица. Чтобы иметь возможность оберегать. Однако мистер Брэдфилд, бедняга, частенько так перегружен работой, что не ставит меня в известность об этом.— Он сделал паузу и поглядел на Брэдфилда: один короткий взгляд — и все.— Но я не *укоряю* мистера Брэдфилда за то, что он не все сообщает мне. Зачем ему это делать? — Жест бледных рук, демонстрирующий снисхождение.— Существует немало мелких и два-три крупных факта, о которых Брэдфилд мне не сообщил. Да и зачем? Это шло бы вразрез с его профессией дипломата. Вы согласны со мной, мистер Тэрнер?

— Это не по моей части.

— Но по моей. Извольте, я разъясню, что происходит. Мои коллеги — люди наблюдательные. Они поглядывают по сторонам, подсчитывают, замечают, что кого-то не хватает. Они начинают наводить справки, опрашивать слуг или, скажем, друзей и узнают, что это лицо исчезло. Это сообщение тотчас вызывает у меня беспокойство. И у моих коллег — тоже. Мои коллеги — весьма отзывчивые люди. Им неприятно думать, что человек мог потеряться. Разве это не естественное движение человеческой души? Многие из моих коллег еще совсем юноши, почти подростки. Гартинг отбыл в Англию?

Вопрос был поставлен в лоб — Тэрнеру. Но Брэдфилд взял ответ на себя, и Тэрнер благословил его за это в душе.

— У него семейные дела. Мы, разумеется, не уполномочены обнародовать их. В мои намерения не входит выворачивать наизнанку личную жизнь человека для того, чтобы вы могли пополнить свои досье.

— Превосходная установка, достойная подражания, нам всем следует исходить из нее. Вы слышали это, мистер Тэрнер? Какой смысл в бумажной слежке? Какой в ней смысл?

— Боже милостивый, почему вы уделяете столько внимания Гартингу? — скучающим тоном спросил Брэдфилд, словно все это были шутки, которые ему приелись.— Меня удивляет, что вы вообще осведомлены о его существовании. Идемте выпьем кофе.

Он встал, но Зибкрон не шелохнулся.

— Ну, *разумеется,* мы осведомлены о его существовании,— заявил

он.— Мы восхищены его работой. Мы в самом деле восхищены. В таком учреждении, как возглавляемое мною, изобретательность мистера Гартинга снискала ему много поклонников. Мои коллеги говорят о нем неустанно.

— Не понимаю, что вы имеете в виду.— У Брэдфилда покраснели щеки, он был не на шутку рассержен.— О чем, собственно, вы говорите? О какой его работе?

— Ему, понимаете ли, приходилось общаться с русскими,— пояснил Зибкрон, повернувшись к Тэрнеру.— В Берлине. Это, понятно, было давно, но я не сомневаюсь, что он многое от них воспринял, как вы считаете, мистер Тэрнер?

Брэдфилд поставил графины на поднос и ждал у дверей, пропуская гостей вперед.

— Так про какую же все-таки работу вы толковали?—без обиняков спросил Тэрнер, когда Зибкрон неохотно поднялся со стула.

— Про исследования. Самые обыкновенные исследования вообще, мистер Тэрнер. Видите, это полностью по вашей части. Очень приятно сознавать, что у вас с Гартингом так много общих интересов. Собственно, именно поэтому я и спросил вас, не предполагаете ли вы заместить его. Мои сотрудники поняли со слов мистера Аллертона, что у вас очень много общего с Гартингом.

Когда они прошли в гостиную, Хейзел Брэдфилд вскинула на мужа глаза — в них читалась отчаянная тревога. Все четыре гостьи разместились на одном диване. Миссис Ванделунг держала в руках вышивание по рисунку; фрау Зибкрон, вся в черном, как монахиня, самоуглубленно и зачарованно смотрела на огонь камина, сложив руки на коленях. Gräfin угрюмо потягивала коньяк из весьма вместительной рюмки, вознаграждая себя за пребывание в нетитулованном обществе. Два маленьких пятнышка алели на ее иссохших скулах, словно цветки мака на поле брани. И только миниатюрная фрау Зааб улыбнулась входящим, блистая заново припудренной грудью.

Тэрнер с завистливым восхищением прислушивался к светской болтовне Брэдфилда. Этот человек не ждал помощи ни от кого. Глаза у него запали от усталости, но он вел беседу столь же непринужденно и столь же беспредметно, как если бы находился на отдыхе вдали от всех забот и дел.

— Мистер Тэрнер,— негромко проговорила Хейзел Брэдфилд.— Мне нужна ваша помощь в одном небольшом деле. Могу я отвлечь вас на минуту?

Они остановились на застекленной веранде. На подоконниках стояли цветы в горшках, валялись теннисные ракетки. На кафельном полу — детский трактор, дощечка — скакалка с пружиной и подпорки для цветов. Откуда-то веяло запахом меда.

— Насколько я понимаю, вы наводите справки относительно Гартинга,— проговорила Хейзел. Тон был резкий, властный. Супруга Брэдфилда была вполне ему под стать.

— Я навожу справки?

— Роули совершенно извелся от тревоги, и я убеждена, что причина этого — Лео Гартинг.

— Понимаю.

— Он не желает разговаривать на эту тему, но лишился сна. За последние три дня он не перемолвился со мной ни словом. Дело уже дошло до того, что он порой посылает мне записки через третьих лиц. Полностью отключился от всего, кроме работы. Нервы его напряжены до предела.

Но рука пана Фольтэна в тот раз была еще щедрее, и мы постарались угодить ему, как только могли.

— Знаешь что, Папочка,— говорю я,— давай, я тебе сделаю стадо овец со свирелью и песнью любви, всякие «бе» да «ме» и мечту любви — это как раз для меня. А ты за это положи на музыку мое «О горе, горе!» Ты ведь прямо создан для «О горе!» и хора жен и матерей, а пан Фольтэн не догадается, кто что писал.

Песнь любви получилась у меня такая, что добродетельный Папочка только краснел — такое это было воркование и страстные стоны.

— Послушай,— защищался он,— я не могу ему это отдать, ведь он меня засмеет. Разве похоже, что я мог такое сочинить?

Зато с каким совершенством сконтрапунктировал он «О горе!» как cantus firmus; многоголосье оттенялось легким эхо, и все завершалось протяжной монотонностью звучащих в унисон альтов, так что мороз подирал по коже.

Когда мы сдали пану Фольтэну работы, он не скрыл своего удовлетворения; только на Папочку он глянул почти с укором, бегло просмотрев мою пастораль.

— Холодная музыка,— сказал он с сожалением.— Разработка отличная, но совершенно без страсти.

— Да,— промямлил несчастный Папочка. Вот прицепился к нему наш меценат!

— Вы еще не любили, не так ли?

— Да,— шептал Папочка, как кающийся грешник.

— Это ошибка,— заявил пан Фольтэн.— Артист должен, должен любить — страстно, неукротимо, безудержно...

— Да,— снова выдохнул Папочка и в ужасе заморгал своими глазками; он, видимо, боялся, что к следующему разу наш меценат потребует от него доказательств безудержной страсти. Вместо этого ему была поручена тема «девы, идущей с амфорой к колодцу». У него отлегло от сердца — тема была как раз для него. Мне достался речитатив герольда, возвещающего о войне, а Ладичке — любовный дуэт пастуха Эзрона с какой-то Юдифью. Дуэт сочинил я, а Ладичка обработал герольда, потому что любил фанфары; он добавил туда шесть трубачей. «Шесть труб, голубчик,— наслаждался он,— это уже что-то!»

Пан Фольтэн чуть ли не обнимал нас, когда мы принесли ему свои партитуры. Он был настроен по-отечески и, видимо, очень доволен.

— Эти листы, юноши, я спрячу до тех дней, когда из вас вырастут великие музыканты. Я вижу, вы прогрессируете.

Мы его и правда любили. Он был великодушен и страстно обожал музыку — чего еще можно требовать от человека? Он стал расспрашивать нас, как мы живем, с кем встречаемся и тому подобное.

— Это не годится, юноши,— произнес он энергически,— пожалуй, мне надо ввести вас в свет. Большой художник должен уметь вращаться в самом высшем обществе. Он должен быть как князь. Настанет время, когда вы будете сидеть за одним столом с королями и любить благороднейших принцесс...

Папочка вытаращил в ужасе глаза, зато Ладичка только подмигнул, будто хотел сказать: что касается принцесс, так я хоть сейчас.

— Знаете что,— продолжал пан Фольтэн,— у меня тут почти каждую неделю собирается музыкальное общество. Выдающиеся артисты, интеллектуалы, критики... Совершенно интимное общество, но вам бы эти люди могли оказаться полезны, а? Вы приобретете ряд знакомств — артисту это необходимо. И вам откроется путь к успеху. Какие у вас костюмы?

Оказалось, что все лучшее было на нас.

Пан Фольтэн критически осмотрел нас и сморщил нос.

ливе откровенности устало проговорил Брэдфилд.— Почему они побежали? Уж кто-кто, а он-то должен бы это знать: он был у смертного одра этой Эйк,— он, а не я. Он, а не я должен был, я полагаю, слышать, что она сказала перед смертью. Какая муха его укусила, черт побери? Снова и снова одно и то же: «То, что произошло в Ганновере, не должно иметь места в Бонне». Разумеется, не должно, но он держит себя так, словно я виноват в том, что это вообще произошло. Прежде он никогда так себя не вел.

— Он спрашивает *тебя?* — с нескрываемым презрением проговорила Хейзел.— Но почему же ни с того ни с сего именно тебя? Ведь ты там даже не присутствовал.

— И тем не менее он все время задает мне этот вопрос,— сказал Брэдфилд, вскочив со стула, и что-то беззащитное, какая-то мольба вдруг прозвучала в его голосе, отчего Тэрнеру на мгновение почудилось, что в его взаимоотношениях с женой есть что-то странное.— Задает, невзирая на обстоятельства.— Он поставил пустой стакан на поднос.— Нравится вам это или нет, но он не перестает спрашивать меня: «Почему они вдруг побежали?» Совершенно так же, как Карл-Гейнц спросил сейчас: «Что побудило их броситься туда? Что именно так влекло их к этой библиотеке?» Для меня здесь ответ может быть только один: это английская библиотека, а нам всем известно отношение Карфельда к англичанам... Ну что ж, Карл-Гейнц, вам, молодоженам, верно, уже пора спать.

— А серые автобусы,— продолжал свое Зааб.— Вы читали, в каких автобусах разъезжала их охрана? Это были *серые* автобусы, Брэдфилд, *серые!*

— Это имеет какое-нибудь значение?

— *Имело,* Брэдфилд. Что-то около тысячи лет назад, это, черт подери, имело огромное значение, мой дорогой.

— Боюсь, я не совсем улавливаю смысл ваших слов,— с усталой усмешкой промолвил Брэдфилд.

— Как всегда,— проронила его жена. Никто не воспринял это как шутку.

Они все уже стояли в холле. Слуга венгр исчез, осталась только девушка.

— Вы были удивительно добры ко мне, черт подери, Брэдфилд,— с грустью проговорил Зааб, прощаясь.— Наверно, я слишком много болтал. Nicht wahr, Марлен, я слишком много болтал. Но я не доверяю этому Зибкрону. Я — старая скотина, понятно? А Зибкрон — это молодая скотина. Будьте начеку!

— Почему я не должен доверять ему, Карл-Гейнц?

— Потому что он никогда не задает вопроса, если не знает наперед ответа.— И с этими загадочными словами Карл-Гейнц Зааб с жаром поцеловал хозяйке дома руку и шагнул в ночной мрак, заботливо поддерживаемый своей молодой влюбленной супругой.

Тэрнер сидел на заднем сиденье, Зааб медленно вел машину по левой стороне дороги. Его жена дремала, положив голову ему на плечо, ее маленькая ручка все еще машинально и любовно почесывала темный пушок, украшающий затылок ее обожаемого супруга.

— Почему они побежали — там, в Ганновере? — повторил Зааб, счастливо проскользнув между двумя встречными машинами.— Почему эти проклятые идиоты побежали?

В отеле «Адлер» Тэрнер попросил, чтобы ему в половине пятого утра подали кофе в номер, и коридорный с понимающей улыбкой записал это в свой блокнот, как бы давая понять, что, конечно, все англичане поднимаются в такую рань — ему ли этого не знать. Когда Тэрнер улегся в постель, мысли его, отвлекшись от странного тошнотворного допроса, учиненного ему Зибкроном, перенеслись на более приятный объект в лице

Хейзел Брэдфилд. И это тоже своего рода загадка, подумал он, засыпая, почему такая красивая, обаятельная, явно неглупая и интеллигентная женщина мирится с невыносимо тоскливым существованием, на какое обрекает ее жизнь дипломатических кругов Бонна. Интересно, что бы делал бедняга Брэдфилд, если бы наш милейший высокородный Энтони Уиллоугби удостоил его супругу своим вниманием? И, наконец, зачем, черт побери, зачем — убаюкивая звучал в его мозгу докучливый вопрос, который все время не давал ему покоя в течение этого нудного, бессмысленного вечера,— зачем вообще понадобилось им приглашать его?

И кем, собственно, был он приглашен? «Я должен пригласить вас отобедать с нами во вторник,— сказал Брэдфилд.— Не пеняйте на меня за то, что может произойти».

«И я заметил, Брэдфилд! Я заметил, как вы покоряетесь, пасуете перед чужой волей. Впервые я почувствовал вашу слабость. Я увидел нож, торчащий у вас между лопаток, и я шагнул вам навстречу, на помощь, и услышал собственные слова из ваших уст». *Хейзел, ты сучка; Зибкрон, ты скотина, Гартинг, ты вор.* «Если вы в самом деле так понимаете жизнь,— просюсюкал у него над ухом голос де Лилла,— лучше подавайте в отставку! Нельзя же поклоняться одному и сжигать другое — это уже отдавало бы средневековьем...»

Будильник был поставлен на четыре часа, но ему почудилось, что он уже звонит.

11. Кёнигсвинтер

Среда. Утро

Еще не начинало светать, когда за ним заехал де Лилл, и пришлось просить ночного швейцара отпереть дверь отеля. Улицы были пустынны, холодны, недружелюбны. Время от времени навстречу машине внезапно наползал слоями туман.

— Нам придется сделать крюк — через мост. Паром ночью не ходит.— Де Лилл говорил отрывисто, почти резко.

Они выехали на шоссе. По обеим сторонам его тянулись новостройки — черепица, стекло, бетон,— дома, увенчанные шпилями строительных кранов, торчали, словно сорняки на невспаханном поле. Машина миновала посольство. Мрак окутывал влажный бетон здания, словно дым отгремевшей битвы. Британский флаг уныло свисал с древка — одинокий цветок на могиле солдата. На тускло освещенном фронтоне лев и единорог мужественно продолжали свое извечное противоборство, отблески золота и киновари делали нечеткими их контуры. Из сумрака выступили футбольные ворота на пустыре — они клонились набок, словно пьяные.

— В Брюсселе атмосфера накаляется,— заметил де Лилл и замолчал, явно не собираясь развивать эту тему дальше. Во дворе посольства стояло около дюжины автомобилей; белый «ягуар» Брэдфилда — на своей индивидуальной площадке.

— И чаша весов склоняется на нашу сторону или наоборот?

— Что тут можно предположить? — Помолчав, он добавил: — Мы добиваемся неофициальных переговоров с немцами; французы делают то же самое. Не потому, что немцы им по душе,— это уже своего рода спортивный интерес.

— Кто же побеждает?

Де Лилл не ответил.

Опустевший город тонул в розоватой призрачной дымке — в колыбели зари, в которой покоятся все города перед восходом солнца. Безлюдные, влажные от тумана улицы; стены домов — грязные, словно засаленные мундиры. Перед университетской аркой, возле временного

шлагбаума, стояли трое полицейских; они дали знак остановить машину. Молча, угрюмо обошли кругом маленький автомобиль, записали номер, покачали ногой задний бампер, проверяя подвеску, поглядели сквозь запотевшие окна на темные фигуры пассажиров внутри.

— Что они кричали нам вслед? — спросил Тэрнер, когда машина двинулась дальше.

— Чтобы мы следили за указателями одностороннего движения.— Де Лилл свернул влево, как предписывала синяя стрелка.— Куда, черт побери, они нас уводят?

Электрический грейдер чистил кювет. Еще двое полицейских в зеленых кожаных плащах и надетых набекрень фуражках с высоким верхом недоверчиво наблюдали за процессом. В витрине магазина молоденькая продавщица надевала пляжный костюм на манекен: приподняв синтетическую руку куклы, она натягивала на нее рукав. На ногах у девушки были сапоги из толстого войлока, и она передвигалась в них, словно заключенный в колодках. Машина выехала на привокзальную площадь. Поперек площади и вдоль крытых платформ были протянуты черные транспаранты: «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, КЛАУС КАРФЕЛЬД!», «ЧЛЕНЫ СОЮЗА СВОБОДНЫХ ОХОТНИКОВ ПРИВЕТСТВУЮТ ТЕБЯ, КЛАУС КАРФЕЛЬД, ТЫ ОПЛОТ НАЦИОНАЛЬНОГО ДОСТОИНСТВА!» На новом, огромном щите для плакатов — портрет Карфельда таких внушительных размеров, каких Тэрнеру еще не доводилось видеть. И под ним подпись: «Freitag» — «Пятница». Слово сверкнуло в свете автомобильных фар; лицо осталось погруженным в сумрак.

— Они прибывают сегодня. Тильзит, Мейер-Лотринген, Карфельд. Приедут из Ганновера, чтобы подготовить почву.

— И гостей будет принимать Людвиг Зибкрон.

Они ехали вдоль трамвайных линий, продолжая повиноваться указаниям дорожных знаков. Свернули налево, потом опять направо. Проехали под невысоким перекидным мостом, сделали разворот в обратном направлении, снова въехали на какую-то площадь, постояли перед наспех сооруженным светофором, и внезапно оба подались вперед на продавленных сиденьях, в изумлении глядя на здание ратуши в глубине рыночной площади, полого поднимавшейся вверх.

Позади торговых рядов островерхие кровли похожих на пряничные домиков отчетливо вырисовывались на светлеющем небе. Но взгляды де Лилла и Тэрнера были прикованы к одинокому серо-розовому зданию на вершине холма, которое, казалось, господствовало над всей площадью. К стенам его были приставлены лестницы, балкон задрапирован черными фестонами траурного крепа, на булыжной мостовой перед фасадом выстроились в ряд черные «мерседесы». Слева от здания перед аптекой, залитый лучами десятка прожекторов, возносился к небу белый помост, похожий на средневековую сторожевую вышку. Площадка его доходила почти до слуховых окон соседних домов, а гигантские, похожие на лапы подпорки бесстыдно белели в темноте, таинственно и прихотливо переплетаясь с собственными черными тенями. У подножия помоста уже копошились рабочие. До Тэрнера донеслось гулкое эхо молотков и унылое повизгивание электрических пил. Связка бревен тяжело ползла вверх на беззвучном блоке.

— Почему флаги приспущены?

— Траур. Это символический спектакль. Они объявили траур по погубленной национальной чести.

По длинному мосту они переправились на другую сторону реки.

— Ну, наконец-то,— удовлетворенно проворчал де Лилл и опустил воротник плаща, словно они въехали в более теплую зону.

Он вел машину на большой скорости. Одну за другой они миновали две деревни. Потянулись поля, перелески, и машина свернула на другое

шоссе — вдоль восточного берега реки. Справа скалистая вершина Годесберга, все еще окутанная пеленой тумана, угрюмо нависала над спящим городом. Они обогнули виноградник. Ряды кустов таинственно выплывали из темноты, похожие на зигзагообразный рисунок вышивки. Позади, над виноградниками, стояли одетые лесами Семь Холмов, а еще выше, над лесом, на самом горизонте — черные руины замка, остатки готической причуды. Свернув с главного шоссе, они вскоре выехали на набережную, окаймленную подстриженными деревьями и цепочкой зажженных электрических фонарей. Внизу лежал Рейн, окутанный теплым паром своего дыхания и почти неразличимый.

— Следующий дом слева,— глухо произнес де Лилл.— Скажите мне, если заметите, что там кто-то стоит на страже.

Впереди из сумрака выглянул большой белый дом. Окна нижнего этажа были закрыты ставнями, но ворота стояли настежь. Тэрнер вышел из машины, пересек мостовую. Подобрав с земли камень, он метко, с силой швырнул его в стену дома. Звук удара прокатился над водой и отозвался эхом где-то вверху на темных склонах Петерсберга. Вглядываясь в туман, они ждали оклика, звука шагов. Ничего не последовало.

— Отведите машину немного подальше и возвращайтесь,— сказал Тэрнер.

— Пожалуй, я ограничусь тем, что отведу машину немного подальше. Сколько вам потребуется времени?

— Вы знаете дом. Пойдемте, помогите мне.

— Это не по моей части. Не обижайтесь. Я привез вас сюда по собственному почину, но входить в дом не хочу.

— Тогда почему вы меня привезли?

Де Лилл ничего не ответил.

— А теперь не хотите пачкать руки?

Держась травянистой обочины, Тэрнер направился по подъездной аллее к дому. Даже в полумраке ему бросилось в глаза, что здесь царит такой же порядок, каким отличалась служебная комната Гартинга. Газон был опрятен, клумбы прополоты, аккуратно обложены дерном, на каждом кусте роз — металлическая табличка. В бетонном ящике возле кухонной двери стояло три мусорных ведра, перенумерованные и зарегистрированные, согласно местным порядкам. Тэрнер сунул ключ в замочную скважину и услышал шаги.

Сомнения быть не могло: шаги, хотя и не громкие, звучали совершенно отчетливо. Шаги человека. Двойной звук: сначала стук каблука, опускающегося на гравий, затем, тут же — стук подошвы. Создавалось впечатление, что кто-то шел крадучись: делал шаг, потом останавливался, прислушиваясь,— подавал о себе весть и тут же пугался. И все же это были шаги.

— Питер! — «Он передумал и вернулся,— мелькнула у Тэрнера мысль.— Он человек мягкосердечный».— Питер!

Никакого ответа.

— Питер, это вы? — Тэрнер наклонился, быстро вытащил из деревянного ящика, стоявшего возле крыльца, пустую бутылку и замер, напряженно ловя каждый звук. На Семи Холмах прокричал петух. Затем долетел едва уловимый шелест — словно ветер сдул на влажную землю сосновые иголки в бору; он услышал шорох воды, трущейся о берег; услышал далекое дыхание Рейна, словно дыхание гигантской, не человеческими руками созданной машины,— один звук, вобравший в себя множество других, звук незримо текущей воды, ломкий и вязкий; он услышал движение невидимых барж, внезапное громыханье якорной цепи, услышал протяжный крик, похожий на мычание скотины, забредшей в болото, или на зов сирены, разнесшийся далеко среди скал. Но он не услышал больше ни шагов, ни любезного мягкого голоса де Лилла.

Повернув в замке ключ, он резко распахнул дверь и снова замер, прислушиваясь, крепко зажав в руке бутылку; в лицо ему, приятно защекотав ноздри, повеяло едва уловимым ароматом табачного перегара.

Он ждал, пока глаз привыкнет к темноте и комната раскроется перед ним в своем холодном полумраке. А звуки множились и множились, заполняя пространство. Сначала из буфетной донесся звон стеклянной посуды; затем из прихожей — скрип половиц; в погребе проволокли пустой ящик по бетонному полу; прозвенел удар гонга — однотонный, отчетливый и повелительный, и вот уже со всех сторон, дрожа, вибрируя, начал расти непонятный гул, неопределимый, но надвигающийся, вот он все ближе, все громче с каждой секундой, словно чья-то могучая десница одним ударом сотрясла весь дом. Выбежав в холл, Тэрнер кинулся оттуда в столовую, стремительно включил свет и остановился, дико озираясь по сторонам, весь подобравшись, судорожно сжимая горлышко бутылки в своем мощном кулаке.

— Гартинг! — закричал он уже во весь голос.— Гартинг! — Ему послышался шорох удаляющихся шагов, и он рывком распахнул дверь.— Гартинг! — закричал он снова. И снова никакого ответа, только в камине из трубы посыпалась сажа, да за окном застучала по оштукатуренной стене сорвавшаяся с одной петли ставня. Тэрнер подошел к окну и окинул взглядом двор перед домом и реку за ним. На противоположном берегу здание американского посольства ослепительно сверкало, залитое огнями, словно электростанция, и желтые лучи, пронизывая туман, играли тусклыми отблесками на мерцающей воде. Только тут ему стало ясно, что́ послужило причиной его тревоги: караван из шести барж стремительно уплывал в туман; на мачтах развевались флаги, синими звездами горели над ними огни радиолокаторов, и когда последнее судно скрылось из глаз, умолк и весь призрачный, скрытый в доме оркестр. Ни звона стекла, ни скрипа половиц, ни шороха сажи в камине, ни тремоло стен. Дом снова затих, успокоенный, но настороженный, готовый в любую минуту выдержать новую атаку.

Тэрнер поставил бутылку на подоконник, распрямил плечи и стал не спеша обходить одну комнату за другой. Дом был барачного типа — сколочен на скорую руку за счет репараций для полковника оккупационных войск в тот период, когда Союзная Контрольная комиссия располагалась в Петерсберге. Мебель здесь стояла случайная, разношерстная, словно ни у кого не было твердого представления о том, по какой категории следует обставлять жилище Гартинга. Единственное, что могло привлечь здесь внимание,— это радиола. Электрические провода тянулись от нее в разные стороны, а по бокам камина стояли два динамика на вращающихся стержнях для регулирования направления звука.

В столовой стол был накрыт на два прибора.

В центре стола четыре фарфоровых купидона водили хоровод. Весна преследовала Лето, Лето убегало от Осени, Зима гнала их всех вперед. Два обеденных прибора стояли друг против друга. В подсвечник были вставлены свежие свечи, рядом — коробка спичек; нераскупоренная бутылка бургундского в корзинке для вина; в серебряной вазе — несколько увядших роз. На всем лежал тонкий слой пыли.

Тэрнер быстро сделал пометку в своей книжечке и прошел на кухню. Здесь все напоминало иллюстрацию из дамского журнала. Ни в одной кухне Тэрнер не видал еще такого количества всевозможных приспособлений. Миксеры, тостеры, сечки, штопоры. На пластмассовом подносе — остатки одинокого завтрака. Тэрнер приподнял крышку чайника. Чай

был густо-красного цвета, заваренный из трав. На дне чашки осталось несколько капель, чайное пятнышко виднелось и на ложке. Еще одна чашка стояла перевернутая на сушилке для посуды. На холодильнике — транзистор точно такого же типа, как тот, что Тэрнер видел в посольстве. Тэрнер и здесь записал в свою книжку длину волны, на которой стояла стрелка транзистора, потом подошел к двери, прислушался и начал одну за другой открывать дверцы буфета, доставать оттуда бутылки и жестяные коробки и заглядывать внутрь. Время от времени он делал пометки в своей книжечке. В холодильнике на средней полке были аккуратно расставлены несколько пол-литровых пакетов с молоком. Вынув из холодильника баночку с паштетом, Тэрнер осторожно понюхал, стараясь определить, сколько он там простоял. На белой тарелочке лежали два бифштекса. Между волокон мяса проглядывали кусочки чеснока. «Он приготовил их в четверг вечером»,— внезапно подумал Тэрнер. В четверг вечером он еще не знал о том, что скроется в пятницу.

На втором этаже коридор был устлан кокосовой циновкой. Мебель здесь была простая, сосновая, довольно ветхая. Тэрнер принялся доставать костюмы из гардероба; он обшаривал карманы, затем отбрасывал костюм, как ненужную ветошь. Покрой костюмов, так же как и самый дом, напоминал военные времена: пиджаки были приталены, с маленьким наружным кармашком на правом борту; брюки без отворотов сужались книзу. Продолжая свой обыск, он нашел носовой платок, клочок бумаги, обломок карандаша; все это он внимательно разглядывал и порой снова делал пометку в книжечке, прежде чем отбросить костюм в сторону и достать из расшатанного, скрипучего гардероба следующий. А дом снова дрожал, как в лихорадке. Откуда-то — на этот раз, казалось, из глубины самого здания — донесся металлический звук, похожий на лязг буферов товарных вагонов; этот звук прокатился по всему дому, снизу вверх, словно один этаж окликал другой, и тот отзывался на оклик. И не успели замереть эти звуки, как Тэрнер снова услышал шаги. Отшвырнув костюм, он одним прыжком очутился у окна. Опять шаги. Один шаг, второй. Шаги были тяжелые и доносились отчетливо. Тэрнер распахнул ставни и высунулся в предрассветный сумрак, напряженно всматриваясь в аллею, ведущую к воротам.

— Питер?

Ему показалось, что он уловил какое-то движение в темноте,— что это, человек или просто тень? Он не выключил лампу в прихожей, и оттуда на дорогу ложился узор света и тени. Но ветра не было, и верхушки берез не колыхались. Значит, человек? Какой-то человек прошел в доме мимо окон? И тень его промелькнула на усыпанной гравием аллее?

— Питер?

Безмолвие. Ни шума машины, ни оклика сторожа. Соседние дома все еще были погружены во мрак. А вершина горы Чемберлена медленно пробуждалась от сна, встречая зарю. Тэрнер затворил окно.

Теперь он начал действовать быстрее. Во втором гардеробе его глазам предстало еще с полдюжины костюмов. Он небрежно стаскивал их с вешалок, обшаривал карманы и отбрасывал в сторону. И вдруг что-то неуловимое, какое-то шестое чувство заставило его насторожиться, предостерегая: не спеши. Он держал в руках костюм из темно-синего габардина, летний костюм служебного вида, более помятый, чем остальные, и висевший несколько в стороне, словно приготовленный для чистки или для того, чтобы надеть утром. Он осторожно взвесил его на руке. Затем, разложив на постели, осмотрел карманы и вынул большой коричневый конверт, аккуратно сложенный пополам. Служебный конверт для официальных бумаг — в таких обычно рассылают извещения на подоходный

налог. Конверт не был надписан; в свое время его заклеили, а затем вскрыли. В конверте лежал ключ; ключ тускло-свинцового цвета, не новый, уже сильно потертый от многолетнего или частого употребления — большой старомодный ключ с длинной бородкой от большого, сложного, хитрого внутреннего замка, весьма отличный от всех прочих ключей той связки, что хранится у дежурного. Ключ от спецсумки для секретных бумаг? Положив ключ обратно в конверт, Тэрнер сунул его в свою книжечку и тщательно осмотрел остальные карманы костюма. Три палочки для коктейля — на кончике одной из них грязь, словно он чистил ею под ногтями. Несколько косточек от маслин. Немного мелочи — в общей сложности на четыре марки восемьдесят пфеннигов. И счет за напитки из отеля в Ремагене, без даты.

Кабинет он оставил напоследок. Это была невзрачная комната — много картонных коробок с виски, банки с консервами. Возле закрытого ставнями окна стояла гладильная доска. На старомодном карточном столике в неожиданном для этого дома беспорядке были разбросаны пачки каталогов, торговые брошюрки, прейскуранты со скидками для дипломатов. В небольшом блокноте был составлен перечень предметов, которые, по-видимому, Гартинг обязался приобрести. Тэрнер пробежал его глазами и спрятал блокнот в карман. В деревянном ящике он обнаружил жестяные коробки с голландскими сигарами; их было не меньше дюжины.

Застекленный книжный шкаф был заперт на замок. Присев на корточки, Тэрнер прочел несколько заглавий на корешках, затем поднялся, прислушался, прошел на кухню, отыскал отвертку и одним мощным нажимом взломал дверцу шкафа; медный язычок замка прорвал дерево, словно кость — мышцу, и дверца беспомощно закачалась на петлях. Первые пять-шесть книг оказались немецкими довоенными изданиями в твердых переплетах с золоченым обрезом. Не все немецкие заголовки были ему понятны, но некоторые он перевел по догадке: «Leipziger Kommentar zum Strafgesetzbuch»* Штудингера; «Verwaltungsrecht»** и еще что-то по части закона о сроке ответственности за военные преступления. На каждой из книг, словно на вешалке для платья, было написано имя владельца: «Гартинг Лео», а на одной: «Гартинг Лео, studentus juris» ***; потом ему попался в руки томик с оттиснутым на форзаце медведем — гербом Берлина, поверх которого острым готическим почерком с очень тонкими закруглениями букв и крепким нажимом в конце прямых линий было начертано: «Für meinen geliebten Sohn Leo»****. На нижней полке все книги стояли как попало: правила поведения британских офицеров в Германии; немецкая брошюрка с описанием флагов судов, плавающих по Рейну, и англо-немецкий разговорник, изданный в Берлине накануне войны, сильно затрепанный, с пометками на полях. Порывшись в глубине шкафа, Тэрнер извлек оттуда кипу переплетенных помесячно бюллетеней Союзной Контрольной комиссии за три года — с сорок девятого по пятьдесят первый; подборка была неполной, некоторых месяцев не хватало — и открыл первый том. Раздался легкий треск корешка, и в носу у него зачесалось от пыли. «18-я Ганноверская полевая разведывательная часть»,—прочел он надпись, сделанную от руки хорошим канцелярским почерком, с твердым нажимом в конце прямых линий и тонкими черточками у закруглений; чернила были черные, осо-

---

* «Лейпцигский комментарий к уголовному кодексу» *(нем.)*.
** «Административное право» *(нем.)*.
*** Студент права *(лат.)*.
**** Моему любимому сыну Лео *(нем.)*.

бого сорта — чернила для официальных бумаг, не поступающие в открытую продажу. Заголовок был перечеркнут тонкой линией и заменен другим: «6-я группа общего расследования. Бремен». (Слово «Бремен» тоже было вычеркнуто.) Ниже он прочел: «Канцелярия начальника военно-юридического управления. Монхенгладбах», и еще ниже: «Комитет по амнистиям. Ганновер. Выносу не подлежит». Перелистав наугад страницы, Тэрнер наткнулся на отчет о том, как осуществляются перевозки по берлинскому «воздушному мосту»: соль следует подвешивать под крылья самолета и ни в коем случае не провозить внутри фюзеляжа... доставка бензина представляет большую опасность при взлете и посадке... предпочтительно не столько в интересах экономии, сколько для поддержания бодрости духа, производить снабжение углем и зерном, нежели заранее выпеченным хлебом... переброска сухого картофеля вместо свежего даст экономию в семьсот двадцать тонн на каждые девятьсот тонн ежедневного рациона гражданского населения. Тэрнер, как зачарованный, перелистывал пожелтевшие страницы; на глаза то и дело попадались неожиданно знакомые фразы: «Первое заседание Союзной Контрольной комиссии состоялось 21 сентября в отеле «Петерсберг» неподалеку от Бонна...» В Нью-Йорке намечено открыть немецкое туристское агентство... В самое ближайшее время предполагается воскресить традиционные фестивали в Байрейте и Обераммергау»... Тэрнер пробежал глазами краткие протоколы совещаний Союзной Контрольной комиссии: «Обсуждались возможности расширения прав и ответственности Федеративной Республики Германии в сфере международной и экономической деятельности... В рамках Оккупационного статута были определены более широкие права Федеративной Республики Германии в области международной торговли... Было санкционировано непосредственное участие Германии в двух международных организациях...»

Следующая подшивка сама собой открылась на материалах, относящихся к освобождению некоторой категории немецких военных преступников, посаженных в свое время под арест. И снова он невольно углубился в чтение: «В заключении пребывают в настоящий момент три миллиона немцев... Заключенные снабжаются продовольствием лучше, нежели оставшиеся на свободе... Союзники не всегда в состоянии отделить плевелы от злаков... По плану «Уголь» заключенных надлежит направить в шахты, по плану «Ячменное зерно» их следует послать на уборку урожая...» Один абзац был резко очерчен на полях синей шариковой ручкой: «31 мая 1948 года как акт милосердия была объявлена амнистия всем членам СС, против которых начато судебное преследование в соответствии с ордонансом 69, если они не относятся к категории лиц, автоматически подлежащих аресту; амнистия не распространяется на лиц, активно проявивших себя на охранной службе в концентрационных лагерях». Слова «акт милосердия» были подчеркнуты, и чернила производили впечатление совсем свежих.

Просмотрев все подшивки, Тэрнер начал хватать их одну за другой и одним яростным движением отрывать от бумаги обе крышки переплета вместе с корешком, словно ломая крылья птице, после чего он выворачивал переплет наизнанку и тряс бумагу, проверяя, не спрятано ли что-нибудь между листками. Покончив с этим, он подошел к двери.

Снова где-то начало погромыхивать и позвякивать — на этот раз громче, чем прежде. Тэрнер замер, склонив голову набок; его бесцветные глаза пытливо вглядывались в полумрак; он услышал гудок — протяжный, монотонный, вибрирующий и заунывный,— терпеливый призыв, таинственное стенание, робкую мольбу. Поднимался ветер,— ну, разумеется, это был ветер. Тэрнер снова услышал стук ставни, ударяющейся о стену дома. Но ведь он же закрыл ставни! Безусловно, закрыл! Это ветер, предрассветный ветер с реки. Крепкий ветер, однако,— как отчет-

ливо поскрипывают ступеньки лестницы, и скрип этот все набирает силу, словно скрип такелажа, когда ветер наполняет паруса. А стекло, стекло в столовой — оно звенит, как сумасшедшее, куда громче, чем прежде.

— Поторопись! — прошептал Тэрнер, отдавая сам себе приказ.

Он начал выдвигать ящики письменного стола. Ни один не заперт. Некоторые совсем пусты. Электрические лампочки, электрические пробки, иголки, нитки, носки, запонки, гравюра без рамки — галеон под всеми парусами. На обороте надпись: «Дорогому Лео от Маргарет с самыми нежными чувствами. Ганновер, 1949». Почерк был явно не английский. Небрежно сложив гравюру пополам, он сунул ее в карман. Под гравюрой обнаружилась небольшая коробка. Квадратная, твердая на ощупь, завернутая в черный шелковый носовой платок, заколотый булавками. Отколов булавки, Тэрнер осторожно развернул платок и увидел металлическую коробочку тускло-серебристого цвета; по-видимому, коробочка была когда-то покрашена или разрисована, а потом краску соскоблили каким-то острым инструментом, и поверхность стала шершавой. Приподняв крышку, Тэрнер заглянул внутрь, затем осторожно, почти благоговейно высыпал содержимое коробочки на платок. Перед ним лежали пять пуговиц. Круглые деревянные пуговицы, все на один образец, примерно дюйм в диаметре, вырезанные вручную, грубовато, но с большим старанием, словно у их создателя не хватало хороших инструментов, но отнюдь не рвения; в каждой пуговице были просверлены две просторные дырочки, как для толстой нитки или шнурка. Под коробочкой лежала брошюра на немецком языке, взятая из боннской публичной библиотеки, с библиотечным номером и печатью. Плохо зная язык, Тэрнер сумел разобрать только, что это какое-то руководство по употреблению отравляющих газов. Библиотечная дата указывала, что книга взята в феврале этого года. Кое-где на полях виднелись пометки, и некоторые абзацы были отчеркнуты. *«Мгновенное токсическое действие... при холодной погоде симптомы появляются не сразу»*. Направив свет лампы на книгу, Тэрнер уселся за стол и, подперев голову рукой, углубился в текст; он с таким напряжением старался вникнуть в него, что лишь инстинктивно повернулся на стуле, когда на пороге возникла чья-то высокая фигура.

Это был совсем старый человек, в мундире и фуражке с высоким верхом вроде тех, что носили немецкие студенты или моряки торгового флота в период первой мировой войны. Черное от сажи лицо, в дряхлых руках кочерга — он держал ее перед собой, как трезубец, и она угрожающе покачивалась; туслый взгляд красноватых глаз был устремлен на кипу изуродованных, осквернённых книг, и взгляд этот был гневен. Тэрнер начал медленно, очень медленно подниматься на ноги. Старик не шевельнулся, только кочерга затряслась еще неистовей и белые костяшки суставов проглянули сквозь въевшуюся в поры сажу. Тэрнер осторожно шагнул вперед.

— Доброе утро,— сказал он.

Одна черная рука, выпустив кочергу, по привычке потянулась к фуражке. Тэрнер прошел в угол, где стояли картонные коробки с виски. Он сорвал крышку с одной из коробок, достал бутылку, откупорил. Старик что-то бормотал, покачивая головой, и все не сводил глаз с разодранных книг, валявшихся на полу.

— Ну-ка,— дружелюбно сказал Тэрнер,— глотните! — И протянул бутылку, стараясь, чтобы она попала в поле зрения старика.

Старик апатично выронил кочергу, взял бутылку и поднес ее к губам; в ту же секунду Тэрнер стремительно проскочил мимо него и бросился в кухню. Открыв наружную дверь, он закричал что было сил:

— Де Лилл!

Его возглас гулким эхом прокатился по пустынной улице и замер где-то над рекой.

— Де Лилл!

Он еще не успел возвратиться в кабинет, как в окнах соседних домов начали вспыхивать огоньки.

Тэрнер распахнул деревянные ставни, и в комнату проник свет зарождающегося дня. У всех троих был растерянный, недоумевающий вид; старик, сжимая бутылку виски в дрожащей руке, все смотрел на разодранные книги.

— Кто этот человек?

— Истопник. Мы все держим истопников.

— Спросите его, когда он последний раз видел Гартинга.

Старик ответил не сразу; снова выйдя из своего столбняка, чтобы хлебнуть виски, он протянул бутылку де Лиллу, по-видимому инстинктивно почувствовав к нему доверие. Де Лилл поставил бутылку на стол возле шелкового носового платка и спокойно повторил вопрос, но старик только молча поглядывал на них — то на одного, то на другого — и потом снова устремлял свой взгляд на книги.

— Спросите его, когда он последний раз видел Гартинга.

Наконец старик заговорил. Голос был безжизненный, неопределимый, как вечность; медлительный, тягучий крестьянский говор, невнятное бормотание, словно на исповеди, покорное и вместе с тем сварливое,— скулеж побитой собаки, безнадежно жаждущей сочувствия. Черные пальцы коснулись взломанной дверцы книжного шкафа; кивок в сторону реки — словно он хотел сказать, что там его дом; однако ни то, ни другое не нарушило монотонного бормотания — как будто все эти действия производились одним лицом, а бормотал кто-то другой.

— Он продает билеты на увеселительные прогулки по реке,— шепотом сообщил де Лилл.— Он заходит сюда рано утром, по пути на работу, и в пять часов вечера — по дороге домой. Топит котлы, вывозит мусор и пустую тару. Летом присматривает за лодками, подготавливает их для экскурсий.

— Спросите его снова. Когда в последний раз видел он Гартинга. Вот,— Тэрнер вынул из кармана бумажку в пятьдесят марок,— покажите ему, объясните, что он получит это, если расскажет то, что меня интересует.

Увидев деньги, старик устремил на Тэрнера пристальный взгляд тусклых красноватых глаз. У него были впалые щеки, изборожденное глубокими складками лицо, давно высохшее от недоедания,— морщинистая кожа да кости; сажа въелась в него, как краска в холст. Осторожно сложив бумажку пополам, он прибавил ее к остальным, которые вытащил из заднего кармана брюк.

— Когда? — резко спросил Тэрнер.— Wann?

Старик заговорил, боязливо подыскивая слова, подбирая их одно к другому, словно купец, раскладывающий свой товар. Он снял шапку; коричневая кожа черепа проглядывала в проплешинах коротких, темных от сажи волос.

— В пятницу,— спокойно перевел де Лилл. Он смотрел в окно; казалось, что-то отвлекало его внимание.— Лео расплатился с ним в пятницу после обеда. Зашел к нему домой и тут же расплатился, как только старик отворил ему дверь. Сказал, что уезжает, и надолго.

— Куда?

— Куда — не сказал.

— А когда он вернется? Спросите его.

Пока де Лилл переводил, ухо Тэрнера уловило отдельные знакомые слова: Kommen... zurück...

— Лео заплатил ему за два месяца. Он говорит, что может показать нам кое-что. Что-то такое, за что мы не пожалеем еще пятидесяти марок.

Старик испуганно поглядывал то на одного, то на другого; глаза смотрели выжидательно и со страхом, а худые руки нервно шарили под курткой. Это была матросская куртка, выцветшая и бесформенная, на его скелетообразной фигуре она выглядела странно чужеродно. Нащупав, наконец, то, что он искал, старик приподнял полу куртки и, засунув под нее снизу руку, достал нечто, спрятанное где-то возле ворота. И снова что-то забормотал,— теперь слова сыпались быстрей, обильней, беспокойней.

— Он нашел это в субботу утром в мусорном ящике.

Тэрнер увидел кобуру военного образца от пистолета 38-го калибра, сделанную из защитного цвета ткани. Пустая кобура, а на внутренней стороне надпись чернильным карандашом: *Гартинг, Лео.*

— Лежала в мусорном ящике прямо сверху: как поднял крышку — сразу увидел. Другим никому не показывал. Другие кричали на него, грозили превратить его физиономию в котлету. Другие все напоминали ему о том, что сделали с ним во время войны, и грозили, что так будет снова.

— Что значит «другие»? Кто это?

— Обождите.

Де Лилл подошел к окну и осторожно выглянул наружу. Старик продолжал бормотать.

— Он говорит, что распространял антифашистские листовки во время войны,— сказал де Лилл, все еще глядя в окно.— По неведению. Думал, что это обыкновенные газеты. А те, другие, поймали его и повесили вниз головой. Вот, по-видимому, кто они такие — эти другие. Он говорит, что англичане ему больше по душе. Гартинг, по его словам, был настоящий джентльмен. И еще он говорит, что хочет оставить себе эту бутылку виски. Лео всегда давал ему шотландское виски. И сигары. Тонкие голландские сигары, каких не достанешь в магазинах. Лео получал их по специальному заказу. А на рождество он подарил его жене фен для волос. И еще он хочет пятьдесят марок за кобуру,— добавил де Лилл, но в это время автомобили уже въезжали в ворота, и небольшую комнату сразу заполнил вой двух полицейских сирен и синий, слепящий, двойной свет фар. Послышались голоса, топот ног, и в комнату просунулись стволы автоматов, а за окном возникли одетые в зеленоватую форму фигуры. Дверь распахнулась, молодой человек в кожаном пальто держал в руке пистолет. Истопник плаксиво причитал; он съежился, ожидая удара; синий луч метался по комнате, как прожектор по танцплощадке.

— Ничего не предпринимайте,— сказал де Лилл,— и не выполняйте никаких приказаний.

Он обратился к мальчишке в кожаном пальто, предъявив ему свою красную дипломатическую карточку. Голос его звучал негромко, но твердо; он сдержанно, без излишней болтливости вел переговоры, опираясь на свой авторитет, намекая на недопустимое нарушение дипломатического суверенитета. Лицо молодого полицейского было бесстрастно, как маска Зибкрона. Однако становилось заметно, что де Лилл мало-помалу одерживает верх. В тоне его зазвучали негодующие нотки. Он начал задавать вопросы, а мальчишка уже заговорил примирительно, даже уклончиво. Тэрнер понемногу уразумел смысл излагаемых де Лиллом претензий. Де Лилл указал на записную книжку, которую Тэрнер держал в руке, потом на старого истопника. Опись, сказал он. Они составляют опись. Разве дипломатам запрещено составлять опись? Производить

инвентаризацию посольского имущества, устанавливать степень его амортизации? Казалось бы, это вполне естественное дело, особенно в такое время, когда собственности британских подданных грозит опасность разрушения. Мистер Гартинг находится в продолжительном отпуске; в связи с этим возникла необходимость сделать кое-какие распоряжения в отношении имущества, уплатить истопнику его пятьдесят марок... И с каких это пор, хотелось бы ему знать, спросил де Лилл, английским дипломатам запрещен вход в жилища сотрудников английского посольства? По какому праву, хотелось бы ему знать, отряд полицейских врывается в дом, нарушая покой лиц, пользующихся правом экстерриториальности?

Снова взаимно предъявляются и внимательно проверяются документы; обе стороны записывают фамилии, номера. Полицейский приносит извинения. Тревожные времена, говорит он и долго, пристально смотрит на Тэрнера, словно распознав в нем коллегу. В любые, даже самые тревожные времена, отвечает де Лилл, следует уважать права дипломатов. Чем больше опасность, тем более необходимо соблюдать неприкосновенность личности. Обмен рукопожатиями. Кто-то из полицейских отдает честь. Один за другим они удаляются. Зеленые мундиры перестают маячить перед глазами, синие огни перестают слепить, машины отъезжают. Де Лилл раздобыл где-то три стакана и разливает виски. Старик продолжает хныкать. Тэрнер укладывает пуговицы обратно в металлическую коробочку и сует коробочку в карман вместе с небольшой брошюркой об отравляющих газах.

— Это и есть «другие»? — спрашивает он.— Этот его и допрашивал?

— Он говорит: да, вроде этого шпика, но чуть постарше. И более солидный. И волосы светлее. Мне кажется, мы оба знаем, кого он имеет в виду. А это возьмите — это больше по вашей части.

Де Лилл вынул из кармана своего коричневого пальто кобуру и без церемоний перебросил Тэрнеру; тот подхватил ее на лету...

Паром был разукрашен флагами Федеративной Республики Германии. К капитанскому мостику был прибит герб Кёнигсвинтера. Весь нос парома заполняли полицейские. Стальные квадратные каски, бледные угрюмые лица. Очень молодые, они были непривычно тихими и молчаливыми для своего возраста; резиновые подошвы их сапог бесшумно ступали по металлической палубе; они глядели на реку так, словно получили приказ хорошенько ее запомнить. Тэрнер стоял в стороне и смотрел, как команда отдает швартовы; час был еще очень ранний; от усталости и напряжения мозг Тэрнера с необычной резкостью запечатлевал все окружающее: глухую дрожь металлической палубы под колесами автомобилей, вползавших вверх по сходням и стремившихся занять место поудобнее; тарахтение машины, звон якорной цепи и крики команды, отдающей швартовы; резкий звон колокола, заглушивший отдаленный перезвон церковных колоколов, долетавший из города; враждебную отчужденность одетых в форму шоферов, когда они, выйдя из машин и порывшись в своих кожаных кошельках, доставали мелочь с таким видом, словно, принадлежа к какой-то тайной секте, не хотели узнавать друг друга в общественном месте; толпу скромно одетых людей с обожженными солнцем лицами, заполнивших паром и глазевших на машины, от которых их отделял барьер. Берег отступал; городок прятал свои кровли и шпили в зелени холмов, становясь похожим на оперную декорацию. Но вот паром лег на курс, описав длинную дугу вниз по течению, чтобы пропустить своего двойника, отчалившего от противоположного берега. Какое-то время казалось, что они вовсе не движутся — паром тихонько относило течением вниз по реке, в то время как «Джон Ф. Кеннеди», на-

груженный черными, аккуратными пирамидами добротного угля, быстро двигался ему навстречу; свежий ветерок развевал над его палубой простиранное и развешанное для просушки детское белье. Вскоре паром закачался на кильватерной волне, и женщины стали громко перекликаться, радуясь неожиданному развлечению.

— Он сказал вам еще что-то. Насчет какой-то женщины. Я слышал, как он сказал: «фрау» и «ауто». Он сообщил вам что-то о какой-то женщине в автомобиле.

— Ошибаетесь, старина,— холодно сказал де Лилл.— Вас обмануло его своеобразное местное произношение. Порой оно и меня ставит в тупик.

Тэрнер, защитив рукой в перчатке глаза — ибо даже в это неяркое весеннее утро отраженный от воды свет был слишком резок — смотрел на удаляющийся берег Кёнигсвинтера. Наконец он увидел то, что искал: коричневые зубчатые башни вилл, построенных на деньги Рура, вздымались ввысь, словно закованные в латы руки, простертые к Семи Холмам Зигфрида, а между ними белело что-то, проглядывая сквозь листву деревьев, окаймлявших набережную,— дом Гартинга, уплывавший в туман.

— Я охочусь за призраком,— пробормотал Тэрнер.— За тенью, будь она проклята!

— За вашей собственной тенью,— с нескрываемой неприязнью возразил де Лилл.

— О да, да, разумеется.

— Я доставлю вас в посольство,— сказал де Лилл.— А оттуда вы уж сами как-нибудь доберетесь.

— Почему, черт подери, понадобилось вам вообще везти меня сюда, если вы так щепетильны? — Внезапно Тэрнер рассмеялся.— Понятно! — сказал он.— Какой же я идиот! Мне надо бы выспаться! Вы испугались, что я могу найти Зеленую папку, и решили покараулить за кулисами. Слишком большая честь для временного сотрудника. О господи!...

Корк только что прослушал восьмичасовую передачу последних известий. Немецкая делегация покинула вечером Брюссель. По официальной версии, правительство Федеративной Республики Германии пожелало «обсудить некоторые чисто технические проблемы, возникшие в ходе дискуссии». На самом же деле они, по выражению Корка, решили сбежать с уроков. Тэрнер безучастно смотрел, как цветная бумажная лента, содрогаясь, сползает с роликов и падает в железную корзину. В этом состоянии он пребывал уже минут десять, и тут его потревожили. Раздался стук в дверь, и в узкой щели появилась физиономия этой дурищи, мисс Пит. Мистер Брэдфилд требует его к себе немедленно. Ее паскудные глазки сверкали от удовольствия. Теперь тебе крышка, говорил ее взгляд. Выходя следом за ней в коридор, Тэрнер случайно взглянул на купленную Корком брошюру с описанием земельных участков, которые можно приобрести на Багамских островах, и подумал: «Это может пригодиться, когда он разделается со мной».

12. «И там был Лео. В буфете для пассажиров второго класса»

Среда

— Я уже переговорил с Ламли. Сегодня вечером вы возвращаетесь в Лондон. Транспортный отдел позаботится о вашем билете.— Письменный стол Брэдфилда был завален телеграммами.— Я от вашего имени принес извинения Зибкрону.

— *Извинения?*

Брэдфилд запер дверь, щелкнув английским замком.

— Вы хотите, чтобы я повторил вам все по слогам? По-видимому, вы такой же невежда в вопросах политики, как Гартинг. Вы находитесь здесь на правах временного дипломатического сотрудника; не будь этого, вы бы уже давно сидели за решеткой.— Брэдфилд был бледен от ярости.— Одному богу известно, о чем думал де Лилл. С ним у меня будет отдельный разговор. Вы сознательно не выполнили моих указаний. Ну что ж, у людей вашего сорта, по-видимому, свой особый моральный кодекс, я в ваших глазах личность подозрительная, и вы оказываете мне не больше доверия, чем любому встречному.

— Вы льстите себе.

— Тем не менее вы были присланы сюда с тем, чтобы действовать под моим руководством,— этого требовал Ламли, этого требовал посол и сама сложившаяся здесь ситуация, и вы были особо предупреждены о том, что ваша деятельность никоим образом не должна быть замечена вне стен посольства. Молчите и слушайте, что я говорю! Однако, ни в малейшей степени не считаясь ни с полученными вами указаниями, ни с обстоятельствами и не давая себе труда проявить хотя бы минимум сообразительности, вы в пять часов утра отправились в дом Гартинга, напугали до полусмерти одного из его служащих, перебудили соседей, орали во все горло, призывая де Лилла, и в результате привлекли к дому целый наряд полиции, что через несколько часов станет предметом обсуждения всего города. Не удовольствовавшись этим, вы вместе с де Лиллом разыграли перед полицией глупейший спектакль, инсценировав какую-то дурацкую инвентаризацию. Думаю, что это заставит улыбнуться даже Зибкрона, особенно после того объяснения вашей роли здесь, которое вы преподнесли ему вчера вечером.

— Это все?

— Прошу прощения, далеко не все. Если у Зибкрона были подозрения по поводу Гартинга, теперь вы дали ему в руки доказательства. Вы ведь сами видели, какую он занимает позицию. Одному богу известно, в каких только преступных замыслах не будет он нас теперь подозревать.

— Так расскажите ему,— предложил Тэрнер.— А почему бы и нет? Облегчите его душу, черт подери, ему и так известно больше, чем нам. Почему мы делаем секрет из того, что знают уже все? Они сами рыщут по следу. Худшее, что мы можем сделать, это испортить им охоту, спугнуть их дичь.

— Я не могу допустить подобного признания. Все что угодно — любые подозрения, любое недоверие с их стороны, только не наше признание в такой момент, как сейчас! Только не признание в том, что один из членов нашего дипломатического аппарата в течение двадцати лет работал на советскую разведку. Вы что, ничего не в состоянии понять? Я не могу допустить подобного *признания!* Пусть думают, что хотят: пока мы не пойдем им навстречу, они могут только строить *догадки.*

Он произнес это как присягу, как символ своей веры. И замолчал, выпрямившись на стуле, словно страж, оберегающий национальную святыню.

— Ну, теперь уже все?

— Предполагается, что такого сорта деятельность, как ваша, должна протекать втайне. Вас призывают на помощь, рассчитывая на соблюдение обычных норм осторожности и благоразумия. Я мог бы кое-что рассказать вам о том, как вы должны вести себя здесь, если бы вы не дали мне ясно понять, что плевать вы хотели на всякие приличия. Мне потребуется немало времени, чтобы расхлебать кашу, которую вы тут заварили. Вы, по-видимому, полагаете, что я нахожусь в полном неведе-

нии относительно того, что происходит кругом. Я уже вынужден был сделать внушение Гонту и Медоузу. Не сомневаюсь, что найдутся еще и другие, которых мне придется призвать к порядку.

— Что ж, пожалуй, я отбуду сегодня после полудня,— сказал Тэрнер, глядя на Брэдфилда в упор.— Я вам тут все изгадил, так, что ли? Весьма сожалею. Сожалею, что не сумел вам угодить. Я пришлю вам извинение в письменной форме. Ламли это понравится. И поблагодарю вас за гостеприимство. Да, да, я это сделаю непременно. Я напишу.— Он вздохнул.— Я здесь у вас вроде как Иона в чреве китовом. Самое лучшее, конечно, изрыгнуть меня. Это потребует от вас только некоторых неприятных усилий. Вы ведь не любите отделываться от людей, не правда ли? Предпочитаете подписывать с ними договора на временную работу.

— Что вы хотите этим сказать?

— А то, что у вас, черт подери, есть немало оснований настаивать на соблюдении тайны! Я сказал Ламли — просто в шутку, черт подери,— я спросил его, слышите, спросил его, что для вас главное — документы или человек? Что, черт подери, вам на самом-то деле нужно? Обождите! Сегодня вы даете ему работу, завтра вы не желаете его знать. Если сейчас сюда доставят его труп, вам же будет тысячу раз наплевать на то, что он мертв. Вы обыщете его карманы — нет ли там каких бумаг,— и мир праху его!

Он сам не знал, почему его взгляд все время притягивали к себе туфли Брэдфилда. Туфли были сшиты на заказ и начищены до того благородного блеска, который напоминает полированную мебель красного дерева и может быть достигнут лишь усилиями камердинера или многочисленной челяди.

— Что за чертовщину вы несете?

— Я не знаю, чьих разоблачений вы боитесь, мне все равно. Думаю, Зибкрона — больно уж вы лебезите перед ним. Зачем, черт подери, понадобилось вам сводить нас вместе вчера вечером, если вы умирали от страха, как бы я его не задел? Какой был в этом смысл? *Или он потребовал этого?* Подождите, не отвечайте, пока еще говорю я, моя очередь. Вы же ангел-хранитель Гартинга — вы отдаете себе в этом отчет? Это ведь бросается в глаза за тысячу километров, и первое, что я сделаю, возвратясь в Лондон,— напишу это где только можно метровыми буквами. Вы возобновили его договор, так или нет? Всего-навсего для начала. А ведь вы его презирали. И несмотря на это вы не просто *дали* ему работу, вы *изобрели* для него работу. Вы прекрасно знали, черт подери, что министерству иностранных дел это уничтожение устаревших дел ни на черта не нужно. Так же, как и картотека политических деятелей, что меня нисколько не удивляет. Но вы делали вид, что это важно, вы придумали это специально для него. Только не говорите мне, что вами руководило сочувствие, не поверю — не вашего он круга человек.

— Как бы там ни было, все это отошло в область предания,— сказал Брэдфилд, и снова Тэрнер — уже в который раз — уловил в его голосе нотку не то растерянности, не то презрения к себе.

— В таком случае что́ вы скажете насчет совещаний по четвергам?

По лицу Брэдфилда пробежала судорога, словно от острой боли.

— О господи, с вами невозможно иметь дело,— пробормотал он, и это даже не прозвучало оскорблением в адрес Тэрнера, а скорее выводом, сделанным для себя.

— Эти вымышленные совещания по четвергам! Вы же сами освободили Гартинга от посещения совещаний, сами препоручили эту работу де Лиллу. Тем не менее отлучки Гартинга каждый четверг после полудня продолжались. Положили вы им конец? Черта с два! Сдается мне, вы даже знали, куда он бегает, верно? — Тэрнер вынул из кармана ключ, который нашел в одном из костюмов Гартинга.— А у него имелось спе-

циальное местечко; вот видите — тайник. Но, может, я и это вам зря говорю, может, вы и об этом осведомлены? С кем он там встречался? Это вам тоже известно? Я было подумал, с Прашко, но потом вспомнил, что вы сами подсунули мне эту идейку. Так что я теперь буду поосторожнее насчет этого Прашко, черт подери!

Брэдфилд сидел, опустив голову, а Тэрнер уже кричал, наклонившись над столом.

— Что же касается Зибкрона — так у него, как мы знаем, чертова уйма агентов, у него в руках целая сеть, уж будьте покойны. Гартинг был всего лишь одним звеном цепи. Вы не в состоянии проконтролировать, что известно Зибкрону и что не известно. Здесь мы имеем дело с реальными фактами, а не с дипломатией.— Тэрнер ткнул пальцем в окно — туда, где смутно темнели очертания холмов за рекой.— Они там времени даром не теряют. Пьют с друзьями, развратничают, разъезжают! Они не замурованы в четырех стенах — они знают, что такое жизнь!

— Для интеллигентного человека не требуется особых усилий, чтобы это понимать,— сказал Брэдфилд.

— Так вот, это будет первое, что я скажу Ламли, как только возвращусь к родному очагу. Гартинг работал не один! У него был покровитель и был тайный шеф, и, насколько я понимаю, это одно и то же лицо! И будь я проклят, если Лео Гартинг не был мальчиком-фаворитом Роули Брэдфилда! И они втихомолку немножко грешили, как мальчишки в интернате.

Брэдфилд встал с перекошенным от гнева лицом.

— Можете говорить Ламли все, что вам заблагорассудится,— прошипел он,— но сейчас же убирайтесь вон и чтоб духу вашего здесь не было! — И в этот момент дверь из приемной мисс Пит приотворилась, и они увидели воспаленное лицо Микки Краба.

Вид у него был озадаченный и несколько растерянный; с нелепым усердием он жевал кончик своих рыжеватых усов.

— Послушайте, Роули,— сказал он, осекся и начал снова, словно ему показалось, что он заговорил не в том ключе.— Извините, что я так ворвался, Роули. Я попробовал дверь из коридора, но она заперта. Извините, Роули, я насчет Лео.— Остальное внезапно хлынуло из него уже скороговоркой: — Я только что видел его на вокзале. Видел своими глазами, черт побери! Он пил пиво.

— Быстро и по порядку,— сказал Брэдфилд.

— Я оказывал услугу Питеру де Лиллу. Вот и все,— сказал Краб, сразу занимая оборонительную позицию. Тэрнер уловил, что от него попахивает алкоголем и мятными лепешками.— Питер должен был поехать в бундестаг. Там важное дело, как я понимаю, дебаты по поводу чрезвычайных законов идут уже второй день, ну, он и попросил меня заняться этой самой встречей на вокзале. Главари движения прибыли сегодня из Ганновера. Надо было поглядеть — кто именно и кто будет их приветствовать... Я частенько выполняю разные мелкие поручения для Питера,— виноватым тоном присовокупил он.— Ну, встречали их, прямо сказать, что твоего лорда-мэра. Пресса, телевидение, полным-полно машин,— он нервно покосился на Брэдфилда,— вся стоянка такси забита, представляете себе, Роули. И толпа народу. Скандирует во все горло приветствия и размахивает старыми черными флагами. И музыка.— Он покачал головой, выражая свое безмолвное удивление.— Буквально все дома на площади обклеены лозунгами.

— И вы увидели Лео? — в нетерпении перешел к делу Тэрнер.— В толпе?

— Да, вроде так.

— Не понимаю.

— Да один затылок только. Затылок и плечи. Промелькнул — и все. Исчез. У меня не было возможности задержать его.

Тэрнер схватил Краба за плечо своей каменной лапищей.

— Вы же сказали, что видели, как он пил пиво!

— Отпустите его,— сказал Брэдфилд.

— Эй вы, потише! — На секунду Краб, казалось, даже рассвирепел.— Ну и что? Я увидел его еще раз потом, понимаете. Когда все это представление закончилось. Почти что, можно сказать, столкнулся лицом к лицу.

Тэрнер отпустил его.

— Подошел поезд, и все начали орать что было мочи и протискиваться вперед, чтоб поглядеть хоть краем глаза на Карфельда. Кое-где началась даже потасовка, но, по-моему, это были главным образом журналисты. Паразиты! — добавил он с оттенком подлинной ненависти.— И этот поганец Сэм Аллертон тоже, между прочим, был там. Не удивлюсь, если это он затеял драку...

— О боже милостивый! — в отчаянии возопил Тэрнер, и Краб осуждающе уставился на невежу.

— Первым появился Мейер-Лотринген — полиция устроила для него такой проход, вроде как для прогона скота; затем Тильзит, за ним Гальбах, и толпа заревела, словно стадо гиппопотамов. Битлзы,— несколько неожиданно добавил он.— Там преимущественно были длинноволосые мальчишки, студенты; они лезли на загородки, старались хоть дотронуться до этих господ. А Карфельда не было. Я слышал, как кто-то сказал, что он вышел из вагона на противоположную платформу, чтобы избежать толпы. Говорят, он не любит, когда к нему подходят слишком близко; вот почему повсюду строят для него эти чертовы помосты страшенной высоты. В общем, тогда часть толпы отхлынула — побежали его искать. Остальные топтались на месте, и тут заорали громкоговорители: все мы, дескать, можем отправляться домой, потому что Карфельд еще не прибыл из Ганновера. Тем лучше для Бонна,— подумал я.— Он ухмыльнулся.— Разве не так?

Никто ему не ответил.

— Журналисты были просто в бешенстве, а я решил: надо позвонить Роули, сказать, что Карфельд не явился. Лондон ведь не любит, когда теряется след... След Карфельда,— пояснил он Тэрнеру.— А здесь с него тоже не спускают глаз, не дают ему общаться с неизвестными людьми.— Он, кажется, приближался к концу своего рассказа: — Там, в вестибюле, есть круглосуточное почтовое отделение, я направился туда, и тут,— он поглядел на обоих слушателей и сделал робкую попытку заговорить с ними доверительным тоном,— тут мне подумалось, что не мешало бы выпить чашечку кофе, чтобы немножко собраться с мыслями, и, проходя по залу ожидания, я случайно поглядел в стеклянную дверь. Там двери друг против друга, понимаете. С одной стороны — ресторан, с другой — зал ожидания, а в нем — буфетная стойка, и около нее два-три столика, чтобы можно было поесть сидя. Или хоть просто посидеть,— пояснил он с таким видом, словно впервые столкнулся с таким необычным явлением.— Слева по коридору там первый класс, справа — второй, и обе двери стеклянные.

— Послушайте, я вас умоляю! — не выдержал Тэрнер.

— И там был Лео. Во втором классе. За столом. Одет в какой-то плащ, вроде военного. И мне показалось, что он немного не в себе.

— Пьян, что ли?

— Не знаю. Это было бы уж чересчур, черт побери,— в восемь-то часов утра? — Он с наивным видом поглядел на них.— Скорей он казался жутко усталым и, как бы это сказать, неподтянутым, не та-

ким, как всегда. Без этого его щегольства, без лоска. Впрочем,— добавил он растерянно,— с каждым из нас такое бывает, мне кажется.

— Вы не разговаривали с ним?

— Нет уж, увольте. Я-то знаю, каково иметь с ним дело, когда он в таком настроении. Я поскорее смылся оттуда и бегом сюда, чтобы доложить Роули.

— Было у него что-нибудь в руках? — быстро спросил Брэдфилд.— Был у него при себе портфель? Что-нибудь, в чем он мог бы держать бумаги?

— Ничего при нем не было, Роули, старина,— пробормотал Краб.— Извините.

Все трое молчали; Краб, часто моргая, поглядывал то на одного, то на другого.

— Вы поступили правильно,— негромко проговорил наконец Брэдфилд.— Все в порядке, Краб.

— Правильно? — закричал Тэрнер.— Он поступил плохо, черт бы его побрал! Лео же не зачумленный! Почему он не мог поговорить с ним, усовестить его, притащить его, наконец, за шиворот? Господи Иисусе, да вы просто какие-то полутрупы оба, и тот и другой! Правильно поступил? Его теперь, конечно, и след простыл. Мы упустили наш единственный шанс! Возможно, он ожидал там последнего связного. Наверно, они устроили ему фальшивый заграничный паспорт. С ним был кто-нибудь еще? — Он уже отворил дверь.— Я вас спрашиваю, был с ним кто-нибудь еще? Ну, что вы молчите!

— Ребенок,— сказал Краб.— Маленькая девочка.

— Кто?

— Чья-то девочка. Лет шести-семи. Он разговаривал с ней.

— Он заметил вас?

— Сомневаюсь. Он раз глянул в мою сторону, но как бы сквозь меня.

Тэрнер сорвал свой плащ с вешалки.

— Мне бы не хотелось,— сказал Краб, отзываясь скорее на этот жест, чем на слова.— Извините.

— А вы? Почему вы стоите? Поехали!

Брэдфилд не шевельнулся.

— Бога ради!

— Я остаюсь здесь. У Краба есть машина. Пусть он отвезет вас. Прошло уже около часа с тех пор, как он видел Гартинга или ему показалось, что видел. Так или иначе, пока он сюда добрался, того уже и след простыл. Я не намерен тратить время попусту.— Делая вид, что он не замечает изумленного взгляда Тэрнера, Брэдфилд продолжал: — Посол только что просил меня не покидать здания посольства. С минуты на минуту мы ждем сообщений из Брюсселя, и весьма вероятно, что ему понадобится старший советник.

— Боже милостивый, что здесь происходит? Трехстороннее совещание? А он сейчас, быть может, сидит там с целым ворохом секретных государственных бумаг! Неудивительно, что у него такой мрачный вид! Что с вами здесь творится? Или вы хотите, чтобы Зибкрон опередил вас? Хотите, чтоб он поймал его с поличным?

— Я уже объяснял вам: секретные бумаги — это еще не святыня. Мы предпочитаем, чтоб секреты не разглашались. Но по сравнению с моими обязанностями здесь...

— Это не секреты?! А ваша проклятая Зеленая папка?..

Брэдфилд, казалось, был в нерешительности.

— Я не имею права приказывать ему! — воскликнул Тэрнер.— Я даже не знаю его в лицо! Что я должен делать, что я должен, по-вашему, делать, если увижу его? Сказать ему, что вам желательно перемолвиться

с ним словечком? Вы же его начальник, так или нет? Или вы хотите дать Людвигу Зибкрону возможность зацапать его раньше нас? — Неожиданно для него самого слезы вдруг прихлынули к его глазам. В голосе его прозвучала отчаянная мольба: — Брэдфилд!

— Он был совсем один, старина,— пробормотал Краб, не глядя на Брэдфилда.— Сидел один-одинешенек. И только эта девчушка. Я хорошо видел.

Брэдфилд поглядел на Краба, потом на Тэрнера, и снова по его лицу прошла судорога боли, которую он напрасно силился скрыть.

— Это верно,— проговорил он наконец через силу.— Я его начальник. Ответственность лежит на мне. Пожалуй, мне придется поехать туда.— Тщательно заперев дверь на два оборота ключа, он предупредил мисс Пит, что оставляет вместо себя Гевистона, и первым начал спускаться с лестницы.

Новые красные огнетушители, только что прибывшие из Лондона, выстроились, словно часовые, вдоль коридора. На площадке части металлических кроватей ждали, когда их соединят друг с другом. На тележке для бумаг лежала кипа серых одеял. В вестибюле двое мужчин, стоя на стремянках, подвешивали металлический экран. Когда они втроем — Краб впереди — вышли из стеклянных дверей подъезда и направились к стоянке для машин, Гонт с удивлением поглядел им вслед. Брэдфилд на такой скорости вел автомобиль, нагло срезая углы, что Тэрнер был озадачен. Они промчались на желтый свет и выскочили на левую сторону проезжей части, чтобы свернуть к вокзалу. Оба — и Брэдфилд и Краб — держали свои красные удостоверения наготове и при проверке просунули их в окна, причем Брэдфилд не остановил, а лишь притормозил машину. Они вылетели на мокрую булыжную мостовую и на трамвайных рельсах их занесло, но Брэдфилд вывернул баранку, сбросил газ и спокойно выждал, пока машина сама образумится. Они пересекли магистраль со знаком «стоп» и помчались дальше, едва успев проскочить под носом шедшего наперерез автобуса. Теперь машин попадалось меньше, но улицы были запружены народом.

Некоторые несли плакаты; кое-кто был одет в серые габардиновые плащи и черные фетровые шляпы с узкими полями — традиционную форму сторонников Карфельдовского движения. Толпа неохотно расступалась, все хмуро поглядывали на дипломатический номер и ослепительно отполированный кузов. Брэдфилд не сбавлял скорости и не сигналил — он вел машину, предоставляя пешеходам спасаться, кто как может. Только раз он затормозил перед каким-то стариком, который был либо глух, либо пьян, да какой-то мальчишка так шлепнул ладонью по крылу машины, что Брэдфилд на мгновение окаменел и лицо его побелело. Лестница вокзала была усыпана конфетти, колонны обклеены плакатами. Какой-то шофер такси кричал так, словно его избивали. Они оставили машину на стоянке.

— Налево! — крикнул Краб, когда Тэрнер ринулся вперед.

Через высокие двери вокзала они вбежали в главный вестибюль.

— Держитесь левее! — снова крикнул Краб за спиной Тэрнера.

Три перегороженных барьерами выхода вели на платформу; три контролера сидели в своих стеклянных кабинах. Таблички на трех языках предупреждали, что контролеры будут к вам безжалостны, если у вас нет билета. Священники, стоявшие кучкой и перешептывавшиеся, неодобрительно покосились на Тэрнера. «Благочестивый христианин не должен спешить», говорили их взгляды. Высокая, очень загорелая блондинка проскользнула мимо, едва не задев его своим рюкзаком и сильно потертыми лыжами; Тэрнеру бросилось в глаза, как плотно облегает ее свитер.

— Он сидел вот там,— прошептал Краб, но Тэрнер уже проскочил между стеклянных покачивающихся створок и стоял в буфете, оглядывая сквозь пелену табачного дыма все столики один за другим. Громкоговоритель сообщал пассажирам о пересадке на Кёльн.

— Нету,— сказал Краб.— Негодяй смылся.

Все было в табачном дыму, он клубился в темных углах и рассеивался только вокруг длинных цилиндрических ламп дневного света. Пахло пивом, копченым окороком и дезинфекцией. В глубине, словно айсберг, выплывала из тумана стойка, сверкая белым голландским кафелем. За столиком между двумя коричневыми деревянными перегородками сидело бедно одетое семейство, собравшееся в дальний путь: пожилые женщины в черных одеждах с чемоданчиками, перевязанными веревками, и мужчины, погруженные в чтение греческих газет. За отдельным столиком маленькая девочка катала по столу круглые подставки для пивных кружек перед носом у какого-то пьянчуги, и указательный перст Краба был нацелен на этот стол.

— Вот там, где эта девчушка, видите? Сидел и пил пильзенское.

Не обращая внимания ни на ребенка, ни на пьяницу, Тэрнер бессмысленно поднимал одну за другой кружки и заглядывал в них. В пепельнице лежали три сигаретных окурка. Один еще дымился. Девочка с интересом наблюдала за Тэрнером: он нагнулся, обшарил пол и снова поднялся с пустыми руками; она следила за ним взглядом, когда он начал переходить от столика к столику, заглядывая людям в лицо, одного хватая за плечо, другого за руку, у третьего отклоняя в сторону газету.

— Это не он? — кричал Тэрнер.

Какой-то священник, сидя один в углу, читал «Бильдцейтунг»; позади него, словно прячась в его тени, смуглый цыган ел жареные каштаны из бумажного пакетика.

— А этот?

— Увы, нет, старина,— сказал Краб, которому стало явно не по себе.— Не повезло. Не расстраивайтесь, право.

У окна с витражом двое солдат играли в шахматы. Какой-то бородатый человек делал вид, что кладет себе что-то в рот, но тарелка перед ним была пуста. К платформе подошел поезд, в ресторане зазвенели посудой. Краб разговаривал о чем-то с официанткой. Он держал ее за руку выше локтя и что-то шептал ей на ухо. Официантка покачала головой.

— Мы сейчас попробуем поговорить с другой,— сказал Краб, когда к ним подошел Тэрнер.

Они вместе прошли в другой конец буфета, другая официантка радостно закивала, довольная тем, что ей удалось припомнить, и, указывая на девочку, принялась рассказывать длинную историю о господине небольшого роста, время от времени называя его просто der Kleine *,— по-видимому, «господин» не столько относилось к Гартингу, сколько было знаком уважения к тем, кто ее допрашивал.

— Всего несколько минут назад он еще был здесь,— в растерянности произнес Краб.— По ее словам, во всяком случае.

— Он ушел один?

— Она не видела.

— Почему он ей запомнился?

— Спокойней. Она не слишком большой мыслитель, старина. Не будем ее пугать.

— Почему он ушел? Он увидел кого-нибудь? Может, кто-нибудь поманил его из-за двери?

— Вы слишком многого от нее хотите, сынок. Она не видела, как он уходил. Она не особенно обращала на него внимание, потому что он все

* Маленький *(нем.)*.

оплатил вперед. Так, словно спешил. Словно хотел иметь возможность в любую минуту уйти. Чтобы не пропустить поезд. Когда эти молодцы прибыли, он вышел поглядеть, как их встречают, потом возвратился обратно, выкурил еще одну сигару и выпил еще кружку пива.

— Что с вами? Куда это вы так уставились?

— Черт побери, это странно,— пробормотал Краб, хмуря брови.

— Что странно?

— Он сидел здесь всю ночь, один. Пил, но не был пьян. Временами играл с этой девчонкой-гречанкой. Ребятишки всегда были его слабостью.— Краб дал официантке монету, и она рассыпалась в благодарностях.— Но так или иначе, мы его упустили,— сказал Краб.— Жутко драчливый тип, когда на него находит. Лезет в драку с кем попало, стоит ему распалиться.

— Откуда вам это известно?

Лицо Краба жалобно сморщилось.

— Вы бы поглядели на него в тот вечер в Кёльне,— проворчал он, продолжая смотреть вслед удалявшейся официантке.

— Во время драки? Вы там присутствовали?

— Я же вам говорю,— с жаром промолвил Краб.— Когда этот малый заведется, от него лучше держаться подальше. Смотрите.— Он протянул руку. На ладони у него лежала пуговица. Совершенно такая же, как те, что хранились в металлической коробочке с исцарапанной крышкой.— Официантка нашла ее на столе,— сказал Краб.— И спрятала — на случай, если он вернется и спросит.

В буфет неторопливо вошел Брэдфилд. Лицо его было непроницаемо, челюсти сжаты.

— Насколько я понимаю, его здесь нет. Вы по-прежнему утверждаете, что видели его?

— Я не мог ошибиться, старина, извините.

— Что ж, по-видимому, мы должны принять ваши слова на веру. Предлагаю вернуться в посольство.— Он посмотрел на Тэрнера.— Если, конечно, вы не предпочитаете остаться здесь. Может быть, у вас зародились какие-либо новые идеи, которые вам необходимо проверить.— Он обернулся к буфетной стойке. Все взгляды были обращены на них. Оставленная без присмотра, сверкающая никелированным металлом машина со свистом выпускала в воздух пар. Ни одна рука не протянулась к ней.— А вы тут произвели сильное впечатление, однако.— Когда они медленно шагали к машине, Брэдфилд сказал:— Вы можете вернуться в посольство, чтобы забрать свои пожитки, но до обеда вы должны уехать отсюда. Если у вас есть какие-нибудь бумаги, отдайте их Корку, и мы перешлем их вам дипломатической почтой. Самолет отлетает в семь часов. Постарайтесь попасть на него. Если не достанете билета, поезжайте поездом. Словом, отправляйтесь.

Им пришлось ждать, пока Брэдфилд объяснялся с полицейским и показывал ему свою красную карточку. Он говорил по-немецки с английским акцентом, но грамматика его была безупречна. Полицейский кивнул, и машина двинулась. Они медленно возвращались в посольство, вокруг них были угрюмые лица бесцельно глазевшей толпы.

— Странное местечко выбрал себе Лео, чтобы проторчать там всю ночь,— пробормотал Краб, но мысли Тэрнера были заняты другим: чувство провала не покидало его, и тем не менее, трогая пальцами лежавший в кармане служебный конверт с ключом, он напряженно думал все о том же: *чью дверь отпирал этот ключ для Лео?*

(Окончание следует)

С. ИЛЬИНСКАЯ

«...ПОДНЯТЬ НАД ЭЛЛАДОЮ СОЛНЦЕ!»

Греческая литература Сопротивления

В мае 1969 года перед греческим военным трибуналом предстал один из руководителей подпольной антихунтовской организации «Димократики амина» видный юрист В. Филиас. В своей речи на суде он говорил о том, что истоки сопротивления, которое оказывает фашистской хунте греческий народ, следует искать в далеком, но незабываемом периоде второй мировой войны и антигитлеровского Сопротивления. «Независимо от того, хотим или не хотим мы об этом позабыть, вторая мировая война и реки пролитой крови оставили свой неизгладимый след. Рабски покорный пугливый подданный уступил место свободной, мыслящей, независимой личности, и нынешнее правительство на каждом шагу видит в этой личности своего смертельного врага».

Да, двадцать пять лет миновало с той поры, как для Греции закончилась вторая мировая война, однако все эти годы жил рожденный антифашистской борьбой дух Сопротивления, он выстоял в трудных послевоенных испытаниях, и сейчас ему вновь довелось вступить в бой с открытым фашистским насилием. Не только прямые аналогии между событиями после переворота 1967 года и периодом гитлеровской оккупации (правительственный террор, рост Сопротивления, неприятие фашистского режима творческой интеллигенцией, бойкотирующей культурные мероприятия официальной пропаганды), но и весь ход греческой общественной жизни за последнюю четверть века побуждают нас обратиться к короткому периоду, который называют теперь эпохой Сопротивления. Хотя и не принято применять слово «эпоха» к столь небольшим отрезкам времени, значительность этого периода в истории Греции и степень его воздействия на последующие периоды дают нам право говорить о четырехлетии Сопротивления как о целой эпохе. «Сопротивление помогло формированию нового национального сознания, и его новая политическая и социальная ориентация, явственно ощутимая с тех пор в нашей политической жизни, будет проявляться и в будущем с возрастающей силой»,— писал видный греческий критик-марксист Маркос Авгерис. Время подтвердило справедливость его слов. И еще время показало, что новая политическая и социальная ориентация национального сознания прочно вошла не только в политическую, но и в художественную жизнь страны. В героической и трагической атмосфере Сопротивления сложились черты высокой гражданственности и идейной зрелости, мужественной силы и окрыленного воодушевления, моральной взыскательности и реалистического сближения с действительностью, определившие облик литературы Сопротивления и составившие то ее наследие, которое писатели Сопротивления и их преемники пронесли через все послевоенное двадцатипятилетие.

Час антифашистской борьбы пробил для Греции 28 октября 1940 года. Отпор, оказанный греческим народом вторжению фашистских дивизий Муссолини, победы, одержанные едва ли не одною силой патриотизма над противником, обладавшим подавляющим перевесом в численности и вооружении, дух самопожертвования во имя свободы родины не могли не взволновать художественный мир страны. Пожалуй, никто из

греческих писателей не остался равнодушным перед лицом свершавшегося у них на глазах всенародного подвига. Знаменитые строки национального поэта-классика К. Паламаса (1859—1943), глубокого старика, прикованного к постели и дрожащей рукой благословившего своих младших собратьев по перу:

Пусть вас опьяняет бессмертный
напиток —
вино двадцать первого года* —

могут послужить эпиграфом для нового знаменательного периода, который открывала в те дни греческая история и греческое искусство. В шестимесячной эпопее греко-итальянской войны многие греческие писатели увидели подтверждение своей доселе несколько отвлеченной веры в силы и возможности народа. Как никогда остро испытали они необходимость более тесной связи с людьми. Подобно Антею приникли они к родной земле и ощутили прилив животворной энергии.

Процесс приобщения к жизни народа и его правде пережили многие художники слова, добившиеся известности и признания в довоенное время. Национальный взлет 1940 года проложил заметную границу в их творчестве, побудил обратиться к более реалистическим и плодотворным идеям и формам. Греко-итальянская война, последовавшая за ней гитлеровская оккупация и небывалое по своему размаху движение Сопротивления указывали им выход из долгого идеологического кризиса.

«Сопротивление явилось не только организацией борьбы против чужеземных завоевателей, но и великой школой воспитания, заронившей в душу народа идеал более совершенной и более справедливой жизни, пробудившей в нем желание изменить нынешние условия,— опять цитируем мы Маркоса Авгериса.— В освобожденных горных и равнинных областях народ создавал свое государство с такой разумной и справедливой системой управления, какой Греция еще не знала. Весь уклад жизни и деятельности Сопротивления оставил глубокий след в его душе. Эта эпоха останется в его памяти как эпоха не только героическая, но и, несмотря на все лишения той поры, отмеченная высокой социальной организацией.

Ни одна из правивших прежде страной политических клик не проявила заботы о брошенном на произвол судьбы народе... В годы оккупации так называемые национальные партии и их руководящие клики призывали к терпению или даже открыто сотрудничали с врагом. Не смирился только народ и его авангард. В Сопротивлении он дал выход своему гневу, в Сопротивлении он познал свою моральную силу, свою гордость, свою непокорную душу. Национальные ценности, попранные и преданные официальными столпами нации, сохранил народ, долг перед родиной выполнил он».

Это свидетельство, исходящее от одного из самых авторитетных деятелей греческой культуры, освещает ключевой вопрос нашей темы: именно в радикальных переменах, происходивших тогда в политическом и социальном сознании греческого народа, в новых принципах, питавшихся вполне реальным стремлением к более справедливой и светлой жизни, следует искать причину переворота, совершавшегося в духовной жизни страны. Характерным и очень знаменательным примером может служить творчество выдающегося поэта новой Греции Ангелоса Сикельяноса. Эволюция Сикельяноса, пришедшего в Сопротивление маститым, давно признанным мэтром, является, пожалуй, самой красноречивой иллюстрацией развития греческой поэзии этого периода, и о ней стоит сказать несколько слов особо.

Вступление Ангелоса Сикельяноса в литературу совпало со вступлением мира в двадцатый век. Для Греции это была пора недолговечного оптимизма, связанного с подъемом местной буржуазии, вынашивавшей мечту о возрождении древнего величия страны. Вдохновляясь атмосферой надежд и духом преклонения перед античностью, Сикельянос слагает неистощимый дифирамб красоте греческой земли и греческому народу, в котором видит носителя древних традиций и непреходящих духовных ценностей; он славит неудержимое течение жизни, щедро дарящей человеку радость; его искрящееся жизнелюбие, вулканический темперамент, возвышенный лиризм оставляют впечатление нескончаемого фейерверка, ослепительного в своем буйстве красок.

Даже после поражения Греции в греко-турецкой войне 1919—1922 гг., в период развенчания иллюзий, Сикельянос продолжает жить в своем безмятежном мире, насыщенном образами и символами древности. Он выдвигает Дельфийскую идею — план создания в Дельфах всемирного культурного центра, духовной столицы планеты, которая должна была бы стать ареной мирного сотрудничества и интеллектуального соревнования народов. В дельфийской мечте Сикельяноса воплощалась искренняя любовь поэта к человеку и человечеству, бесконечно дорогие для него, но тогда еще слишком абстрактные идеи свободы, братства, справедливости.

Только в канун второй мировой войны, когда признаки грядущей опасности становятся явственными, солнечные горизонты Сикельяноса омрачаются, в его поэзию прокрадывается тревога. Предчувствием надвигающихся потрясений наполнена лирическая трагедия «Сивилла» (1940). Символизирующая Грецию пророчица предсказывает завоевателю Нерону неизбежное пришествие новых времен и новых героев, пришествие свободы, которая воцарится над всем миром.

* Имеется в виду греческая национально-освободительная революция 1821 года. Здесь и далее, где переводчик не указан, стихи даются в переводе автора статьи.

Однако началом подлинного прозрения Сикельяноса явились шесть месяцев греко-итальянской войны. Два стихотворения — «Клиссура»* и «Письмо с фронта», написанное поэтом под непосредственным впечатлением боев, развернувшихся в горах Албании, передают не только его ощущение кровной близости с соотечественниками, которые жертвовали жизнью во имя родины, но и новый взгляд на будущее страны. Клиссурское ущелье вырастает в стихотворении Сикельяноса в символ суровых испытаний, которые завершатся выходом на широкие, неведомые доныне просторы. Здесь, на склонах горы Клиссура, защитники Греции куют ее завтрашний день.

Плечом к плечу стоим мы вместе, рядом,
солдаты и поэт,
мы вместе создаем
то кровное, что завтра навсегда
принадлежать нам будет.

Преклоняясь перед подвигом своего народа, поэт не ограничивается славословием его мужеству и отваге. Он понимает, что одно лишь описание подвига «истертыми словами эпоса» не может исчерпать значительности происходящих событий. Впервые говорит Сикельянос о несправедливости той жизни, на которую обречен столь достойный восхищения народ, о необходимости перемен в его судьбе. В стихотворении «Письмо с фронта» он пишет о том, что победа должна принести Греции весну, не похожую на прежние: новая весна придет с мечом, который снесет все недостойное.

Нельзя не заметить, что в стихотворениях периода греко-итальянской войны Сикельянос не отказывается от присущей ему отвлеченной символики вечных категорий Добра, Истины, Человеческого Духа, однако это не умаляет революционного значения, которое имел для его творчества приход на сторону народа:

Я с вами в этот час
в немом и трудном марше,
что длится день и ночь,
средь вас — небритых, грязных,
раздетых и разутых, среди вас —
на дикнх духов этих гор похожих,
я с вами, чтоб назвать вам ту звезду,
которая сквозь тучи к нам прорвется,
чтоб имя вам назвать того младенца,
который из пеленок к вам встает.

(«Клиссура»)

Стихотворения «Клиссура» и «Письмо с фронта» явились для Сикельяноса своего рода прелюдией к творческому циклу Сопротивления, подготовкой к тому решительному шагу, который он сделал в первый же месяц гитлеровской оккупации, в мае 1941 года. В майском номере журнала «Неа эстиа» увидел свет «Манифест» Сикельяноса, возвеличивающий свободолюбивые традиции Греции, призывающий всех работников искусства не остаться в стороне от народа, совершившего чудеса героизма. Через месяц в стихотворении «Клятва Стинкса», опубликованном тем же журналом «Неа эстиа», поэт вновь принес присягу на верность свободе и народу.

И никуда от вас я не уйду.
ни на минуту не уйду от вас,
. . . . . .
бессмертные борцы, мои родные братья.

Не порывая со старой системой образов, Сикельянос по-своему воссоздает атмосферу нарастающего Сопротивления, которое он воспринимает как процесс национального Воскресения.

Щебет ласточек смерти о новой весне
возвещает
и о родах великих из твоей, о Эллада,
могилы.
Тщетно римская стража гналась за тобой.
Скоро, скоро
ты воскреснешь — опять в двадцать первом
году незабвенном.

(«Воскресение». Перевод А. Наймана)

Участвуя в борьбе народа, поэт разделяет его мечты и надежды на скорый рассвет новой жизни, которая наступит в час освобождения. Освободительная миссия Сопротивления сочетается в стихотворениях Сикельяноса с миссией созидательной, и поэт выступает в них не как созерцатель, а как один из исполнителей этого патриотического и гуманного долга. В стихотворении «Духовный марш» мечта о новой жизни завтрашнего дня простирается поэтом не только над Грецией, но и надо всей землей:

Вперед! Помогите поднять над Элладою
солнце!
Вперед! Помогите поднять над вселенной
светило!

С самых первых шагов творческого пути Сикельянос мечтал о роли пророка и вождя. В стихотворении «Апология Солона» (1942) он выдает свое желание повести соотечественников в битву за освобождение родины подобно Солону, увлекшему афинян в сражение за Саламин. В годы оккупации Сикельянос с честью выполнял эту роль и повседневным участием в работе организаций Сопротивления, и выступлениями в легальной и подпольной печати, и своей деятельностью бессменного председателя «Общества греческих писателей».

■

Решительную и достойную позицию неприятия оккупационного режима заняло большинство греческих литераторов, причем многие из них не только бойкотировали всевозможные культурные мероприятия официальной пропаганды, но и принимали непосредственное участие в организованной антифашистской борьбе. Как бы подхватывая призыв Сикельяноса не остаться в стороне от героического народа, программная статья первого номера подпольного литературного журнала «Протопори» (1943) про-

* Клиссура — гора и селение в Албании, в зоне военных действий между греческими и итальянскими войсками. Была захвачена греками 7 января 1941 года.

возглашала недостойными своей миссии тех художников слова, которые стоят вне рядов Сопротивления: «Долг служителей искусства — отдаться борьбе с искренней страстью, верой и пламенной любовью к Греции и ее народу. На наших глазах он замешивает на своей крови хлеб свободы и греческой культуры. Давайте же примем участие в его борьбе за национальную свободу и демократию. Это и есть та плодородная почва, на которой вырастет и расцветет искусство и новогреческая культура».

Одним из самых замечательных актов Сопротивления явились похороны патриарха греческой поэзии Костиса Паламаса 28 февраля 1943 года. В присутствии оккупантов и представителей квислинговского правительства, явившихся, чтобы возложить венки на могилу Паламаса, тысячи афинян пропели запрещенный национальный гимн — «Гимн Свободе» Дионисиоса Соломоса. Поэты Сотирис Скипис и Ангелос Сикельянос прочитали посвященные Паламасу стихи. В стихотворении Скиписа упоминалось о «мрачной темнице», о «варварах», совершающих одно убийство за другим, о близости Воскресения. Стихотворение Сикельяноса было громовым пеаном, обращенным ко всей Греции, которая «склонилась над гробом» Паламаса:

...Трубите, трубы!
Звонкие колокола,
ударьте, сотрясите всю страну!
Греми, пеан! Вы, грозные знамена,
всплесните, взвейтесь в воздухе
свободы!

В 1943 году «грозные знамена свободы» развевались уже над многими горными районами страны, партизанская армия ЭЛАС насчитывала свыше 20 тысяч бойцов, в городах действовали боевые дружины национально-освободительного фронта ЭАМ. «Новая весна», о которой Сикельянос мечтал еще в стихотворениях периода греко-итальянской войны, обретала черты близкой реальности.

В суровых буднях антифашистской борьбы, в партизанских отрядах, в подполье, на многотысячных афинских демонстрациях рождалось одно из главных достижений Сопротивления — подлинное единение деятелей культуры и народа. Деля с народом все тяготы и опасности тех лет, черпая в нем силу духа и веру в победу, деятели культуры несли народу сокровища лучших национальных традиций. Они публиковали и комментировали актуально звучавшие произведения древних авторов, пропагандировали фольклор XVIII—XIX веков, вдохновленный борьбой против турецкого ига, популяризировали поэзию революции 1821 года. В «один строй» с поэзией Сопротивления вставали лучшие образцы гражданской поэзии XIX века, произведения революционной лирики XX века, и весь этот богатый арсенал животворных национальных традиций, мобилизованных для новой активной жизни, оказывал значительное влияние на творчество поэтов Сопротивления в выборе жанра, эмоциональной тональности.

Маршевая песня и гимн, рожденные потребностями борьбы, динамичные, романтически возвышенные и патетические, были, пожалуй, основными жанрами тех лет. «Сражаемся и поем!» — провозглашала молодежь Сопротивления. И поэты слагали для нее песни. «В скорбные зимние ночи голода, в черные дни траура нам доводилось слышать на улицах Афин мужественные песни,— вспоминает французский эллинист Роже Мильекс, находившийся в годы оккупации в Афинах.— Эти песни поднимали дух народа. Нередко песню обрывала пулеметная очередь. И возможно ли было, чтобы деятели культуры не подхватили эту песню — не написали новые стихи, картины, песни, не показали бы пример такого же мужества?»

«Поющей душой греческого Сопротивления» называет Роже Мильекс поэтессу Софию Мавроиди-Пападаки, автора большого цикла антифашистских стихотворений, многие из которых — и в первую очередь «Гимн ЭЛАС» — стали известными песнями.

. . . . . .

Давший клятву верности отчизне,
непреклонный мститель, зоркий страж,
я иду со всеми к новой жизни,
чтобы строить мир свободный наш.
Встань, ЭЛАС, во имя славной цели,
за свободу, справедливость, честь,
по снегам вершин, во тьме ущелий
пронеси свою святую месть.
И какую б ни вносили лепту
мы, но если тысячами счет —
партизану, арматолу, клефту*
имя есть великое — народ.

(«Гимн ЭЛАС». Перевод А. Наймана)

Когда счет бойцам — тысячами, когда имя этому войску — народ, воскресивший былую славу клефтов и арматолов, ни голод, ни лишения, ни репрессии не могут подавить всепобеждающий дух оптимизма, которым пронизана поэзия. Захваченная напряженным ритмом эпохи, не созерцательная, а деятельная, она вторгается в жизнь, она живет героической хроникой Сопротивления. Отголоски партизанских боев звучат в стихотворении Никоса Карвуниса «К оружию!», в стихотворениях сражавшегося в рядах ЭЛАСа поэта Георгоса Котзюласа. В антифашистском цикле стихотворений Софии Мавроиди-Пападаки мы найдем гимн двумстам патриотам, расстрелянным 1 мая 1944 года в тире Кесарьяни, который был назван потом «алтарем Свободы», эпитафию десяти героям Калифеи, которые оказали яростное сопротивление гитлеровцам и полицейским, а когда их боеприпасы подошли к концу, покончили с собой. «Со всех концов Афин с флагами и венками стекались сюда (в Калифею) члены организаций Сопротивления, чтобы поклониться домику, превратившемуся в крепость, и прочитать на мраморной

* В период турецкого ига в Греции клефтами называли партизан, оказавших сопротивление поработителям. Арматолами называли бойцов, служивших в отрядах охраны порядка. Во время революции 1821 года арматолы влились в армию восставшего народа. Слова «клефт» и «арматол» стали символами свободолюбия и непокорности насилию.

плите стихи Софии Пападаки,— пишет Роже Мильекс.— Приводя этот факт, я хочу показать, каким замечательным средством человеческого общения может служить искусство, когда оно не оторвано от жизни и деятельности. И еще я хочу напомнить, насколько в те героические годы деятели греческой культуры оказались верными борющимся массам».

«Верные борющимся массам» деятели греческой культуры не могли не уловить рождавшиеся в антифашистской борьбе новые настроения, новые взгляды и устремления народа. Эти новые устремления к свободе не только национальной, но и социальной становятся девизом поэзии Сопротивления. Традиционный образ вечно юной и прекрасной девы — Свободы обретает теперь черты социальной характеристики.

Свобода, прекрасная дева,
сегодня спускается с гор.
Ликует торжественный хор,
и слышатся звуки напева:
ЭАМ, ЭАМ, ЭАМ, ЭАМ...
Раскроем друг другу объятья,
свобода вошла в нашу дверь,
на целой планете теперь
жить будут лишь кровные братья! —

(Перевод А. Наймана)

писал в своем «Гимне ЭАМ» известный поэт и драматург Василис Ротас, организатор народного театра в освобожденных партизанами областях Греции, автор многих песен Сопротивления. Кровное братство товарищей по оружию, плод совместной четырехлетней борьбы, представляется поэту одним из законов новой жизни, которая воцарится после Освобождения.

Устремляясь в своих мечтах к завтрашнему дню, в котором восторжествуют Свобода, Равенство, Братство и Справедливость, поэты чувствовали себя ответственными перед памятью тех, кто отдал во имя этого будущего свою жизнь. Искупить принесенную ими жертву может только осуществление великих идеалов борьбы. Поэтому озаряющий поэзию Сопротивления образ павшего героя неустанно взывает к совести тех, кто остался в живых, служит несмолкающим призывом к действию.

Он как большое солнце озаряет
те города, где жить нам суждено
в домах, омытых правдой и его
восходом ранним. И его закатом...

(Манолис Анагностакис. «Харис—1944». Перевод И. Бродского)

Социалистические идеи, волновавшие передовые круги греческой художественной интеллигенции еще на рубеже XIX—XX веков, представленные в тридцатые годы коммунистической партией и группой видных деятелей культуры, в которую входили Костас Варналис, Яннис Рицос, Никифорос Вреттакос и др., приобретают в годы Сопротивления не только большую аудиторию, но и качественно новое звучание. Они становятся выстраданной и осознанной социальной и политической программой деятельности широчайших народных масс. И что также очень важно — взволнованные, захваченные этими идеями деятели культуры воспринимают их не как абстрактные лозунги и отвлеченные категории, а как программу своей жизненной деятельности, сближения с теми политическими и социальными силами, которые могут привести Грецию к социализму. Даже те писатели, для которых социалистические идеи не стали жизненным мировоззрением, научились более глубокому пониманию свободы, сопряженной с идеалами демократии. Свидетельством этих радикальных перемен может служить речь Ангелоса Сикельянoса на торжественном собрании «Общества греческих писателей» сразу же после Освобождения: «В горниле наших испытаний сформировался Новый Человек. Окропленная кровью греческого народа, ежедневно подвергавшегося пыткам и расстрелам, постепенно сформировалась наша политическая зрелость. Требование национальной Свободы, требование социальной Справедливости, требование духовного преобразования становится осознанным национальным, общественным, нравственным долгом всех истинных греков».

Жажда коренных преобразований, пафос разрушения старого мира и созидания нового определяют настроение завершающего этапа Сопротивления. Ростки новой жизни уже пробивались в освобожденных партизанами областях; там создавались органы народного самоуправления, народные суды, народные школы. Народ чувствовал себя хозяином своей судьбы, он закладывал фундамент нового общества.

Почувствуй мощь в руках,
замахиваясь ломом!
Пусть превратится в прах,
что было ветхим домом.
Мы бедняки, но нас
зато сошлось немало.
Так, братья, в добрый час
начнем наш труд сначала!
Мы строим то, что здесь
уже сожгли однажды.
Сбегайся, город весь,
и будь полезен каждый!
Дом клали на века,
а он опал, как складень.
Теперь наверняка
вбей сваи, друг,— не на день!

(Г. Котзиолас. «Строители». Перевод А. Наймана)

Прошедшие с народом четыре года антифашистской борьбы, покоренные его беспредельной преданностью по-новому осмысленным идеалам свободы и справедливости, поэты Сопротивления верили, что Греция должна пойти туда, «куда идет народ».

Как пламенные стяги — их сердца,
а руки — точно сталь,
свет их очей плотину тьмы прорвет,
немолчный слышен крик
над головой: «Да здравствует народ!»
Толпа людей растет — ей нет конца,
куда-то вдаль и вдаль,
словно река неспешная, течет,
и со следами терний от венца
шагает Греция туда, куда идет народ.

С. ИЛЬИНСКАЯ
«...ПОДНЯТЬ НАД ЭЛЛАДОЮ СОЛНЦЕ!»

Мир старый стерт с лица
земли — его не жаль,
в пыли оиолеет рабский гиет.
Свобода! Справедливость! — вот слова,
которыми земля теперь жива.
Так победитель радостный идет.

(Г. Казандзаки. «Победитель». Перевод А. Наймана)

Это стихотворение известной греческой поэтессы и прозаика Галатии Казандзаки (1884—1962) звучит как итог антифашистского Сопротивления. На фоне пламенного энтузиазма, самоотверженности, самопожертвования, прорвавших «плотину тьмы» и свергших «рабский гнет», возникают два великих вдохновляющих символа: «Свобода» и «Справедливость», без которых не мыслит своей жизни ни народ, ни поэзия. В служении идеалам Свободы и Справедливости поэзия видит свой главный нравственный долг, и это сложившееся в годы Сопротивления обостренное нравственное восприятие гражданской миссии художника поэты Сопротивления передадут в наследство молодому поколению, готовившемуся вступить в литературу.

■

Финал греческого Сопротивления оказался совсем не таким, каким его представлял себе борющийся народ. Победа и право на свободное волеизъявление были вырваны у него из рук военной интервенцией Англии в декабре 1944 года. Демократические силы потерпели поражение. К власти пришла реакция.

О причинах поражения в Греции писали много. Писали об этом и поэты. С болью и горечью вспоминали они о бесчисленных жертвах, которые не принесли желанных и заслуженных плодов, о допущенных тогда ошибках. Во второй половине пятидесятых годов тема поражения, ставившаяся в самых разных аспектах и получавшая самые разные толкования, доминировала в греческой поэзии: через ее решение пролег путь дальнейшего идейного, нравственного и художественного поиска.

Но события конца 1944 — начала 1945 годов, английская интервенция и поражение демократических сил не пошатнули веры народа в идеалы Сопротивления. Борьба за них продолжалась. И поэзия продолжала слагать песни борьбы. Одним из лучших произведений этого поэтического потока является, на наш взгляд, стихотворение Никифороса Вреттакоса «Еще этой весной»:

Словно свинец, непроглядные тучи нависли
над нашим домом, над кладбищем нашим,
над войском недвижным
наших священных холмов... Одна за другою
горы укрылись сукном наших серых
солдатских шинелей...

(Перевод А. Наймана)

Стихотворение Вреттакоса овеяно скорбью, но не смятением: «Я говорю вам об этом, клефты, не для того, чтобы вас опечалить... Не поддавайтесь вашему горю и сна берегитесь...» Написанное в духе народных клефтских песен, оно переносит в Грецию 1945 года символы и заветы революции 1821 года. И это обращение к символам, постоянно вдохновлявшим поэзию Сопротивления, как бы свидетельствует о том, что Сопротивление живо. Пусть еще одна весна не принесла Греции свободу, но стремление к свободе не может угаснуть «в удивительной этой стране, где и реки, и дикий камень, и облака, и ущелья, и горы вместе с людьми в бой идут», «где под сенью дерев» звучат песни арматолов и клефтов:

Скажем им — и понятно им станет:
не рухнуть Олимпу!
Скажем им — понятно им станет: всегда
будет солнце
так же как этой земли никогда не изменятся
краски,—
ведь никогда еще не обрывалась, не
кончившись, песня.
Песня оставлена старцем морейским,
подхватил ее Арис *,
песню оставили клефты — подхватили ее
эласты,
горы ее подхватили высокие, реки запели,
вспенили волны морские ее — партизанские
гнезда пылают...

(Перевод А. Наймана)

В первые послевоенные годы греческая поэзия живет почти исключительно темой Сопротивления. Выходят сборники стихотворений, впервые увидевших свет в подпольной печати, среди них «Песни юности и свободы» (1946) Софии Мавроиди-Пападаки и «Из-за стен» (1945) Сотириса Скиписа, выходят новые поэтические книги о Сопротивлении — «Афины, 1944» (1945) Риты Буми-Папа, «Кровь невинных» (1945) и «Четырехлетняя ночь» (1946) Никоса Папаса, «Героическая симфония» (1945) и «33 дня» (1945) Никифороса Вреттакоса, «Арис» (1946) и «Первые в борьбе» (1946) Георгоса Котзюласа и др.

В 1947 году, как бы в завершение этой серии, издается лиро-эпическая трагедия А. Сикельяноса «Смерть Дигениса», в которой поэт стремится обобщить опыт Сопротивления, извлечь из него исторические уроки. Форму древней трагедии, сюжет, заимствованный из средневекового эпоса**, он наполняет идеями и страстностью современности. В средневековом одеянии акритов на сцену выходит армия борцов за Новую Грецию. Свобода и Справедливость — идеалы, выдвинутые Сопротивлением,— торжествуют победу над насилием и коварством.

Между народами вы ставите границы,
чтобы доить народы, как стада,
чтоб стричь их наподобие овец,
а если нужно — и погнать на бойню.

---

* Морейским старцем в народе называют военачальника времен революции 1821 года Колокотрониса. Арис Велухиотис — герой Сопротивления, военачальник партизанской армии ЭЛАС.

** Цикл акритских песен и возникший из них акритский эпос относятся к византийскому периоду (VII—XI вв.). Близкие по духу к русским былинам, акритские песни прославляют подвиги военных отрядов, охранявших границы Византийской империи, и объединяются в циклы, самым популярным из которых является цикл Дигениса. Как отмечает в своем исследовании о Сикельяносе Маркос Авгерис, акриты, воевавшие против врагов Византии, не раз приходили в столкновение и с деспотическими правителями империи.

Эти слова народного героя Дигениса — вызов властителям, императору и его окружению. Два мира — старый мир правящей Византии, деспотический и лицемерный, и новый мир гордых, непокорных, сильных акритов, символизирующих пробудившийся к действию народ,—вступают в непримиримый конфликт.

Народ — сила, несущая историческое обновление. Если в ранних трагедиях Сикельяноса носителем идей свободы является Герой, призванный спасти народ от гибели и привести его к духовному возрождению, то в трагедии «Христос в Риме» (1946) и особенно в «Смерти Дигениса» герой — это голос народа, его избранник, его представитель; главная движущая сила — сам народ, сокрушающий режимы рабства, более могучий и более гуманный, чем боги.

Лживы те боги, что землю предали
гниенью,
тольно один во вселенной останется бог,
это народ, что земле возвращает здоровье.

Смерть Дигениса в финале трагедии не снижает ее оптимистического звучания. На смену павшему акриту придут другие. Об этом говорят заключительные строки:

Дорогу жизни!... Не осиротела,
нет, не лишилась сыновей своих земля!

«Смерть Дигениса» завершает долгий и непростой путь поэта «от горизонта одиночки к горизонту всех людей», путь демократизации и сближения с народной жизнью, который в годы Сопротивления прошло большинство греческих писателей. 1947 год подводил черту под одним периодом и открывал дверь в другой, принесший новые национальные потрясения и новые испытания для литераторов Сопротивления. Вместе со «Смертью Дигениса» на грани двух периодов стоит поэма Я. Рицоса «Ромиосини».

Слово «Ромиосини» обычно переводят просто — Греция. Однако помимо географических и исторических представлений, которые вызывает слово «Греция», в понятии «Ромиосини» заключены еще и отношение греческого народа к своему прошлому и настоящему, его нравы и обычаи, наиболее существенные черты национального характера. В годы фашистской оккупации понятие «Ромиосини» озарилось героикой греческого Сопротивления, стало символом свободолюбия, символом коренных перемен, происшедших в национальном сознании. «Ромиосини» у Янниса Рицоса — это прежде всего народ, осознавший свою силу, свою ответственность за собственную судьбу и потому — непобедимый.

Хлеб кончился, кончились и снаряды,
сердцем своим они пушки теперь заряжают.
Много дней, много лет, осажденные с суши
и с моря,
они гибнут от голода и под пулями гибнут,
но никто из них с жизнью еще не расстался.
С бастионов глаза их сияют, как зарево,
как огромное алое знамя сияют,
и едва рассветет, голубиные стаи
вылетают из рук у них — тысячи добрых
посланцев —
к четырем вратам горизонта.

«Ромиосини» Рицоса, как и «Смерть Дигениса» Сикельяноса, вдохновлена Сопротивлением, но не прикреплена к нему хронологически и сюжетно. Враг здесь как бы безличен, мы видим бедствия, которые он принес, и гнев, который он посеял. Мы видим нашествие насилия, мрака и смерти, которому противостоят свет, правда, братство. Рицос словно раздвигает рамки Сопротивления. Четыре года антифашистской борьбы воспринимаются им не как завершившийся эпизод национальной истории, а как поворотное явление, определившее новое течение жизни, которая тоже будет борьбой. Поэт, еще в тридцатые годы связавший свое творчество с прогрессивными идеями демократического движения, принявший их не в эмоциональном порыве, а как мировоззрение, как дело, которому будет служить, простирает принципы Сопротивления над будущим страны. Отныне и вовеки

эти деревья не могут расти
под враждебными небесами.
Эти камни не могут дышать
под чужими шагами тяжелыми.
Эти улыбки не могут жить,
если солнца нет над улыбками.
Эти сердца не могут стучать,
если в мире нет справедливости.

(Перевод С. Ботвинника)

Это было предвидением новых сражений, напутствием и заветом бойцам завтрашних битв.

■

Предвидению Рицоса суждено было оправдаться. Все последующее двадцатилетие явилось непрерывной многообразной битвой между обновлявшимися силами Сопротивления и теми, кто стремился их уничтожить. Это была цепь тяжелейших испытаний: развязанная реакцией гражданская война 1947—1949 годов, еще одно поражение демократического лагеря, постепенное мучительное преодоление болезненных последствий поражения и новая консолидация под лозунгами свободы и демократии. Идеалы Сопротивления и вдохновленное ими искусство не утрачивали своей актуальности, они обретали вторую жизнь, не менее активную и действенную, чем первая. В шестидесятых годах, в период нового бурного подъема демократического движения, «Ромиосини» Рицоса, переложенная на музыку Микиса Теодоракиса, стала гимном несдающейся свободолюбивой Греции, и когда в концертах исполнялась оратория «Ромиосини», весь зал скандировал, точно приносил присягу:

Это наша земля.
Никто не отнимет
у нас эту землю.

К середине шестидесятых годов под лозунгами, выдвинутыми Сопротивлением, вновь объединились все лучшие силы страны. И тогда напуганная реакция нанесла

очередной удар. Летом 1965 года король Константин сверг демократическое правительство Георгиоса Папандреу. В апреле 1967 года произошел переворот еще более радикальный: власть в стране захватила фашистская хунта. Яннис Рицос и Микис Теодоракис - два символа, вдохновлявших новую волну Сопротивления,— оказались за решеткой. Закрылись прогрессивные журналы и газеты, сотни книг попали в черные списки. Фашистский террор сковал всю страну. Сопротивление вступило в фазу, максимально близкую к той далекой первой фазе времен гитлеровской оккупации, и в этих трудных условиях с особой отчетливостью проявилось, сколь живы в Греции уроки антифашистского прошлого.

Первым свидетельством этого явилось осуждающее молчание. Как некогда в период гитлеровской оккупации, ни один значительный деятель культуры не одобрил установленный в стране фашистский порядок. Неоднократные попытки хунты принудить творческую интеллигенцию к сотрудничеству не увенчались успехом. Писатели перестали издавать свои книги и отказались от выступлений в прессе. Художники не выставляют своих произведений. Многие актеры покинули сцену. Культурная жизнь страны по существу остановилась. Все официальные мероприятия в этой области решительно бойкотируются.

С нескрываемой враждебностью встретила, например, литературная общественность решение хунты об издании «Государственной антологии новогреческой литературы», в состав которой должны были войти рассказы 86 прозаиков, в том числе авторов, известных своими левыми убеждениями. Издание такой антологии в условиях, когда многие греческие писатели и среди них авторы намеченных к публикации рассказов подвергаются преследованиям, было расценено как попытка режима создавать ложное впечатление, будто в стране существует духовная свобода. Восемнадцать писателей—Лили Яковиду, Ясон Депунтис, М. Кумандареас, Никос Каздаглис, Алекос Котзьяс, Костула Митропулу и другие — выступили с манифестом, в котором протестуют против намерения хунты издать антологию и заявляют, что не согласны на публикацию своих произведений. «В условиях, когда книги находятся под запретом, а писатели преследуются за их политические убеждения,— говорится в манифесте,— о духовной свободе не может быть и речи».

Заявление о несогласии на публикацию в антологии своей повести «Василис Арванитис» сделал незадолго до смерти академик Стратис Миривилис, крупный прозаик, отнюдь не сочувствовавший демократическому движению. Умирая, он просил жену и детей не позволить, чтобы правительство хунты оказало ему после смерти официальные почести. С требованием не включать в антологию произведения Георгоса Теотокаса выступила семья покойного писателя. «Наше решение,— говорится в ее заявлении,— продиктовано уважением к убеждениям нашего супруга и отца».

Обостренное чувство гражданского долга, глубокое сознание того, что духовная жизнь и режим фашистского насилия не совместимы, вновь определяют сейчас позицию подавляющего большинства греческих литераторов. И тут мне хотелось бы сказать несколько слов о поэте Г. Сефериса*, лауреате Нобелевской премии, заявление которого в марте 1969 года облетело весь мир. Возможно, многие были удивлены столь страстным и решительным заявлением со стороны человека, старательно удалявшегося в своем творчестве от политической жизни и политической тематики. Однако перенесемся в годы второй мировой войны, когда Сеферис вместе с эмигрировавшим греческим правительством оказался на Среднем Востоке. Поэт был далеко от порабощенной родины, но разделял ее горе, и, обращаясь к ней в своих мыслях и в своих стихах, он отрешался от свойственной его ранней поэзии строгой герметичности, он говорил проще и сердечнее; страдание и Сопротивление Греции взволновали его творчество и его душу и остались в ней навсегда. Мы почувствуем это, читая заявление Сефериса: «Вот уже два года, как нам навязан режим, абсолютно не совместимый с теми идеалами, за которые наш народ столь доблестно сражался в годы второй мировой войны. Мы живем в вынужденном оцепенении, и те духовные ценности, которые с помощью стольких болезненных усилий удалось до сих пор сохранить, того и гляди, утонут в стоячей воде болота...»

Если бы мы ставили сейчас своей целью перечислить антихунтовские выступления деятелей греческой культуры, перечень оказался бы очень длинным. Мы должны были бы рассказать о мужественном поступке председателя Государственного Совета поэта Михалиса Стасинопулоса, отказавшегося подчиниться произволу хунты. И о Маркосе Авгерисе, статью которого мы выше цитировали: в его квартире не раз устраивались обыски, полицейские надеялись обнаружить какой-то тайник, и восьмидесятипятилетний критик, имеющий неоценимые заслуги перед греческой литературой, сказал им: «Мне жаль, что я не лучший из греческих коммунистов, потому что я стар и болен. Что же касается тайника, то он у меня в голове. Там мои идеи, а их вы отобрать не можете».

Этот перечень можно было бы продолжить. Чуть ли не каждый день приносит новые и новые факты, свидетельствующие о том, что духовное Сопротивление оставило позади стадию молчания и бойкота и вступило в стадию активного неприятия фашистского режима, который серьезно обеспокоен непримиримостью умонастроений греческой интеллигенции и обрушивается на нее с новыми и новыми репрессиями.

Вслед за антифашистскими заявлениями деятелей греческой культуры на

* Стихи Г. Сефериса печатались в журнале «Иностранная литература» № 9, 1969.

волю просачиваются и поэтические голоса протеста, и пора рассказать о них. В декабре 1968 года «Литературная газета» перепечатала из итальянского еженедельника «Эспрессо» стихи Александроса Панагулиса, молодого патриота, совершившего покушение на диктатора Пападопулоса и приговоренного к смерти «Я стану вашей могилой»,— сказал на суде Панагулис, и эти теперь уже крылатые слова могут служить эпиграфом к короткому циклу его стихотворений, пронизанных идеями Сопротивления. Беспредельная самоотверженность во имя святой цели, верность памяти павших и обещание довести их дело до конца — эти мотивы, столь хорошо знакомые нам по антифашистской поэзии второй мировой войны, звучат в стихотворениях Панагулиса «Первые павшие», «Продолжайте», «Памяти Никифороса Мандилараса», «Борьба». Читая стихотворение «Памяти Никифороса Мандилараса», невольно вспоминаешь двадцатипятилетней давности стихотворение Манолиса Анагностакиса «Харис — 1944», которое мы цитировали выше. И я не могу удержаться, чтобы не привести здесь (по публикации «Литературной газеты») и стихотворение Панагулиса, посвященное одной из первых жертв хунты, адвокату Н. Мандилараcу.

Я узнал о твоей смерти,
но не смог заплакать.
Я метался по госпитальной койке,
кусал простыню, терзался,
вспоминая нашу последнюю встречу.
Ты говорил: они не посмеют.
Иного выбора у них нет,—
отвечал тебе я.
Этот путь приведет их к могиле,—
кричал ты с надеждой.
Да, Никифорос,
он приведет их к могиле.
Это наше обещание.
И пусть оно будет тебе
вместо реквиема.

Да, поэты не публикуют сейчас своих стихов, но они пишут, и их произведения, запечатлевающие сцены современной греческой трагедии, распространяются, как в годы оккупации, в списках, из рук в руки, без подписей. Несколько таких анонимных стихотворений, вывезенных за границу, опубликовал журнал «Пория», орган обучающихся в Париже греческих студентов. Одно из них называется «Я готов».

Я готов. Я вас жду.
Никогда еще я не готовился
так старательно,
так открыто...
Я готов, и я жду, когда в дверь
постучат с нетерпением руки,
что торопятся даже солнце
черной краской покрасить.
Я готов. Жду ли я?
Нет, я сам
к вам приду
с фитилем зажженным.

Не только идеи и дух Сопротивления, не только основные мотивы поэзии той эпохи мобилизуются сейчас, в этой новой фазе антифашистского Сопротивления. Мобилизуются на новые бои и старые, испытанные бойцы — стихи, написанные более полувека назад и сыгравшие почетную роль в борьбе греческого народа против гитлеризма. Глубоко символичен тот факт, что один из антидиктаторских номеров журнала «Пория» открывается отрывком из знакомого нам стихотворения Ангелоса Сикельяноса «Письмо с фронта», причем как раз теми строками, где поэт говорит о новой весне, которую принесет Греции победа, весне, сметающей своим мечом все недостойное.

И в заключение еще один факт, свидетельствующий о перекличке времен, о вечной молодости идей Сопротивления, о жизненности его уроков. Среди произведений, созданных композитором Микисом Теодоракисом в ссылке,— «Духовный марш» на слова Ангелоса Сикельяноса. Это стихотворение было на устах всех греков, боровшихся в рядах антигитлеровского Сопротивления; теперь, переложенное на музыку, оно сплачивает ряды нового Сопротивления против фашистской хунты. Напомню уже процитированные выше строки:

Вперед! Помогите поднять над Элладою
солнце!
Вперед! Помогите поднять над вселенной
светило!

БЕЛА КЁПЕЦИ

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА

Летом 1969 года в Будапеште встретились советские и венгерские литературоведы. Состоялся научный симпозиум, организованный Институтом мировой литературы им. Горького Академии наук СССР и Институтом литературоведения Венгерской Академии наук.

В Венгрии господствует стойкий интерес к нашим спорам, поискам, работам — к новому слову советской литературоведческой науки. Деловой, можно сказать, интерес, потому что выводы, открытия советской науки входят в фонд и обиход науки венгерской.

А наше литературоведение разве не обогащается, узнавая, что происходит у друзей,— как разрабатывают они историю своей и других литератур, какие решают общие вопросы, неизбежно встающие при этом?.. Хорошо, профессионально знать это — сейчас требование, чуть ли не условие успешного развития социалистического литературоведения.

Лучше узнать друг друга, теснее сотрудничать — с этим желанием принимали у себя литературоведы ИМЛИ венгерских товарищей осенью 1968 г.; с этим желанием ехали на следующий год и в гостеприимную венгерскую столицу. Оправдались ли ожидания? Судите сами: в своих докладах и выступлениях венгерские ученые затронули многие ключевые проблемы литературы, которые стоят в центре внимания также советских литературоведов — и вообще находятся «на переднем крае» современной науки.

Если говорить о хронологически более близких темах (потому что симпозиум занимался и Возрождением, и барокко), то в докладе академика Иштвана Шётера, например, на основе исторического анализа романтизма был поставлен такой вопрос, как соотношение в нем национального и интернационального («универсального»), традиций и новаторства, а также о своеобразных чертах и особой его роли в средне- и восточноевропейских литературах (сравнительно с западными). Одной из злободневных проблем литературы XX века — исторической оценке так называемого «авангардизма» — посвятил свой доклад член-корреспондент Венгерской Академии наук Миклош Саболчи. Видя природу «авангардизма» «в разрушении связей между художниками и публикой», подчеркнув полное бессилие авангардистов преобразить искусство (а тем более общество), он вместе с тем обратил внимание на неоднородность этого течения, на его отдельные художественные достижения, которые в разных странах не были бесполезны для реализма (даже отчасти социалистического). Размышлениями о границах и содержании понятия «модернизм» поделился профессор Иштван Кирай, также отметивший разнородность (особенно на востоке Европы) этого явления новейшей литературы.

И, конечно, уже по самому своему предмету бесспорное право на внимание, и не только одних специалистов, имеет публикуемое ниже выступление члена-корреспондента ВАН Белы Кёпеци об этапах развития социалистического реализма. *

* Текст выступления получен редакцией в рукописи.

На симпозиуме, правда, вызвала возражения датировка автором начала нового, четвертого (по его счету) этапа социалистического реализма 1932 годом (то есть появлением известного постановления о роспуске РАППа) или 1934-м (время создания Союза советских писателей). По отношению ко всем европейским литературам, вероятно, справедливее было бы и этот рубеж, как все другие, связать с более общими процессами, мировыми событиями (например, возникновением антифашистского Народного фронта). Можно также усомниться, достаточно ли, скажем, назвать Т. Манна просто «буржуазным реалистом» (определение «буржуазный реализм» принято венгерским литературоведением для первого, приближенного отличения от реализма социалистического). Но важно в докладе другое: взгляд на социалистический реализм как исторически развивающееся явление; наблюдение, что нарождается он сложно, восходит нередко к разным истокам. Небезынтересно предположение венгерского ученого о возможности не только индивидуальных художественных различий, но и различных способов художественного освоения действительности внутри единой литературы социалистического реализма. И хочется согласиться с его призывом прежде всего глубоко и конкретно изучать живую современную литературу, без чего любое общее суждение повисает в воздухе, лишается плодотворной почвы.

Советские участники симпозиума покинули Венгрию с убеждением, что сотрудничество наше станет прочной творческой дружбой.

О. К. РОССИЯНОВ

ВЕЛА КЕПЕЦИ
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА

Социалистический реализм — историческое, то есть общественно обусловленное явление, что не снимает его специфики как искусства. Это утверждение, на первый взгляд банальное, должно быть тем не менее подчеркнуто по двум причинам. Во-первых, некоторые исследователи, не считаясь с очевидностью, попросту отрицают существование социалистического реализма. Сошлюсь в связи с этим на заявление нашего старого оппонента Гарри Левина, который, вновь обретя боевой пыл на прошлогодней сессии Американской ассоциации сравнительного литературоведения, утверждал, что мы якобы цепляемся за «лишенное *исторического содержания* (подчеркнуто мною.— Б. К.) понятие социалистического реализма», унаследованное, по его мнению, от Горького, Жданова и Сталина. Есть, вероятно, люди, которых вообще невозможно убедить в какой-либо очевидной истине, но я все же надеюсь, что те, кто уважает факты, способны как исторический факт принять существование социалистического реализма.

Другая причина заключается в следующем. Даже среди марксистов встречаются люди, считающие, что социалистический реализм, в сущности есть не более чем продукт определенной эпохи (1934—1956 годы), которую в искусстве характеризует схематизм. Для этих людей преодоление догматизма означает одновременно отказ от социалистического реализма. Против подобных взглядов нужно выдвигать принцип историзма в широком понимании,— необходимо учитывать, с одной стороны, взаимоотношения искусства и общества, а с другой — наличие постоянных и меняющихся признаков социалистического реализма.

Сразу же хочу сказать, что социалистический реализм, по моему убеждению, характерен для всей исторической эпохи, которую мы называем переходной и которая продолжается от падения капитализма до полного построения социализма. Сделать такой вывод меня побуждает не какая-либо догма, а само развитие общества и искусства в XIX и XX веках. Социалистический реализм как способ художественного понимания жизни остается исторически закономерным, поскольку другие направления не в состоянии охватить реальную действительность или изображают лишь отдельные фрагменты ее. Конечно, это вытекает не из субъективного нежелания художников, а из кризиса буржуазного строя. Это, однако, не исключает появления эстетически ценных произведений вне сферы социалистического реализма.

Тезис о том, что социалистический реализм характеризует целую большую историческую эпоху, не противоречит представлению о различных, обладающих специфическими чертами этапах его развития.

Под предысторией социалистического реализма я понимаю период, продолжающийся со времени возникновения рабочего движения по 1905 г. Пролетариат в этот период выражает свои политические устремления в революционной поэзии, испытывающей влияние романтизма, а в то же время сам оказывает влияние на гуманистическую буржуазную литературу. Основатели марксизма развивали свои эстетические взгляды, опираясь на философию и на литературные шедевры прошлого. Только что зародившаяся литература рабочего класса их эстетические вкусы определять еще не могла.

Совсем другая ситуация складывается начиная со второго этапа, когда, с одной стороны, революционное движение достигло более высокой стадии, а с другой — появились первые значительные произведения новой литературы. Недостаточно было бы эту ситуацию связывать только с именем Горького. Влияние социалистического движения сказалось и в отдельных произведениях Анатоля Франса, Э. Верхарна, Б. Шоу и Г. Гауптмана,— пусть даже их развитие позднее пошло в других направлениях. Мож-

но сказать, что рабочее движение в это время шло в художественном отношении рука об руку с наиболее прогрессивной литературой. В самом деле, каждый из перечисленных выше писателей был не только продолжателем традиций XIX века, но и новатором — в том смысле, в каком об этом говорил Роден: «Une art qui a la vie ne restaure pas les œuvres du passé, il les continue» *. Взаимосвязи революции и литературы Ленин формулировал, уже имея в виду это обстоятельство.

Начало третьего этапа, который продолжается до 1932 года, совпадает с пролетарскими революциями. В 1917 году в России, в 1919 году в Венгрии и в меньшей степени в Германии литературу делили прежде всего по политическим признакам. Добавим сразу же: литературные направления и их представители занимали в политических вопросах различные позиции. Это необходимо подчеркнуть, потому что любое упрощение тут ведет не только к историческим, но и к эстетическим ошибкам. Из переписки Ленина и Горького мы знаем, что Горький, которого мы считаем одним из основателей социалистического реализма, с воодушевлением приветствовал Октябрьскую революцию, но за рождением нового строя следил сдержанней и даже на некоторое время отстранился от него. Напротив, представитель футуризма Маяковский своим искусством боролся за новый строй. Франс называл себя «большевиком», тогда как дадаисты стремились лишь к революции формы. Сюрреалисты даже в 1925 году писали: «Мы намерены делать революцию. Мы добавляем «сюрреалистическую» исключительно для того, чтобы подчеркнуть бескорыстный, незаинтересованный, более того: безнадежный характер этой революции». Значительная часть немецких экспрессионистов присоединилась к революции, а, скажем, буржуазный реалист Томас Манн — нет. В Венгрии Мориц, считавшийся хранителем традиций, поддерживает Советскую Республику, авангардист же Кашшак как раз в дни пролетарской революции оказывается в оппозиции к партийному руководству.

Все это заставляет сделать вывод: неправильно говорить, что лишь какая-то одна традиция дает перспективы развития новой литературе. Неверно считать, например, что до социалистического реализма смогли дорасти только направления (или отдельные их представители), развивавшие реализм XIX века, или что лагерь нового искусства состоял только из приверженцев авангардизма. Все зависело от конкретной ситуации, от страны, склонностей того или иного писателя. Нельзя не видеть, что главным и определяющим была позиция писателя по отношению к революции. Мнение, будто бы идейно-политическая позиция писателя не играет существенной роли в его художественном развитии, несостоятельно.

Заслуживает внимания еще одна особенность данного периода. О литературе того времени часто говорят, что она лишь подготавливала социалистический реализм,— подлинно же новое появилось после 1934 года. Конечно, для некоторых художников такое разграничение справедливо, но на всю новую литературу, новое искусство оно не распространяется. Не следует забывать, что к литературной продукции тех лет — если взять лишь несколько примеров — относится «Огонь» Барбюса, «Мои университеты» и «Дело Артамоновых» Горького, поэзия Маяковского. Примеры эти свидетельствуют также о том, что писатели могли приходить в новую литературу из разных направлений. Общее следует искать не во внешних жанровых и формальных признаках, а в том, что можно принять за постоянные признаки социалистического реализма. Это общее — такое художественное осмысление действительности, при котором в центр внимания ставится человек, личность, рассмотренная в общественном контексте, действия героев исторически обусловлены, и вместе с тем для художников социалистического реализма характерны поиски в искусстве, а также убеждение в том, что можно найти общий язык с читательской аудиторией и воздействовать на нее. Все это и в технике письма, и, если угодно, в форме по-разному воплощается в творчестве писателей, связанных с различными традициями. Разное понимание жизни может не только порождать индивидуальные художественные различия, но и способствовать возникновению целых художественных направлений и течений внутри литературы социалистического реализма, что вызывается, конечно, не только связями с той или иной традицией. Хорошим примером могут служить направления в советской литературе 20-х годов. Мы не собираемся идеализировать этот период, но определенные выводы, касающиеся образования направлений, из него нужно сделать. Потому что, не решив вопроса о направлениях, нельзя понять и современное развитие социалистического реализма.

Я не буду анализировать здесь период с 1932 по 1955 год: его достижения, противоречия, трудности достаточно известны. Негативную точку зрения на этот период я не разделяю точно так же, как и апологетизацию его. Хотелось бы обратить внимание лишь на одну вещь. Верно, что в это время в теории, а отчасти и в писательской практике, стало господствующим узкое, нередко догматическое и шаблонное понимание социалистического реализма; верно и то, что емкое, «открытое» это понятие попытались привязать к одному стилевому направлению. Однако художественная практика показывает, что в рамках социалистического реализма и тогда существовали разные направления. Я, например, не могу считать создававшееся Арагоном, Бертольтом Брехтом или Анной Зегерс совершенно тождественным, скажем, написанному Фадеевым или Леоновым. По-моему, дело и здесь не сводимо к индивидуальным особенностям стиля: обстоятельный историко-литературный анализ может выявить наличие определенных направлений. Достаточно вспомнить,

* Искусство, в котором есть жизнь, не реставрирует творения прошлого, оно их продолжает *(франц.)*.

что еще перед второй мировой войной журнал «Литературный критик» поддерживал литературу другого рода, чем, например, «Красная новь», причем не только в теории, но и на практике, так как практика была многообразна. Разумеется, в еще большей степени это относится к другим странам: ведь в тот период, участвуя в борьбе против фашизма, сторонниками социалистического реализма становились многие представители сюрреализма и других авангардистских направлений,— точно так же, как и хранители реалистических традиций.

После XX съезда КПСС на наших глазах происходят новые процессы. Прежде всего, создается впечатление, что писатели, выступая против догматизма и схематизма, обращаются к некоторым направлениям 20-х годов. Думаю, я не ошибаюсь, усматривая тенденции такого рода во многих сторонах творчества писателей советской «новой волны». То же можно наблюдать и в венгерской литературе, где поэзия испытывает влияние стиха Маяковского и Аттилы Йожефа, драматургия — влияние Брехта, проза — так называемой литературы факта, питающейся из венгерских и зарубежных источников. Характерно, что и многие писатели возвращаются к началу своего пути. Романы Арагона «Гибель всерьез» и «Бланш, или Забвение» могут служить примером того, как возрождается к жизни сюрреализм в творчестве одного и того же писателя.

Некоторые абсолютизируют это явление, представляя его так, будто оно действительно означает полный возврат к прошлому, в чем будто бы и заключается единственная перспектива развития социалистического реализма. Но дважды нельзя ступить в одну и ту же реку. Эта истина справедлива и для литературы. Все направления, которые опираются на какие-то явления ушедшей эпохи, могут заимствовать лишь отдельные черты их. Они не в состоянии отвлечься от того, что за это время произошло, а главное — от современной действительности. Нельзя, таким образом, согласиться с Пьером Дэксом, который в последних романах Арагона увидел главную тенденцию социалистического реализма.

На сегодняшнем этапе развития социалистического реализма особую проблему представляет отношение к западноевропейским литературным направлениям. Без сомнения, на некоторых наших писателей оказывают влияние такие явления, как экзистенциалистская литература, театр абсурда, «космическая» поэзия. Это естественное следствие расширяющегося культурного обмена, в котором, конечно, нуждается новая литература. Влияние облегчается тем, что отдельные западноевропейские писатели делают попытки отгородить себя от буржуазного общества, проявляют интерес к марксизму и даже сами высказываются в «марксистском» духе. Наиболее характерным примером в этом смысле является путь Ж.-П. Сартра, который в предисловии к своему философскому труду «Критика диалектического разума» теоретически обосновывает свое сближение с марксизмом. Нельзя, правда, забывать, что несколько лет спустя он написал другую книгу, которой дал название: «Коммунисты боятся революции»,— поднав под влияние так называемой левацкой идеологии, он сделал этот вывод из прошлогодних событий во Франции. Многие представители таких авангардистских школ, как французская группа «Тель кель» или итальянская «Группо-63», тоже обращаются к марксизму,— пусть даже некоторые из них ищут «радикализма» на том же пути, на какой попал Сартр. Во всем этом важно, что левые — пусть даже связанные с поисками третьего пути — политические взгляды и интерес к марксизму облегчают взаимосвязь между западноевропейскими литературными течениями и социалистическими литературами. Это часто дает полезные результаты; но определенная фетишизация всего «нового» может привести в социалистической литературе и к эпигонскому подражательству литературным направлениям Запада,— вступить в противоречие с социально-гуманистической идеологией и творческим марксизмом. Появление такой опасности уже само по себе иллюстрирует противоречия настоящего периода.

На теперешнем этапе развития социалистического реализма весьма значительную роль с точки зрения не только тематики, но и художественного метода играет переосмысление прошлого. Я думаю, это необходимо, если мы хотим преодолеть пережитки той ситуации, которая возникла после осуждения культа личности. И наша литературная практика показывает, что писатели, которые, честно занимаясь этой проблемой, подходили к ней с марксистских позиций, дали реалистическую, исторически достоверную картину прошлого. Достаточно вспомнить в этом отношении Йожефа Лендела. Однако появляется и своего рода «аллегорическая литература», которая, показывая на далеких исторических примерах противоречия недавнего прошлого, подчас мифизирует зло, осужденное самими же коммунистическими партиями. В этих случаях мы часто сталкиваемся с влиянием западноевропейской буржуазной философии, особенно экзистенциализма.

Между тем «литературу разоблачений» кое-кто считает единственным возможным путем литературы социалистического реализма. На мой взгляд, такая точка зрения суживает ее искания. К счастью, венгерская литература не вняла подобным советам. Она идет разнообразными путями, и я думаю, что это признак здорового развития. Новые книги документально-очеркового жанра свидетельствуют об этом точно так же, как, например, осуждающая мелкобуржуазные пережитки поэзия и проза. Все это я говорю не с целью сделать вывод, что в нашей литературе уже выкристаллизовались различные направления. Но нельзя отри-

---

цать, что процесс дифференциации и, значит, обогащения литературы уже начался. Аналогичная картина—mutatis mutandis *— имеет место и в других социалистических странах.

В связи с изложенным хотелось бы обратить внимание на одно странное противоречие: многие писатели считают себя социалистами, но лишь немногие признают социалистический реализм. Причину этого нужно искать прежде всего в искажениях, имевших место в прошлом, а также в том, что общественное мнение подчас до сих пор отождествляет социалистический реализм со схематизмом. И здесь мы подходим к вопросу о важности теоретической работы. Прошедшие и у нас дискуссии о реализме и социалистическом реализме не встретили настоящего отклика потому, что были недостаточно подкреплены анализом современных процессов в литературе. Правда, вначале мы могли ссылаться на произведения, которые поднимали широкие социальные проблемы венгерского общества. Я имею в виду книги Дарваша, Шанты, Череша, нашу социалистическую лирику. Однако несколько лет спустя эта линия была в какой-то степени потеснена произведениями, в которых опять доминировала проблема личности. Очевидно, анализ наш был недостаточно глубок, коль скоро мы не заметили таких возможностей и противоречий развития подспудных течений в нашей литературе.

Есть, однако, еще обстоятельство, которое объясняет сложность и запутанность сегодняшнего положения: то, что до сих пор не завершен спор о смысле основных марксистских категорий. Еще живы концепции «большого реализма», «реализма без берегов». Однако их сторонники уже не довольствуются теоретическими положениями — они ищут подкрепления для них в литературе. И в этом своем стремлении часто изменяют собственным теориям, хвалят такие произведения, которые трудно объяснить с их помощью. Уровень теоретических и критических работ заметно вырос; но перечисленные проблемы говорят о том, что нужно еще обстоятельней изучать спорные категории марксистской эстетики, опираясь при этом на конкретный литературный материал.

В заключение вернемся к главному вопросу: можно ли, вопреки всем сложностям, говорить о существовании литературы социалистического реализма после 1956 года? По-моему, можно, и наша задача сейчас состоит в том, чтобы, исходя из процессов, идущих в литературе, опираясь на уточненные категории марксистской эстетики, определить особенности этого нового этапа.

* С соответствующими изменениями *(лат.)*.

Июнь 1969 г.
г. Будапешт

Перевод с венгерского Ю. ГУСЕВА

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

Анкета «Иностранной литературы»

«Иностранная литература» обратилась к ряду зарубежных писателей и деятелей культуры с приглашением принять участие в специальной анкете, посвященной 100-летию со дня рождения В. И. Ленина и содержащей два следующих вопроса:

1. При каких обстоятельствах Вы впервые познакомились с именем В. И. Ленина — расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.

2. В чем Вы видите актуальность ленинизма сегодня?

С этого номера мы начинаем публиковать полученные редакцией ответы.

МИХАЙ БЕНЮК (РУМЫНИЯ)

Это было в 1919 году, в Себище, моем родном городе, что стоит под Кришул-Албом в Западных Карпатах. С фронта домой повозвращались солдаты, когда матросы на «Святом Иштване» начали революцию и после падения династии Габсбургов установилась Венгерская Социалистическая Республика. Границ не было: по ту сторону от Брада стояли войска Фердинанда Гогенцоллерна, в Тимишоаре — сербская армия, и даже французский отряд прибился к нам в село. Но большинство солдат были местными, к ним примкнули люди из разных краев. Разбились по гвардиям: белая гвардия, черная гвардия, красная гвардия, была даже и желтая гвардия — из румын, сашь *, венгров, евреев, цыган, ну прямо-таки вавилонское столпотворение. Потом остались одни красные. Кажется, в марте фронт стабилизировался по берегам горного Кришула, между Венгерской Советской Республикой и западной Трансильванией.

О революции мы услышали за год до этого от русских пленных, уезжавших из нашего села на родину, в Россию, а про Ленина впервые узнали от солдат красной гвардии. Ленин и большевик — эти слова для нас, детей, звучали магически. Мы вертелись среди солдат и знали тогда только одно, что Ленин и большевики — в России. Большевиками называли и красногвардейцев. Мы, как и они, носили красные кокарды, правда, мы — просто так, не очень-то хорошо понимая зачем. Но уже тогда мы знали, что на свете не должно быть императора, что мы, дети, не должны спорить, кто главнее — венгры или румыны,— что на земле не должно быть бедных и богатых,— это сказал нам один солдат. Мы видели, как бежали из нашей деревни господа и слуги графа Венкхайна, когда пришла красная гвардия. И еще мы слыхали, что вождя Вен-

* Так называется немецкое население в Румынии.

герской Советской Республики звали Бела Кун. Но главнее и сильнее всех были Ленин и большевики в России — самой большой стране, как мы учили в школе.

В тот год Венгерская Советская Республика была задушена. Оставшиеся в живых красногвардейцы, что вернулись в село к осени после боев за республику или с других полей сражений, были уничтожены жандармами. Многих сразу же расстреляли после боев. Одинокие могилы их сровняло временем, и лишь братские насыпи и сейчас видны в дубовой роще, на краю села.

Потом пришло время, когда запрещалось даже упоминать Ленина и большевиков.

Намного позднее, в пору юности, в 1928—1931 годах, я впервые тайком познакомился с «Материализмом и эмпириокритицизмом». Это было первое произведение Ленина, которое я прочитал. Книга ходила по рукам в кругах тех, кто втайне считал себя коммунистом. Мы не знали, кто автор книги, но она, видно, побывала во многих руках. В ту пору произведения Маркса, Энгельса, Ленина были запрещены в Румынии, и те, у кого их могли найти, рисковали очутиться в тюрьме. Поэтому, читая такие книги, мы сознавали, что выступаем против тирании монархии и буржуазии в Румынии. Это было в Клуже. В Гамбурге, в 1932—1933 годах, будучи студентом, я ближе познакомился с ленинизмом. Там до прихода Гитлера к власти было легче доставать произведения Ленина, а контакт с левыми студентами и портовыми рабочими благотворно повлиял на мои взгляды. Вернувшись на родину в конце 1934 года, я был секретарем «Общества друзей СССР». В том же году общество было закрыто правительством Тэтэрэску, а члены его, в большинстве своем, примкнули к сочувствующим коммунистам и во время второй мировой войны выступали против фашизма. В духе идей Ленина.

В наше время дело Ленина, его труды остаются верным компасом для человечества, идущего по пути борьбы за прогресс и социальную справедливость. Светлые идеи его одухотворяют борьбу народов и прогрессивные движения за создание истинно человечного мира — мира коммунизма на всей планете. Ленинская непобедимая логика изгоняет призраки прошлого и страшные угрозы настоящего, что тают, как ночные тени при восходе солнца. Потому что ленинские труды — это разум и борьба, они сплачивают воедино усилия людей, вселяют веру, отметают сомнения, окрыляют человека, созидающего свое будущее.

г. Бухарест

АЛЕХО КАРПЕНТЬЕР (КУБА)

1. В России уже свершилась революция — в октябрьские дни семнадцатого года,— однако у нас, на Кубе, еще долгое время не могли представить себе, что же действительно произошло в далекой стране. Информационные агентства — преимущественно североамериканские — позаботились о том, чтобы по свету не распространилась правда о событиях в России (в связи с этим не могу не подчеркнуть, насколько ошеломляющим оказалось впечатление от «Десяти дней, которые потрясли мир» Джона Рида, когда мы смогли познакомиться с этой книгой!).

Среди латиноамериканцев, правда, был известен царь Николай как персона отвратительная: в нем видели символ деспотизма. Деспот правил страной, которая дала человечеству таких гениев, как Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой,— эти имена мы хорошо знали (мне вспомнилось в эту минуту, как моя мать, русская, уроженка Нижнего Новгорода, покупала в Центральном парке Гаваны в 1915 году испанское издание романа Тургенева). Падение монархии в России вызвало взрыв подлинного энтузиазма в Латинской Америке. И вот тут-то иностранные информационные агентства объявили «карантин» на все известия о русской революции. С февраля по октябрь 1917 года эти агентства занимали выжидательную позицию; нет, не прихода буржуазии к власти они остерегались. А когда грянул Октябрь, информационные агентства капиталистических стран стали фильтровать, «перерабатывать» известия: «Там царит хаос», «Никто не знает, куда они идут». А кто же возглавляет это огромное движение масс?.. Имя вождя враги пытались скрыть от нас, латиноамериканцев. Прошло несколько месяцев — и в один прекрасный день в кубинской прессе появилось это имя: Ленин. Я тогда был еще подростком. Если память мне не изменяет, лишь около 1920 года это имя уже прочно запечатлелось в нашем сознании. Вскоре Хулио Антонио Мелья и Рубен Мартинес Вильена основали Народный университет имени Хосе Марти, в задачу которого, помимо просветительных целей, входило распространение среди трудящихся Кубы марксистско-ленинской идеологии. К 1924 году Ленин стал нашим учителем. Его замечательные идеи захватили нас. Это были семена будущего. Мы горячо желали — хотя и не имели основания надеяться, что это произойдет скоро,— чтобы это будущее стало действительностью на наших Антиллах, в этой части земного шара,

что издавна именовалась Новым Светом. Для нас, кубинцев, это будущее наконец было отвоевано отрядами под водительством Фиделя Кастро, которые спустились с гор Сьерра-Маэстра, спустились в города, чтобы превратить Кубу в первое марксистско-ленинское государство в Латинской Америке.

2. Чтобы убедиться в том, какие рубежи преодолели ныне ленинские идеи, достаточно заглянуть в книги, в эссе, журнальные статьи, опубликованные в капиталистическом мире. Любопытно заметить, что идеи Маркса и Энгельса, идеи Ленина — его диалектика, ясность, точность, целеустремленность его мысли, отточенность стиля — вызвали в буржуазном, капиталистическом мире **необходимость говорить** на языке, совершенно не свойственном этому миру. Сегодня капиталист, буржуа говорит о **диалектике, о прибавочной стоимости**, о стремлении масс жить в лучшем мире — цинично скрывая за словами нежелание и неспособность найти выход из кризиса. Он вынужден маскироваться, опасаясь забастовок, опасаясь революционных взрывов.

Идеи ленинизма сегодня настолько живы, что уже не только мы, революционеры, говорим это, но и капиталисты, монополисты вынуждены признать этот факт. Эти идеи действуют. Живут полнокровной жизнью. Воодушевляют шахтеров Боливии, чилийских горняков, обитателей ужасных фавел Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, жителей трущоб Каракаса... Воодушевляют каждого, кто, как сказал поэт, «не станет руку протягивать, выпрашивая, будто нищий, подаяние на обочине дороги иль на углу улицы».

Ленин жив. Он среди нас. Он жив, в Москве, хоть и покоится в Мавзолее. Его идеи воплощены в живые дела и свершения. Я уже не буду повторять то, что столько раз говорил доктор Фидель Кастро на народных митингах перед тысячами и тысячами кубинцев. Но хочу напомнить, что всегда на этих митингах возвышался перед нами портрет Ленина — нашего ближайшего друга, нашего товарища и соратника, того, кто учил нас и учит ныне избирать верный путь в нашей жизни — следуя его заветам, кубинцы совершили кубинскую революцию. И наша революция — это еще одно претворение в жизнь марксизма-ленинизма.

Написано в Москве

ПАЛ КОРНИШ (ВЕНГРИЯ)

В волны голубого Балатона — венгерского моря — садится солнце. В огромном парке, окружающем замок, когда-то принадлежавший последним Габсбургам, как всегда, коротают вечерние часы русские, итальянцы, болгары, французы, поляки, немцы, чехи, словаки и конечно же венгры. Здесь отдыхают люди, прожившие славную жизнь: ветераны Октябрьской революции и ветераны сражений за Венгерскую Советскую Республику, герои войны с фашизмом в Испании и партизаны Великой Отечественной, руководители подпольных отрядов, освобождавших Париж, и бойцы итальянского Сопротивления. Это не просто жители разных стран, это творцы истории, созидатели бурной эпохи — со всеми ее горькими поражениями и блистательными победами,— эпохи, которую когда-нибудь нарекут именем величайшего ее сына и величайшего борца за свободу — именем Ленина.

Они, конечно, очень разные, но одно объединяет их прочно и нерушимо: идеи Ленина, которые сделали их закаленными бойцами, научили мужеству, вселили веру в грядущую победу. Побудешь среди них, послушаешь их речи и понимаешь — как в капле росы отражается звездное небо, так и в их мировоззрении нашло отражение ленинское учение. Они сами — закономерный итог труда того, кто первым вывел свой народ из рабства и призвал на борьбу, чтобы свободно, в братском единении со всеми трудящимися планеты жил Человек, чтобы ему не грозили ужасы войны и чтобы завоевания науки и техники, достижения культуры служили счастливой, мирной жизни. Все доброе и прекрасное, что есть на земле, что делает человека духовно богаче и лучше, все озарено светом ленинского имени.

Впервые я писал о Ленине более четверти века назад. Тогда я уже был знаком с ленинскими работами — по крайней мере в объеме десятитомного издания на венгерском языке. Я знал, что такое революционный ленинский дух, который восприняли миллионы — те, что, презирая смерть, держались до последнего патрона и выстояли в войне против фашистских варваров. И уже тогда я понял, что такое партия, которую он выковал в жестокой борьбе, понял, какой ей надлежало быть, чтобы выполнить громадную историческую задачу: возглавить битву за освобождение трудящихся и добиться победы.

Вместе с другими венгерскими коммунистами я учился тогда в СССР. Мы готовились к освобождению Венгрии. Помню, однажды мы готовили стенгазету, посвященную дню рождения Ленина, мне поручили ее редактировать. Конечно, давно поте-

ряны заметки, которые написали для этой стенгазеты мои товарищи. А я сейчас с удовольствием перечитал бы их!.. В своей статье для нашей газеты я, помнится, писал о реакционной аграрной политике в Венгрии и в этой связи — о выступлении Ленина на Всероссийском съезде солдатских и крестьянских депутатов, когда, казалось, он просто высказал все, что хотел бы выразить каждый крестьянин...

С тех пор прошло много лет. Я не раз читал и перечитывал Ленина. Не раз мыслью о прочитанном делился с молодыми людьми, сидевшими на университетской скамье.

Свое отношение к Ленину я бы выразил в следующих словах: для меня он — человечнейший из людей, наделенный непреклонной целеустремленностью и способностью поднимать на борьбу других, политический вождь, действующий только в интересах трудящихся, вождь, как никто другой знавший настроения и чаяния масс, яснее всех умевший определить их цели и задачи.

Ленин и сейчас по-прежнему среди нас. Никогда ни один человек не внушал столько ярости врагам, столько любви, уважения и признательности сторонникам и друзьям. Чем дальше движется колесо истории, тем сильнее любовь к Ленину, тем больше число его последователей. Как бы ни пытались нынешние наши классовые враги опровергнуть Ленина, практика — пробный камень любой теории — подтверждает его правоту. Путь прогресса — именно тот путь, что наметил он, и нам обеспечена победа, если мы пойдем этим путем.

...Вчера вечером сыновья десяти народов собрались вокруг традиционного костра и вместе пели — каждый на своем языке — незабвенные песни революции, которая впервые победила в мире под его водительством. Пели, объединенные чувством братской революционной солидарности. А сколько таких костров зажигают по всей земле, отдыхая после боев, готовясь к новым сражениям! И победа всегда на стороне поющих, потому что их окрыляет знамя Ленина, его наследие: живой, творящий ленинизм.

г. Будапешт

ВАЦЛАВ КУБАЦКИЙ (ПОЛЬША)

НА ПОЛЯХ СТРАНИЦ ИСТОРИИ

Это было в Харькове, осенью 1917 года. Я заболел — тяжелая форма скарлатины. Матери с трудом удалось привести ко мне доктора. Мы жили на окраине, в Столярном переулке. Войдя в наш подвал, врач вынужден был нагнуться, чтобы не удариться головой о низкий потолок... Осмотрев меня, он прописал какую-то горькую микстуру и велел прикладывать компрессы из горячей каши на больное левое ухо, но спохватился, что каши у нас в это голодное время наверняка нету: «Можно класть горячий песок в полотняном мешочке».

Ни о какой плате за визит доктор и слышать не хотел. Через неделю он снова пришел и принес кулечек со сладостями. В нашей комнате не было никакой мебели, кроме набитых сеном матрацев, на которых спало все семейство: родители и четверо ребят. Стены позеленели от сырости. В углу, на табурете, стоял примус. Рядом — ведро с водой и березовая метла. Больше ничего. Внимательно оглядевшись, врач сказал:

— Скоро война закончится и вы вернетесь на родину. Ленин наведет в России порядок.

Тогда-то я и услышал впервые имя Ленина. Это произошло не в нарядном зале, не на торжественном собрании. Не было залитой светом прожекторов сцены, украшенной знаменами. Не было и бурных аплодисментов. Имя вождя прозвучало просто, буднично, в темной подвальной комнате, где жили нищие и голодные беженцы. Отец мой был родом из Торуни (из той части Польши, которая входила в Пруссию), мать — из Нешавы, лежавшей по другую сторону русско-немецкой границы. Война застала нас в Варшаве. Царские власти выслали отца — гражданина вражеского государства — в Вятскую губернию. Матери и маленьким детям было дозволено остаться в Варшаве. Но когда фронт приблизился к польской столице, оказалось, что мы с матерью представляем для великой Российской империи серьезную опасность. Посему мы были эвакуированы в Харьков, где уже после Февральской революции нас отыскал отец. Он устроился работать плотником, но каждую субботу должен был отмечаться в участке, куда я всегда ходил вместе с ним, так как он плохо говорил по-русски.

Мы жили, если можно так выразиться, на задворках истории, где-то на полях ее страниц — на чужбине, в нищете, под надзором полиции, затерянные среди хаоса вой-

ны. Поля страниц истории, на которых живут дети, всегда уже тех, на которых живут родители. Правда, наше поколение было особым. Мы не знали, что такое булка и сахар, но зато рано узнали притеснения, невзгоды и мерзости жизни. Мы были худыми, бледными и болезненными. Днем я бегал по городу, чтобы узнать, где и что выдают по карточкам, а еще до этого, ранним утром, мать стаскивала меня с постели — надо было занимать очередь за хлебом или керосином. Раз в неделю я тащил мешок с картофельными очистками в соседнюю деревушку и выменивал его на бутылку молока. Я ведь был старше своих братьев.

Постепенно становилось все хуже и хуже. Уже отец занимал очередь в булочную еще с вечера, а на рассвете приходил я, чтобы он мог пойти на работу. В морозы вдоль очереди, тянувшейся через улицу, горели костры, возле них грелись закутанные в платки женщины, дети в башлыках. Мы усердно топали башмаками на деревянных подошвах, и стук этот, разносясь от костра к костру, свидетельствовал о том, что очередь еще не примерзла к земле. Наконец открывалась пекарня. Шаг за шагом, от костра к костру мы продвигались вперед. Потом начиналась давка: людей опрокидывали, кричали женщины, плакали дети — хлеб кончался. Толпа дружно осыпала проклятиями власть, войну, офицеров, попов и даже самого господа бога. Стоять, однако, было уже бесполезно, и люди расходились. Оставался лишь длинный ряд покинутых, одиноко догоравших костров. Двери пекарни снова были наглухо закрыты.

Позднее я убедился, что «участие» или «неучастие» в исторических событиях — понятие относительное. Никто из нас ведь не понимал тогда, что мы — участники событий, которые вскоре изменят ход истории.

С произведениями Ленина я познакомился лишь после второй мировой войны. В 1949 году из туристской поездки в Советский Союз я привез только что изданные два толстых тома ленинских трудов, переведенных на польский. Старинные деревянные дома и маленькие дворики на окраинах Москвы напомнили мне харьковское детство, и я читал Ленина с особым, личным чувством.

Я не философ и не политик. Я писатель, и меня прежде всего интересует человек, интересуют условия, в которых проходит его жизнь. И потому самое большое впечатление на меня произвела публицистика Ленина первых послереволюционных лет. Я нашел в ней — в полном смысле этого слова — описание моего военного детства. В брошюре «Грозящая катастрофа и как с ней бороться» говорится: «России грозит неминуемая катастрофа. Железнодорожный транспорт расстроен неимоверно и расстраивается все больше. Железные дороги встанут. Прекратится подвоз сырых материалов и угля на фабрики. Прекратится подвоз хлеба». И далее: «Катастрофа невиданных размеров и голод грозят неминуемо». И далее: «Война стоит России теперь 50 миллионов рублей в д е н ь. Эти 50 миллионов в день идут большею частью военным поставщикам. Из этих 50 миллионов по меньшей мере 5 миллионов е ж е д н е в н о, а вероятнее 10 миллионов и больше, составляют «безгрешные доходы» капиталистов и находящихся в той или иной стачке с ними чиновников».*

В докладе, произнесенном на съезде партии 7 марта 1918 года, Ленин говорил о неслыханном разложении царской армии и необходимости заключения мира. Я читал — и в моей памяти оживали лето и осень 1917 года. Под Харьковом разбивали бивуаки солдаты, отступавшие с разгромленных фронтов, исхудавшие, в обтрепанных шинелях...

В конце 1917 и начале 1918 года чудовищно усилился бандитизм. Ночью в дома врывались банды уголовников и дезертиров, отбирали у населения одежду и провизию. Днем шли обыски, облавы... Несколько раз мне доводилось видеть, как вершился самосуд на улице. Спустя много лет я снова зримо представил себе все это, читая «Очередные задачи советской власти».

В письме Ленина «О голоде» от 24 мая 1918 года, адресованном питерским рабочим, есть фраза, не утратившая глубокого смысла до сего дня: «Хлеба хватит на всех только при строжайшем учете каждого пуда, только при безусловно равномерном распределении каждого фунта».

С особым волнением я раскрыл письмо Ленина к партийным организациям от 13 ноября 1919 года «На борьбу с топливным кризисом». «Товарищи! Наступило время, когда такой важнейшей очередной задачей стала борьба с топливным кризисом. Мы добиваем Колчака, мы победили Юденича, мы начали успешно наступать на Деникина. Мы улучшили значительно заготовку и ссыпку хлеба. Но топливный кризис грозит разрушить всю советскую работу: разбегаются от холода и голода рабочие и служащие, останавливаются везущие хлеб поезда... надо добиться революционного напряжения энергии для самой быстрой добычи и доставки наибольшего количества всяческого топлива, угля, сланца, торфа и так далее, а в первую очередь дров, дров и дров» **.

Я вспоминал, как каждую зиму у меня деревенели руки, краснели и распухали пальцы, когда я возил на детских санках березовые поленья с далекого дровяного склада.

---

* В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 34, стр. 155, 173.
** Там же, т. 39, стр. 305—306.

В 1918 году, едва в Харьков вошли немецкие войска, отца мобилизовали и отправили на фронт. Мать и нас, ребятишек, отослали под конвоем в родные края, на берега Вислы. Так закончилась для меня живая история революционных лет. Потом была уже только история «на бумаге»: изучение статей, исследовательских работ, документов, мемуаров. Но, знакомясь с публицистикой Ленина, рожденной в незабываемые 1917—1918 годы, я испытал редкое волнение. Порой до иллюзии стиралась грань между воспоминаниями и изложением фактов. Я не мог отличить иногда, я ли переживаю то, о чем пишет Ленин, или он пишет о том, что я когда-то пережил.

Повторяю, я не философ и не политик. Я не смог бы сказать ничего нового и интересного о ленинском учении. Впрочем, и воспоминание, продиктовавшее мне эти несколько страниц, не сродни аналитическим размышлениям или теоретическим рассуждениям. Воспоминание — жанр эмоциональный.

От той страшной харьковской зимы 1917—1918 годов меня отделяют полвека и добрая тысяча километров. Но я все думаю и думаю о ней. У меня остался шум в левом ухе — вечная память о тяжелой скарлатине военных лет. Пальцы мои навсегда отморожены в последнюю суровую зиму, пальцы, которыми я выгребал из-под снега холодные поленья...

Я продираюсь сейчас мыслью сквозь все эти пятьдесят трудных, мучительных моих зрелых лет, как через чащу статей, исследовательских работ, книг, документов и мемуаров минувшей эпохи. Я снова на окраине Харькова. Темно, ветрено, моросит дождь — стоит осень 1917 года. Я ищу в пустом, неосвещенном Столярном переулке юного, мало что знающего свидетеля памятных лет и событий. И все же эти события, этот незаменимый, хоть и тяжкий, опыт не просто обогатили — они сформировали мое мировоззрение и мировоззрение моих современников.

Ленин был создателем гениального учения и величайшим государственным деятелем. Он совершил неслыханный социальный переворот в истории. Но в моем сознании он, кроме того, навсегда останется человеком, который, будучи поглощен организацией государства, заваленный множеством дел, одолеваемый тысячами забот, умел находить время для того, чтобы беспокоиться о людях, настойчиво добиваться для них хлеба и топлива.

г. Краков

ПАВЕЛ МАТЕВ (БОЛГАРИЯ)

1. Я не могу точно назвать дату, когда впервые услышал имя Владимира Ильича. Помню, что было это в моем родном селе в 1937 или в 1938 году. У моего старшего брата собралась молодежь, едва ли кому-нибудь было более двадцати лет. Все рассматривали один из номеров «Красного календаря», издававшегося в то время у нас. Я, тогда еще мальчишка, не отходил от них, стараясь не пропустить ни одного слова, ни одной фразы. А фразы были короткие, незначительные, скорее восклицания, чем мысли. Брат осторожно перелистывал странички, но уголки загибались — не слушались загрубелых деревенских пальцев. Вдруг он раскрыл календарь и, крепко прижимая ладонью одну его страничку, сказал: «Вот он! Ленин!» Все столпились вокруг него и так и стояли, вытянув шеи и не сводя глаз со страницы календаря. Я встал на цыпочки, но смог рассмотреть эту страничку, только когда любопытство улеглось и все расступились. Так я увидел Ленина. Огромный, казалось, бесконечный лоб, глаза с узкими зрачками, маленькая бородка. И особенно поразило меня, 13—14-летнего подростка, само имя: Ленин! Необыкновенное, веское, краткое, как призыв. И уж если этот человек привлекает всех, как магнит, наверно, он совершил что-то героическое, великое...

Шестнадцати лет я стал членом болгарского комсомола и в его рядах вновь и вновь открывал для себя Ленина. Открываю его и до сих пор, потому что он неисчерпаем, как земные недра, как свет, как мысль и чувство. Он стал сущностью, самой плотью планеты, нет, Вселенной.

2. Словом и делом Владимир Ильич Ленин создал то, что после его смерти назвали ленинизмом. В чем актуальность ленинизма сегодня? Во всем! И в первую очередь, в коммунистической идее, блестяще развитой теоретически и осуществленной в XX веке на практике. В необыкновенно точном и строгом анализе сложного, противоречивого современного общества. В тех политических принципах, которые мы храним в чистоте и которые всегда будут помогать нам в поисках верного пути, в том, что он показал нам, как получить драгоценный сплав национальной гордости и интернационального долга. В том, что его предвидения — философские, политические, куль-

гурные, человеческие — сбылись с образованием Страны Советов, в том, что они сбылись вторично, когда под военным небосводом после взрывов народных революций родились другие социалистические страны. И среди них — моя страна Болгария! И станут сбываться впредь — в этом нет сомнения. Мир идет к этому по законам ленинизма. По этим законам идет и духовное развитие человечества.

С каким уважением, я бы даже сказал, достойным удивления и восхищения, Ленин относился к таланту как к редкому природному дару. Понимая социальную природу искусства, он, как никто другой, учитывал его специфику. На сферу искусства и культуры Владимир Ильич смотрел как на поле битвы, где непрерывно идет борьба классов. Эта борьба не прекращается и сегодня, больше того — усиливаются ее напряжение и острота. Незримый и вечный, Ильич всегда с нами, он бдительно следит за чистотой наших рядов, то есть за чистотой наших душ, направляет нас и, что, может быть, важнее всего,— вдохновляет нас. Так же, как он вдохновлял предшествующие поколения и будет вдохновлять идущих за нами. Двадцатый век — век Ленина. Его мозг, его сердце пульсируют до сих пор, ибо его тома не только несут огромное драгоценное богатство мысли и эмоций, но и рождают новые мысли и новые эмоции.

г. София

ЛЮДВИГ РЕННН (ГДР)

Пожалуй, уже в 1913 году я услышал имя Ленина от моего учителя русского языка. После 1917 года это имя было у всех на устах, и многие мои соотечественники называли Ленина великим государственным деятелем.

Я познакомился с трудами Ленина в 1927 году, прочитав «Государство и революцию». Эта книга произвела на меня неизгладимое впечатление. С тех пор я чту Ленина как человека, чьи идеи вместе с идеями Маркса и Энгельса изменили всю мою жизнь и придали ей общественно полезный смысл.

г. Берлин

(Продолжение следует)

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

ИЗ АРХИВА А. М. КОЛЛОНТАЙ

(Дневники, письма, статьи 1915—1917 гг.)

В. И. ЛЕНИН — А. М. КОЛЛОНТАЙ ИЗ БЕРНА В НЬЮ-ЙОРК

9/XI.1915.

Дорогая А. М.! Вчера только получили Ваше письмо от 18/X из Milwaukee. Ужасно долго ходят письма! Вы еще до сих пор не получили моего письма (и №№ 45—46 и 47 «Социал-Демократа») о Циммервальде и со всеми ответами на Ваши вопросы; а писано было это письмо мной более месяца тому назад. Постарайтесь хоть рассчитать (примерно через $1^1/_2$ месяца), где Вы будете, и давайте адреса (для писем к Вам) такие, чтобы приходили поближе к Вам.

Насчет «Volkszeitung» нью-йоркской Гримм уверял меня сегодня, что они будто бы вполне каутскианцы! Так ли это? Я думаю, наша *немецкая* брошюра могла бы Вам помочь определять «крепость» интернационализма*. Имеете ли Вы ее? (500 экз. Вам послано.)

Мы издаем здесь на днях (по-немецки, а затем *надеемся* пустить по-французски и, если удастся извернуться с деньгами, по-итальянски) маленькую брошюрку от имени *Циммервальдской левой*. Под этим именем мы хотели бы пустить возможно шире в международное обращение нашу левую группу в Циммервальде (ЦК + P. S. D. + латыши + шведы + норвежцы + 1 немец + 1 швейцарец) с ее *проектом резолюции и манифеста* (напечатано в № 45—46 «Социал-Демократа»). Маленькая брошюрка (20—30—35 тыс. букв) будет содержать эти 2 документа и небольшое введение. Надеемся на Вас, что Вы издадите это в Америке *и по-английски* (ибо в Англии это сделать безнадежно: туда надо везти из Америки) и, если можно, на других языках. Это должно быть первое выступление *ядра левых* социал-демократов *всех* стран, имеющих ясный, точный, полный *ответ* на вопрос, что делать и куда идти. Было бы архиважно, если бы удалось в Америке издать это, пустить пошире и *завязать прочные связи издательские (Charles Kerr* (NB) в Chicago; «Appeal to Reason»[1] в *Kansas* и т. п.), ибо вообще нам архиважно выступать на разных языках (Вы в этом отношении могли бы *много* сделать).

Насчет денег с огорчением увидал из Вашего письма, что пока Вам ничего не удалось для ЦК собрать. Авось сей «манифест левых» поможет...

[1] Попробуйте связаться с ними — хоть письменно, если не будете в Канзасе. Газетка их иногда *недурна*. Пощупайте их непременно с нашей резолюцией «Циммервальдской левой». А что такое Eugene Debs? Пишет он иногда революционно. Или тоже тряпка à la Каутский? Пишите, *когда* будете *еще* в Нью-Йорке и *сколько* дней. Старайтесь *везде* видать (хоть на 5 минут) местных *большевиков*, «освежать» и *связывать их с нами*.

Окончание Начало в № 1

* Речь идет о брошюре «Социализм и война (Отношение РСДРП к войне)».

Что Хилквит будет за Каутского и даже *правее* его, я не сомневался, ибо видел его в Штутгарте (1907) и *слышал*, как он *после* того защищал запрещение ввоза желтых в Америку («интернационалист»)...

Сам Циммервальдский манифест *недостаточен:* Каутский и К° готовы примириться с ним на *условии:* «ни шагу дальше». Мы на это *не* идем, ибо это *сплошное лицемерие*. Так что, если в Америке есть люди, боящиеся *даже* Циммервальдского манифеста, то Вы на них плюньте, а подбирайте только тех, кто *левее Циммервальдского манифеста*.

Жму крепко руку и желаю всяческих успехов!

Ваш *Ленин*

(Ulianow. Seidenweg. 4a. III. *Bern*)

В. И. ЛЕНИН — А. М. КОЛЛОНТАЙ ИЗ БЕРНА В НЬЮ-ЙОРК

22/XI.1915.

Дорогая Александра Михайловна! По забывчивости я не докончил письма к Вам, отправленного сегодня. Вот адрес: Mr. C. W. Fitzgerald, Secretary of the "Socialist Propaganda League". 20. Baker Street. 20. *Beverly. Mass*.

Я ошибся, значит, говоря, что он живет в Бостоне. Но в его листке есть адреса всех 18 членов этой Лиги и среди них есть живущие в Бостоне. Надеюсь, Вы употребите все усилия, чтобы разузнать про них все как можно подробнее и постараться создать из них (или *и* из них, или: из кого-либо из них) один из опорных пунктов «Циммервальдской левой» в Америке.

Крепко жму руку

Ваш *Ленин*

Конец декабря 1915 г. Нью-Йорк.

Была весь день на людях: интервьюеры, завтрак с американскими журналистками, прогулка с немецким товарищем и письма, много писем от своих: от Миши, Сани, Зои, Ленина и других. Это взволновало, выбило из колеи. И сил на вечер не хватило.

Александр в России. Перебрался-таки! Молодец! Я его за это уважаю. Хорошее письмо от Ленина. От Зои и Миши старые.

За 73 дня говорила 65 раз и пробыла в вагоне почти 17 суток. Теперь отдых до 5 января и снова — тур! Будто довольны все результатами моей поездки. Если бы действительно они были!

В эти дни опять чувствую власть войны. Рождество. Но сознаешь, что для Европы это лишь обострение будничных страданий. Сколько крови, сколько преступлений совершается ежедневно, ежечасно... И война — она властвует надо всеми. Она невидимо распоряжается судьбою каждого из нас. Перед ней индивидуальная воля бессильна. Да, вот именно это чувство беспомощности перед войною — и во время войны,— оно характерно для общего настроения, для состояния души. Это то неотвратимое, властное, что я почувствовала в войне, еще будучи в Берлине, в первые дни...

Она, как тяжелая туча, давит на атмосферу и не дает вздохнуть полной грудью. Кажется, если б война кончилась, если бы сказали, что настает мир, от радости полились бы слезы. Сколько бы разрыдалось от счастья! Но даже не верится, что этому ужасу когда-нибудь будет конец. Правительства все зарвались. И катятся по наклонной. Пусть бы докатились до революционных схваток в своей стране, до гражданской войны!

Мы ответим вам нашей войной. Мы используем ситуацию для гражданской войны!... Надо всю тактику направить по этой линии, всю работу социалистов свести к превращению империалистической войны в войну за освобождение рабочего класса, в войну гражданскую!..

25 января 1916 г. Нью-Йорк.

...Стараюсь освоиться с мыслью, что не удастся уехать из Америки... А ведь я это «предчувствовала». Не было той внутренней уверенности, что уеду. Ну что же! Так, значит, надо! Жизнь что-то строит, что-то громоздит! Ах, я все готова перенести, лишь

бы сознание жило в душе, что жизнь прожита не напрасно, что мой опыт кому-то послужит. Но может ли быть полезен опыт человека, живущего в такой переходной исторической эпохе? Мне кажется, что мы живем в эпоху, напоминающую реформацию, эпоху религиозных войн, эпоху, подобную той, в которой выявлялись новые вехи и созидался современный капитализм. Сейчас человечество снова на переломе. Что ждет его? Империализм? Вереница кровавых стычек? Век ужасов, крови между нациями? И как завершение этого ужаса — отмирание в муках, в страданиях капиталистического мира, рождение новой эпохи — первых зачатков социалистического строя, первых попыток вызвать социалистический переворот...

Во всяком случае, что-то новое нарастает, созидается, крепнет. Колеблются устои капиталистического буржуазного строя. Историк, конечно, скажет: люди жили в эпоху Великой войны и не сознавали, что они накануне всемирно-исторического сдвига, что это начало новой эры... Более чем когда-либо убеждаюсь в научной ценности **исторического материализма.** Как много научный социализм дает для того, чтобы разобраться в событиях и заглянуть в даль будущего, найти в нем, в грядущем, в широких горизонтах последующих исторических эпох примирение с настоящим.

И все же! Нельзя отделаться от кошмара войны. Живешь, ешь, пьешь, работаешь, а на сердце камень. Порою кажется, не выдержит сердце муки за всех... По ночам преследуют картины войны, точно я сама побывала на фронте. Сегодня мне отчетливо приснились снежные поля, усеянные трупами, ранеными. Они копошились, стонали и ползли. Верещагинские картины... Но ночью — они ужасны! А ведь они есть, есть, есть! Как же это вместить?..

Проснулась от сердцебиения, задыхалась. И невольно подумала: если Миша сюда приедет, если ему удастся этим избежать войны, тогда жизнь еще милостива ко мне. Но тогда, именно тогда, хочется броситься на борьбу ради других, страдающих матерей.

28 января.

Поезд на Бостон. Вчера вечером неожиданно пережила приятный час: собрание **социалисток.** Шла неохотно, слышала, что у них дрязги. Но увидела работниц, американских работниц, таких милых, знакомых, измученных и все же куда-то идущих, борющихся, как и всюду, и сердце забилось... Будто при встрече с возлюбленным!.. Решительно, работницы, женщины мне ближе!.. Они энергично работают против Preparedness *, а партия (т. е. ЦК) находит, что это вовсе не женское дело, что нечего женской секции в это вмешиваться, что сам центральный орган будет воевать с милитаризмом. А не воюет! Чего же мешать-то работницам?

Говорила не только о войне, а и об организации работниц. Проводила свои взгляды. Будто схватывают. Вчера же из России прислали мою книгу «Общество и материнство» **. Толстая. Похожа на справочник.

Сегодня у меня были товарищи рабочие из «Нового мира» ***. Пришли предлагать, не возьмусь ли остаться здесь и редактировать газету? Сейчас она всецело в руках социал-патриотов. Работа заманчивая, но не по мне. Нет опыта. Пошла бы, если бы уже намечалась группа сотрудников-интернационалистов, но где их взять в Америке?

2 февраля. New Jersey.

...Пришелец из Старого Света, изучивший Америку по книгам, все еще представляет себе, что Америка — это поистине Новый Свет!..

Одному мерещатся громадные технические завоевания, сделанные силами великой республики, ее демократического уклада. Другого она отталкивает как страна, где «бизнес» на первом плане, где доллары — все, где не оказалось места для развития духа живого. Третьего она притягивает своими «возможностями», широтой тех жизненных перспектив, которые будто бы открыты перед всяким. Один воображает Америку страной каменных небоскребов, перед другим проносятся образы, зароненные в его память нелепыми кинематографическими снимками, где по невозделанным прериям все еще скачут живописные ковбои, обмениваясь чуть что револьверными выстрелами... Какой бы ни рисовалась Америка пришельцу, все сойдутся на одном: в Америке все по-другому, лучше ли, хуже ли нашего, европейского, во всяком случае — другое.

Ничего нет ошибочнее этого представления. Своеобразие Америки — такая же отжившая легенда, как и сказание о величии американской «Свободы». Отличие это когда-то было, но успело кануть в невозвратное. Самобытность, оригинальность Соединенных Штатов в области политической, культурной и даже бытовой существовала тогда, когда для защиты слабых ростков отечественной промышленности приходилось «Лиге друзей индустрии» рассылать по стране агитаторов, издавать памфлеты и брошюры, разбивающие господствующий курс экономической политики края, утверждав-

* Обороноготовность *(англ.)*.

** Книга А. М. Коллонтай «Общество и материнство» была издана в 1915 году в Петрограде издательством «Жизнь и знание» при активном участии В. Д. Бонч-Бруевича.

*** «Новый мир» — социал-демократическая газета, издавалась с 1911 года в Нью-Йорке группой русских эмигрантов.

ший, что будущее Соединенных Штатов в непрерывном развитии ее сельского хозяйства. Своеобразна была Америка в те дни, когда «великие ее люди» объезжали первые крупные промышленные предприятия и дивились на достигнутые Америкой успехи. Самобытной была Америка тогда, когда правительство и коммунальные власти поощряли всячески поступление детей на фабричную работу в целях «индустриализации» страны, когда почтенные фермеры, как в своего рода «университет», посылали в сороковых годах своих деток на работу в текстильные мануфактуры штатов Новой Англии и когда Гамильтону приходилось ломать упрямое сопротивление консервативных фермеров, чтобы повернуть страну на путь промышленного преуспевания...

В те времена Америка еще хранила свято заветы и традиции, завещанные эпохой войны за независимость. В те времена пришелец из Европы мог говорить о своеобразии Нового Света, мог чувствовать, что попал на другой материк. Но что осталось сейчас от прежней Америки? Если что и поражает пришельца из Европы, так это не своеобразие Соединенных Штатов, а отсутствие этого своеобразия, отсутствие того отличного, нового, оригинального, неожиданного, что должно бы, по представлению европейцев, отличать Новый Свет от обезумевшей старушки Европы. Глядишь на Америку, присматриваешься к процессам, здесь совершающимся, и дивишься одному: до чего свет стал однотипен, однообразен! Те же тенденции общественной жизни, те же бытовые черточки в семейном укладе, тот же курс в политике правящих сфер, та же борьба социально враждебных групп, те же типы, те же характерные свойства и черты людские, определяемые не нацией, не страной, не материком, на котором родился человек, а тем общественным классом, к которому он относится.

С головокружительной быстротой творит капитализм свою работу нивелировки стран и народностей; с беспощадным равнодушием вычеркивает он, уничтожает, душит все те бытовые черты, все те национальные свойства, все те традиции народа, которые не отвечают его целям. Подстригая народы и страны под общий шаблон, капитализм на своей современной высшей стадии развития окончательно спутывает все представления о национальных и расовых особенностях и границах, торопливо заменяет бытовые черточки народов космополитическими правилами поведения, вытесняет национальную культуру мировой, стушевывает «национальное лицо» одного народа за другим.

21 февраля, 6 часов вечера.

Только что миновали последние форты Нью-Йорка. Впереди океан, позади шумная рабочая жизнь этих 4, 5 месяцев в Америке...

Тот же «Bergensfiord». Знакомый. И даже два-три тех же пассажира, с которыми ехала в Нью-Йорк.

Но настроение иное. Прожита еще одна грань жизни, пройдена рабочая, ответственная полоса...

Нет сожаления, что покидаю Америку. Скорее радость. Что ждет впереди? Кого встречу? Ведь и там тоже одиночество. Но будто ближе ко всем, кого люблю.

Как красиво сейчас — сумерки. Море тихое пока, картинно покойное, отражает вечернее небо. И, глядя на эту морскую гладь, не верится, что, быть может, нас еще здорово потреплет. Чувствую скорее физическую, не моральную, усталость. Работа до последнего дня. Сегодня почти не спала — писала статью для «женского дня» *.

Мимо окон мелькают маяки, пароходы с яркими огоньками... Скоро останется один океан и мы перед его величавым, грозным лицом.

Прощай, Америка!

А. М. КОЛЛОНТАЙ — В. И. ЛЕНИНУ И Н. К. КРУПСКОЙ

Христиания, 14 марта 1916 г.

Дорогие Надежда Константиновна и Владимир Ильич!

Спасибо за «Социал-демократ», за Gorter'a **, за 2 экземпляра моей брошюры ***.

Вот уже неделя, как я снова в Европе. Теперь, надеюсь, у нас установятся более регулярные сношения. Из Америки письма, очевидно, пропадали. Дошли ли деньги? Как отправителя ставила всегда издательство «Новый мир».

---

* Речь идет о статье А. М. Коллонтай «Не жизнь, а каторга», которую листовкой издал в США Комитет федерации русских отделов Американской социалистической партии.

** Очевидно, речь идет о брошюре Г. Гортера «Der Imperialismus, der Weltkrieg und Sozialdemokratie» (Амстердам, 1915 г.).

*** Речь идет о брошюре А. М. Коллонтай «Кому нужна война», изданной в начале 1916 года. В. И. Ленин был редактором брошюры.

Послала 17 долларов из Нью-Йорка,

16 из Hartford'a,

30 из Нью-Йорка.

Пошлите теперь же, пока еще не остыл мой след в Америке, брошюру «Кому нужна война» — она там быстро разойдется. Советую послать не только в нью-йоркскую большевистскую группу, но и непосредственно по следующим адресам:

1) Mr. Nycolyef, Russian Library, 947 Webster str. San-Francisco (Call.)

2) Mr. Lisovsky, 193 Wilkins Street, Detroit (Mich.).

Со своей стороны напишу им о брошюре и попрошу деньги выслать вам поскорее.

Перед отъездом устроили собрание нью-йоркской группы большевиков. Группа эта создалась месяцев 10 тому назад. Публика неплохая, но инертная. Старалась им втолковать, что они могут многое сделать, если поставят себе задачей служить связующим центром для распыленных по Америке большевистски-интернационалистских элементов.

В Америке русских рабочих громадное число, но публика серая, малограмотная в буквальном смысле, много сектантов, и подход к ним требуется совершенно особый.

Повсюду, особенно в северных и восточных штатах, есть по нескольку человек думающих товарищей, но они мало связаны между собой, и явно не хватает интеллигентских сил для всякого рода просветительно-идейной работы. Часто среди русского рабочего населения орудуют попы...

«Новый мир» по составу редакции очень пестрый. Есть там кой-кто из интернационалистов, но большинство склоняются к плехановщине...

В «Новом мире» часть редакции ведет борьбу с Ингерманами *, Джемсом и К°. Когда я уезжала, стоял вопрос о перевыборах редакции. «Левые» предлагали мне оставаться у них, надеясь провести меня в секретари «Нового мира». У них нет людей, и они просили подыскать кого-нибудь, кто бы согласился приехать туда для постоянного сотрудничества и для идейного воздействия. Нет ли у вас кого-нибудь в виду? Хотя влияние Ингерманов и К° и сильно в редакции, но публика шаткая, и человек с энергией, а, главное, могущий писать (Ингерман и Джемс отдают «Новому миру» лишь крохи своего времени), мог бы, несомненно, занять руководящее место в «Новом мире» и придать органу более определенную окраску.

Александра я еще не видела. Он пока в Стокгольме. С американскими социалистами прочных связей установить не удалось, но кое-кто может быть нам полезен. В Америке люди еще плохо разбираются в оттенках движения. Говорю об американских социалистах. Немецкая федерация — та отчетливее знает, чего она хочет. «New York Volkszeitung» имеет в составе своей редакции очень ценного и близкого по духу нам человека L. Lore **. Он — фактический редактор Старик Шлюттер *** озирается на Каутского. Но и на него отчетливая линия оппозиции циммервальдцев произвела известное впечатление. Люди начинают задумываться.

С Хилквитом у меня перед отъездом опять был горячий спор, и старик Шлюттер неожиданно встал на мою сторону против Хилквита.

Вопрос шел «о защите отечества» — больное место в Америке сейчас!

---

* Ингерман С.— русский социал-демократ, член группы «Освобождение труда», в конце 1880-х годов эмигрировал в Америку. После 1903 года — меньшевик. В годы войны занимал социал-шовинистскую позицию.

** Лоре Л.— немецкий социал-демократ, эмигрировал в США в 1903 году. Был секретарем немецкой федерации и членом Национального исполнительного комитета США.

*** Шлюттер Г.— немецкий социал-демократ, эмигрировал в США в 1899 году.

Единственный депутат парламента Мейер Лондон * начал с отрицания необходимости боевой готовности Америки, а кончил обещанием, что если на Соединенные Штаты нападут, он и его «друзья-социалисты» возьмут ружье и пойдут защищать американских капиталистов и их интересы!

Теперь я остаюсь в Норвегии. Адрес старый. Может быть, пришлете и сюда брошюрок 100 для продажи?

Будете писать мне, дорогая Надежда Константиновна, не забудьте сообщить, как-то теперь Ваше здоровье.

В общем, своим пребыванием в Америке я довольна; как будто маленькая польза есть в смысле прояснения умов от шовинистического тумана. Разумеется, чувствуется некоторая усталость, ведь за 4,5 месяца я прочла 123 реферата на четырех языках. Часто приходилось говорить на трех языках в один и тот же вечер. Да еще дискуссия. Да еще ежедневные переезды... А все-таки Америка — страна с большим будущим. Побываешь там — и будто шире становится горизонт. Органически начинаешь чувствовать, что Европа — это только крошечный уголок мира... А за громадной Америкой смотрит просыпающаяся, волнующаяся, быстрым темпом развивающаяся Азия... После Америки легче видишь исторические судьбы человечества, глядишь в даль веков, в будущее. Ну, всего, всего хорошего! Очень рада, что опять я ближе к вам.

Самый теплый и сердечный привет обоим от

Александры К.

ИЗ ПИСЬМА А. М. КОЛЛОНТАЙ — В. И. ЛЕНИНУ И Н. К. КРУПСКОЙ ИЗ ХРИСТИАНИИ В ЦЮРИХ

Позднее 19 марта 1916 г.

Дорогой Владимир Ильич, сегодняшнее мое письмо — только «предварительный» ответ на Ваши вопросы. Не касалась их в своем письме к Вам, потому что и сама еще не имею окончательного ответа ни относительно «Internationale Flugblätter» **, ни относительно Вашей брошюры.

Передана была Ваша брошюра Ch. Kerr ***, и они решили отпечатать часть ее (общую и манифест) в «International Socialist Review», выяснив в то же время: представится ли возможность издать ее отдельной брошюрой? От них *до сих пор* ответа нет. Но я тотчас, по получении Вашего письма написала им запрос, еще раз подчеркиваю всю важность издания ее на английском языке.

Задержка в издании как Вашей брошюры, так и «Inter. Flug.» № 1 та, что, по мнению американцев, в широкой публике она не разойдется; спрос на литературу в Америке вообще невелик, но еще труднее расходятся брошюрки со сколько-нибудь теоретическим содержанием. Идет исключительно популярная, агитационная литература. Конечно, на собственных митингах и собраниях распродать такие брошюры, как Ваша или «Inter. Flug.», не трудно — это является дополнением к только что сказанному. Но вне митингов — надежды на продажу мало, и в этом, очевидно, вся загвоздка. Разумеется, я связалась с Socialist Labour Party ****, была у них в Office, говорила, спорила; передала и Вашу брошюру, и «Inter. Flug.». Но у них

---

* Лондон М. (1871—1926) — член Социалистической партии Америки; в 1914 году был избран в конгресс и являлся советником по русским делам, социал-шовинист; в дальнейшем помогал американскому правительству в разработке планов удушения Советской республики.

** «Интернациональные Летучие Листки» № 1 — брошюра на немецком языке, выпущенная вскоре после Циммервальда. Содержала документы, предложенные левыми на Циммервальдской конференции.

*** Керр Ч. — издатель социалистической литературы. А. М. Коллонтай вела с ним переговоры об издании в Америке на английском языке брошюры В. И. Ленина «Социализм и война» и «Интернациональных Летучих Листков».

**** Социалистическая рабочая партия Америки. Создана в 1876 году на объединительном съезде в Филадельфии. В годы первой мировой войны склонялась к интернационализму.

денег нет для издания. Socialist Party, как официальное целое, листок оппозиции в Циммервальде, конечно, не отпечатает. Остается надежда на Eugene Debs * и его нескольких друзей, издающих небольшой левый еженедельный орган в St. Louis'e. И им я передала и брошюру, и «Int. Flug.». Но и от них — пока ни звука.

Чтобы не терять времени, я здесь разузнаю условия издания «Inter. Flug.» на английском языке и немедленно же извещу Вас.

Перевести «Inter. Flug» возьмусь.

Пришлите мне адреса Massachuset'ских социалистов-интернационалистов. Может быть, есть среди них и знакомые? Во всяком случае они меня знают — я работала и в Массачусетсе. С ними надо связаться.

«New Review», конечно, будет помещать Циммервальдцев, они связались с «Vorbote» **. Но орган этот в смысле финансов ненадежный — того и гляди, закроется.

Публика в нем мешаная, хотя в фактической редакции есть хорошие малые, интернационалисты. К сожалению, туда же входит и путаник Enge Walling.

Напечатали они даже Манифест Плеханова, так что пришлось с ними вступить в полемику. Дали место статье моей о русских социалистических делах. Но за последнее время, особенно после того, как связались с «Vorbote», они, кажется, стали устойчивее.

Относительно присоединения к Циммервальду я уже переговорила с Olaussen'ом, и он на днях должен был обсудить этот вопрос в организации молодых (в Христианни).

Höglund *** — сел, как Вы, верно, уже знаете по газетам. Но теперь, после их прекрасного революционного съезда, они, наверно, официально присоединятся к циммервальдцам...

Олауссен настаивает, чтобы норвежская партия послала на следующую конференцию интернационалистов официального представителя от партии. Идут переговоры.

Насколько это желательно?

Если пошлют Транмэля (редактора «Ny Tid» — левого, революционного и дельного человека) — это будет выигрыш. Но если пошлют правого, умеренного — «оппозиция» не выиграет. Напишите Ваше мнение. Тогда смогу насесть, если надо...

Брошюрку свою — 100 экземпляров — получила. А «Vorbote» нет. Дошли ли деньги, которые я переслала Вам из Америки? Пожалуйста, сообщите... В Америке меня прозвали (русские, конечно) «ленинский агент». Американскому организационному комитету прислали «донос» на меня, чтобы меня остерегались, как «последовательницу Ленина», и что я веду «раскольническую линию» не только в русских, но и в интернациональных делах!..

Пока прерываю. Итак, как только смогу ответить положительно на один из пунктов Вашего письма — извещу немедленно.

Привет самый сердечный Вам и дорогой Надежде Константиновне.

Ваша А. Коллонтай

---

* Дебс Ю. В (1855—1926) — американский социалист, руководитель левого крыла американской социалистической партии. В годы первой мировой войны стоял на интернационалистских позициях, выдвигал лозунг гражданской войны, вел пропаганду против вступления США в войну.

** «Предвестник» — теоретический орган Циммервальдской левой; выходил на немецком языке в Берне. В. И. Ленин принял деятельное участие в основании журнала. В журнале были напечатаны статьи В. И. Ленина «Оппортунизм и крах II Интернационала», «Социалистическая революция и право наций на самоопределение (тезисы)».

*** Хёглунд Ц. (1884—1956,—лидер левого крыла социал-демократического, а также юношеского социалистического движения в Швеции. В годы первой мировой войны — интернационалист, на Циммервальдской социалистической конференции вошел в циммервальдскую левую группу.

ИЗ ПИСЬМА В. И. ЛЕНИНА — А. М. КОЛЛОНТАЙ ИЗ ЦЮРИХА В ХРИСТИАНИЮ

Дорогая А. М.! Очень благодарю за Ваше письмо. Адрес «Socialist Propaganda League» пошлю, если он не остался у меня в Берне: тогда из Берна уж пошлю (т. е. через 2—3 недели).

Откажется ли «Appeal to Reason» перепечатать «Internationale Flugblätter» № 1? Стоит ли попробовать?

A. Socialist *Labour* Party согласится издать на *наши* деньги? Безнадежные сектанты эти люди или нет? Есть ли у Вас связи с ними? Почему они *не шлют нам* копии с их бумаг в Internationale Sozialistische Kommission... (Я видел случайно часть.) Или они — маньяки своей «idée fixe» насчет особой «экономической» организации рабочих?

Вы спрашиваете, насколько желательно, чтобы на конференцию посылала официально норвежская партия? Конечно, в 1000 раз лучше сознательный и толковый *левый* от молодежи, чем правый или ½-каутскианец от партии.

Это ясно. Если можете, повлияйте в этом духе...

Жму крепко руку и шлю лучшие приветы!

Ваш *Ленин*

P. S. Александру послал на днях толстущее письмо. Получил ли он его?

Написано позднее 19 марта 1916 г.

«Обороноготовность»

Интервью норвежской газеты «Социал-демократен» с А. М. Коллонтай* (март 1916 г.)

Наш русский товарищ Александра Коллонтай, с которой многие из наших читателей знакомы со времени прошлогоднего ее пребывания в нашем городе, вернулась в начале прошлой недели из длительной поездки по Америке, где она выступала с докладами.

Мы воспользовались случаем, чтобы более подробно узнать об американских условиях, и вчера отправились в Хольменколлен, где она остановилась в маленькой гостинице.

— Кто организовал ваше турне по Америке?

— Немецкая секция Американской социалистической партии. Но во многих местах митинги были организованы совместно с американской партией. В некоторых местах я выступала и для скандинавов.

— Как долго длилось ваше турне?

— Я прибыла в Нью-Йорк 8 октября прошлого года и уехала оттуда 21 февраля. За это время я выступала с 123 докладами в разных городах страны. В некоторых местах я выступала по 2—3 раза в день — на английском, немецком и русском языках, в Иллинойсе я выступала по-французски. Самые маленькие митинги собирали несколько сотен человек, но у меня были громадные митинги в театрах, больших залах и т. д., на которых присутствовали тысячи людей.

— Очень много говорят об «обороноготовности» («Preparedness») Америки, чтобы Америка была подготовлена к возможным нападениям. Как обстоит с этим дело в действительности?

— В начале моего турне очень мало говорили об этом, но постепенно лозунг «обороноготовность» вырос, как лавина. Вильсон, который тесно связан с трестами и их капиталами, содействует им не только в сохранении уровня военной продукции, но

* Перевод с норвежского сделан Э. Г. Лоренсон — личным секретарем А. М. Коллонтай.

и умеет действовать на умы. Начата громадная агитация: газеты печатают статьи о «Preparedness», театры, церкви, кинематографы и даже граммофоны используются почти исключительно для этой агитации — через четыре года немцы нападут на Америку. Вильсон объездил всю страну и запугал этим народ. Официальная его программа предвидит увеличение войск на 133 тысячи человек ежегодно. У него большая детализированная программа для флота. Он требует немедленно военных ассигнаций в размере 23.800 тысяч долларов. А в Нью-Йорке сидит Рузвельт и говорит, что тресты и Вильсон занимаются мелочами. Он хочет иметь армию в 3 миллиона человек и флот, который превзойдет все флоты мира.

— Имеется ли какое-нибудь противодействие этому?

— Единственное — Брайан. Он всеми силами противодействует военной промышленности трестов. Но ведь на стороне Вильсона большинство народа.

— А социалисты?

— Их положение неясное. Часть их руководителей, как, например, Чарлз Рассел от Социалистической рабочей партии, на стороне Вильсона. Отношение остальных лидеров такое же безнадежное. Клич «Preparedness» («обороноготовность») превратился в клич

«The Battlecry of Peace»
(«Сражение за мир»)

и стал поэтому еще более грозным — Америка должна стать великой военной державой, чтобы сохранить мир. Представитель социалистов в конгрессе Мейер Лондон ясно выступал против всего этого обмана народа на большом митинге. Но на прямой вопрос в конгрессе он заявил, что социалисты, конечно, тоже будут участвовать в создании обороны страны.

— Действительно ли американские немцы взрывами и т. п. хотели помешать производству амуниции?

— Немецкая печать лояльна и предостерегает против подобных актов. Нью-йоркская «Фольксцейтунг» предостерегает также против саботажа в любой форме и призывает к лояльной работе в той стране, где живут. Но, конечно, в целях военной пропаганды этим воспользуются.

— Думаете ли вы, что Вильсон при его новой программе снова будет избран?

— Несомненно. Он получит больше голосов, чем ему надо, и почти без оппозиции. Военный психоз среди народа растет изо дня в день.

— Какое значение вы придаете вашей миссии там?

— Главное состояло в том, чтобы разъяснить американским социалистам, которые, несомненно, кроме отдельных лидеров, настроены против милитаризма, что европейский социализм хочет, чтобы Интернационал не умер бы в войне, и что в нем надежда всего мира. Единственная надежда.

Мы заметили у госпожи Коллонтай целый ворох американских газет на столе — немецкие, английские и скандинавские. Многие из них содержат ее пространные интервью и фото.

— К вам часто обращались за интервью?

— Да, это точно. Но американские журналисты часто пишут странные вещи. Много раз я не узнавала ни одного слова в своих интервью. Один из журналистов писал, например, что я имела длительную беседу со шведским королем Густавом и давала ему советы. Другой пишет, что мой муж немецкий офицер и находится на фронте Да, именно подобные истории часто появлялись в американских газетах,— добавляет Коллонтай с улыбкой.

Американская социалистическая газета «Нью-Йорк фольксцейтунг» пишет об отъезде А. М. Коллонтай из Америки:

«После четырехмесячной агитационной поездки г-жа Коллонтай сегодня уезжает в Норвегию, чтобы снова приняться за работу в Европе.

Г-жа Коллонтай прибыла к нам как сравнительно незнакомый человек, но, уезжая, она оставляет здесь много тысяч уважающих ее почитателей. Однако личное уважение, достигнутое благодаря ее энергии, ее горячей преданности делу социализма, ее готовности служить этому делу, ее блистательной и одновременно глубокой личности,

еще мало значит по сравнению с той великой победой, которую она достигла в деле международной солидарности рабочего класса. Ее выступления, пронизанные огнем высокого оптимизма, рассеяли, как свежая сильная буря, тот пессимизм, которым многие из наших лучших были охвачены. Вместо апатичного безразличия и стоического безделья мы снова были одушевлены новым доверием к делу мирового пролетариата, почувствовали в себе свежие силы к борьбе.

То, что г-жа Коллонтай тут сделала для рабочего движения, нельзя переоценить. Лишь позднее, когда приступят к работе по реорганизации или реконструкции Интернационала после войны, станет ясно, как сильно было ее влияние на американское партийное движение...

Некоторым вначале казалось довольно смелым шагом «направить» русскую социалистку на митинги немецких мужчин и женщин. Но очень скоро убедились в том, как необоснованны были эти опасения. Везде ее принимали с восхищением. Единогласное присоединение на митингах к решениям Циммервальдской конференции, бурные аплодисменты, которыми присутствующие встречали имя Карла Либкнехта каждый раз, когда оно было произнесено докладчицей, являлись лучшим доказательством немецко-американского единодушия...»

Вторая поездка в Америку

Из дневников 1916—1917 гг.

1 сентября 1916 г. Местечко Патерсон (близ Нью-Йорка)

Сегодня пишут в газетах, что железнодорожный кризис, очевидно, миновал: через парламент спешно проводится 8-часовой рабочий день. Первый закон, ограничивающий труд взрослых в Америке. Юнионы поставили условие: если за эту неделю закон не будет проведен через парламент, они объявляют забастовку 4 сентября в 7 утра.

Угроза подействовала. Надо видеть, как все-таки боятся рабочих забастовок американские обыватели. Эти дни газеты полны были вопросами о том, как предотвратить «голод» в Нью-Йорке, что сделать, чтобы не отрезать все пути сообщения, и главное: как быть с доставкой товаров? Невольное чувство радости и гордости, когда видишь, что рабочие организации — сила.

Поселились мы с Мишей в скучном городишке, час езды от Нью-Йорка. Я здесь говорила у немецких товарищей. Не думала, что придется здесь жить. Город промышленный, скучный, пыльный, закоптелый. С трудом отыскали жилье. Отелей нет, то есть то, что есть,— ниже критики. Два пансиона среднего калибра, но оба полны. Наняли 2 комнатки за 12 долл. в неделю и столуемся в пансионе.

Живем на типичной американской улице в так называемой «Up Town» — «загородной части»: коттеджи, особняки, крошечные сады без цветов, просто a green spot — «зеленая точка» — и улица, обсаженная деревьями, улица-аллея.

До чего тоскую по Хольменколлену!.. По своей тихой комнате, по письменному столу... Пусть и там посещала меня тоска, но все же я работала. И потом: была ведь и радость! А здесь... Только одно утешение: Мишуля. К нему умиленное чувство. Он весь такой «трогательный», хороший... Но разве это та жизнь, которую хочу для него?..

Об Александре ничего не знаю. Где он? Долго ли пробудет здесь? Или поедет в Европу? Когда? А мы? Когда вырвемся? Странно подумать: ведь война все свирепствует, еще новая страна в нее втянута. Но люди притупились. Уже не мучаешься. Будто так и быть должно. Не жизнь сейчас, а тягучий, неудобный сон.

6 сентября.

Сегодня письма: от Надежды Константиновны, Зоечки, Тани, от друга братишки. Прощается. Канун перехода границы. Пишет: если не будет телеграммы около 20 августа, значит... Телеграммы нет.

Письмо разбудило боль. Всколыхнуло душу. Нет, еще не умерла душа, раз способна так остро воспринимать боль...

И тут же взволновало письмо Надежды Константиновны: предполагается созвать женскую социалистическую конференцию в Швейцарии. А меня не будет там!.. И вся работа, подготовка — все-все сделают другие, без меня!.. Как это больно, до чего больно! Чтобы это выразить — нет слов.

Сообщение это породило снова чувство, будто я заживо похоронена. Взяли, оторвали от всех, от всего, чем жила, от дела, от работы, от друзей. И еще Надежда Константиновна пишет, что Александр здесь выступал на митинге. Где он сейчас? Хотелось бы, чтобы уже уехал. Страшно — не больно, а тревожно сознание, что он где-то близко, в Америке. Пусть бы уехал!.. Легче было бы. Хоть эта тяжесть с души. От Зоечки сразу семь открыток. Так радует душу читать ее теплые строки, будто слышишь ласковый голос, будто теплее на сердце. Сегодня в «New York American» злая карикатура на Европу и странный тон по отношению к России. К тому же сейчас несколько натянуты отношения между Англией и Соединенными Штатами. Не чревато ли все это последствиями? Вытянула Америка все, что могла, из Англии и России и теперь становится в более воинственно-независимую позу. А ведь ее позиция может повлиять на дальнейший ход войны. Будет ли ей конец, этой бойне кровавой?..

Хожу по улицам, и все мое «я» протестует и рвется отсюда! В душе непрерывный крик: хочу уехать! Смирюсь временно, запру душу на ключ, живу, как автомат... Но чуть ворвется жизнь — газета, письмо,— и снова кричит мое «я», протестует, бунтует, рвется отсюда...

Как выдержу?..

Огорчили англ. профсоюзы: на съезде в Бирмингеме отвергли предложение американцев созвать в момент заключения мира международный съезд профессиональных союзов. «Не хотим, мол, немцев»!

Как близоруко! И как переметнулось настроение за время войны. Ведь вначале англичане были все же менее шовинистами. Больно, потому что видишь, как сильна власть шовинизма над человечеством.

Еще не скоро проснется пролетариат, еще много работы социал-демократам! Но тем сильнее хочется броситься в работу. Утверждать, отстаивать принципы III Интернационала.

Здесь сейчас относительно интересное время: конфликты железнодорожных рабочих. Борьба. 8-часовой рабочий день — все-таки победа и главный показатель силы пролетариата... В Нью-Йорке стачка городских трамвайных служащих. Наконец — выборы на носу...

Видели с Мишулей шествие местных рабочих союзов 4 сентября... Картинно, красиво, может быть и агитационно умно, но — нуль революционности. Все национальные флаги!.. И мирно, мирно...

9 сентября.

...Что здесь в Америке дивно, так это библиотеки. И сейчас пишу в библиотеке. Пишу и думаю: «не умереть как обыватель». А вот я в Америке живу «обывателем». Господа жизнь! Неужели это надо! Если это так надо, чтобы потом идти дальше,— склоняюсь. Но если жить так всегда, доживать век — нет, уж лучше сейчас умереть.

Всю жизнь я жила не только для себя, будто проделывала «эксперимент», чтобы на моем опыте могли учиться другие женщины. Когда было больно, трудно, я себе говорила: «Это опыт. Сумей выйти победительницей, неискалеченной и иди дальше — на этом выучатся другие».

Если и сейчас такая жизнь «вне жизни» ступень к чему-то большому — пусть будет! Но жизнь! Не отнимай у меня главного — веру в то, что я нужна. Что мой опыт не пропадет для других женщин, что такая, какую ты же меня создала, я «опытное поле» для передовых женских душ. Оставь мне мою веру!

Самое страшное — чувствовать, что ты бесполезна...

18 сентября.

На днях только прочла о смерти Лили Браун *. Умерла от удара тогда, когда я ехала на пароходе. И эти дни ее образ мучает, будто живую вижу. Листаю картины знакомства с ней. Грустно. И еще отчетливее близость смерти. Ну к чему... располагаться в жизни, будто надолго? К чему? Ведь она — Смерть — всегда за нашей спиной. Когда-то боялась смерти. Давно. А сейчас — нет. Только жаль Зоеньке причинить боль и за Мишулю страшно: будто пока я, жизненный путь его глаже...

Забастовка трамвайщиков последние дни разрастается. В Нью-Йорке страшно пусто без трамваев. Если компания не уступит, союзы грозят всеобщей забастовкой. Ага! Консервативные американские союзы, а на какие революционные меры идут! Я рада.

23 сентября.

Нет, решительно мы переживаем в области рабочего движения крутой поворот. Новое орудие, новый метод борьбы пробивает себе путь, завоевывает себе право

* Браун Л. (1865—1916) — немецкая социалистка и писательница. Автор многих произведений, посвященных женскому вопросу.

гражданства. Это — массовые движения, борьба стачечная. Юнионы, союзы не в силах отстоять интересы своих членов, не прибегая к этому крайнему средству.

Не успела улечься борьба железнодорожников и железнодорожных рабочих — и вот с начала сентября тянется все разрастающийся конфликт трамвайных служащих в Нью-Йорке. Конфликты не с организациями, а с отдельными лицами. Компания «Интерборо» в своем рвении зашла так далеко, что нарушила договор, заключенный по этому поводу с рабочими-юнионистами. Но самое характерное это то, что будто воздух, атмосфера пронизана духом более решительной революционной борьбы. Точно энергия скрытая накопилась у рабочего класса и требует исхода. Стачка, всеобщая стачка, проявление классовой солидарности рабочего класса, насыщает атмосферу. Она популярна, она находит живой отклик. Она живет в сердцах масс. Ее диктует желание, воля масс — не лидеры. Любопытно наблюдать за лидерами, они будто послушное орудие в руках масс сейчас, будто их помимо воли несет могучий поток. Даже Гомперс, консерватор, осторожный дипломат Гомперс, и тот заговорил языком решительным и твердым. «Если я сказал вам, Фитцджеральд (лидер трамвайных служащих), что я с вами, значит — я с вами, до последней черты...» Серьезно, деловито и все же со внутренней страстной решимостью «не уступать» ведут представители рабочих организаций свою работу. Совет рабочих юнионов, заседающий в отеле «Континенталь», останется в истории американского рабочего движения историческим советом. Его волей двигает высшая сила: историческая необходимость. Остро скрестились интересы труда и капитала. Во всей оголенности борьбы того и другого...

Движение трамваев по Нью-Йорку сильно сокращено и затруднено. Женщины исполняют роль патрулей, тысячи женщин работают по улицам, уговаривают не пользоваться трамваями, которые ведут штрейкбрехеры — скэбы.

Упорствует компания «Интерборо», не желая входить ни в какие переговоры с юнионами.

А юнионисты согласны прекратить стачку, если весь конфликт передан будет на рассмотрение третейского суда. Но и на это не идут господа капиталисты! Они нагло опираются на силу. Чувствуется за ними власть, сила: полиция, городская администрация, суд и закон. Все в их руках. Нагло торжествующий капитал! И эти наглецы еще смеют «осуждать» рабочих, что они-де своей забастовкой нарушают мирное течение жизни Нью-Йорка!..

Трагическая и все же волнующе-радостная картина! Ведь эта горсточка организованных сознательных рабочих — она заражает рабочую массу, она создает настроение, она рождает великую непобедимую силу: классовую солидарность. Будет ли победа? Все равно. Важен **факт**, важна самая стадия борьбы, важно то, что опять и опять на очереди вопрос о **всеобщей**, генеральной забастовке как способе поддержать борющихся товарищей...

Два последних дня борьба вынесена была на улицу. Массы атаковали трамваи. Разбитые окна, раненые. Аресты. Стычки с полицией. И сейчас трамваи ходят под конвоем полиции! Арестованным предъявляют очень серьезные статьи закона, им грозят долгие годы заключения, принудительной работы.

И все же двинувшуюся лавину ничем не остановишь! Всеобщая стачка — должна быть. Время для нее созрело! Война объявлена...

И в такую минуту, историческую минуту сидеть в Патерсоне со сложенными руками? Ведь это мука, мука...

25 сентября.

Быть несчастным, нести большое горе — было до войны не правилом, а исключением. Жить было трудно, счастье — было и тогда редкостью. Но нести горе большое — не было будничным явлением.

Мировая война резко перевернула пропорцию «большого горя» и благополучия. Теперь «жить покойно», не гнуться под тяжестью громадных утрат, острого несчастья — это исключение, редкость, явление, которое отмечается. Горе же, страдание стали обычными, будничными. По крайней мере для Европы. В Америке прежнее соотношение. Но и эта нация, влекомая кровавым безумием, спешит навстречу войне. Резкая перемена в отношении к милитаризму за один год: дух милитаризма, несомненно, сделал успехи...

5 октября. Восточная часть парка Патерсона.

Золотятся березы, а рядом в странном сочетании пышно зеленеют платаны со своими громадными лапчатыми листьями. И тут же густолистая магнолия — дочь юга!.. Чисто американский хаос! Но сегодня меня это не раздражает... Гляжу, вбираю и чувствую жизнь. Впервые, впервые за полтора месяца Америки! И это чудо, чудо пробуждения души, запертой на замок, будто умершей...

Сегодня не прочла, а проглотила письма и кусочки дневника Маргариты Фуллер *.

---

* Фуллер М. (1810—1850) — американская журналистка, литератор, критик. В своих произведениях отстаивала равноправие женщин в политической и общественной жизни

Еще одна «холодная женщина» первичной эпохи! Современница Ж. Санд. Письма от 1845—46 годов. Но такая типичная, близкая, родная! Писательница, деятельница и человек. С эрудицией и тонкой художественной душой. И женщина, женщина до последней черточки!

До чего переживания знакомы!

Все в полутонах. И муки не от внешнего, а от внутреннего, от незаметных для других уколов...

Интересна ее характеристика, данная Эмерсоном. Ее, тонкую, глубоко чувствующую, нежную, как струна, он считал слишком саркастичной, слишком рассудочной, видящей всюду «смешную сторону». Молодец она! Значит, на людях себя «не выдавала», не выказывала, берегла сокровища души для избранника...

1 ноября. Патерсон.

Два месяца здесь, бесцветных и серых. Пожалуй, самых бесцветных за всю мою жизнь. Одно утешение: Мишуля будто чуточку лучше выглядит. Но ни на вершок не подвинулось наше душевное сближение... Что думает Хохля? Как ему живется? Не знаю.

Стараюсь научиться труднейшему искусству «быть и не быть», сделать так, чтобы ничем не проявлять себя, не мешать Мише, создать атмосферу, будто он один, и все же незаметно сглаживать жизнь. Не знаю, насколько это удается. Трудно это. Постарела, потолстела, подурнела... У меня все зависит от настроения. В июле опять вдруг подтянулась, будто чарами вернула, вызвала молодость. А сейчас отяжелела, потухла, и кажется, будто мне все 60.

Много читаю. Люблю здешнюю библиотеку, ее светлые высокие залы, ее особую строгую, вдумчивую тишину, шелест переворачиваемых листов... Читаю американскую беллетристику. Есть талантливые вещи. Много психологических черточек, указывающих на утонченность душевного склада автора, это, так сказать, «высшая ступень» духовности, какая сейчас достижима. В этом смысле интересна M. Watts. G W. Churchil'a, ярки бытовые краски из жизни адвокатов, священников. Акварельно тонко написан «The choir Invisible»; но до чего во всех этих романах повторно мещанство. Да, да, именно мещанство. Это типично классовые романы, всегда с точки зрения представителей буржуазии. Герои — лучшие типы, какие могут создаться в этом классе, но какие они беспомощные, как бессильны перед существующим злом!.. Их страдания пассивны, и дальше религии (искалеченной и приспособленной к современному веку, «рационализированной») или шаблонного благотворительного исхода они ничего не видят. Авторам хочется быть беспристрастными, объективными, выше социальной борьбы. Но это им не удается. Классовая точка зрения проникает так глубоко в их мировоззрение, что они с полной наивностью выдают за «объективизм» узкоклассовый подход к явлениям. Интересно в этом смысле описание стачки на фабрике искусственного льда у Watts в «The Rudder»...

3 ноября. Время выборов. Три кандидата: Вильсон, Хьюдж (Hughe) и Бенсон (Benson), 7-го голосование. Но прошло то время, когда от выбора президента можно было действительно ожидать изменения политики!.. Юз — открытый реакционер и милитарист, ставленник трестов, кандидат части крупных капиталистов. Его программа, как и программа Вильсона, растекается в общих фразах: Америка должна заставить уважать свой флаг, Америка должна вести последовательную политику и заставить другие державы с ней считаться, но, конечно, не быть не в меру агрессивной и т. д.

Вильсон — хитрее. Он бьет на чувства демократии, подпускает сентиментальную нотку о том, что крупный капитал захватил власть в стране, плачется, что в Америке начинает чувствоваться классовое разделение общества, кстати и некстати напоминает публике о своем (единственном!) «благодеянии», оказанном рабочему классу,— о 8-часовом билле! Он бьет на голоса рабочих. Но разница лишь в тоне речи, в словах. Существо политики, курс ее не изменится, кто бы ни был во главе. Между обеими партиями — республиканцами и демократами — давно утеряна демаркационная линия границы. Социалисты рассчитывают на проведение пяти, шести кандидатов: Hillguit'a, M. London'a, Berger'a, Дебса.

Женская буржуазная организация «Nationalist Association for Woman's Suffrag» выставила трех кандидаток. Но вряд ли они пройдут. Странно, что социалисты не выставили ни одной женщины! Это тактическая ошибка. Надо было это сделать принципиально. Видела парад демократов вчера в Нью-Йорке. Шли по 5-й авеню к Mad. Square. С факелами, с флагами, с барабанами. На Mad. Square говорил Вильсон. Меня не захватывают эти выборы. В них что-то мерзкое, застывшее, безнадежное. И не верю я в твердо-классовую политику той группы социалистов, которые очутятся в парламенте. Среди них надежен лишь Дебс, но он (увы!) мечтатель-идеалист, агитатор! «Дитя», со светлой, пылающей негодованием и страстной любовью к идеалу душой. Такие в парламенте бессильны. И я боюсь, что его легко скрутят ловкие дельцы Хилквиты, беспринципные Лондоны и архиоппортунистические Berger'ы. У Дебса нет железной устойчивости Либкнехта!..

20 ноября.

...Вчера пережила яркую и сильную эмоцию: Назимову в «War Brides». Давно не видала пьесы, которая бы меня так захватила. Был момент, когда зааплодировала невольно, и зал подхватил. Это антимилитаристская пьеса. Но сила не только в этом, а в ярком, красивом женском образе, образе женщины, человека, борца. Эту — не согнешь, эту не сломаешь! Она — прежде всего человек, потом уже жена-любовница и мать.

И Назимова передала этот сильный образ яркими, может быть «русскими» мазками. Это — Перовская, Гардина, Коноплянникова... Женщины-борцы...

Но разве не симптоматично, что зал аплодирует, когда женщина требует права решать о войне и о мире? И в этих аплодисментах случайной воскресной толпы я увидала больше значения, чем во всех резолюциях сознательных суфражисток. Значит, назрел вопрос. Корни женской эмансипации ушли глубоко в массы. Теперь не страшно за женщину!.. Ее победа обеспечена. Дорогу новой женщине!.. И я пережила в театре минуту горячего ликования, большой захватывающей радости. Но неужели все-таки судьба женщины мне так органически дорога? Неужели я в этом вопросе «националистка»? Меня это пугает.

Симптоматично еще и другое: на конференции Федерации Труда решено добиваться, чтобы... принято было во внимание требование рабочих: установление платы рабочим рукам, **независимо от пола.** Рабочие боятся, что дешевые женские трудовые руки после войны вытеснят мужчин. Но как странно жизнь **уравнивает** положение женщин с мужчинами в рабочем классе и как сама капиталистическая действительность преобразовывает женские требования в общеклассовые... Мужчины-рабочие надеются, что при **равной** оплате труда женщина не сможет вытеснить мужчин, а, напротив, мужчины опять заменят женщин, сейчас занявших их место у станков...

Но самое требование **равной платы** сблизит мужчин и женщин рабочего класса и послужит классовому движению на пользу.

21 ноября. Два года тому назад меня арестовали в Стокгольме... Волнение... Посещения. Цветы... Странные дни!.. Потом — Копенгаген. Недавно оглянулась на жизнь свою и поняла, что при всей ее пестроте в ней не было никогда длительных периодов «удовлетворенности», периодов тихих, светлых, счастливых. Самое светлое все-таки — девичество, эра грез, надежд и мечтаний... Самая «мертвая» полоса — жизнь на Таврической, перелом... Жизнь вся из кусочков: то ярко, красочно, захватывающе, то вдруг — обрывается яркость и начинается полоса мук, исканий, потом период мертвой пустоты...

Работа — всегда была центром, и в периоды, когда работаю, тогда душа — покойна, будто «сыта», не кричит, не бунтует, не требует...

26 ноября. ...Почему-то снился Либкнехт. Верно, после его прекрасных писем, посланных в военный суд и перепечатанных теперь газетами. Письма, полные достоинства. Отчетливо интернационалистичны.

29 ноября. Вчера лекция индусского поэта-философа Рабиндраната Тагора. Зал переполнен. Вся патерсонская «интеллигенция».

У Тагора благородная осанка, напоминающая картинных и «оперных» пророков. Одет в восточную хламиду... Бьет на эффект... С тонко чувствующей душой, настроенной против уродства и насилия современного государства, организованности во имя «национальной мощи», национального эгоизма, своекорыстия, войны... Слушала Тагора, и как-то невольно казалось, что между ним и аудиторией лежат века... Тагор имел успех. Но мне кажется, аудитория его все-таки не поняла.

Тагор из тех, кто «чует», сколько в человеческой душе заложено возможностей, сколько [в ней] потенциальной силы, которую мы не умеем ни развить, ни воспитать, ни использовать... Разве не наблюдаю я в себе самой какое-то чутье, что часто подсказывает мне: нет, этого не следует делать! И если я не послушаюсь этого голоса — всегда потом каюсь.

Это не «сверхъестественный голос», это скорее бессознательно отложившийся житейский опыт, «мудрость» своего рода. Но до чего мы не умеем ее использовать!.. Или наша власть над другими людьми. Почему она есть над одними и отсутствует при общении с другими? Почему, когда берешься за дело со всем напряжением воли, достигаешь желаемого, но когда душа вялая, без огня — никогда не выйдешь победителем из жизненной борьбы. «Вера горами двигает» и «сила желания» — тоже.

Недавно поняла: в моем писании не хватает «желчи», ненависти. И странно: гневом, ненавистью я загораюсь гораздо легче, если дело идет о порабощении женщины или когда вижу, «осязаю» нутром несправедливость, акт насилия. Мой ум не умеет быть «желчным». Поэтому я плохой полемист. И мне легче всего писать не о том, что я ненавижу, а о том, что я люблю, к чему меня тянет. «Проповедовать».

Эти дни писала статью для юношества, о социалистических инстинктах и их роли в настоящем и будущем. И это удалось, кажется...

Сегодня всю ночь мучили образы военнопленных... Вчера должна была быть демонстрация против дороговизны перед ратушей Нью-Йорка. Поехала. Шел невероятный дождь, так и хлестало. Демонстрации не было. Собралось несколько десятков людей, прятавшихся в подъездах. On ne fait pas la revolution pendant la pluie.*

11 декабря. Вчера американская учительница и молодежь повели нас с Мишей в лес, на пикник. Пошла ради Миши. Не хотелось. А теперь рада, что пошла. Освежилась. «Напилась» чистого лесного воздуха и будто сил набралась. И спала покойно, не мучилась, не вставало прошлое, не обступали собственные ошибки, промахи, будто призраки... День был осенний — ясный, сухой, с холодком. В лесу по-осеннему степенно, задумчиво и тихо. Природа осенью строгая, покойная, выжидательная. Я ее люблю такой! А воздух! Воздух, весь напоенный запахами земли и отмирающих листьев... Развели костер, варили кофе, жарили на палочках «bacon» ...Дождались луны и звезд. Было картинно: костер, молодежь, оживленные лица, лес, хоть и редкий, а все же лес!.. Вдали — огни Патерсона и много, много звезд. Как природа упоительно ласкает душу! И как странно: накануне ездила в Нью-Йорк на демонстрацию против дороговизны. Провела всего час-два-три в Нью-Йорке и устала смертельно. Этот шум, толкотня, этот воздух... Демонстрации не было, дождь помешал. Вернулась разбитая, с головной болью, без сил, без желаний, без мыслей. А вчера весь день на ногах и только бодрее стала.

Сегодня газеты бьют отбой по поводу ожидавшихся переговоров о мире; Америка не собирается предлагать посредничество. Значит, Англия **запретила!** Все резче и отчетливее раздражение, гнев на правителей Англии. В начале войны меня злили немцы — не народ, а власть имущие. Я ненавидела их самоуверенную наглость. А сейчас — точно так же, нет, еще сильнее во мне все протестует против политики Англии. Это «военная диктатура», изобретенная Л. Джорджем, этот «кабинет» его — пощечина английскому народу и его традициям...

В начале войны органическое раздражение вызывала во мне [диктатура] Hindenburg'a, а сейчас я ненавижу, именно ненавижу, этого самонадеянного, кровожадного Л. Джорджа с его паролем «война до конца»... О, как я ненавижу войну! И как хочется что-то сделать, чтобы поднять народ!..

Что же это будет! Ведь нет и нет конца этим ужасам...

Помню, в молодости такое же чувство омерзения и гнева возбуждала во мне сытая, красномордая фигура градоначальника фон Валя. А сейчас я не могу смотреть равнодушно на Л. Джорджа!..

* *
*

А. М. КОЛЛОНТАЙ — Н. К. КРУПСКОЙ ИЗ ПАТЕРСОНА В ЦЮРИХ.

14 декабря 1916 г.

Дорогая Надежда Константиновна!

До сих пор от Вас ни единой строчки. Писала не меньше 5—6 писем. Удивляюсь, отчего нет ответа? На это письмо, пожалуй, еще успеете послать ответ в Америку, но вообще имейте в виду, что в конце января, начале февраля — еду обратно. Хотелось бы мне к Вам, но немыслимо приехать — через Францию надо бумаги... В «Новом мире» давно уже порвала после того, как они отказались поместить статью, где социал-патриоты названы изменниками, а социал-патриотизм — предательством. Для них, видите ли, вопрос «о защите отечества» еще не решен! Вышел ли сборник? Что нового? Страшно тягощусь здешней оторванностью. Шлю теплый привет всем вам.

Ваша А. К.

---

28 января 1917 г. «Бергенсфиорд».

На берегу остался Хохля. Вижу его милую мордочку в толпе провожающих.

Еду в Норвегию.

Свою миссию по отношению к Мишуне выполнила, Миша душевно окреп, здоровье лучше. И сейчас я ему уже не нужна.

С капитаном парохода встретились дружески. Я ему очень обязана, ведь без его помощи (прошлый раз) англичане могли снять меня с парохода.

---

* При дожде революция не делается *(франц.)*.

Много думаю о Зоечке. Все кажется, что услышу ее голос, услышу торопливые шаги ее маленьких ног... Это потому, что наш путь на Европу. Но я буду в Христиании, а она в Париже... Там бомбы, разрушение... Зоя работает в шляпной мастерской...

А мне вспоминаются далекие годы. Таврическая улица, наш деревянный дом с низенькими потолками. Мишина детская, зимнее солнце, игрушки на полу.

Зоечка сидит на низком детском стуле и поет Мише песенки:

Стрыки-брыки, стрыки-брыки,
Стрынка-волынка!

И, перебивая себя, рассказывает о «тайном партийном собрании», о Коробко, о Красине. О намеченной студенческой демонстрации.

Зоя часто «за заставой»... Все это для нас ново, заманчиво, захватывает, мы еще не совсем знаем, как ко всему этому подойти. Зоя смелее идет навстречу новшествам жизни, она легче прорывает «традиции». Мне еще мешают «условия жизни». Но я уже наметила путь свой.

Как все это далеко, далеко... Точно не мы были, а мы о таких, как мы с Зоей,— читали.

Последний месяц удалось хлебнуть «американской общественной жизни». Связала меня с интересными женщинами учительница из Патерсона. Потом встреча с Генриэтой Дерм. С мисс Хаке, заведующей экономическим отделом в нью-йоркской библиотеке. Деловая, умная женщина.

Была на собрании «Общества по охране детства и материнства». Участвовала в их дискуссиях...

Мне нравятся американские деловые женщины. Очень простые, не казенно-бюрократически ведут дело и сами хорошо одеты и очень женственные.

Радовалась и внутренне гордилась за женщин.

Была на собрании «College Club». Идейная учительская публика. Говорила с ними о войне. Очень слушали и просили «литературу».

Спрашивали: кто из русских женщин положил начало какому-нибудь социальному начинанию? Что они «создали»? И мне трудно было на это ответить. Наши женщины идут по другому пути — раньше революция.

В Америке действительно много женских имен, с которыми связано то или другое движение: Мэри Лион — первый женский колледж. М. Фостер — положила начало борьбе за трезвость. Бичер-Стоу дала толчок — и какой! — борьбе за эмансипацию негров. Антони и Кади Стоутон — положили начало борьбе за политическое равноправие женщин...

У нас другое, у нас герои-женщины — борцы за политическую свободу, за социалистические идеалы. Я рассказывала о них: о Бардиной, о Перовской, о Кларе Цеткин в Германии. [Спрашивают:] «А что они создали?» Американки понимают лишь все «конкретное». Их интересовали «имена» в чисто женском движении.

Я назвала деятельниц по просвещению и женскому образованию: Нечаеву, Стасову...

Вечер. Был серенький день. Пишу в каюте для «Letter Writing». Океан тяжелый, свинцовый, волны ленивые и не глубокие.

4 февраля, вечер.

Только что ко мне ворвалась норвежка-теософка чуть не с плачем: «Война! Война объявлена! Соединенные Штаты идут против Германии. Ну, теперь нас, наверное, потопят».

В «Атлантик ньюс» сказано, что Соединенные Штаты вступили на сторону союзников. Капитан успокаивает пассажиров... нельзя верить «Атлантик ньюс». Слухи — передаются за достоверное. Но факт налицо. На мачте бессменно дежурят матросы. Пассажиры нервничают. Боятся лечь... А я даже хотела бы пережить что-то «серьезное». Любопытно. И чувствую, что «ничего не боюсь».

Гораздо хуже остановка и осмотры в Кирквале. Везу пачки воззваний. Говорят, что где-то близко морское сражение. Кто-то слышал выстрелы. Помощник капитана сказал, что мы минуем Кирквал. Это было бы чудесно...

Но что Соединенные Штаты вошли в войну — это серьезно. Это усложняет положение. И надежда на мир рассеялась и отодвинулась в туман будущего...

9 февраля. Снова Хольменколлен.

Тот же красненький Туристхотелет. О нем тосковала в Патерсоне. Тот же дивный вид на Христианию внизу, на фиорд.

Но полоса Америки что-то изменила. Во мне и вовне. Война еще расширила свои границы. Весь мир залит кровью и слезами матерей и жен.

И нет конца...

ИЗ ПИСЬМА А. М. КОЛЛОНТАЙ — В. И. ЛЕНИНУ И Н. К. КРУПСКОЙ ИЗ ХРИСТИАНИИ В БЕРН

Дорогие друзья, Надежда Константиновна и Владимир Ильич!

Три дня тому назад вернулась я в Норвегию, оставив сына в Америке. Ехать пришлось с приключениями: мы попали в блокированную зону. И теперь еще острее стоит вопрос: как наладить сношения с Америкой? А это необходимо. Все время моего пребывания там я не имела от Вас вестей, да и вообще у всех полная оторванность от Европы, а, следовательно, и полная неосведомленность. Почему Александр, взяшийся наладить сношения между Норвегией и Америкой, уехал, ничего не сделавши? Там ждали, что он хоть что-нибудь наладит. Ведь не только из Норвегии, но и из Швейцарии почта действует крайне неаккуратно. Интересно, получали ли вы мои письма? Писала и о делах, ставила вопросы. Но ответа не было. Постараюсь сейчас в общих чертах нарисовать вам картину того, что делается в Америке...

За неделю до моего отъезда — приехал Троцкий, и это несколько подняло надежды Ингерманов и К°. Но Троцкий явно от них отмежевывается и, вероятно, будет вести «свою», далеко не отчетливую линию. Удастся ли «правым» все же опереться на Троцкого и таким образом вырвать «Новый мир» из рук наших — разумеется, вопрос открытый...

Сейчас нашими... намечается издание интернационального сборника на русском языке. Предполагается сконцентрировать в нем все интернационалистские силы, имеющиеся в наличности в Америке, разумеется, не только русские... Просят Ваших статей и обращают Ваше внимание на тот факт, что сборник намеренно будет избегать всех спорных вопросов и совершенно не коснется «самоопределения»...

Попробовали мы организовать американских интернационалистов. Было у нас несколько собраний с дискуссией по вопросу о платформе. Голландский тов. Rutgers (трибунист), Катаяма и наша компания тянули в сторону «левого Циммервальда». Приезд Троцкого укрепил, однако, правое крыло наших совещаний, и при моем отъезде платформа так и не была еще принята. Решено было издавать ежемесячный журнал на английском языке, вокруг которого должны были группироваться интернационалистские элементы Соединенных Штатов. Это должно было быть одиовременно и центром, связанным с Циммервальдом и стоящим в оппозиции Гаагскому бюро, за который крепко держатся Hilquit'ы. Боюсь, что начинание это, однако, нас не удовлетворит, так как открытое присоединение к «левому Циммервальду» встретило резкую оппозицию в лице Троцкого и дало моральную поддержку колеблющимся американцам.

Наши предполагают войти в «Socialist Propaganda League» (SPL) и сотрудничать в «Internationalist», который начал выходить в январе (пока вышел всего один номер, который Вам и препровождаю). В редакцию «Internationalist» входит Rutgers и латыш Rosin, кроме местных американцев. Несмотря на то, что «SPL» заявила, как вы увидите из их Манифеста, [что она] стоит на точке зрения «Циммервальдской левой»,— ее позиция, по-моему, недостаточно определена в других вопросах, и я воздержалась от присоединения к «SPL». Во главе ее стоят элементы, близкие «The Industrial Workers of the World» (IWW), вносящие хаос анархо-синдикализма. Я считала, что если уж выступать «левому Циммервальду» как самостоятельному центру, так надо быть гарантированными от смешения с путаниками из IWW...

Была у нас еще одна попытка — вызвать со стороны американской партии движение против двойственной политики Вильсона и за немедленное прекращение войны. Пришлось вести переговоры сначала с официальными центрами партии, которые, издав бледный, ни к чему не обязывающий манифест, на этом и успокоились. Тогда, вместе с германской «Sprachgruppe», решили повести агитацию от имени национальных федераций. Посылаю вам

составленный мной и принятый германской, финской, латышской и русской федерацией Манифест, который затем пошел на подпись остальным национальным федерациям и отдельным членам социалистических партий. Обсуждение Манифеста совпало с выступлением Вильсона в сенате за мир. И тут произошел курьезно-плачевный инцидент: германская национальная федерация, официальная инициаторша Манифеста, стала выражать сомнения: целесообразно ли вести кампанию против Вильсона в тот момент, когда он выступает за мир? Принятие Манифеста остальными национальными группами из-за этого затянулось, и я уехала, так и не зная: кто еще подписался под Манифестом? И будет ли он официально опубликован? Пока он появился в печати лишь как проект. Все это не для опубликования, а лишь вам для сведения.

Далее: из Соединенных Штатов есть возможность наладить сношения с Архангельском. Но для этого необходимо: 1) верные адреса в Архангельске; 2) полномочие от ЦК на имя хотя бы тов. Семкова.

Соответствующие сообщения и распоряжения вы можете переслать мне. Теперь я опять надолго основываюсь в Христиании и, надеюсь, наши сношения будут регулярны.

Котляренко должен был выслать вам деньги за литературу. Многое из нами посланного пропало, очевидно изъято было Англией. Котляренко просил передать вам обоим самые теплые приветы. «Сборник социал-демократа» * в очень ограниченном количестве (я видела 1 экз.) получен был незадолго до моего отъезда из Соединенных Штатов. Пришлите мне, пожалуйста, «Сборник» и последние номера «Социал-демократа», которые в Америке на вес золота — так их мало.

У редактора Vidnes'a ** нашла 30 крон, которые я оставила у него. Уезжая, Александр почему-то не взял их. Что с ними делать?

Пишите лучше не на Turisthotel, а на «Socialdemocraten», так как я, вероятно, устроюсь на жительство в самой Христиании. Имели ли вести от Александра? Вообще, что делается на свете? Помните, ведь в Америке — все равно что на Луне.

Надеюсь, дорогая Надежда Константиновна, что Ваше здоровье не слишком Вам докучает и что пребывание в горах принесло свою пользу? Не зная Вашего адреса, пишу по адресу тов. Шкловского.

Жду скорого ответа.

А пока шлю самые теплые и сердечные пожелания и приветы.

Ваша А. К.

ИЗ ПИСЬМА В. И. ЛЕНИНА — А. М. КОЛЛОНТАЙ ИЗ ЦЮРИХА В ХРИСТИАНИЮ

17.II.1917.

Дорогая А. М.! Сегодня получили Ваше письмо и очень были рады ему. Мы долго не знали, что Вы в Америке, и не имели от Вас писем, кроме одного с известием об отъезде Вашем из Америки.

Я написал Вам числа 7—8.I (день отсылки письма из Стокгольма — прямо отсюда в Америку все перехватывают французы!), но Вас это письмо (со статьей для «Нового мира») явно уже не застало в Нью-Йорке...

Этакая свинья этот Троцкий — левые фразы и блок с правыми против циммервальдских левых!! Надо бы его разоблачить (Вам) хотя бы кратким письмом в «Соцнал-Демократ».

№ 1 «Internationalist» уже получил и очень обрадовался. О конференции S. L. P. и S. P. 6—7.I.1917 имею неполные сведения. Кажись,

---

* «Сборник социал-демократа» основан В. И. Лениным. Издавался редакцией газеты «Социал-демократ». Вышло всего два номера. № 1 — в октябре и № 2 — в декабре 1916 года. В них был опубликован ряд работ В. И. Ленина.

** Виднес Я. Л. (1875—1940) — норвежский социал-демократ, журналист. В 1912 — 1918 гг. — редактор газеты «Socialdemocraten».

S. L. P. выкидывает всю программу-minimum... Крайне жаль, что не могу собрать всех документов о S. L. P... Нет ли у Вас материалов? Я бы мог вернуть по прочтении.

Я готовлю (почти приготовил материал) статью по вопросу об отношении марксизма к государству. Пришел к выводам еще резче против Каутского, чем против Бухарина (видели его «Nota-Bene» в № 6 «Jugend-Internationale» и «Сборник «Социал-Демократа» № 2?). Вопрос архиважный; Бухарин гораздо лучше Каутского, но ошибки Бухарина могут *погубить* это «правое дело» в борьбе с каутскианством.

Пришлю Вам свою статью о самоопределении против П. Киевского. Эх, жаль, денег нет! Мы бы издали «Сборник «Социал-Демократа» № 3 (весь материал *лежит*) и № 4!..

Циммервальдская правая, по-моему, идейно похоронила Циммервальд: Bourderon + Merrheim в Париже голосовали за *пацифизм*, Kautsky тоже 7.1.1917 в Берлине, Турати (17.XII—1916!!) и вся итальянская партия тоже. Это — смерть Циммервальда!! На словах *осудили* «социал-пацифизм» (см. кинтальскую резолюцию), а на деле повернули к нему!!.

Завтра (18.II) съезд шведской партии. Вероятно, раскол? Кажись, у молодых разброд и путаница *дьявольские*. Знаете ли Вы по-шведски? Можете ли наладить сотрудничество (мое и др. левых) в газете шведских молодых?

Отвечайте, пожалуйста, хоть кратко, но *быстро*, аккуратно, ибо нам страшно важно наладить *хорошую* переписку с Вами.

Лучшие приветы! Ваш *Ленин*

Статуя Свободы

Черновой, беглый набросок статьи А. М. Коллонтай, сделанный в конце 1916 или в начале 1917 года. Некоторые места расшифровать не удалось.

Кто из нас в раннем детстве не любовался на грандиозную Статую Свободы, что огненным факелом освещает въезд в мировую гавань, во все еще заманчивый, все еще сказочный — чуждый для европейцев Новый Свет? Кого из нас в детстве не поражала величина статуи, высоко парящей над линией нью-йоркских небоскребов? Какими жалкими, ничтожными на картинках выглядели океанские чудовища-корабли, снующие у ног гордо-победной Свободы!..

Когда наш норвежский пароход «Бергенсфиорд» медленно, осторожно прокладывал себе путь среди деловито снующих судов всех великих наций, мы, наивные европейцы, жадно искали глазами, где же она? Где обещанная нам [еще детскими книжками] Статуя Свободы?

Тогда, в первый мой приезд в Америку, год тому назад, Статую Свободы скрывал густой осенний туман. Он заволок и спрятал от наших наивно ищущих глаз тот символ, что заставлял когда-то биться победной радостью и ликованием сердца наших отцов и дедов-европейцев.

[Для меня] «Свобода» Нового Света оставалась за пеленой, неразгаданная, манящая, могучая в нашем представлении. Статую Свободы я увидала впервые через четыре с половиной месяца: это был мой бешеный скачок по Соединенным Штатам.. Америка перестала уже быть тогда для меня страной, подернутой заманчивой пеленой всяких приятных возможностей. Перед глазами моими за эти четыре с половиной месяца успели пройти и настойчивые политики, ведущие агитацию в пользу милитаризма, и ожесточенная борьба труда с обнаглевшим американским капиталом, и власть американского полицейского кулака, и всемогущество королей трестов, и продажность американского суда, и угодливость американской капиталистической прессы, ...и «свобода» независимой церкви... Теперь я уже ясно, отчетливо представляла себе, что такое Америка, что такое «страна свободы», что собой представляет все еще манящий европейцев Новый Свет, открытый Колумбом!

И тогда, стоя на борту увозившего меня обратно в Старый Свет парохода, я впервые увидела Статую Свободы. Был ясный, холодный предвесенний день. Медленно, будто нехотя, выходя из защищенной гавани в бурную неизвестность океанского простора, проплывал все тот же «Бергенсфиорд» мимо «восьмого чуда мира», мимо знакомой по картинкам статуи.

Теперь ее не прятал туман от наших глаз, теперь солнце освещало каждую складку

ее бронзового облика. И все же глаза отказывались верить! Это ли Статуя Свободы? Такая ничтожная, такая затерянная в шумной гавани, окаймленной гордой линией несущихся вверх победоносных банковских зданий с Уолл-стрита.

Разве такой бессильной, маленькой, съежившейся перед лицом всемогущих громад-небоскребов, этих хранителей финансовых сделок ...представляли мы себе ее, Статую Свободы?

Быть может, [это] наглость политиков, королей капитала, урезывавших день за днем все свободы, что добыты были кровью предков современного дяди Сэма,— заставила Статую Свободы съежиться, сжаться от тоски и позора? Когда находишься во власти океана, когда впереди ждешь причудливых приключений, будто выхваченных из средневекового романа...— тогда настраиваешься невольно на мистический лад и готов поверить в великое чудо, в детские сказки...

Все неотчетливее становятся контуры города — громадные извивающиеся, непрерывно ползущие вверх линии нью-йоркских небоскребов. Статуя Свободы давно слилась в едва заметную точку. Исчезла. Еще немного, и Америка потеряет для нас свою реальность, останется одним из образов в веренице жизненных воспоминаний.

Тогда, в тот час, я поняла отчетливо, что Новый Свет, Статуя Свободы — лишь устарелая, забытая легенда, сказка докапиталистических времен, о которой могут рассказывать нам лишь [со слов] наших дедушек.

Для наших дедов и прадедов Новый Свет был действительно страной свободы. Здесь, кем бы они ни были в старушке Европе, они чувствовали себя сыновьями свободной страны, полноправными гражданами. Здесь они могли молиться своему богу по своим излюбленным ритуалам. Здесь они могли еще верить, что своими руками человек кует собственное счастье, богатство и свою судьбу. Здесь фея Удачи еще свободно манила в невозделанные земли плодородных степей, в пустынные горы, скрывавшие золотоносные клады.

Там, в старой Европе, феодализм все еще не уступал натиску торговой привилегированной дворянской буржуазии, там воздух еще насыщен был дымным церковным запахом, там царило неравенство сословий и классов, там тяжелым гнетом лежали на человеке мерзкие закостенелые предрассудки.

Мудрено ли, что наши деды и прадеды простирали с умилением руки к берегам Нового Света и падали [ниц] перед бронзовой зеленью складок Статуи Свободы?

Но как все это далеко теперь! Как легендарны рассказы об американской свободе!

Подавили Статую Свободы. Небоскребы уничтожили ореол ее. Не она парит теперь над бухтой мирового города, не она освещает путь в мировую гавань, в Новый Свет. Миллионы огней из окон пятидесятиэтажных контор-небоскребов затмевают свет богини Свободы. Насмешливо глядят серые громады, напоминающие плотную стену-скалу, где, как узкие ущелья, вьются запруженные дельцами и их клерками нью-йоркские улицы. И эта плотная стена домов-скребов, верное убежище королей американского капитала, полнее выражает сейчас «дух», царящий над материком Колумба, чем жалкая, съежившаяся, будто [потерянная] зеленая статуя.

Второй раз увидела я ее недавно при светлых лучах утреннего солнца.

И странно! Этот раз пассажиры не искали глазами Статую Свободы. Будто за год, тяжелый, кровавый истекший год, и легковерные, верящие в счастье, лежащее за океаном, европейцы успели кое-чему научиться. Они искали глазами не Статую Свободы, а пароход с американскими властями и представителями эмигрантского бюро, которое отсортировывало пассажиров, [чтобы] большинство III класса, а может быть и часть нас, II [класса] отправить на исторический «Остров слез».

И пароход с властями не преминул причалить к борту нашего плавучего дома... Длинная вереница пассажиров III класса должна подвергнуться унизительному допросу, ряду неприятных формальностей и протомиться на пустынном острове, пока добрые друзья не придут путешественникам на помощь. Может случиться, что III класс, а то и II класс пассажиров, без дальнейших разговоров посадят в американскую кутузку, впредь до выяснения личности...

Но боже упаси! Ничего подобного не ждет пассажиров I класса!

Разве I-классный пассажир, привезший в карманах чеки на банки в Уолл-стрит, может быть нежелательным иностранцем для Великой Республики? Пассажирам I класса скатертью дорога. Перед ними Статуя Свободы особенно ярко заставляет гореть свой потускневший факел. Ему, собрату современных королей свободной республики, обеспечено то, что сулила когда-то зеленая статуя каждому пришельцу в новые земли.

Но, боже, как тускло освещает та же статуя путь в Новый Свет для тех, кто смог купить себе лишь билет III класса...

И становится стыдно за Статую Свободы и жалко тех сладких минут ожидания, когда среди осеннего тумана мы, наивные европейцы, год тому назад искали глазами ту Статую Свободы, что рисовалась нам по забытым детским иллюстрациям, по которым учили нас любить «Новый Свет» — страну, завоеванную самим народом,— и политические свободы!

Публикация и примечания старших научных сотрудников Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС И. М. ДАЖИНОЙ и Р. Я. ЦИВЛИНОЙ.

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

И. ГОЛИК

«ОН ДАЛ НАМ ЖИЗНЬ...»

В. И. Ленин в немецкой литературе

В сентябре 1918 года В. И. Ленин получил письмо от группы «Спартак», из которой выросла потом Коммунистическая партия Германии. В нем говорилось: «Постепенно немецкие рабочие массы также начинают понимать и правильно оценивать русскую Октябрьскую революцию, и это находит, между прочим, свое выражение в многочисленных доказательствах сочувствия к Вам, ставшему также и в Германии символом социалистической рабочей революции»*.

Вождь мирового пролетариата, символ социалистической революции — таким входил В. И. Ленин в сознание передовой художественной интеллигенции, в немецкую литературу. Немецкие писатели шли к Ленину разными путями — восприятие личности и идей Ленина во многом зависело от склада мышления и таланта каждого из них. Цель этих заметок — показать, выдвинуть на первый план то *общее, главное*, чем характеризуется отношение передовых деятелей немецкой литературы к Ленину.

Очень характерно признание крупнейшего поэта Германии нашего столетия Иоганнеса Бехера: «Ленину я обязан тем, что малопомалу научился видеть вещи такими, какие они есть... Ленину я обязан тем, что перестал поддаваться провокациям Ницше... Ленину я обязан тем, что оставался совершенно равнодушным, когда какой-нибудь литературный сноб обзывал меня «ужасным упрощенцем» за то, что я называл вещи своими именами, не блуждал вокруг да около «ужаса», а сводил его к простой формуле, найденной Лениным,— формуле, в которой познание этого ужаса одновременно сочеталось с планом его практического преодоления».*

«Секрет века» открыла Бехеру книга Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма». «Не заглянув в эти глубины,— говорил Бехер,— я не понял бы нашего времени. Да и Великая Октябрьская социалистическая революция, которую я восторженно приветствовал с самого начала, была бы воспринята мною только стихийно; я так и не поднялся бы до ее понимания, не укажи произведение Ленина правильного пути моему мышлению, не научи меня додумывать вещи до конца».**

Альфред Курелла, встречавшийся с Владимиром Ильичем, рассказывает в книге «По пути к Ленину», вышедшей в 1967 году в берлинском издательстве «Нейес лебен», о том, как идеи вождя русской революции становились частью его собственной жизни, его духовного мира. До Ноябрьской революции в Германии имя Ленина, его труды замалчивались в Германии не только официальными кругами, но и теоретиками социал-демократии. Богатство ленинской мысли открылось трудящимся Германии лишь в 1918—1919 годах. Одной из первых на немецком языке появилась книга «Государство и революция». «Эта книга,— пишет А. Курелла,— дала мне аргументы для ответа на все важнейшие вопросы, которые ставила современность... Мы научились тогда, даже сами этого не замечая, совершенно по-иному мыслить... Эта книга по-настоящему познакомила нас с Марксом. Это не значит, что мы ранее не читали Маркса и Энгельса. Но картина, создавшаяся у нас после чтения, была отрывочной и неполной... То, что Ленин показал международному рабочему движению Маркса и Энгельса во всей полноте их гениальной

* Письма В. И. Ленину из-за рубежа. М., «Мысль», 1966, стр. 106.

* И. Бехер «В защиту поэзии». М., Изд-во иностранной литературы, 1959, стр. 20.

** Там же.

мысли, то, что он открыл для нас марксизм как большую всеобъемлющую систему теоретических и практических знаний, было одной из его величайших заслуг перед историей человечества».*

Выступления и речи В. И. Ленина, информацию из России после победы Октября печатали газета «Роте фане», такие журналы, как «Акцион», «Форум» и др. Но война лишала прессу Германии живых впечатлений очевидцев. Путь в страну революции открыл немецким литераторам Брестский мир. Среди писателей, первыми приехавшими в республику Советов, были Альфонс Паке (1881—1944), Франц Юнг (1888—1963), Альфонс Гольдшмидт (1879—1940), Артур Голичер (1869—1941). Люди разных убеждений, они были захвачены увиденным. Энтузиазм народа, завоевавшего свою свободу, притягательная сила новой действительности сделали их потом друзьями Советской России. И многие страницы своих произведений они посвятили Октябрьской революции и ее творцам. Франц Юнг, например, за короткое время выпустил несколько книг. Одна из них — «Поездка в Россию» — заинтересовала В. И. Ленина. Об этом свидетельствует записка Ильича библиотекарю 6 февраля 1921 года**.

Франц Юнг первым попытался воссоздать образ Ленина в драме «Владыки» («Die Kapaker», 1921). Писатель показывает Ленина в поединке с англичанином Уэллсом. Спор Ленина с Уэллсом в драме Юнга воспринимается как первый диалог между новым Востоком и старым Западом. Победителем в нем выходит Ленин. Вождь русской революции с большой убежденностью и силой парирует возражения Уэллса и разъясняет ему, что власть пролетариата держится на сознании масс, что энтузиазм, солидарность трудящихся и составляют синтез подлинной человечности. И чтобы ощутить это, Ленин советует своему собеседнику, чьи взгляды признает интересными, но неправильными, «спуститься с достойной уважения кафедры своего интеллекта в передовые ряды рабочих масс».

Уэллс в драме признает, что Советская Россия достойна восхищения, и уходит со сцены, в раздумье говоря: «Вы мне помогли».

В то время, когда появилась эта пьеса, Альфред Дёблин в газете «Нейе рундшау» публикует серию страстных публицистических статей против немецкого консерватизма, инертности, нерешительности в пору революционного кипения масс. Потом эти статьи выйдут отдельным изданием под названием «Немецкий маскарад». Обращаясь с упреком к тем, кто погубил революцию в Германии, Дёблин ставит в пример Россию, могучего мыслителя Ленина.

Первые послеоктябрьские годы были для немецких писателей временем открытия новой России и одновременно образа ее вождя. То, что тогда было написано о Ленине,— это скорее эскизы, этюды, освоение натуры, разведка темы. Важны не только первые писательские зарисовки, интерес к образу Ленина, а процесс духовного обновления самих художников слова под воздействием ленинской мысли. Событием для передовой художественной интеллигенции Германии явился выход на немецком языке в 1924 году знаменитой статьи В. И. Ленина «Партийная организация и партийная литература». Она стала основой программы Союза пролетарских и революционных писателей Германии. «В классовом обществе,— говорилось в проекте программы Союза,— литература, как и всякая идеология, служит задачам определенного класса. Из этого вытекает, что пролетарско-революционная литература — это такая литература, которая овладевает сердцами и умами рабочего класса и широких трудящихся масс, воспитывает, организует их для подготовки пролетарской революции».

■

Самые выдающиеся немецкие художники слова откликнулись на смерть В. И. Ленина. «Несомненно,— писал Томас Манн,— Ленин всемирно-историческая величина. Властитель дум в новом, демократическом, гигантском стиле...» Генрих Манн видел величие Ленина в творчестве, несокрушимой преданности делу, умении руководить сообразно с потребностями народных масс. «Русской революции,— подчеркивал он,— выпало великое счастье иметь всеми признанного героя. Ленин был ее зачинателем, и он все еще остается тем, кто продолжает эту революцию; ибо он и после своей смерти по-прежнему живой в сердцах и умах всех борцов революции, как бы сильно они ни отличались друг от друга. Ленин... остается сгустком революционной мысли».

С большой теплотой рисует образ Ленина Альфонс Гольдшмидт в книге «Какой я вновь увидел Москву» («Wie ich Moskau wiederfand», 1925). Писатель, на глазах которого осуществлялись первые декреты народной власти, прибыл в советскую столицу некоторое время спустя после смерти вождя революции. Он с особой остротой почувствовал нераздельность Ленина и народа, его воли и воли миллионов. Гольдшмидт передает рассказы тех, кто во время прощания с Ильичем «сто часов не смыкали глаз», называет Ленина великим отцом народа, пророком и героем. Смерть бессильна поколебать его идеи, наоборот, она как бы сконцентрировала их, сделала еще более яркими. Писатель сравнивает всенародные похороны Ленина с официальными похоронами первого президента германской буржуазной республики Фридриха Эберта. И восклицает: «Какая разница! Тело этого человека несли на кладбище за государственный счет, но не на руках народа, не в сердце народном».

Мавзолей на Красной площади, где покоится прах Ленина, писатель называет ар-

* А. Курелла. «Незабываемый Ленин». М., Госполитиздат, 1959, стр. 61—62.
** Ленинский сборник XXXVI, стр. 189.

химедовой точкой опоры революции. Потому что бедняки всей планеты бесконечно чтят Ленина, говорят на его языке, который стал их языком. Потому что Ленин больше, чем борец за завтрашний день, он уже сейчас стал маяком Земли.

Известие о смерти вождя первого в мире государства рабочих и крестьян, как страшный удар, обрушилось на писателя-коммуниста Александра Абуша. И он в тот же день в нелегальной венской газете «Нейе цейтунг» напечатал пламенные строки, которые начинались так: «Ленин умер, но дело его живет».

Поэтический венок на могилу гения революции принесли и поэты Германии. Эрих Мюзам в стихотворении «Ленин» не только оплакивает уход из жизни величайшего революционера, проложившего путь к свободе своему народу и всем угнетенным, но призывает защищать то, что он создал, продолжать его дело до тех пор, пока не падут оковы рабства на всей планете.

Интересна история стихотворения Франца Вайскопфа «На смерть Ленина». Молодой поэт служил в армии. В день смерти Ленина фельдфебель Вайскопф возглавлял охрану штаба гарнизона. Под его началом были солдаты — в прошлом рабочие-металлисты и рудокопы. Всех их глубоко взволновала печальная весть из Москвы. В знак глубокой скорби они вывесили над дверью своей караульной кусок черного сукна. Этот не очень умело сшитый траурный флаг висел несколько часов, пока не появился офицер. Он пригрозил военным судом и сорвал маленькое полотнище. Вайскопф попал под арест. Там, под стражей, и написал он свое стихотворение. Вслед за этим появляется легенда о Ленине в прозе под названием «Чудотворец». В этой своеобразной новелле Вайскопф описывает жизнь одной русской семьи и показывает, как благодаря Ленину меняется судьба простых людей, судьба России.

Всеохватывающую печаль и огромную любовь народа к великому вождю передает Иоганнес Бехер в поэме «У гроба Ленина», опубликованной в траурные дни 1924 года. Позже поэт вновь и вновь возвращается к дорогому образу и в мужественных строфах «Он мир от спячки пробудил» показывает несокрушимую силу его идей и его дел.

Он мир от спячки пробудил
Словами ярче молний.
По рельсам и рекам неслись они,
В океанах вздымая волны.
Он мир от спячки пробудил
Словами, что хлебом стали,
Что против горя и нужды
Армиями зашагали.

Дело Ленина бессмертно, оно будет расти и расти, как древо жизни, чьи корни разбегаются во все стороны. В стихотворении «Тысячелетний Ленин» И. Бехер пишет:

Тысяча лет пройдет, как проходит день.
Покроются мохом забвенья
Имена многих, кто был прославлен
когда-то.
Не донесут их ни книги, ни преданья,—
Но его, Ленина, все будут помнить,
Имя его станет насущным словом,
Именем его, как знаменем красным,
Украшать будут мир.

(Перевод В. Нейштадта)

Из немецких поэтов Иоганнес Бехер внес самый значительный вклад в создание поэтической ленинианы. Он посвятил Ленину многие стихи и многие строки в своих прозаических книгах.

О бессмертии Ленина говорит Бертольт Брехт в стихотворении «Непобедимая надпись» (1926). На стене камеры итальянской тюрьмы «Сан-Карло» заключенный вывел карандашом «Да здравствует Ленин!» Охранники прислали в камеру маляра, чтобы закрасить опасную надпись. Но от прикосновения кисти на стене вновь вспыхнула эта надпись.

Тогда сторожа ввели в дело каменщика
со скребком,
Целый час он выскабливал букву за
буквой,
Но когда он закончил, то в камере снова
сияла
Врезанная в камень непобедимая надпись:
«Да здравствует Ленин!»

(Перевод И. Моисеева)

Сюжет брехтовского стихотворения перекликается с фактом, рассказанным Горьким: «В маленьком городе Сорренто в 1924 году на одной улице было написано: «Вива Ленин». Полиция закрасила надпись желтой краской. Написали красной: «Вива Ленин». Полиция закрасила бурой. Написали белой: «Вива Ленин».

Так и написано по сию пору».*

Сходную историю автору этих строк довелось слышать в 1965 году на международной встрече писателей в Веймаре. Ее рассказал мужественный сын Испании, двадцать три года проведший во франкистских застенках поэт Маркос Ана. Видимо, такие легенды можно услышать и в других странах, ибо Ленин вошел в жизнь всех народов.

Имя Ленина мы встретим во многих книгах, созданных немецкими писателями в двадцатые-тридцатые годы. Образ великого вождя сливается в них с образом новой России, советской действительности, в которой наши зарубежные друзья видят воплощение ленинских заветов. Дело Ленина живет. Эта идея пронизывает многие произведения поэзии и прозы той поры. Эрих Вайнерт в стихотворении «Дело Ленина» восклицает:

Страна Советов — мира и свободы
Незыблемый оплот. Страна побед.
Я верю: день придет и счастья свет
Ты принесешь и моему народу.
Ты Ленина высоко держишь стяг,
Ты для земли — грядущего маяк.

(Перевод В. Бугаевского)

Герой романа Ганса Мархвицы «Штурм Эссена» матрос Кристиан имя Ленин воспринимает как Лебен («Жизнь»). Активный боец рабочих отрядов Рура, он размышляет о причинах поражения социали-

* М. Горький. «О литературе». М., «Советский писатель», 1955, стр. 445.

стической революции в Германии и мечтает быть там, в России, где прогнали Керенского и буржуазных генералов, где правит страной необыкновенный народный вождь Ленин. Рабочие и крестьяне России, продолжает он свой монолог, скорее отдали бы себя изорвать в клочья, распять, но защитили бы Ленина от убийц.

Фридрих Вольф рассказал о боях красных партизан против белогвардейского корпуса в Рейнско-Рурской области в марте 1920 года в пьесе «Матросы из Каттаро» иносказательно, прибегнув к аналогии,— изобразив восстание матросов австрийских военных кораблей в феврале 1918 года. Эпиграфом к своей революционной драме автор поставил слова Ленина: «Никогда *не играть* с восстанием, а, начиная его, знать твердо, что *надо идти до конца*».*

Пьеса имела успех на сценах театров, вызывала дискуссии зрителей. Реакционные силы по всей Германии бойкотировали ее. Автор пьесы был арестован.

Вера в Ленина, в мир социализма, в приход социальной справедливости ведет лесорубов из рассказа Анны Зегерс «Крестьяне из Грушова» (1929) на борьбу против власть имущих, отнявших у них лес, «в котором отцы их собственными костьми прокладывали тропы». На вырубках собирались крестьяне, разжигали костры, и «повидавшие свет солдаты говорили: мир становится другим. В России есть Ленин, у господ отбирают землю; леса и поля передаются в руки крестьянам». Герой рассказа решает своими глазами посмотреть на страну свободы. «Ранней осенью он двинулся в путь и, нанимаясь батраком, с серпом в руках переходил от поля к полю. Оставляя позади себя голую бурую землю, идя навстречу урожаю, он серпом прокладывал себе путь в Россию».

Вера в Ленина, в Советский Союз придает мужество и силы пролетариям в фашистских застенках, поддерживает коммунистов-подпольщиков, о которых рассказала Анна Зегерс в своем раннем романе «Спутники» (1930). Люди разных национальностей, движимые одной высокой идеей коммунистического преобразования мира, действуют в этом произведении. Путь им освещает ленинский свет, идущий из Москвы. Вот ощущение, которое охватывает болгарского революционера-подпольщика Дудова на Красной площади: «В Москве дорогие могилы перед Кремлем говорят о прошлом, дымящиеся трубы — о настоящем, сверкающие цифровые диаграммы — о будущем... Теперь он был в Москве, молодые товарищи подавали ему руку, показывали его друг другу...»

Анна Зегерс одна из первых в западной литературе попыталась художественными средствами нарисовать широкую панораму борьбы коммунистических партий многих стран против власти капитала, темных сил реакции. Почти двадцать лет спустя в романе «Мертвые остаются молодыми» Зегерс вновь обращается к образу Ильича. Она описывает демонстрацию, которая прошла через Берлин после известия о смерти Ленина. Идти или не идти в траурной колонне — этот вопрос решает, стоя на тротуаре, рабочий Гешке, чье классовое сознание затуманено идеями социал-демократии. Траурное шествие в честь Ленина пробуждает мысль, активизирует классовую совесть в этом немецком пролетарии, которого столько лет приучали к обывательской пассивности. «И Гешке спрашивал себя, каким человеком был умерший, и что, если бы он видел свои похороны,— гордился бы он этим траурным шествием в его память и траурными шествиями по всей земле? Демонстрации возникали во всех городах мира — белые, черные, бронзовые, желтые лица. Если бы все эти траурные шествия сомкнулись, можно было бы опоясать ими весь земной шар. Гешке тянулся вслед за демонстрацией, в которой сначала не хотел участвовать, какой-то тонкой, несмелой ниточкой, идущей из самых глубин его сердца... Но даже та тонкая ниточка, которая тянулась из его сердца вслед за идущими и которая была только сожалением, что он не смог пойти с ними, связывала его с самой сердцевиной жизни, и его уже не мотало из стороны в сторону, как увядший лист».

У Анны Зегерс есть два рассказа, непосредственно посвященные Ленину. Один из них «Кто он был?» опубликован 21 января 1937 года на страницах газеты «Роте фане» — центрального органа Коммунистической партии Германии. Написан он в форме беседы матери со своим ребенком у портрета Ильича. Из простого, незатейливого рассказа женщины вырисовывается образ человека, который сделал так много для людей, и малыш начинает понимать, почему портрет Ленина висит на стене их комнаты, в квартирах их соседей, почему напечатан он в книгах.

Герой другого рассказа—«Первый шаг»— активный участник движения сторонников мира, один из многих приехавших на международный конгресс, Сергей из Харькова, вспоминает детство: «Революция была с тех пор, как я себя помню. Я рос в ней. Она была всюду — во мне и вокруг меня. Поэтому в моей жизни нет того, что вы называете «первым шагом».

Он был ребенком, когда отец взял в руки винтовку и ушел на гражданскую войну. Прощаясь, отец сказал ему: «Запомни, сынок, что я тебе говорю. Нас зовет Ленин. Он дал нам землю и заводы, теперь мы обязаны их защищать. Бандиты снова хотят отобрать у нас все. Твоя жизнь будет счастливой, об этом позаботимся мы».

Сергей вспоминает еще портрет Ленина, без которого не мог представить свою комнату, как не мог ее представить себе без окна, вспоминает развернутое на кухонном столе красное знамя, которое казалось ему

* В. И. Ленин. Соч., изд. 5, т. 34, стр. 383.

живой, парящей в воздухе птицей. Этому знамени он остался верен всю жизнь.

Среди публицистических выступлений обращает на себя внимание небольшая статья Л. Фейхтвангера «Ленин и социалистический гуманизм», глубокая по мысли и блестящая по стилю. «Последовательно применяя диалектический метод,— пишет Фейхтвангер,— Ленин вскрыл истинную сущность «лукавых мудрствований» идеалистического гуманизма, противопоставил ему свой реалистический гуманизм. Теория Ленина дает возможность узреть выспренние идеалы буржуазных «гуманистов» во всем их ничтожестве».

Как же понимает писатель реалистический гуманизм Ленина?

«Гуманизм — это совокупность всех благ, возвышающих человека до уровня человека. Понятие гуманизма неотделимо от таких понятий, как справедливость, мир, демократия, свобода. Но гуманизм также тесно связан с внешними условиями, обеспечивающими человеку достойное существование. Буржуазное общество умышленно выпустило из виду последнее обстоятельство, оторвав понятия справедливости, мира, демократии, свободы от общественного бытия, обманным путем уводя их в идеалистическую область абсолюта. Оно провозгласило принципы «чистой» науки, литературы и искусства, «вечного» мира», какой-то парящей в безвоздушном пространстве «справедливости».

И дальше: «Та беспощадная логика, с которой Ленин разделался с защитниками ложных идеалов, борясь за социалистический гуманизм, побудила представителей этого ложного «гуманизма» с удвоенной яростью защищать свою «башню из слоновой кости». По мере того, как идеалистический «гуманизм» все больше обнаруживал свою несостоятельность, его пытались приукрасить всякими эстетическими заплатками».

Фейхтвангер высмеивает понятие буржуазной свободы и вслед за Лениным говорит, что, пока не уничтожены классы, всякие разговоры о свободе и равенстве — обман. Подлинный гуманизм он видит в социализме, в его осуществлении. Это начали сознавать в ту пору многие мастера культуры капиталистических стран. Поэтому Фейхтвангер справедливо делает вывод: «События последних лет много способствовали тому, чтобы ускорить кончину ложного «гуманизма». Все большие слои интеллигенции Запада бросают на свалку идеалистические теории, заменяя их острым, ясным, реалистическим гуманизмом Ленина»*.

Мысли, высказанные в этой статье, мы встретим потом в рассуждениях героя романа «Изгнание» Гарри Майзеля. Молодой прозаик Майзель решает издать несколько рассказов о «Третьей империи». В предисловии к ним он, как и Фейхтвангер, иронизирует над буржуазной свободой, ссылаясь на авторитет Ленина.

Статья «Ленин и социалистический гуманизм» и роман «Изгнанне» написаны Фейхтвангером под чужим небом, вдали от родины. Немецкие писатели, которых фашизм разлучил со своим народом, в изгнании по-новому задумывались над судьбами своей страны и народов всего мира. В годы эмиграции начинает писать «Поэму о человеке» Куба. Особая глава посвящена в ней Ленину. Гений революции предстает со страниц поэмы как зачинатель новой истории, преобразователь мира, вдохновитель побед народов России.

Когда был полон боли и томленья
белый свет —
земля в себе
почувствовала бремя.
Явился Ленин
в год тягчайших бед,
и в прошлом брешь пробил,
и начал наше время.

В облике Ленина, нарисованном Кубой, гармонично сочетаются черты вождя и человека, умеющего непосредственно и глубоко пережить обычную радость.

Большой государственный размах мысли и человеческое обаяние переданы точным поэтическим штрихом:

Сквозь боль России
пробивался смех —
то с человечной ленинской усмешкой
народ свою победу угадал.
Пустыни оживлял тот смех, как шум
листвы,
и смыслом стал
всех правил, всех законов,
и счастьем
ста восьмидесьти мильонов,
и фондом,
и гарантней Москвы.

(Перевод С. Кирсанова)

После разгрома гитлеризма начался новый этап истории немецкого народа. Родилась Германская Демократическая Республика — первое на немецкой земле государство рабочих и крестьян. Литература, богатая бессмертными творениями классиков, революционными традициями, закаленная в бою с фашизмом, собирает свои силы и уже в новых условиях продолжает обогащать духовную сокровищницу своего народа. И немецкие поэты и прозаики обращаются к Ленину, чтобы осмыслить прошлое Германии и лучше понять задачи демократического преобразования страны.

В 1948 году Стефан Хермлин публикует стихотворение «Гранит Ленинграда». В нем он стремится ответить на вопрос, почему выстоял город Ленина в долгие, голодные годы блокады, почему победил советский народ в страшной схватке с фашизмом.

Будет жить этот город! Народ его, смелый и
вольный,
любит жизнь, любит радость, свободу,
весну и простор.
Как бывало в семнадцатом, штабом
становится Смольный,
и Владимир Ильич над солдатами руку
простер.

(Перевод Л. Гинзбурга)

Верность ленинским идеям, любовь к стране Октября, дружба с советским народом становится темой другого произведения Хермлина — «Мансфельдской оратории». Ге-

* «Правда», 22 января 1939 года.

рой ее Отто Брозовский в годы гитлеровского господства сохраняет красное знамя, подаренное советскими рабочими из города Кривой Рог. Много пришлось пережить подпольщику, но ничто не сломило его духа. Вдохновляло знамя Ленина — символ единства и братства людей труда. Этот действительный факт из истории дружбы советских и немецких рабочих послужил сюжетом для романа Отто Готше «Знамя Кривого Рога». Сберегли в Мансфельде и ленинскую статую, которую оккупанты привезли из России, чтобы переплавить ее на снаряды. И когда советские воины-освободители пришли в этот маленький город, там их встречал Ильич. Много лет прошло с той поры —

А Ленин стоит на площади,
в грядущее взор устремив.
И всюду есть в мире ленинцы,
и Ленин повсюду жив.

Писатели разных поколений в разных литературных жанрах и с разной силой художественного мастерства воплощали ленинскую тему, вносили свои штрихи в создание великого образа. Назовем киносценарий Вилли Бределя и Михаила Чесно-Хелла «Эрнст Тельман — сын своего класса», где показана встреча Ленина с вождем немецких коммунистов; очерки и репортажи Эгона Эрвина Киша, Фридриха Вольфа, Петера Неля, стихи Луиса Фюрнберга, Ганса Лорбера.

Характерная особенность произведений последних лет — обращение к Ленину, как живому человеку, своему современнику, участнику строительства новой, социалистической жизни. Макс Циммеринг узнает Ильича (стихотворение «Я видел Ленина») в новых кварталах города, на пионерском сборе, среди пахарей земли и покорителей Северного полюса. Ленин видится поэту капитаном, уходящим в море; бойцом на баррикадах, где реет флаг свободы; идущим в первомайских колоннах.

Десятки, сотни раз видел его я,
Хоть не входил ни разу в Мавзолей.
Ведь Ленин — это мужество живое,
Кто видел Ленина — тот стал сильней!

(Перевод Е. Николаевской и И. Снеговой)

Немецкую ленинниану, огромную многоцветную мозаику, дополняют в наши дни молодые поэты Германской Демократической Республики. В них осмысливается путь, пройденный по заветам Ленина, путь, ведущий в коммунизм. Образ гения революции продолжает жить в немецкой литературе, как продолжает жить слава Ленина в сознании всех трудящихся Земли. Живет и будет жить, как сказал поэт и трибун Эрих Вайнерт, потому что

Он дал нам жизнь, он дал нам свет,
Нам к счастью путь открыв,
Как для народа смерти нет —
Так вечно Ленин жив.

ПИСАТЕЛИ СЛОВАКИИ

У нас в гостях большая и представительная группа словацких писателей. Среди них крупнейшие поэты — народные художники ЧССР Андрей Плавка, недавно избранный председателем Союза словацких писателей, и Ян Костра, видный поэт и переводчик Эмиль Болеслав Лукач, литературовед и критик Винцент Шабик, секретарь Союза словацких писателей и главный редактор журнала «Ревю светове литературы», критик и переводчик советской литературы Ян Ференчик — директор издательства «Татран», талантливый молодой прозаик Винцент Шикула, детская писательница и переводчица советской литературы Гелена Крижанова.

С некоторыми из них советские читатели хорошо знакомы. Стихи Андрея Плавки печатались и в журнале «Иностранная литература» *, и в других периодических изданиях, и в поэтических сборниках. Сборник стихотворений Плавки издан в переводе на украинский язык в Киеве. Книжка Яна Костры «Стихи» вышла в Москве в издательстве «Иностранная литература» в 1960 году. Его стихотворения помещены также в сборнике «Поэты-современники» (1963). Издательство «Детская литература» в 1968 году выпустило книгу Винцента Шикулы «Каникулы с дядюшкой Рафаэлем».

Словацкие писатели приехали в нашу страну с искренним и добрым желанием содействовать укреплению дружеских и деловых связей между нашими народами и нашими литературами. С этой целью они совершили поездку по стране, встретились с московскими писателями в Центральном Доме литераторов, побывали в издательствах и редакциях литературных журналов. С этой целью они пришли и в редакцию журнала «Иностранная литература».

Беседа сразу приобретает деловой характер. У сотрудников редакции много важных и насущных вопросов к гостям, у гостей, в свою очередь, живой интерес к тому, как обстоит дело в советской литературе.

Винцент Шабик, выразив удовлетворение тем, что словацкие писатели смогли побывать в нашем журнале и познакомиться с его работой, говорит о роли и значении таких периодических изданий, как «Иностранная литература», словацкое «Ревю светове литературы». Они являются как бы мостами, связывающими национальные литературы между собой, помогающими познать мировую литературу.

— Главной задачей таких журналов,— добавляет Андрей Плавка,— является сближение наших литератур. Дело в том, что книги обычно выходят из печати реже и позже, чем статьи в журналах. И поэтому коллективы таких редакций могут и должны быть пионерами, прокладывающими дорогу для межлитературных связей. Журнальная статья дойдет до читателя раньше, чем переведенная книга, и сумеет заранее познакомить его с процессами, происходящими в наших литературах. Это будет содействовать все более тесным контактам между нашими странами.

Прежде чем рассказать о том, какие писатели в настоящее время наиболее достойно представляют словацкую литературу, Винцент Шабик делает краткий обзор ее развития за прошедшие несколько лет.

— Вы знаете,— говорит он,— что за последние два года, ознаменовавшиеся столь бурными событиями в жизни нашей страны, писатели создали очень мало книг. Они были заняты острыми и насущными политическими проблемами. Но несмотря на это новые книги у нас выходили и выходят. Говорить о словацкой литературе

* «Иностранная литература» № 12 за 1961 год.

АНДРЕЙ ПЛАВКА (слева) и ЯН ФЕРЕНЧИК

сегодня нелегко, и все же я бы сказал, что в ней можно четко разграничить два направления. С одной стороны — реалистическое творчество зрелых мастеров, писателей среднего и старшего поколения, таких, как Лацо Новомеский, присутствующие здесь поэты Андрей Плавка, Ян Костра и Эмиль Болеслав Лукач и некоторые другие. Таких писателей, к сожалению, не так уж много, но их книги отличаются высокими художественными достоинствами. Вторая, более многочисленная группа — молодые писатели. Условно их можно было бы назвать писателями поиска. На словацкую, как и на чешскую, литературу значительное влияние оказал XX съезд Коммунистической партии Советского Союза. Писатели, всегда остро воспринимающие все события, не могли не откликнуться на происшедший в общественной жизни перелом. В тот период в нашей литературе проявился кризис схематического понимания социалистического реализма, кризис, который задел все литературные поколения. Однако надо отметить, что и тогда метод социалистического реализма оставался основой подлинно художественных произведений, сохранивших свою ценность и до настоящего времени. Я мог бы назвать многих талантливых и интересных словацких прозаиков и поэтов, но мне трудно нарисовать какую-то общую картину литературной жизни, потому что в данный момент у нас что ни писатель, то личность со своей собственной концепцией. И все-таки словацкая литература, несмотря на всю свою дифференцированность, продолжая оставаться литературой ищущей, сохранила свое гуманное начало.

Понять и осмыслить современный литературный процесс в стране — задача трудная. Еще более сложна она, когда речь идет о литературе Чехословакии. Для того, чтобы определить, какое место в литературном процессе занимают новые явления, надо эти явления познать и осмыслить.

Мы задаем В. Шабику вопрос:

— Вы сказали: что ни писатель, то творческая концепция. Кто же среди молодых представителей словацкой литературы обладает наиболее ярко выраженной творческой индивидуальностью?

Шабик начинает с писателя, которого он образно называет «старо-новым», то есть считает возможным причислить его одновременно и к молодому, и к среднему поколению прозаиков. Появился он в словацкой литературе не так давно, но писать начал в достаточно солидном возрасте. Это Ладислав Тяжкий, автор романа о судьбе словацких солдат во второй мировой войне «Аменмария», повести «Дунайские могилы», относящейся к тому же периоду, и других повестей и рассказов. Андрей Плавка добавляет, что Тяжкий продолжает в своем творчестве традиции прозы Рудольфа Яшика, роман которого «Мертвые не поют» был опубликован несколько лет назад «Иностранной литературой».

— Кроме Л. Тяжкого, — продолжает В. Шабик,— мне хотелось бы назвать целую плеяду молодых прозаиков, которые заявили о себе в словацкой литературе пример-

ЯН КОСТРА, ВИНЦЕНТ ШАБИК, ВИНЦЕНТ ШИКУЛА (слева направо)

но в 1956 году и несколько позже. Это Антон Гикиш, Ярослава Блажкова, присутствующий здесь Винцент Шикула, Йозеф Кот, Петер Ярош, Рудольф Слобода, Павел Виликовский, Ян Беньо и другие. Что касается поэзии, то среди тех, кто пришел в словацкую литературу после поколения Новомеского, Плавки и Костры, наиболее значительными являются Войтех Мигалик и Мирослав Валек. Среди самых молодых внимания заслуживают Ян Стахо, Йозеф Мигалкович, Милан Руфус, Ян Шимонович и др.

Ян Костра считает Мирослава Валека, пожалуй, единственным среди более молодых словацких поэтов, чью лирику, по его мнению, еще можно переводить.

— У других же,— говорит Костра,— поэзия настолько зашифрованна, что ее порой невозможно понять. Кажется, что они пишут свои стихи знаками племени майя.

Замечание Яна Костры вызывает оживленную дискуссию о понятности и непонятности поэзии, о зашифрованности произведений некоторых молодых, о возможности и невозможности их расшифровать. Выяснение точек зрения по этому вопросу остро волнует наших гостей. Ведь большинство из них — поэты и критики. Спор не оставляет равнодушным никого.

— Я прочитал множество сборников стихотворений поэтов,— темпераментно включается в полемику поэт старшего поколения Эмиль Болеслав Лукач.— Более двадцати. Я очень внимательно их проштудировал. Я пытался уловить в них проблемы гуманности, социальные тенденции, но — скажу вам откровенно — ничего такого я там не нашел. Я могу доказать с цитатами в руках, что там есть эгоцентризм, анархизм, цинизм, ницшеанство и многое другое, но только не гуманизм. Я бы назвал эту поэзию анархо-циничнo-эгоцентрично-деистически-антигуманной. Мне кажется, это может представить интерес для литературных критиков. Хорошо было бы, если бы литературные критики попытались объяснить причины таких явлений, которые имеют место не только у нас. Меня очень интересует, есть ли нечто подобное в советской литературе. Интересно также исследовать вопрос о том, как отражается в поэзии научно-технический прогресс. Неужели только в непонятности и зашифрованности? Сейчас появилась поэзия, которая не имеет ни формы, ни содержания. Кого может радовать такая поэзия? Ведь самое главное для литературного произведения — художественность! В последнее время происходят любопытные вещи: писатели старшего поколения все больше объединяются и по стилю, и по средствам выражения, становятся все более понятными друг для друга и для читателя. Молодое же поколение идет совершенно другим путем. Оно усложняет свою поэзию, свой взгляд на мир и тем самым разобщается. Долг критики — разобраться во всем этом.

Винцент Шабик, продолжая разговор, делает небольшой экскурс в историю. Ему кажется, что вопрос о зашифрованности поэзии молодых станет более ясным, если вспомнить о словацком «надреализме» и о том отношении, которое существует в сло-

ГЕЛЕНА КРИЖАНОВА и ЭМИЛЬ БОЛЕСЛАВ ЛУКАЧ

вацкой поэзии к явлениям сюрреализма в чешской поэзии (Незвал), во французской поэзии (Арагон) и др. Словацкие поэты-«надреалисты», писавшие главным образом в период между первой и второй мировой войнами, были прогрессивными писателями, и их произведения нельзя вычеркнуть из общего процесса развития словацкой литературы. Отдельные элементы, отголоски «надреализма» дошли, конечно в измененном виде, до наших дней. Их можно найти и в творчестве В. Мигалика, и в творчестве М. Валека, и в творчестве более молодых поэтов.

Э. Б. Лукач поставил, несомненно, очень важный и для нашего журнала вопрос. Но в нем надо, как говорится, расставить все точки над i. Что опасно для поэзии? Усложненность ли формы, под которой скрывается интересная мысль, или нарочитая зашифрованность, идущая от отсутствия мысли?

В. Шабик возражает Лукачу. Он считает, что Лукач неправ, называя поэзию молодых негуманной, однако тут же оговаривается:

— Мы бы сделали большую ошибку, если бы сказали, что нас больше всего интересует тип экспериментальной поэзии. Если говорить о расстановке сил в словацкой литературе, то следует отметить, что у каждого писателя ценится прежде всего не то, какое он избрал направление и чьи традиции впитал, а те художественные достоинства, которые присущи ему самому как поэтической личности. Доказательством этого является тот факт, что одинаковой любовью и популярностью у нас пользуются и такие мастера поэзии, как Л. Новомеский, А. Плавка и другие, и более молодые поэты, как М. Валек.

— Я не поэт,— вступает в спор Винцент Шикула,— но я внимательно выслушал все, что было сказано здесь о понятности и непонятности поэзии. Должен сказать, что разговор этот возник не случайно, этот вопрос нас остро волнует, и мы часто говорим об этом у себя в Братиславе. То, что такие споры идут, совсем не так плохо. Но здесь надо иметь в виду, что само понятие «зашифрованность» к поэтам старшего поколения неприменимо. О нем можно говорить только в связи с молодой поэзией. Но не в каждом случае непонятности поэтического или прозаического произведения речь может идти о его зашифрованности. Следует учитывать также степень подготовленности читателя к восприятию необычной манеры автора, отличной от той, к которой он привык. Это касается не только литературы, но и изобразительного искусства и музыки. Трудно сказать, что́ скорее найдет доступ к читателям, так как у читателей разная подготовленность, различные потребности. Есть писатели, такие, как, скажем, Пруст, которые говорят многословно, с кропотливой тщательностью выписывают детали. Из совокупности этих деталей у читателей складывается образ. И есть другие писатели. Они не многословны, не живописуют детали, а в готовом виде представляют читателю уже синтезированный образ. И тот и другой прием для одних читателей может быть доступен, других

может утомлять. Каждый писатель в зависимости от своего развития, воспитания, среды, индивидуальных особенностей находит свой, наиболее близкий ему путь к читателю. И тот и другой приемы действуют на разных читателей по-разному, тоже в зависимости от воспитания, среды и особенностей характера читателя. Одному досаден избыток деталей, другой считает обедненной лаконичную, сжатую прозу. Так что вопрос о зашифрованности — это и вопрос о доступности, и он зависит не только от писателя, но и от читателя.

В дискуссии одинаково активно участвуют как гости, так и хозяева. На помощь уже привлечены примеры из советской поэзии. Звучат имена Маяковского, Хлебникова, Каменского, Пастернака, Асеева, Кирсанова, Вознесенского, Евтушенко. Разговор заходит о ломке русского стиха, о наступлении верлибра, о том, приживется ли этот стих на русской поэтической почве и есть ли у него будущее. И тут в беседу вступает Гелена Крижанова.

— Проблема, о которой здесь сегодня говорят, понятность и непонятность поэзии, ее зашифрованность и «нерасшифровываемость», для нас, детских писателей,— смеется Гелена Крижанова,— не существует и не должна существовать. Польский писатель Бжехва сказал об этом как-то, что если для взрослых можно создавать поэзию без знаков препинания, без рифм, без ритма и даже без содержания, то для детей все это невозможно. Для меня детская литература — самая прекрасная литература, а мои читатели — самые замечательные читатели. Я в этом убеждена, и было бы странно, если бы я думала иначе. Очевидно, тогда я не писала бы для детей.

Детская литература,— подчеркивает Крижанова,— моя первая и главная любовь. Но есть у меня и вторая любовь — телевидение. И я с гордостью могу сказать, что наше Братиславское телевидение пользуется высоким международным признанием. Для телевизионных фильмов мы используем не только словацкие, но и русские темы (например, «Кроткая» Ф. Достоевского, «Рассказ о семи повешенных» Л. Андреева). Наши артисты и режиссеры хорошо сделали эти фильмы именно потому, что по восприятию, по духу нам очень близка русская и советская литература.

Продолжая эту мысль, директор издательства «Татран» Ян Ференчик рассказывает об издании русской и советской литературы в Словакии.

— Наши читатели любят, ценят и охотно читают русскую и советскую литературу, и мы, со своей стороны, стараемся сделать все возможное, чтобы лучшие произведения ваших классиков и современных писателей нашли дорогу к сердцам людей. Определенных успехов мы уже достигли, многое еще предстоит сделать. И здесь слово за переводчиками, которые тоже прокладывают мосты для связей между нашими национальными литературами. Пусть же крепнут эти связи.

— Пусть же крепнут эти связи,— повторяем мы слова Яна Ференчика, прощаясь с нашими словацкими гостями.

С. ПАРХОМОВСКАЯ

Из работ современных художников ГДР

РУДОЛЬФ БЕРГАНДЕР. Уборка картофеля. 1947 г.

РУДОЛЬФ БЕРГАНДЕР. Солидарность. 1967 г.

ГЕРБЕРТ БЕРГМАН. Берлинский пейзаж. 1968 г.

КРИСТА ЗАМЛЕР. Натюрморт. 1967 г.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
ЗАРУБЕЖНЫХ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ

ИСПАНСКАЯ ПРОЗА — «ИСКАЛЕЧЕННАЯ ЖИЗНЬЮ ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ ЖЕНЩИНА»

В мадридском либеральном издательстве «Куадернос пара эль диалого» (буквально — «Тетради для диалога») вышел в свет специальный номер ежемесячника, носящего название своего издательства. Этот номер целиком посвящен весьма интересной круглой дате — тридцатилетию испанской литературы, формировавшейся в самой Испании при франкистском режиме и за ее пределами.

Что же говорят о современной испанской литературе испанские литературоведы и критики, столь четко обозначившие определенный этап ее развития? Их мнения особенно интересно узнать, ибо за юбилейным «столом» собрались в основном либерально мыслящие писатели и критики, которые обычно не грешат тривиально-помпезным словоизвержением, характерным для многих испанских официозов. Разговор о «юбилярше», или, точнее, о самих себе, был достаточно трезвым и объективным. Так, свое «Суждение скорое, но не предвзятое об испанской прозе» Сальвадор Клотас начинает далеко не в праздничном тоне:

«Испанской послевоенной прозе исполнилось тридцать лет. Ныне она похожа на искалеченную жизнью женщину, которая распрощалась с иллюзиями и вспоминает с тихой грустью о былых успехах. Это, безусловно, преждевременное постарение, следствие былых грехов и некоторой апатии, вызванной мыслью о необходимости поисков новых путей... Нам не импонирует эта тридцатилетняя женщина, именуемая испанской прозой. Она воспитана на фальши, она слишком нетребовательна к себе самой и к своей эпохе; ее отдельные удачи кажутся удачами иных времен...»

За этой иронично-метафорической оценкой современной испанской прозы скрывается глубокий подтекст, который недвусмысленно расшифровывается в редакционной статье «Что такое литература», под которой автор не захотел или не смог поставить подпись.

«Изучение литературы — это одновременно и изучение какой-то важной части действительности. В глубоко страдающей Испании последних тридцати лет это также своеобразное подведение итога социально-политического режима, установленного после трагической гражданской войны... Анализ тридцатилетнего развития испанской литературы показывает, что оно не было триумфальным шествием. По нашему мнению, существует слишком много обстоятельств, которые не позволяют литературным колоколам звонить во всю мощь... Нельзя забывать о таких вещах, как эмиграция (в том числе внутренняя), языковая дискриминация *, официальное давление, ущемление свободы творчества, упаднические настроения, общекультурный застой и т. п. Нет, скорее приходится говорить о горечи, о разочаровании, о протесте, даже о гневе, чем бить в барабаны

* Речь идет о литературе на каталонском и галисийском языках.

и литавры... Калорийность испанской культуры пока не достигла необходимого уровня для поддержания «здоровья» литературы. Поэтому сегодняшний номер «Куадернос пара эль диалого», возможно, выглядит не слишком оптимистичным. Но что поделаешь?»

Да, праздничного торжества не получилось, но, может быть, впервые под предлогом тридцатилетия состоялся серьезный, деловой разговор испанских литераторов о своих насущных, наболевших проблемах и была сделана попытка проанализировать конкретные причины, тормозящие в условиях франкистской Испании развитие художественной литературы.

Вот что говорит, например, об истоках теперешнего неблагополучия испанской прозы Рафаэль Контэ:

«После войны в результате почти массовой эмиграции наших прозаиков прошли годы, прежде чем появился испанский роман минимально приемлемого уровня... В эти годы писатели оказались в разрушенной войной стране, где почти не осталось ни издательской базы, ни читательского рынка и где закон о печати, вошедший в силу во время войны (в 1938 г.), установил жесточайшую цензуру на 28 лет».

Большинство участников обсуждения называют этот закон в числе главных причин деградации испанской литературы.

Так, критик Монтеро пишет:

«Испанские писатели вынуждены были существовать в состоянии кислородного голодания. Закон о печати 1938 г. породил литературу астматическую, говорящую шепотом, намеками...»

А Валериано Босаль в статье «Издательское дело в Испании» рассказывает, что смехотворно свирепой цензуре подвергались даже такие книги, как сборники церковных текстов на латинском языке, испанские литературные произведения, изданные до 1800 года, музыкальные сочинения и песни, вышедшие до 1900 года, научные и технические издания.

В 1966 г. в стране был введен так называемый «Новый закон о печати и публикации», ограничивающий деятельность издательств якобы лишь «добровольной консультацией» в органах цензуры. Однако одним из первых непосредственных результатов действия «Нового закона» явилось закрытие издательств «Сиенсия нуова», «Алькон», «Агилера» и «Экипо». Издательство «Сиенсия нуова» («Новая наука»), которое осмелилось предпринять выпуск произведений «классиков — философов и творцов, идеи, работы и концепции которых имеют влияние на современный ход истории», успело, по свидетельству В. Босаля, опубликовать только 5 тысяч экземпляров книг К. Маркса, 8 тысяч экземпляров книг Ф. Энгельса, 10 тысяч экземпляров книг М. Горького и несколько тысяч экземпляров произведений Вольтера, Дидро, Робеспьера, Лукреция и др.

Уже упомянутый нами критик И. Монтеро, характеризуя отношение издательств к так называемой «добровольной консультации», пишет:

«Первоначально некоторые издательства пробовали протестовать... вступали даже в бой, иногда добиваясь пирровых побед, но большинство смирилось».

Видимо, это объясняется тем, что так называемая «либерализация» франкистского режима, о которой в последнее время много толкует правая испанская пресса, носит скорее и прежде всего пропагандистский характер. Об этом, в частности, свидетельствует учреждение многочисленных литературных премий, которыми награждаются, как правило, серые, бездарные произведения, рассчитанные на обывательский вкус, но зато не идущие вразрез с «фалангистской политикой Великой Испании». Недаром участники дискуссии рассматривают политику премий как еще одну причину упадка современной художественной прозы. И. Монтеро в статье «Премии, или 30 лет фальшивого процветания» подчеркивает, что литературные премии

«как бы монополизировали массовое распространение фальшивых литературных ценностей», стали «стимуляторами подъема низкопробной литературы», что они являются «верными сотрудниками режима... эффективным инструментом для устранения неудобных авторов и ненужных течений».

Политику премий И. Монтеро квалифицирует как своего рода цензуру и полагает, что определенная тенденциозность в распределении литературных наград сбивает читателей с толку, лишает возможности правильно ориентироваться в художественной и политической сферах. В этой связи интересно упомянуть о том, что аналогичного мнения об испанских литературных премиях придерживается и известный писатель, член мадридской Академии языка и литературы Камило Хосе Села, хотя его голос и не раздался за «круглым столом» «Куадернос пара эль диалого»:

«В литературе, как и в жизни, тоже делаются аборты. Чтобы скрыть позор — как это называют газеты, когда сообщают о том, что мать-одиночка бросилась под поезд или выкинула недоноска в помойную яму,— а также, чтобы

извлечь известные выгоды, в нашей стране распространены литературные премии»*.

Тем не менее в современной Испании имеется несколько издательств, которые продолжают борьбу за выявление талантливых писателей, объективно оценивающих специфические условия франкистской системы. К таким издательствам относится издательство «Дестино» («Судьба»), учредившее одну из наиболее популярных и уважаемых литературных премий — «Эухенио Надаль». Самым же солидным и «смелым» издательством испанская передовая литературная общественность считает издательство «Сейкс-Барраль», публикующее так называемую «Краткую библиотеку», войти в которую означает для писателя не только получить определенное вознаграждение, но и приобрести высокую аттестацию художника.

«За 4—5 лет Барраль,— сообщает И. Монтеро,— сумел открыть перед испанскими читателями, хотя и не слишком широко, европейские и американские горизонты. (Заметим, что премию «Сейкс-Барраль» получили в числе других мексиканец К. Фуэнтес и перуанец Варгас Льоса.— *М. Б.*). Но самое главное — Барраль обратился к молодым испанским писателям. В результате вокруг издательства сгруппировались прозаики, придерживающиеся концепций «критического реализма».

Кроме издательств «Сейкс-Барраль» и «Дестино» репутацию «солидных» завоевали также издательство «Альфагуара» и особенно барселонское издательство «Планета».

Таким образом, констатирует И. Монтеро, настоящие произведения искусства «пробивают рутину, как бы ее ни возвеличивали и ни титуловали». Но, к сожалению, за тридцать рассматриваемых лет сквозь массу серых, приспособленных к франкистскому режиму премированных (и не премированных) произведений сумели «пробиться» и заслужить высокую художественную оценку всего лишь около десятка произведений. Примерно столько же авторов завоевали репутацию настоящих художников (почти все они известны советским читателям). Это Кармен Лафорет, Хосе Мария Хиронелья, Рафаэль Санчес Ферлосио, Долорес Медио, Ана Мария Матуте, Луис Гойтисоло, Хуан Гарсия Ортелано, Мигель Делибес, Хуан Марсе, Анхель Мария де Лера (а также писатели-эмигранты Хуан Гойтисоло, С. Арконада, Х. Искарай и др.). Нелегко им было приобрести популярность, и не все они, кстати, остались на высоте положения.

И. Монтеро, указывая на трудности, которые пришлось преодолеть на пути к читателю достойным премирования произведениям, приводит в качестве примера роман Санчеса Ферлосио «Харама» (премия «Надаль», 1955 г.).

«Для тех, кто с пеной у рта защищает данную систему,— пишет Монтеро,— неприятно даже упоминание об этом романе».

Не так давно Камило Хосе Села рассказывал в журнале «Муидо» о том, как проходил сквозь сито цензуры его роман 1942 года «Семья Паскуаля Дуарте», который, по свидетельству В. Босаля, стал событием литературной жизни страны, так как

«впервые испанский романист послевоенного времени взглянул на действительность с несколько критических позиций, сбросив шоры гиперболизированного оптимизма... Правда,— продолжает Босаль,— говорят, что в те времена Села сам работал в «Службе цензуры», а это, естественно, способствовало осуществлению намерений автора».

Показательна творческая судьба Кармен Лафорет, которая в 1944 г. получила самую первую премию «Надаль» за роман «Ничто».

«Остротой видения, правдивостью, почти наивным изображением окружающей гнусной обстановки и полным отсутствием риторичности она добилась заслуженного успеха и установила хороший прецедент,— пишет о ней Сальвадор Клотас.— Печально, что дальнейшая эволюция автора в сторону назидательных романов, посредственно написанных и довольно ограниченных по мыслям, привела Кармен Лафорет, которая в общем пользуется большой популярностью, в лагерь писателей-консерваторов, как по идеологии, так и по своим литературным методам... Жаль, но «Ничто» превратилось в «мало».

Сальвадор Клотас пытается отыскать в современной Испании «на общем мрачном литературном фоне романы, которые можно причислить к достойным образцам этого жанра».

Он называет отдельные вещи И. Альдекоа, Х. Фернандеса Санчеса, Х. Лопеса Пачеко и некоторых других писателей, отмечает Л. Мартин-Сантоса, но завершает свой анализ неутешительным выводом:

«В сегодняшней Испании пока не родился роман, по-настоящему прогрессивный, передовой».

---

* O. Prjevalinsky. El sistema estético de C. J. Cela. Valencia, 1960, p. 11.

Таковы условия существования и таков портрет «искалеченной жизнью тридцатилетней женщины» — современной испанской прозы, портрет, нарисованный журналом «Куадернос пара эль диалого».

> «В то время как латиноамериканский роман, по всей видимости, переживает свой апофеоз, хотя и не во всех аспектах,— резюмирует С. Клотас,— роман Испании страдает комплексом неполноценности, который, боюсь, вызван многими причинами».

О главных из этих причин говорилось выше. Однако следует отметить, что, несмотря на все трудности, прогрессивные издательства и журналы прилагают большие усилия, перестраивая свою деятельность и гибко приспосабливаясь к малейшим изменениям обстановки, чтобы помочь настоящей литературе стать на ноги.

Важным фактором развития испанской литературы, отмечает В. Босаль, служит также

> «появление молодой критики, глубокой и требовательной, которая впервые подняла свой голос на страницах университетского журнала «Асенто культураль».

Авторы статей специального номера журнала «Куадернос пара эль диалого» в целом дали критические и объективные оценки состояния испанской прозы. Однако хотелось бы при этом уточнить метафорическое определение, которое красной нитью проходит через весь номер: испанская проза — «искалеченная жизнью тридцатилетняя женщина». Испанская проза и поэзия действительно искалечены последними десятилетиями. Но испанской литературе не тридцать лет, родилась она не в 1939 году и старые славные традиции — от Сервантеса до Гарсиа Лорки — не дали ей погибнуть, и они возродят ее снова, как возрождается в тяжкой борьбе за прогресс вся испанская культура. Даже в передовой статье рассмотренного нами журнала говорится, что

> «литература — не отражение действительности, а часть действительности... и, несмотря на все и вся, часть этой действительности — испанская литература — существует. Надо изучать ее, несмотря на риск ошибиться в диагнозе... Испанские писатели, участвовавшие в беседе, оценивают литературные явления изнутри, из глубин тяжелой повседневности, окруженные привычно враждебным, а порой и угрожающе враждебным отношением. Поэтому наш номер «Куадернос пара эль диалого» и изображает обстановку отнюдь не оптимистично».

Так говорят испанские деятели культуры.

Мы видим трудности демократических литературных кругов Испании, но видим и достижения прогрессивных испанских писателей современности. Одно из свидетельств успехов их идеологической борьбы — появление не только ряда интересных произведений, но и выход в свет этого специального номера «Куадернос пара эль диалого».

М. БЕРЕЗКИНА

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

ПОЭТЫ СОВРЕМЕННОЙ ИТАЛИИ

Итальянская лирика. XX век. Переводы с итальянского под редакцией С. Шервинского. Предисловие Алексея Суркова. Составитель Евгений Солонович. Редактор А. Собкович. Москва, «Прогресс», 1968. 392 стр.

Мировая культура обязана Италии столь многим — от величайших творений поэзии, живописи, архитектуры, скульптуры, музыки до эпохальных научных открытий Галилея, Вольта или современной школы физиков, так великолепна итальянская школа пения, а в последние десятилетия столько замечательных фильмов подарило нам итальянское киноискусство, что эту книгу лирики раскрываешь с каким-то особенным чувством.

Италия в XIX веке была неоднократно описана русскими писателями, художниками, путешественниками, но ее поэзия оставалась нашему читателю неизвестной. Если русская литература давно уже освоила Данте и Петрарку, если даже об Ариосто и Тассо мы имеем некоторое, пусть отдаленное, представление, и пусть не по переводам (таковых слишком мало!), а в основном по стихотворным репликам наших выдающихся поэтов, то итальянские поэты последних трех столетий почти не существовали в культурном обиходе русской читающей публики.

Лишь совсем недавно мы узнали последнего великого поэта классической Италии — Джакомо Леопарди (в переводах Анны Ахматовой и Анатолия Наймана). Промелькнул еще у нас небольшой сборник стихотворений Джозуэ Кардуччи (перевод И. Поступальского), и, в общем, это почти все.

Итальянскую поэзию XIX века, насыщенного социальными бурями, чрезвычайно разнообразную и уже тяготящуюся классическими канонами, у нас просто не переводили. А между тем, если она и не выдвинула такие огромные фигуры мирового значения, как Байрон, Гейне или Гюго, то все же могла похвалиться рядом блестящих имен — от неоклассиков Уго Фосколо и Винченцо Монти или романтиков Джованни Берше и Алессандро Мандзони — поэтов, чьи пламенно патриотические стихи волновали всю Италию и звали ее к объединению, к свержению чужеземного ига, до таких поэтов новой Италии, уже осуществившей Рисорджименто, как созерцательно-лирический Джованни Пасколи или тот же Кардуччи, апостол республиканских идей, ниспровергатель монархии, ярый противник клерикализма и в то же время певец минувшего величия своей страны и тонкий пейзажист, умеющий в лирических стихах находить интимные, проникновенные интонации.

В этом контексте можно было бы не упоминать о Габриеле д'Аннунцио, но именно ему в дореволюционной России повезло: он был переведен почти полностью. Однако этот блестящий версификатор и весьма посредственный поэт, на склоне жизни нажививший политический капитал как реакционный оратор, военный авантюрист и наконец апологет фашизма, осыпанный его милостями,— хотя и славился одно время как романист и драматург,— не выдержал испытания временем и заметного следа в поэзии не оставил.

Если так обстоит с итальянской поэзией XIX века, то еще хуже мы знали поэзию XX века. Таким образом, предлагаемая вниманию читателей антология заполнила немаловажный пробел в нашем знакомстве с прекрасной родиной Данте и Петрарки.

Пытаясь порвать с классическими традициями и начав это восстание с футуризма Маринетти (1909), который в дальнейшем идеологически сомкнулся с фашизмом,

итальянская поэзия, как, впрочем, и все ее европейские сестры, разбилась на множество разных школ и направлений. Ее движение в эти мрачные годы определялось согласием или борьбой с фашистской идеологией. И если разлад с общественным устройством в начале XX века выразился в так называемой «поэзии сумерек», звавшей к пассивному неприятию жизни, к безразличию, бегству в мечту или в прошлое, то при фашизме многие поэты, пытавшиеся сохранить свое гражданское достоинство, но не рожденные для прямой политической борьбы, провозгласили своим знаменем «герметизм», то есть пренебрежение к «антипоэтической» реальности внешнего мира и полную замкнутость в душевной сфере изолированного человеческого «я». Диалектически, как протест против фашизма, эта ущербная эстетика играла положительную роль. Ей отдали немалую дань даже те поэты, которые впоследствии отошли от нее и чьи имена, с нашей точки зрения, являются ныне украшением итальянской поэзии, такие, например, как Эудженио Монтале, Джузеппе Унгаретти, Умберто Саба.

Заметную роль в литературной жизни Италии сыграли писатели и поэты, объединившиеся вокруг журнала «Ронда» (1919), одним из основателей которого был Винченцо Кардарелли. Отвергая фашистскую риторику и д'аннунцианский эстетизм, рондисты проповедовали возврат к традициям Петрарки и Леопарди, но нельзя сказать, чтобы это движение завоевало широкий круг сторонников. И хотя после войны, после свержения фашистского режима уже многие итальянские поэты стали вырываться из ограниченной сферы принципиального, воинствующего субъективизма, тем не менее еще в 1963 году, через двадцать лет после войны, было возможно появление такого, например, движения, как «Группа-63», доведшая принципы герметизма до полного абсурда. Кредо их сводилось к решительному отказу от какой бы то ни было идеологии, от политических и социальных мотивов, к замене всякого содержания языковыми экспериментами, порой совершенно непонятными читателю, приводящими к полнейшей зауми. Идеолог «Группы-63» Анджело Гульельми писал, что «единственно возможной связью между языком литературы и обществом является негативная связь, которая выражается в отрыве языка и литературы от любых существовавших ранее связей с обществом».

Такая литература может интересовать только ее непосредственных создателей и тесный круг их ближайших единомышленников. Поэтому тенденция составителя «Итальянской лирики» и переводчика доброй половины включенных в нее стихов Е. Солоновича оказалась вполне оправданной. Столкнувшись с трудностями первооткрывателя и необходимостью втиснуть огромное содержание в продиктованный издательскими нормами малый объем книги, Е. Солонович собрал только самое жизнеспособное, самое плодотворное.

Мы получили живую, интересную книгу и, прочитав ее, с удовольствием убеждаемся в том, что в современном «хоре европейских лир» голос Италии звучит достаточно громко и уж во всяком случае полноправно. Да и сами итальянцы такой состав, видимо, одобрили, если они наградили Е. Солоновича уже второй раз литературной премией (первую он получил за перевод стихов Данте).

Неизбежным признаком всякой антологии (особенно в условиях ограниченного объема) является ее субъективность. А как, скажите, избежать субъективности, если из всего, что создано поэтом, нужно выбрать и поместить одно-единственное стихотворение? И как этим единственным стихотворением убедить читателя в том, что поэт действительно замечательный, действительно имеющий право занять место даже в краткой антологии?

Мы знаем, как часто поэт замечателен вовсе не отдельными стихотворениями, а всем ансамблем своего творчества, тем, что составляет его неповторимый мир, его индивидуальность и что окрашивает любую мелочь, вышедшую из-под его пера. Представьте, что из всего лирического наследия Гейне вам нужно выбрать одно стихотворение. Даже прославленная «Лорелея» не убедила бы читателя в том, что перед ним гениальный лирик. Но именно поэтому приходится особенно пожалеть о том, что стихи в книге не датированы, и это совершенно лишает нас возможности судить об эволюции, проделанной тем или иным поэтом, или о его месте в общей эволюции. Динамика литературного процесса почти не нашла в антологии своего отражения. Из-за этого же получился некоторый отрыв того, что мы читаем в «Слове от составителя», от того, что мы видим в стихотворном корпусе книги.

Гвидо Гоццано, следует из предисловия, фиксирует основное внимание на мрачности, «сумеречности» авторских тем, настроений, интонаций. Но его прелестное, мечтательное стихотворение (здесь похвала и переводчику, тому же Солоновичу), открывающее книгу, ничем не подтверждает эту характе-

ристику. Его мечтательная грусть это еще никак не «мрачность».

Точно так же мы читаем в «Слове от составителя», что поэтический мир Дино Кампаны чрезвычайно «хаотичен», что «в сочетании подчас несочетаемого, в противоборстве смысла и инструментовки ищет поэт наивысшего эффекта выразительности». Но вот мы переходим к стихам этого поэта — и что же? Перед нами очень музыкальные, красивые стихи, инструментованные в полной гармонии с содержанием. И если их ассоциативная логика далека от логики алгебраической, то, право же, в потоке алогизмов, захлестнувших современную поэзию, эти стихи кажутся логическим совершенством, весьма далеким от «хаотичности».

Вот и все
Отцвели розы
Лепестки облетели
Отчего мне все время мерещились розы
Мы их искали вместе
Мы отыскали розы
Были мои эти розы были ее эти розы
Свое путешествие мы называли любовью
Из нашей крови из наших слез мы
делали розы
Недолго сверкавшие на утреннем солнце
Мы их сгубили на солнце среди колючих
кустов
Розы которые были не нашими
Мои розы ее розы.

P. S. Вот и все и забыты розы

(Перевод Е. Солоновича)

Прочтешь такие стихи, и становится ясно, что составитель говорит о каких-то других годах, о другом периоде творчества Дино Кампаны, тем более что сам он ниже соглашается с тем, что «внутренний динамизм придает его стихам и лирической прозе редкую логическую цельность».

Все это мелочи, и они не останавливали бы читателя, если бы он имел возможность ориентироваться в датах.

Русская поэзия и русское восприятие поэзии все еще стоят в мире особняком. Белый, нерифмованный стих, не подчиняющийся никаким размерам, не связанный никакими канонами, все еще чужд и непривычен для нас, хотя и у нас некоторые поэты уже начинают отдавать ему дань. Как часто, с досадой отложив книгу, написанную верлибром, невольно спрашиваешь себя: где же тут поэзия? Впрочем, этот вопрос нередко возникает и при чтении рифмованных стихов, но тогда за ним хотя бы не следует другой — убийственный: почему бы не написать все это честной прозой? Прозаическая форма была бы менее претенциозна, и хоть мысли автора были бы выражены яснее и точнее. Если же у него нет мыслей, то и вообще зачем все это писать?

К счастью, при чтении итальянской антологии такие вопросы почти не возникают. Некоторые историки литературы, кстати говоря, считают, что итальянской просодии белый стих очень «к лицу», в доказательство чего приводится тот факт, что даже Леопарди, творивший в эпоху цветения рифмы, большинство своих произведений написал белым стихом. Но Леопарди писал вольным ямбом, весьма еще далеким от верлибра. И в наши дни, когда верлибр, ставший в какой-то мере общемировым стандартом, вносит в поэзию некоторую обезличку, отдельные рифмованные стихи в антологии воспринимаются как желанная передышка. Этим я отнюдь не хочу осудить остальное. Наоборот, все это в целом — безусловная поэзия. Крупнее ли, мельче ли поэт, шире или уже его горизонты — все равно: эпоха, охваченная «Итальянской лирикой»,— поэтическая эпоха. И приятно видеть, что наши поэты-переводчики уже овладели этим, чуждым русской поэзии, стихом и заставили его звучать по-русски естественно и свободно.

У этой книги, как и у всех книг такого рода, было множество подводных камней, о которые она, выражаясь фигурально, могла «разбиться». Когда один поэт переводит многих авторов, он неминуемо накладывает на них печать своей собственной творческой личности и тем самым сближает их между собой. Перевод и по другой причине способствует нивелировке индивидуальностей: пропадают и не могут не пропасть неуловимые нюансы языка, коренящиеся, с одной стороны, именно в различии поэтических индивидуальностей, а с другой — в десятилетиях, даже в годах, когда написано то или иное стихотворение. Кроме того, пересадка из одной поэтической почвы в другую, из одного поэтического климата в другой играет такую же роль, как отдаление во времени: различия, бесспорные для современников, или в данном случае — для соотечественников, стираются, и поэты предстают перед нами не столько в своей индивидуальной несхожести, сколько в своем исторически и национально обусловленном единстве.

Тем не менее, если и произошла в «Итальянской лирике» нивелировка, то лишь в этой — неизбежной — то есть минимальной степени. Переводческий коллектив оказался на высоте, и, чтобы перечислить все переводческие удачи, надо выписать почти все имена. Э. Ананиашвили, Л. Мартынов, Н. Стефанович, А. Сендык, Б. Слуцкий, А. Эппель, да и сам редактор С. Шервинский (я не назвал лишь тех, кто представлен одним-двумя переводами) — все они прекрасно справились со своей задачей.

Поэтому, несмотря на малое количество стихотворений, которыми представлен тот или иной поэт, никто не спутает взбалмошенного, играющего неожиданностями Эудженио Моитале с безукоризненно ясным, почти классически простым Умберто Саба или Джузеппе Унгаретти, мучительно переживающего все неурядицы нашего плохо устроенного мира, с философски созерцательным и прелестным в своей импрессионистической образности Сальваторе Квазимодо. Точно так же каким-то иным, отличающимся от предшественников звучанием отмечены стихи поэтов более молодого поколения: Элио Пальярани, Альфредо Джулиани, Эдоардо Сангвинети, которые, хотя и

принадлежат к «Группе-63», тоже, по-видимому, идут навстречу общему движению, не желая более замыкаться в экспериментах чистой формы.

Но поскольку непосредственное впечатление всегда лучше, чем представление, составленное на основании чужих слов, я хочу в заключение привести два примера из этой книги. Первое стихотворение принадлежит Джорджо Капрони. Оно приманчиво и само по себе и как образец пересадки итальянского верлибра на русскую почву.

Вечером на пляже

В этот час
выцветший взгляд у моря —
это взгляд моряка
(пятнышки индиго,
потерявшие синь),
вытаскивающего
лодку свою на песок.

Как спускаемый парус,
упадает последний клок солнца.
От хохота стольких женщин
лишь пенная кромка
белеет на водорослях,
да свежеющий ветер веет
солью в лицо.

(Перевод С. Шервинского)

Приводя второе стихотворение, я отдаю дань уважения и автору его — уже умершему Умберто Саба, о котором другой крупный поэт Карло Леви сказал, что он «единственный, быть может, за последние сто с лишним лет, кто нашел вечные слова»,— и переводчику — прекрасному русскому поэту Николаю Заболоцкому.

К сожалению, из-за своих размеров это стихотворение может быть воспроизведено лишь частично.

Три улицы

Ладзаретто Веккио в Триесте —
улица печалей и обид.
Все дома в убогом этом месте
сходны с богадельнями на вид.
Скучно здесь: ни шума, ни веселья,
Только море плещет вдалеке.
Загрустив, как в зеркале, досель я
отражаюсь в этом уголке.
Магазины, вечно пустоваты,
здесь лекарством пахнут и смолой.
Продают здесь сети и канаты
для судов. Над лавкою одной
виден флаг, он — вывески замена.
За окном, куда не бросит взгляд
ни один прохожий, неизменно
за шитьем работницы сидят.
Словно отбывая наказанье,
узницы страданий и мытарств,
шьют они здесь ради пропитанья
расписные флаги государств.

Только встанет день на горизонте —
сколько в нем я скорби узнаю!
Есть в Триесте улица дель Монте
с синагогой на одном краю
и с высоким монастырским зданьем
на другом. Меж ними лишь дома
да часовня. Если же мы взглянем,
обернувшись с этого холма,—
мы увидим черный блеск природы,
море с пароходами, и мыс,
и навесы рынка, и проходы,
и народ, снующий вверх и вниз.

Как хороши эти простые, зорко живописующие стихи!

Итальянская поэзия жива. Ее многолиственное дерево цветет и долго еще будет приносить прекрасные плоды.

ВИЛЬГЕЛЬМ ЛЕВИК

НЕ ПРОСТО ЖИТЬ...

Суад Дервиш. Любовные романы. Перевод с турецкого и предисловие Р. Фиша. Москва, «Молодая гвардия», 1969. 144 стр.

Название книги интригующее и завлекательное для тех, кто любит читать «про любовь», но это вовсе не о любви. «Я... больше не стану писать любовные романы. Я напишу книгу о женщине, которая вынуждена была писать их, чтобы не умереть с голоду». Это последние строки романа, ими — словами его героини — заканчивает Суад Дервиш свое произведение, похожее на исповедь. Очень хочется тут же рассказать историю жизни самой Суад Дервиш. Но сначала все-таки о книге.

В сыром подвале полуголодная, без денег, пугаясь шагов за окном, выходящим на тротуар, живет известная писательница Фатьма Таран. Судьба ее необычна для турецкой женщины, и жизнь ее полна отречений. Выросла Фатьма в богатой семье, с детства ее окружало довольство, юность была безоблачной и озарена ранней славой: в шестнадцать лет она написала первый роман. По канонам людей ее круга у нее было счастливое супружество: муж работал советником в посольстве, перед ним была блестящая карьера, у нее тоже — уже европейская известность. Но наступил момент, когда Фатьма разорвала круг, в котором жила, и вырвалась из него решительно, раз и навсегда. Толчком к этому разрыву, который повлек за собой все последующие отречения, был арест брата.

Фатьма и Фуад были близнецами, «Фатьма и Фуад были двумя реками, текущими из одного источника, двумя яблоками на одной ветке...» Их связывало в жизни все: единство рождения, единство детских игр, единство воспоминаний, свойственных меч-

тательной и чистой юности. Они вместе учились в Берлинском университете. Там молодые турки столкнулись с фашизмом. Там они оказались свидетелями человеконенавистничества, разнузданного расизма. Они вернулись на родину. И здесь, в Турции, Фуад включился в борьбу против несправедливости и гнета. А Фатьма... Фатьма вышла замуж и уехала с мужем-дипломатом. Вдали от родины она узнает об аресте брата и устремляется домой, чтобы помочь ему.

Нет, все-таки надо уже сказать о судьбе писательницы, не о вымышленной, не о Фатьме Таран, а о самой Суад Дервиш. Это и ее судьба — богатый дом и уход от привилегий, даваемых ее рождением, полный разрыв со своей семьей. У Суад Дервиш не было брата, у нее был муж, и его так же, как брата Фатьмы, звали Фуад. И он долгие годы сидел в тюрьме, и долгие годы своим ожиданием и своим участием в общей борьбе Суад Дервиш помогала ему и была ему верной женой.

Но в книге Фуад — брат Фатьмы Таран, и не просто брат, а брат-близнец. Книга биографична, однако почему все-таки не муж, а брат? Неоднократно в раздумьях о брате героиня книги повторяет, что они плоть от плоти, кровь от крови, что они родились в один час, и вместе заговорили, и вместе сделали первые шаги. Быть может, этот повтор, эта настойчивость в мыслях о единстве с братом придает чувствам Фатьмы Таран необходимую убедительность, я бы сказала, даже символическую убедительность: физическое и духовное единство неразделимы. Может быть, для нашего читателя такое утверждение покажется наивным. Мы по-другому привыкли и понимать, и ощущать единство людей в революционной борьбе. Но книга написана турецкой женщиной и для турецких женщин. И, наверно, для них такая интерпретация более приемлема и чувства, которые привели Фатьму к понятию необходимости включиться в борьбу за социальные преобразования, более понятны.

Фатьме Таран было трудно, очень трудно. Она была одинока и страшилась этого одиночества. Она сидела в сыром подвале и, мучаясь от своей беззащитности, писала по заказу бессодержательные любовные романы. Ей, известной и серьезной писательнице, было стыдно ставить под этими романами свою подпись, но именно из-за этой подписи, из-за ее всеевропейской известности газета соглашалась печатать любовные романы, и только любовные романы. Фатьме нужно было жить, нужно платить хозяину за скверные комнатушки в подвале, нужно было носить продукты брату в тюрьму, и на все это требовались деньги. Отрекаясь от своего творческого «я», она незаметно совершала высокий подвиг.

Однажды был вечер. «Открывая ключом дверь, Фатьма, как всегда, ощутила легкий озноб. Она еще не привыкла жить одна. Наступление вечера вызывало в ней чувство, похожее на страх, и каждый раз она твердила себе, что давно бы пора побороть эту слабость. И все же никак не могла привыкнуть к тому, что, когда она открывает дверь, ее не встречает ни одна живая душа. А когда эта дверь захлопывается за ней, она остается одна, совсем одна в огромном чужом мире.

Она сердилась на себя. Ведь она сама, по доброй воле отгородилась от людей, сама ушла из дому — никто ее не вынуждал к этому. Она поступила так, как хотела, как считала правильным. И не имела теперь права сетовать на одиночество, раз обрекла себя на него добровольно».

Таких вечеров было много, но этот был, пожалуй, самый отчаянный. И именно в этот вечер искусителем, приглашающим в безбедное прошлое, приехал к Фатьме ее муж. Он боялся за карьеру, за то, что поведение Фатьмы повредит ему. Он убеждал ее так и теми словами, какими мог убеждать он — человек поверхностный, для которого единственной заботой было жить лучше, чем другие.

Порой случается, что люди искренние и чистые, принимая по главному счету очень волевые решения, наедине с собой поддаются слабости — одиночество для женщины, и особенно для турецкой женщины, трудно переносимо. Но когда об этой слабости заговорят другие, когда о ней заговорят вслух, чужими устами, слабость становится силой, а где-то и прозрением.

Фатьма смотрела на мужа, слушала его слова и понимала, что он зовет ее вернуться не из-за нее и не для нее, а для себя. Она была для него удобной женой: известная писательница, она помогала ему блистать в обществе. Все в книге сказано через отношение героини к мужу и через ее категорический отказ вернуться к нему. И нет там строк о том, что Фатьма просто не вернулась к мужу; она поняла его сущность в этот последний разговор с ним — и это не семейное дело, это осуждение всего круга представлений и понятий таких людей, как он, среди которых она уже не могла быть.

Она была другой. Она уже стала другой. «Уйти с ним было куда страшнее, чем лежать без сна всю ночь среди этих заплесневелых от сырости стен, слушая, как пищат крысы, как на улице, от которой ее отделяет только тонкое стекло, торгуются с пьяницами проститутки, дерутся и ругаются картежники. Она с удивлением почувствовала, каким чужим он стал для нее за эти два года. Она даже не могла на него сердиться».

Пожалуй, эта сцена объясняет, почему писательница Суад Дервиш назвала Фуада в этой по существу биографической повести не мужем Фатьмы, а братом. Турецкой женщине нужно было пройти через это разочарование в муже, через презрение к нему, чтобы понять, какой должна быть ее дорога.

И уже не Фатьма Таран, а прогрессивная писательница Суад Дервиш пишет о

своей героине: «Она должна понять и суметь изобразить, как разные условия придают людям разные обличья, какая правда скрывается за видимостью и какие последствия вызывают людские поступки. Презирать легко, понимать — вот это трудно».

Писательница проводит Фатьму через тягостную радость свидания в тюрьме с арестованным братом. Она сталкивает ее с теми женщинами, которые, так же как и она, приходят к тюрьме, женщинами из народа. Она приводит к ней Хандан — любимую девушку брата. Любимую девушку и товарища в его борьбе. Рассказ Хандан о том, что ей довелось испытать в застенках, о рождении мертвого ребенка ужаснул Фатьму. И она перестала ощущать одиночество — не потому, что с нею была Хандан, а потому, что она до конца поняла, во имя чего были все ее отречения и какие «маленькие неудобства», в сущности, пережила она сама по сравнению с другими.

И если раньше она все-таки с некоторым сожалением вспоминала об уюте, который она создавала, живя с мужем, об утраченной библиотеке, о том, как покойно и хорошо работалось ей за удобным письменным столом, то позже, пережив унижение обыска, допроса, вернувшись после ареста вместе с Хандан в темные и сырые подвальные комнатки, Фатьма гневно и решительно перечеркнула свою прежнюю жизнь из страхов и унижений. И, сжигая в печурке черновики любовных романов, отказалась только от одного из своих отречений — от творческого. Она поняла, что творчество ее тоже должно принадлежать борьбе. И мы верим Фатьме, уже не дрожащей и не пугающейся шагов за окном, верим, что, если ей даже и придется голодать, она все равно не станет писать любовные романы, а напишет о женщине, писательнице, которая вынуждена была сочинять любовные романы, чтобы жить. И впредь не будет их больше писать — чтобы не просто жить, а бороться.

Мы верим Фатьме, потому что знаем: Суад Дервиш умеет жить только с гордо поднятой головой. Мы верим, потому что такой роман уже написан, и мы читаем его с удовольствием и волнением.

ИРИНА ЛЕВЧЕНКО

КИТАЙСКАЯ ЛИРИКА 20—30-х ГОДОВ

Дождливая аллея. Китайская лирика 20—30-х годов. Предисловие и переводы Л. Черкасского. Ответственный редактор Л. З. Эйдлин. Москва, «Наука», 1969. 199 стр.

Двадцатые годы в Китае стали веком поэзии, точнее, поэзии малых форм и публицистики, наиболее оперативных жанров литературы. Этим Китай мало отличался от других стран. Только что победила Октябрьская революция, мир менялся с удивительной быстротой, и писателю надо было успеть откликнуться на события, пока их не заслонили другие, успеть передать свои мысли и чувства людям.

Изменилось и само поэтическое слово. В какие-то два-три года разом рухнули многие привычные представления, время ворвалось в заботливо ухоженный сад китайской поэзии, достояние избранных, и отдало его народу. Старая поэзия, язык и стихосложение которой искусственно поддерживались на уровне «классических» VIII—XII вв., просто не могла выжить в этом бурно развивающемся мире. На смену ей пришел свободный стих, основанный на разговорном языке. Поэт стал трибуном и агитатором.

Зародыши будущего взрыва долгие годы зрели в китайском обществе и литературе подспудно. «События 4 мая» 1919 года — антиимпериалистического, антифеодального движения — дали им выход. Большую роль в становлении новой китайской поэзии сыграло знакомство ее авторов с литературой Европы и Америки. Байрон и Шелли, Пушкин и Лермонтов, Гёте и Сафо, Суинберн, Уитмен, Петефи — эти и другие имена, впервые узнанные, вошли в поэтический обиход и оказывали влияние на восприимчивый ум молодых поэтов. Особенно сильным было вначале влияние романтиков. Впрочем, путь, на который Европе понадобился весь XIX век, Китай (правда, уже в других условиях) прошел в литературе примерно за два десятилетия, и потому в поэзии тех лет мы наблюдаем самое причудливое смешение стилей и методов.

Это безусловно переходная эпоха в китайской литературе, и она снова повторяется сейчас в литературах развивающихся стран, со всем тем преходящим, несущественным, что сопровождает «битву в пути». Но лучшие произведения той поры привлекают свежестью и силой чувства, смелостью дерзания, раскованностью мысли — ведь поэзию создали ровесники века, перед которыми внезапно распахнулся весь мир.

Вышедший недавно сборник «Дождливая аллея» как бы вводит нас в духовную атмосферу Китая 20—30-х годов.

Семнадцать поэтов, очень разных, представлены в сборнике. Здесь — доживший всего до тридцати, расстрелянный гоминьдановцами революционер Инь Фу, страстный и порывистый; здесь — один из первых друзей Советской России Цзян Гуан-цы, который писал:

Хорошо!
Впервые земля накинула красный халат,
Октябрь, словно пушка невиданного
калибра,
прогрохотал...

Здесь — Ван Я-пин, гневно обличающий капиталистическое общество, калечащее человека.

Вместе с ними звучат голоса и других поэтов — не всегда шедших прямым путем в своих исканиях, порой заблуждавшихся, но не менее интересных и значительных. Мы найдем в сборнике и стихи Чэнь Мэн-цзя, выходца из семьи священника-христианина, «поповского сына» и будущего историка, поэзию которого сравнивали с осенним небом:

Я разбил свое сердце и вырвал оттуда
песню:
в красное, как кровь, вино стекает медленно
яд цветов,—

писал тогда Чэнь Мэн-цзя.

Интересен Дай Ван-шу, «поэт несбыточных грез и надежд», испытавший сильное влияние французского символизма и все же оставшийся китайцем в своих стихах. И, конечно же, привлекает внимание фигура Сюй Чжи-мо, человека большого таланта, творчество которого сложно и не поддается однозначной оценке. Его ранние стихи, в основном представленные в сборнике,— это боль души, стремление пробудить в человеке Человека.

Приходите, приглашаю вас в горы, слушать музыку старых деревьев: топоры уже запели в тиши;
Приходите, приглашаю вас в домик, в тайный домик приглашаю на стоны искалеченной забытой души;
Приходите в заоблачные выси, приглашаю вас послушать стенанья огромных и причудливых птиц;
Приглашаю вас в народ, приходите слушать дряхлую, разбитую песню, горемычную, скорбную, больную, безобразную и рабскую песню, слушать робкую, греховную песню, ту, что тихо поют самоубийцы, ту, что смешана с дождями и ветром, хоровую заунывную песню — «Человеческая серая жизнь»!

Раннее творчество Сюй Чжи-мо гуманистично и социально. Но чистый идеал не выдержал столкновения с жизнью — юношеский романтический порыв постепенно гаснет... В любовной лирике Сюй Чжи-мо последних лет сильны элементы эротики и мистицизма. Порой она и не вполне самостоятельна — большое влияние на него оказало творчество Россетти. Но мы благодарны Л. Е. Черкасскому за то, что он первый познакомил нас с лучшими стихами этого сложного китайского поэта — тем более что многие из переводов ему действительно удались.

Сюй Чжи-мо погиб в 1931 году в авиационной катастрофе. Большая часть его сверстников-поэтов, представленных в «Дождливой аллее», ушла из жизни уже в 30-е годы. Другие отошли от поэзии и погрузились в ученые изыскания историко-филологического характера, к которым китайские писатели всегда питали особую склонность. Но даже те немногие, кто впоследствии продолжал писать, все равно войдут в китайскую литературу как поэты 20—30-х годов, когда были созданы их лучшие стихи.

Сборник «Дождливая аллея» назван по одноименному стихотворению Дай Ван-шу о прекрасной незнакомке, подобной гвоздике... Что ж, китайская поэзия 20—30-х годов во многом тоже незнакомка для русского читателя. Так пусть же знакомство будет добрым!

И. ЛИСЕВИЧ

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Maria Szulecka. Ziemia deptana. Lódź, Wydawnictwo Lódzkie, 1969.

Книга, по словам автора, писалась трудно, быть может, оттого, что была особенно дорога́ уже с самого начала, с самого замысла, как до́роги были с давних пор и все ее герои: те, кто были их прототипами, вот уже добрых два десятка лет приезжали к писательнице в Варшаву со всеми своими радостями, тревогами и заботами.

Первая же встреча с белорусским селом в Польше, позднее описанным под названием Райска, произошла у Марии Шулецкой, обозревателя газеты «Хлопска дрога» («Крестьянский путь»), через несколько лет после войны, в период организации кооперативов и товариществ по совместной обработке земли. Тогда-то и узнала писательница трагическую историю селения: в 1942 году немецкие каратели за укрывательство партизан, за помощь им дотла сожгли село, а все взрослое население расстреляли. Чудом спаслось лишь несколько человек. Они-то, вернувшись, отстроив новые дома на пепелище, не могли забыть лет оккупации, героику партизанских походов, тяжесть того страшного дня, когда зарево над мирными жилищами сказало округе о новом преступлении фашистов.

Мария Шулецкая приехала в село, изучала его историю. Именно здесь действовала до войны ячейка коммунистической партии; отсюда вышли потом и борцы за освобождение родины от захватчиков. Понятной становилась в этом свете и позднейшая боевая биография села вплоть до трагедии 1942 года. Дальше судьбы сельчан расходились по разным военным и партизанским дорогам и сходились после 1944 года снова здесь же, на родных полях, на исхоженной целыми поколениями созидателей земле.

Недавно роман «Исхоженная земля» вышел из печати.

На протяжении большого промежутка времени — с 30-х годов по 1945-й — писательница прослеживает жизнь многих крестьянских семей Райска. В центре — история семьи коммуниста Мороза и становление характера — через ошибки и неудачи — его идейного наследника, крестьянского паренька Василя.

Мороз играет в жизни села заметную роль — его авторитет, его безусловную честность, знания вынуждены признавать даже те, живущие в «верхней части». Бедняк, периодически отсиживающий разные сроки в жестоком концлагере Березе за свои выступления, за агитационную работу, наконец, за принадлежность к коммунистической партии, Мороз, несмотря на тяжкую болезнь, ни на день не выходит из строя борцов «за то счастье, что и не снилось нашим отцам и дедам, за долю для всех равную и всеми заслуженную».

Его воля, убежденность и прямота подкупают Василя — вдовьего сына, что живет по соседству. Много вопросов беспокоят его, много еще непонятного встречает в жизни юноша — и со всем идет к «дядьке Морозу».

Однако школа Мороза скажется значительно позже: не сразу поймет Василь его правоту, не сразу пойдет по его дороге. Лишь на собственном опыте убедившись, как бывает трудно отличить настоящего друга от ловко прикидывающегося им врага, лишь пройдя тяжелую школу партизанской жизни, Василь станет наследником и пропагандистом идей погибшего в 1942 году Мороза.

Книга М. Шулецкой написана просто, без внешних эффектов. Но сами факты, о которых она повествует, рассказанные языком точным и лаконичным, создают такое напряжение, что роман читается одним духом. Этому способствуют также не только предельно достоверные картины сельского и партизанского быта (которые знакомы ей, руководителю санитарного отряда во время Варшавского восстания, отнюдь не понаслышке!), но и психологическая убедительность характеров.

В романе есть такая сцена: спасшаяся от гибели жена расстрелянного Мороза с двумя малолетними детьми бредет за много верст в богатое село к отцу — он там не из последних хозяев. Правда, в свое время отец отказался знаться с Викторией — не мог простить ей замужества с «голодранцем тюремным». Но времена меняются, думает несчастная вдова, и отец поймет, что идти ей некуда, негде голову приклонить с детишками.

Вот и знакомые с детства забор, дом, сад... Близок отдых, можно будет спустить с рук малыша, накормить сирот, напоить. Но Виктории суждены мытарства и страдания на чужих дорогах: отец и брат с женой не пускают ее на порог. Фанатизм отца, безволие брата, корысть его жены — все обернулось против Виктории и ее детей. Обо всем этом рассказано без мелодрамы, и читательский гнев лишь усиливается от этого четкого «высветливания» добра и зла.

Мария Шулецкая не боится поднимать самые острые вопросы, если правда жизни диктует ей такую необходимость. Так в романе появляется фигура школьного товарища Василя — Хенрика. Симпатичный юноша, отзывчивый товарищ, антифашист. Но вот наступают дни партизанских скитаний — и не всегда все идет успешно, и переменчиво военное счастье, и надо искать поддержки у соседних отрядов. И тогда впервые открывается Василю новый Хенрик, не признающий ясных и абсолютных для Василя истин: необходимость совместной борьбы с советскими отрядами, честное и братское единство поляков, белорусов, русских. Трещина в отношениях между двумя приятелями все углубляется с бегом дней: в конце концов читатель не удивляется, когда Хенрик уходит в лагерь националистов, чтобы бесславно сложить голову в неправом бою.

Еще до выхода романа в свет отдельным изданием отрывки его публиковались в прессе, особенно на Белостотчине, где писательницу знают и любят по прежним ее произведениям тоже белорусской тематики — романам «Выбои», вышедшему в 1955 году, и «Горькая черемуха» — 1967 года. Интересно, что несколько отрывков «Исхоженной земли» были включены в «Хрестоматию» по литературе для восьмых классов

белорусских школ в Польше. Об этом Мария Шулецкая говорит с особым чувством: ей, ученице Януша Корчака, получившей еще перед войной первую премию за рассказы, которые были опубликованы в молодежном еженедельнике, основанном этим знаменитым педагогом и писателем, дорого признание воспитателей молодого поколения социалистической Польши. Таким ей видится исполнение заветов любимого учителя — любить свой край, людей и не жалеть для них ни сердца, ни трудов.

ЕЛЕНА КУРБАТОВА

НОВАЯ КНИГА ИВАРА ЛУ-ЮХАНССОНА

Ivar Lo-Johansson. Girigbukarna. Stockholm, Bonniers Förlag, 1969.

Ивар Лу-Юханссон — один из наиболее известных современных писателей Швеции. Он принадлежит к тем сравнительно немногим писателям, которые стали в Швеции «миллионерами тиража», другими словами: тиражи их произведений превысили миллион экземпляров (у Ивара Лу-Юханссона эта цифра приближается к двум миллионам). Его романы и повести переведены на многие иностранные языки. На русском языке среди других его работ следует назвать сборник рассказов и повестей «Мадонна скотного двора» и недавно вышедший роман «Только мать» — может быть, лучшее, наиболее значительное произведение Ивара Лу-Юханссона.

Творческая плодовитость Ивара не иссякает с годами. В течение всего послевоенного периода он почти каждый год дарил читателям новую книгу. Пятидесятые годы он посвятил монументальной серии из восьми романов под общим заглавием «Автобиография пролетарского писателя» («Малограмотный», «Бродячий торговец», «Стокгольмец», «Журналист», «Писатель», «Социалист», «Солдат», «Пролетарский писатель»).

После нескольких романов, посвященных этическим проблемам («Счастье», 1962; опубликованный лишь в 1966 году, но написанный в молодости «Дом астронома»; утопический роман «Электра, женщина 2070 года», вышедший в 1967 году), писатель последнее время работает над широко задуманной серией рассказов, как он говорит, о «страстях человеческих». Открывается эта серия «Страстями» и «Мытарствами» (обе книги вышли в 1968 году), через год серия была продолжена «Скупцами».

Сборник «Скупцы» состоит из пятнадцати не связанных между собой новелл. Действие происходит в различные эпохи — от средневековья и до наших дней. В большинстве новелл местом действия является Швеция, в нескольких оно переносится в другие страны (Северная Африка, Испания, Россия).

Общая тема, объединяющая рассказы — это алчность, один из семи смертных грехов. Каждый из рассказов в той или иной форме повествует о роковой власти золота, денег над душой человека, о том, как стремление к наживе разрушает в человеке все человеческое.

Главное место в книге занимает новелла об обнищании народа саами — «Камень в Гэлливаре». Когда в 1700 году в приходе Гэлливар на севере Швеции началась разработка месторождений железной руды, приходские власти самыми суровыми методами принудили саами таскать тяжелые и неповоротливые фуры с рудой. Именно саами открыли месторождение в Гэлливаре, но от богатства им не досталось ровным счетом ничего. Это обостренное чувство справедливости и участие к судьбе малых, угнетенных народов неизменно присуще писателю. Лу-Юханссон всегда отличался нетерпимостью к больным сторонам буржуазного общества, его выступления в защиту статаров (батраков), цыган, за улучшение социального обеспечения стариков оставили заметные следы не только в литературе, но и в общественной жизни Швеции.

Многие повести в основе своей содержат в большей или меньшей степени реальные эпизоды из шведской истории. Как зловещая выдумка читается повесть об Анне — владелице поместья в XVI веке («Хозяйка Пинторпа»). Ее злобная алчность была известна всем. Она бессердечно истязала своих крестьян. Если дети ее подданных пытались подбирать колоски на ее полях, она отрезала им пальцы огромными ножницами для стрижки овец.

В «Государственном казначее» главным действующим лицом становится Карл XI, правивший в XVII веке. Сюжет построен на истории вскрытия королевского тела, предпринятого с целью доказать, что покойный монарх был отравлен. На фоне бурных похвал, которыми высокие придворные отмечают заслуги и подвиги короля, писатель рисует ужасающую нужду, в которой жил тогда народ Швеции. «Никому не пришло в голову заговорить об оборотной стороне королевских деяний, хотя решительно все знали о том. Он был жесток, невежествен, он то и дело возвышал новых фаворитов взамен прежних и осыпал их щедрыми дарами из своих награбленных богатств... Деньги, золото, поместья — вот что было для него важней всего».

Новелла «Священник из Сильбодален» — почти документальное изложение одной из самых нашумевших в Швеции криминальных историй — о том, как Андерс Линдбек, настоятель Сильбодаленской церкви в Вэрмланде в шестидесятых годах XIX века, систематически облегчал своим прихожанам уход на тот свет; он делал это на свой лад — с помощью мышьяка. Он считал, что творит богоугодное дело, освобождая нищих людей от тяжких мук бедности. До самого конца никто так и не согласился признать, что он виновен в убийстве. «Уж слишком велика

была сила этого пастора. Слишком велико преклонение перед саном».

Издевательство над беднотой стало также темой рассказа «Человеческий аукцион». Действие его перенесено в сельскую коммуну на западе Швеции в самом начале XX века. Чтобы сократить расходы на бедных, общинные власти проводят каждую осень «аукцион бедноты», где продают детей и стариков, если их не удалось поместить в дом призрения. «Товар, который можно было приобрести на этом аукционе, был жалкий, неполноценный, никому не нужный. Община и продавала его тем, кто меньше даст. Надо было предложить как можно меньшую цену, чтобы приобрести какого-нибудь нищего малыша и продержать его до очередного собрания общины. Получалось что-то вроде аукциона рабов, только наизнанку...»

О пагубной власти денег над душами людей в современном шведском обществе повествует «Братняя доля» — наиболее значительный по объему рассказ сборника. В нем говорится о брате и сестре, которые смертно завидуют друг другу и пытаются оттягать один у другого капитал из поровну разделенного между ними родительского наследства. Сестра всячески пытается завладеть долей брата и тем удвоить свое состояние. Путем различных манипуляций ей удается объявить брата недееспособным и упрятать его в сумасшедший дом.

Новая книга Ивара Лу-Юханссона (хотя и не все пятнадцать рассказов равноценны по своим литературным достоинствам) по праву займет свое место в ряду его лучших произведений. Необъятную тему — жажда денег и растлевающая сила алчности — писатель и на этот раз раскрывает со всем богатством фантазии и глубоким реалистическим проникновением в материал.

СВЕН СТОРК

г. Стокгольм

«ПСИХОГРАММА» СКУЧНОГО ЧЕЛОВЕКА

Peter O. Chotjewitz. Die Insel. Erzählungen auf dem Bärenauge. Berlin, Rowolht, 1968.

В перерывах между попойками и литературными дебатами в кабачках, где собирается западноберлинская богема, Себастьян Роттенкопф, герой романа Петера Хотьевица «Остров», мечтает создать книгу. Он подумывает о том, что было бы неплохо «всю жизнь писать о вчерашнем дне: какие сигареты курил, когда встал, что ел, кого встретил, что пил и т. д.». Роттенкопф прикидывает, что если в среднем писать в день, скажем, три страницы на машинке, а в год, стало быть, тысячу девяносто пять страниц, то — учитывая примерную продолжительность жизни — он мог бы легко набрать еще тридцать с лишним тысяч страниц текста. А если к тому же ежедневно переписывать важнейшие сообщения из газет, можно легко удвоить цифру. Герою уже явственно видятся целые библиотеки из его собственных сочинений.

Роттенкопф представляет себе книгу, в которую «вошло бы все, что он хотел, причем без всякого труда». Книгу, которую — путем замены отдельных частей — можно было бы всегда поддерживать на уровне, предписываемом модой. На «литературных суаре», где иногда присутствует Роттенкопф, тоже ведутся речи об универсальных, суперсовременных формах, в которые можно уместить все, что существует на свете.

Подобно своему герою, Петер Хотьевиц занят поисками «открытой» формы. О чем же этот роман на 370 страницах, снабженный таинственным подзаголовком «Рассказы на Медвежьем глазе».

Что такое Медвежий глаз, до конца остается неясным. Значение этого загадочного понятия варьируется: иногда это вроде бы просто ложе, на котором жена Роттенкопфа, наподобие Шехерезады, рассказывает ему сказки, иногда это «милое маленькое различие» между мужчиной и женщиной, которое так умеет ценить герой романа. Иногда — Западный Берлин. Между отдельными главами автор размещает массу всякой всячины: информацию из прессы, рекламные объявления, отрывки из книг разных авторов, пародии на «известного местного писателя», в котором без труда можно узнать Гюнтера Грасса, а также множество маленьких романов, пародирующих детективную литературу и «романы ужасов». Один называется «Печь», другой — «Бархатный Конон Молоди», третий — «Клятва в верности Томпсону».

Иногда в этом пестром монтаже можно различить куски «обыкновенной» и вполне заурядной прозы. Порой мелькают в этой манерной сумятице эпизоды, овеянные подлинной поэзией.

Если отвлечься от разношерстных «вставок», то «Остров» представляет собой «психограмму» весьма скучного молодого человека из кругов западноберлинских гаммлеров-интеллектуалов. О Роттенкопфе сообщаются скудные отрывочные сведения: он часто бывал безработным, он «не настоящий пролетарий и не рабочий», в момент действия он «подмастерье у художника, причем плохой», он считает себя самым великим музыкальным гением после Рихарда Вагнера, еще он, как мы знаем, пишет книгу. Кроме того, читателя уведомляют, что Роттенкопф всем видам деятельности предпочитает общение с дамами и что «разве только собственную мать он не берет в жены».

Другие персонажи романа немногим отличаются от героя. К примеру, Тунфиш представлен как «хиппи», который «целыми днями лежит перед цветочным магазином» и к тому же обладает неповторимой способностью: примерив в магазине костюм,

ускользнуть в нем через заднюю дверь. Майк, Джон и Эдвард охарактеризованы как «леворадикальные разновидности политических гаммлеров». О Беттине, Рат и Франциске сообщается, что они «терроризируют политически инакомыслящих», хотя их собственное «политическое мышление» не обрисовано никак. Портрет другого приятеля Роттенкопфа — Нагеля — рисуется такими красками: «Нагель был обеспокоен. Особенно беспокоило его то, что его беспокоил его покой, потому что всем существом он его приветствовал. Но что же его беспокоило?.. Так как он был обеспокоен, он был успокоен, и это беспокоило его».

Интеллектуальные запросы героев полностью удовлетворяются смесью из бульварных сенсаций «Бильд-цейтунг» с поверхностным пустозвонством на окололитературные и околополитические темы в кабачке «С-Бан» возле вокзала. Если говорить об их общественных интересах и пристрастиях, то они исчерпываются привычным ворчанием в адрес «истэблишмента».

Автор ни разу не выходит за пределы описываемого им банального бытия скучных людей. Хотьевиц сознательно искажает пропорции: из посещения пивной он делает событие исключительного значения, а демонстрации студентов Западного Берлина, столкновения их с вооруженной полицией нарочито низводит до игрушечного уровня. Отдельные пассажи романа задуманы как отклики на актуальные политические события. Однако сам пародийно-иронический тон сводит значение и действенность этих сцен до нуля. По словам известного швейцарского писателя Петера Бикселя, «открытая форма», к которой обращается Хотьевиц, «ничего не рождает». Форма остается формой, «Остров» — книгой, лишенной жизненной основы.

В романе господствует «принцип тотальной случайности и тотальной незначительности», замечает один из западногерманских рецензентов. «Необязательность» отобранного материала — важный пункт в эстетической программе автора. «Поиграйте и вы с этой книгой! — обращается Хотьевиц к читателю.— Вычеркивайте целые разделы и главы, которые вам не нравятся, и выдирайте страницы. Следующий читатель книги будет вам за это благодарен».

В романе Хотьевица отразились некоторые черты сегодняшней западногерманской литературы. Среди книг, создаваемых молодыми авторами,— немало худосочных притч, в которых нет и тени жизненной реальности, либо пестрых, иногда не без дарования смонтированных «коллажей». Для этих писателей характерно абсолютное пренебрежение к традициям, накопленным литературой. Они ищут некую «пограничную» форму, в которую из живописи переносятся приемы «поп-арта», из музыки — элементы «бит», из современного кино — формы монтажа, создающие иллюзию одновременности множества самых разнохарактерных и чаще всего незначительных событий.

В шестидесятых годах в западногерманской литературе все большую роль начинает играть формальный поиск, стремление уйти из сферы общественной в сферу даже не эстетическую, а, так сказать, чисто языковую. Все больше утверждается идея, что «старый язык» из-за своих «грамматических рельсов» автоматически ведет к привычным, «этаблированным» формам мышления. Стремясь покончить с «феодальной структурой» языка, некоторые литераторы — Петер Хандке, Гельмут Хайсенбюттель и другие — пытаются «взломать стальную сетку грамматики». Лингвистические упражнения начисто избавляют от необходимости наблюдать жизнь и пытаться ее отразить. Петер Хандке, который сегодня является одним из самых модных молодых писателей, в своей новой книге под названием «Внутренний мир внешнего мира внутреннего мира» практикует «исследование основ языка с целью получить познавательные модели для политической критики». Удовлетворительные языковые модели призваны разрешить все политические и иные проблемы, порожденные «страхом перед бытием».

Этому «страху» некоторые молодые авторы — Г. Фихте, П. Хотьевиц, Р. Д. Бринкман — противопоставляют «витальный скепсис». Он-то и принимает характер жизненного и творческого кредо, главным моментом которого является выставляемое напоказ пренебрежение ко всем формам социальной и политической активности. Для этих авторов и их героев не существует ни исторической, ни идеологической альтернативы. Все политические «цвета» сливаются для них в одно смутное пестрое пятно.

Неприязнь к государственным установлениям, рожденную практикой боннской республики, ее тенденциями к тоталитаризму и подавлению личности, они автоматически переносят на все виды и формы политики и идеологии. Для них все становится предметом иронического обыгрывания. Однако и эта игра сама порождает штампы, которых они так стараются избежать. К примеру, многие писатели охотно пародируют газетные речевые обороты, словесные клише, приевшуюся терминологию массовых социологических опросов и т. д. Однако все эти навязшие в зубах словосочетания, насаждаемые средствами массовой информации, превращаются у них в своего рода разменную монету, которая переходит из рук в руки. Они словно бросают эту монету в музыкальный ящик, рассчитывая услышать нечто новое, неповторимое,— в ответ же раздается шипенье заезженной пластинки, все те же стандартные мелодии, все те же набившие оскомину музыкальные комбинации.

Личность в изображении этих авторов деформируется, сознательно сужается диа-

пазон человеческих возможностей, запросов, интересов. В их глазах скомпрометированы не только традиционные формы литературы, но и «традиционные» человеческие чувства, которые они пытаются заменить «универсальной» сексуальностью. Весь окружающий мир воспринимается ими лишь как источник «сексуальных импульсов». Они стремятся к «полной сексуализации» общественной жизни, искусства, литературы.

В результате угол зрения на действительность оказывается настолько искривленным, изломанным, перспектива — смещенной, дистанция — искусственной, что в их книги, словно в глухое подземелье, не прорывается ни луч живого света, ни шум человеческих голосов.

На первой странице своих эстетических деклараций они записывают слово «аутентичность». Стремясь к «первозданности», к отображению реальности «из первых рук», пуще всего избегают «идеологического осмысления». Аутентичность литературы они понимают прежде всего как «свободу от идеологии». Придя к выводу о бессилии литературы изменить что-либо в мире, о ее «неспособности изменить сознание», они нарочито нивелируют все идеологические понятия. Для них все оказывается равноценным и все незначительным: боевые лозунги немецких коммунистов и демагогическая истерика фашистских погромщиков, великие шедевры человеческого духа и пьяные выходки разгулявшихся гаммлеров. Настаивая на «более эластичном понимании искусства», они считают равноценным «все языковое»: спортивные репортажи, уличные указатели, световую рекламу, творения Гёте.

В произведениях Петера Хотьевица все эти принципы находят последовательное отражение. Его первый роман «Восхваление Франтека» представляет собой своеобразную пародию на пародии. Он состоит преимущественно из острот — часто совсем пошлых,— непристойных стишков, обывательских историй на уровне тех, что рассказываются в пивных. Хотьевиц резво кувыркается по экспериментальным залам современной литературы. Свое новое, вышедшее уже после «Острова», произведение он назвал «Роман — образчик приспособления». Книга состоит из текста и фотографий, на которых изображены изношенные ботинки, а также раздетый Хотьевиц во множестве поз. Фотографии голого Хотьевица противопоставлены фотографиям башмаков, точнее, по замыслу автора, они представляют две стороны одной медали. Автор сообщает: ботинки олицетворяют мертвечину, голый Хотьевиц — жизнь. Ботинки — это прошлое, а нагой Хотьевиц — настоящее. Он воплощает красоту, витальность, активность, драные ботинки — уродство, усталость и т. д. Хотьевиц комментирует: «Если бы я не был изображением нагого тела, я хотел бы быть башмаком, потому что знаю: это весело».

Старый башмак становится в интерпретации автора символом истории, человек в его рассуждениях выглядит ничтожным червем. По сути, и человек, и башмак, утверждает «роман», тождественны перед лицом «всевышнего».

Итак, поиски новых форм обращаются в произведениях Хотьевица и некоторых его коллег крайним презрением к человеку. Банальность описываемого бытия словно закрепляется еще большей банальностью самой манеры отображения. И даже широкий набор пародийных приемов не спасает читателя от ощущения бессмысленности и скуки такого рода литературы.

И. МЛЕЧИНА

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

„Воспоминания о Ленине" В. Бонч-Бруевича выпустило белградское издательство «Седма сила» в переводе на сербохорватский язык.

Белградским издательством «Просвещение» выпущены «Воспоминания и размышления» Маршала Советского Союза Г. К. Жукова.

Берлинское объединение «Бухклуб-65» (ГДР), ежегодно выпускающее подписную серию из тринадцати произведений немецкой и зарубежной литературы, переиздало роман С. Дангулова «Дипломаты» в переводе Дитера Поммеренке. В первой половине 1970 г. будут выпущены повесть В. Катаева «Маленькая железная дверь в стене», роман В. Кожевникова «Щит и меч» под названием «В лабиринте абвера», роман Ю. Семенова «Майор Вихрь» и повесть В. Астафьева «Кража».

В берлинском издательстве «Дейчер милитерферлаг» вышли военные мемуары «Сорок пятый» Маршала Советского Союза И. С. Конева и «Воспоминания и размышления» Маршала Советского Союза Г. К. Жукова.

Лейпцигское издательство «Инзельферлаг» выпустило повесть Л. Леонова «Evgenia Ivanovna», а также сборник рассказов А. Серафимовича под названием «На плотах».

Исторический роман А. Немировского «Слоны Ганнибала» вышел в берлинском издательстве «Киндербух-ферлаг».

Дрезденское издательство «Ферлаг дер кунст» выпустило монографию В. Дувакина «Окна РОСТА Маяковского».

В издательстве «Ауфбау» вышел роман Ю. Шовкопляса «Человек живет дважды»; отрывок из книги напечатан в газете «Берлинер цейтунг».

Повести И. Катаева «Поэт» и «Сердце» выпущены издательством «Фольк унд вельт».

Стихотворение В. Маяковского «Бруклинский мост» опубликовано в стамбульском журнале «Еди тепе» в переводе на турецкий Энгина Ашкына.

В издательстве «Еди тепе» вышел сборник рассказов М. Горького под названием «Безответная любовь».

Повесть Ч. Айтматова «Прощай, Гульсары!» выпущена турецким издательством «МАЙ».

Венгерское издательство «Европа» выпустило двухтомную антологию советской прозы 20-х гг., в которую помимо произведений таких писателей, как Горький, Алексей Толстой, Тихонов, Сейфуллина, Шолохов, Паустовский, вошли произведения авторов, до сих пор мало известных в Венгрии: Бориса Пильняка, Артема Веселого и других.

Составитель антологии — литературовед Михай Варга, автор послесловия — Янош Эльберт. Переводы сделаны Имре Макаи, Жужей Раб, Иштваном Яноши и другими известными переводчиками.

Там же вышло новое двухтомное издание избранных произведений В. Маяковского. Как пишет рецензент журнала «Уй ираш», в настоящее издание включены лучшие переводы стихов Маяковского, в том числе Лёринца Сабо, Гезы Кепеша, Шандора Вереша, Иштвана Эрши и других.

Роман М. Горького «Мать», роман М. Шолохова «Тихий Дон», повесть В. Тендрякова «Чудотворная», повесть Б. Лавренева «Сорок первый», а также очерки о борющемся Вьетнаме под названием «Отпор» Ю. Жукова и В. Шарапова изданы в Токио.

Японская пресса единодушно дала высокую оценку искусству балетной труппы Ленинградского государственного академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова. Советские артисты пробыли в Японии более месяца и дали 29 представлений в восьми городах, в том числе в Токио, Осака, Киото, Ниигата, Тояма и Мацуэ; в репертуаре труппы были балеты «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Золушка».

„Дни советской книги" прошли в Польше. В Познани была открыта выставка «Русская книга», посвященная достижениям издательств РСФСР. Польские читатели встретились с писателями и поэтами Российской Федерации.

В различных издательствах Нью-Йорка вышло несколько книг советских авторов: «Владимирские проселки» В. Солоухина — в издательстве Даттона; «Мысли и сердце» Н. Амосова — «Саймон энд Шустер»; «Мой бедный Марат» А. Арбузова — «Оксфорд»; сборник рассказов М. Шолохова — в издательстве Кнопфа.

Высокую оценку болгарской прессы получило мастерство труппы Государственного Академического Малого театра СССР. Театр показал инсценировку романа болгарского писателя А. Гуляшки «Приключения Аввакума Захова» под названием «Золотое руно», а также — романа И. С. Тургенева «Отцы и дети»; болгарские зрители увидели спектакли «Бешеные деньги» А. Островского и «Твой дядя Миша» Г. Мдивани.

В серии «Советская литература», выпускаемой издательством Галлимара (Франция), вышли: роман «Сумерки» А. Нурпеисова, «Книга скитаний» и «Золотая роза» К. Паустовского, рассказ «Ухабы» В. Тендрякова, письма В. Маяковского к Л. Брик.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АЛЖИР

НОВЫЕ ПОСТАНОВКИ НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА

Алжирский еженедельник «Революсьон африкэн» поместил рецензию театрального критика Мими Мазиз на пьесу «Алая заря», поставленную Алжирским национальным театром. Авторы пьесы — Асия Джеббар и Валид Гарн.

Пьеса, первоначально написанная по-французски, была переведена на алжирский диалект арабского языка и поставлена режиссером Мустафой Катебом. Действие пьесы «Алая заря» происходит в 1957—1958 гг. во время войны алжирского народа за независимость. По словам рецензента, пьеса живо воссоздает события тех тяжелых и героических лет.

Критик «Революсьон африкэн» сообщает также о двух других премьерах Алжирского национального театра. Это — «Привратники» алжирского драматурга Руишеда и «Иван Иванович» Назыма Хикмета, поставленные в новом сезоне режиссером Аллелем эль-Мухибом.

Сцены из спектакля «Мартин Лютер Кинг» в лондонском «Гринвич-театр».

(Газета «Морнинг стар»)

АНГЛИЯ

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПЬЕСА О МАРТИНЕ ЛЮТЕРЕ КИНГЕ

Лондонский «Гринвич-театр» открыл новый сезон премьерой спектакля «Мартин Лютер Кинг» по пьесе, написанной директором театра Ивеном Хупером. Критик Джек Сазерленд пишет в газете «Морнинг стар», что театр совершил смелый шаг, поставив документальную пьесу о Мартине Лютере Кинге и проблемах не-

прерывно обостряющейся борьбы американских негров за свои гражданские права. «Дело в том,— поясняет критик,— что излюбленная тема серьезного западного театра — личные переживания героев-одиночек, противопоставляющих себя обществу. А вот страдания и борьба целого народа— тема менее популярная, тем более что она неизмеино затрагивает проблемы совести, предрассудков, протеста, короче говоря,— политики».

Пьеса рассказывает о жизни Мартина Лютера Кинга, о его политической деятельности, начиная с бойкота сегрегации в автобусах в Монтгомери, затем о его работе в Бирмингеме, о росте движения иегров в защиту гражданских прав, о постепенном превращении Кинга в признанного политического лидера. Пьеса заканчивается убийством Мартина Лютера Кинга.

Премьера пьесы получила широкий отклик в английской прессе. Критики дали высокую оценку исполиению роли Кинга артистом Бэри Джоисоном. «Ивен Хупер создал подлиино современный театр, чуждый условностям Уэст-эида,— пишет театральный обозреватель еженедельника «Обзёрвер».— Новая постаиовка— больше чем просто премьера, это маиифест театра, его ответ на запросы молодой, серьезиой, заинтересоваиной публики... Прекрасиым музыкальным оформлением спектаклю служат иегритянские песии протеста, ставшие знаменем борьбы молодежи 60-х годов во всем мире».

«ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ» ЗАЛОЖЕННЫЙ В ШЕСТОЙ РАЗ...

Идея создания Национального театра Англии, как об этом свидетельствуют историки, уходит в глубь веков и принадлежит знаменитому английскому актеру XVIII столетия Дэвиду Гаррику, которому он представлялся как памятник Шекспиру. Эта идея постеиенно получала развитие в течение XIX и начала XX столетий. Однако только в 30-е годы нашего века было принято конкретное решение начать строительство здания театра в Южном Кенсичгтоне (Лондон). Горсть земли с предполагаемой строительиой площадки и соответствующие бумаги были торжественно вручены Бернарду Шоу на церемонии, на которой присутствовали почти все известные деятели театрального мира Лондона того времени. Однако дальше этого дело не продвинулось.

После второй мировой войны был создан совет Национального театра, а в 1949 году английский парламент принял закон о создании Национальиого театра. Первая постановка, осуществленная иовой труппой, состоялась лишь в октябре 1962 года (давали шекспировского «Гамлета»). С тех пор труппа Национального театра располагается в здании театра «Олд Вик», причем власти неустанно повторяют, что театр иаходится там «времеиио».

Неустроенность не помешала Национальиому театру за какие-то семь лет существоваиия приобрести мировую известность. Помимо Лоидоиа труппа выступает также в Бирмингеме, Маичестере и других городах; она с успехом гастролировала в Советском Союзе, Канаде, Швеции, Дании, Югославии и Италии.

Репертуар Нациоиальиого театра чрезвычайно разнообразен. Наряду с произведениями английских и зарубежных классиков, среди которых ведущее место заиимает Шекспир (из русских пьес — «Дядя Ваня» и «Три сестры» А. П. Чехова), театр ставит пьесы современиых английских и иностраиных авторов.

А как же обстоит дело со строительством здания Национального театра? За последние двести лет, как отмечают журиалисты, планы столько раз меияались, да и место для строительства переиосили столько раз, что сейчас иикто ие спешит утверждать вслед за членами Совета Большого Лоидоиа, что занавес в иовом здании Национального театра поднимется уже в 1973 году.

По свидетельству прессы, символический «первый камень» в фундаменте здания Национального театра закладывался пять или шесть раз. По крайней мере на протяжении последних восемнадцати лет это делалось дважды. В 1951 году он был заложен королевой-матерью под звуки фанфар и аплодисменты, в присутствии премьер-министра Эттли и с благословения архиепископа Кентерберийского.

В последний раз это торжественное событие произошло поздией осенью 1969 года на правом берегу Темзы, неподалеку от моста Ватерлоо, в присутствии министра по делам искусств Англии Дженни Ли и представителя Совета Большого Лондоиа. Характерная деталь: представителей интеллигеиции иа этой церемонии ие было. Директор труппы Национального театра Лоуренс Оливье, занятый на съемках фильма по пьесе Чехова «Три сестры», вежливо ограничился краткой приветственной телеграммой...

ГЕСС + ФЛЕМИНГ — ДЖЕЙМС БОНД?

Покойный Яи Флеминг, создатель печально известного «агеита 007» Джеймса Бонда, во время второй мировой войны работал в английской военно-морской разведке. Ричард Дикон, автор недавно вышедшей книги «История британской секретной службы» сообщает любопытную подробность: оказывается, Флеминг имел самое иепосредственное отношение к иеобычному «визиту» в Англию гитлеровского министра Рудольфа Гесса. Как известно, этот военный преступник, осужденный в Нюрнберге, 10 мая 1941 года выбросился с парашютом над Шотландией с целью предложить Англии мир в обмеи иа обещание Гитлера начать военные действия против Советского Союза.

Яи Флеминг, который был стороииником подобного сговора, приложил немало усилий к тому, чтобы «подбить» Гесса на такую авантюру.

По свидетельству рецензента газеты «Морнинг стар», повествование Дикона о том, как Флеминг окружил Гесса сетью своих агентов, астрологов и других подставных лиц, читается как глава из приключенческого романа...

В дальнейшем отставной разведчик Ян Флеминг, решив «обогатить» детективный жанр своими опусами, неоднократно обращался к своей разносторонней шпионской практике, черпая оттуда прототипы героев-«суперменов», а также «острые» ситуации.

БОЛГАРИЯ

АКАДЕМИКУ ТОДОРУ ПАВЛОВУ — 80 ЛЕТ

В феврале 1970 года исполняется 80 лет видному болгарскому философу-марксисту, литературному критику, публицисту и общественному деятелю академику Тодору Павлову.

Много лет своей неустанной творческой деятельности Т. Павлов посвятил разработке философских проблем искусства, эстетики и литературно-художественной критики. В книге «Общая теория искусства» (1937) он выразил убеждение, что только на основе марксистско-ленинской философии и, в частности, ленинской теории отражения «можно построить действительно научную эстетику». Его перу принадлежат фундаментальные труды: «Теория отражения» (1945), «Основные вопросы эстетики» (1946), «Искусство и жизнь» (1953), «Основные вопросы марксистско-ленинской эстетики» (1958), «Ленинская теория отражения и современность» (1969) и другие.

В статье «Выдающийся представитель марксистско-ленинской эстетики», опубликованной в связи с юбилеем в журнале «Философска мисл», болгарский литературовед Александр Атанасов писал о Тодоре Павлове: «Его темперамент и дух воплощены в его стиле: чуждый суетного стремления блеснуть эффектной фразой, продемонстрировать показную эрудицию, он, подобно известному герою Брехта, испытывает огромное удовлетворение, когда может познать и ясно изложить «причины вещей». Его кредо всегда состояло в том, чтобы отстаивать и применять на практике марксизм-ленинизм...

Тодор Павлов не просто талантливый литературный критик, он — воинствующий литератор-марксист, непримиримый как к схематизму, вульгарному социологизму и догматизму, так и к эстетско-ревизионистским извращениям в теории, истории и критике литературы и искусства».

ДЕНЬ ПОЭЗИИ

Традиционный праздник болгарской поэзии, как сообщает печать, прошел под знаком 25-летия Народной Болгарии. Накануне Дня поэзии болгарская общественность почтила память поэтов, погибших в антифашистской борьбе. На родине погибших — в Банско и Благоевграде, Плевене и Враце, Бяла-Слатине и Стара-Загоре, в Смоляне — состоялись литературные чтения. Поэты возложили венки от имени Союза болгарских писателей перед памятниками Ивана Нивянина, Николая Хрелкова, Гео Милева, Христо Ясенова и Кирила Маджарова.

Праздник начался в Софии церемонией зажжения «Огня поэзии» перед памятником народного поэта Ивана Вазова. «Юбилейный год наглядно показал,— сказал, открывая День поэзии старейшина болгарской литературы Людмил Стоянов,— что мы не только способны совершить революцию, но и располагаем талантами, умеющими ее воспевать».

С приветствиями к болгарским поэтам выступили секретарь Софийского комитета БКП Борис Манов, советский поэт Платон Воронько, румынский — Леонид Нямцу, турецкий — Ильхан Берк.

Праздник был продолжен в концертном зале «Болгария», где в присутствии множества болгарских писателей и поэтов, видных деятелей искусства и культуры, а также зарубежных гостей прошел вечер болгарской поэзии.

В Союзе болгарских писателей состоялся большой разговор о поэзии, открытый заместителем председателя СБП Ефремом Каранфиловым. Основной доклад — о революционных традициях болгарской поэзии с обзором ее достижений за минувшие двадцать пять лет — сделал Васил Колевский.

По случаю праздника поэзии было объявлено о присуждении городским советом болгарской столицы премии за лучшее поэтическое произведение 1969 г. Димитру Методиеву, автору поэмы «Песня о генеральной линии».

ВЕНГРИЯ

КАК ЖИЛ И ПОГИБ КАПИТАН МАРОШФИ

Роман Михая Фёльдеша «Приказ», действие которого происходит в 1919 году, получил премию на конкурсе, объявленном в честь пятидесятилетия Венгерской советской республики.

Главное действующее лицо романа — капитан Марошфи, офицер генерального штаба венгерской армии — переходит на сторону революции, сражается в рядах венгерской Красной Армии. После разгрома Венгерской советской республики Марошфи попадает в руки контрреволюционной военщины, военно-полевой суд приговаривает его к расстрелу...

По отзывам рецензентов, высоко оценивающих роман «Приказ», Михаю Фёльдешу удалось дать глубокий и убедительный анализ психологии своего героя, а также людей, когда-то ему близких, которые, однако, не смогли, подобно ему, порвать со своим классом.

ПОЛЬСКО-ВЕНГЕРСКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЯЗИ

Состоялась первая сессия смешанной польско-венгерской комиссии, организованная союзами польских и венгерских писателей. Участни-

ки сессии обсудили положение в области литературных переводов и выдвинули предложения, направленные на дальнейшее расширение сотрудничества. Согласован вопрос о публикации антологий современной польской поэзии и прозы в Венгрии и венгерской — в Польше. Постановлено проводить раз в три года встречи переводчиков обеих стран поочередно в Польше и Венгрии. Представители Союза венгерских писателей одобрительно встретили предложение польского Авторского агентства о проведении в 1970 году в Варшаве международного съезда переводчиков польской литературы на иностранные языки (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 1, 1970).

Дрезденский Государственный театр поставил комедию Гильдегард Шёбель «Анетта». Ее герои — Анетта и Генрих — выпускники вузов, которые отказываются от научной работы в городе и отправляются в деревню, чтобы трудиться в сельскохозяйственном кооперативе. «Эта веселая пьеса ставит серьезный вопрос о том, следует ли жертвовать своим любимым делом ради интересов любимого человека, как это сделала Анетта»,— писал в газете «Берлинер цейтунг» драматург Райнер Кериндль. Он отметил большую работу режиссера и актеров, особенно Анны-Катрейн Кретчмар (Анетта) и Ганса-Петера Янцена (Генрих), изображенных на этом снимке.

(Еженедельник «Зонntаг»)

ГДР

«НИ ОДНОЙ БЕСПОЛЕЗНОЙ КНИГИ»

Исполнилось 125 лет одному из старейших издательств, «Рютген унд Лёнинг», которое с момента основания, как пишет корреспондент газеты «Берлинер цейтунг», известно своими демократическими традициями. Основатель издательства Иозеф Рюттен и его сотрудник доктор Лёвенталь, позднее под именем Лёнинга ставший пайщиком издательства, выпустили в 1845 году «Святое семейство» Маркса и Энгельса. За это доктор Лёвенталь подвергся преследованиям полиции и цензуры.

Издательство знакомило читателей с произведениями классиков мировой литературы, в том числе русской. Много внимания уделялось немецкой классической литературе, в частности, творчеству Гёте.

В начале XX века, когда в Германии восторжествовал дух шовинизма и национализма, был издан «Жан-Кристоф» Ромена Роллана. Это явилось своеобразным протестом, и в истории мировой литературы отмечено как смелый и мужественный поступок. В годы первой мировой войны работа издательства была очень затруднена, однако именно тогда были выпущены многие книги иностранных авторов.

Во времена гитлеризма многие книги издательства «Рютген унд Лёнинг» были сожжены на кострах, а их авторы эмигрировали. Вильгельм Эрнст Освальт, возглавлявший в то время издательство, вместе со своим сыном был замучен в концлагере.

После 1946 года это старейшее издательство возродилось при содействии советского командования. За последние 20 с лишним лет вышло 620 художественных и литературоведческих книг первыми изданиями и 386 книг — повторно. Продукция издательства разнообразна: здесь и произведения классиков, и книги современных авторов. В издательстве сотрудничают крупнейшие художники-иллюстраторы: Вернер Клемке, Хегенбарт, Геллер и другие. Продукция издательства идет в 27 стран.

125 лет назад основатели издательства обещали «никогда не увеличивать числа бесполезных книг», пишет корреспондент «Берлинер цейтунг». 125 лет деятельности издательства показали, что это обещание выполнено: «Издательство всегда служило и продолжает служить делу прогресса и гуманизма. Среди книг, изданных им, нет ни одной бесполезной книги».

СБОРНИК ЭССЕ АННЫ ЗЕГЕРС

Известная немецкая писательница Анна Зегерс, автор романов, повестей и рассказов, много работает также над эссе, посвященными искусству и литературе. Сейчас они впервые собраны воедино ученицей Зегерс — писательницей Кристой Вольф. В сборник, названный «Вера в земное», вошли эссе о Лессинге, Бюхнере, Л. Толстом, статьи о связи писателя с народом, о свободе искусства и т. д.

«В этой книге легко обнаруживается последовательность писательницы в от-

стаивании своих принципов, ее верность основным темам, которыми она занималась всю жизнь. Книга свидетельствует о большой эрудиции, огромном опыте Зегерс,— писал рецензент газеты «Берлинер цейтунг».— Эту книгу можно рекомендовать всем друзьям хорошей литературы».

ЗАПАДНЫЙ БЕРЛИН

ВЫСТАВКА «ИСКУССТВО ПРОТИВ ФАШИЗМА»

По инициативе западноберлинского писателя и графика Гаральда Будде общество германо-советской дружбы в Западном Берлине совместно с группой молодых литераторов и актеров «Красная гвоздика» организовало выставку произведений современных художников-гуманистов, которая состоялась в Галерее им. Маяковского под девизом «Искусство против фашизма».

«Многие известные художники,— пишет обозреватель дюссельдорфской газеты «Дейче фольксцейтунг»,— работающие в разных жанрах: живопись, графика, политический плакат, коллаж, металлопластика — Манфред Беелке, Гаис-Георг Дамм, Хост Галлой, Курт Кюне, Уве Витт, Эрих Раушенбах, Карл Тимнерс, Иоганнес Грюцке, Эрнст Дегенер, Петер Зауэргеймер и другие,— выступили единым антифашистским и антимилитаристским фронтом... Они берут под обстрел непреодоленное прошлое боннских политиканов, неонацистов, полицейских, избивающих дубинками демонстрантов, аполитичных обывателей... Широкоформатное полотно Манфреда Беелке интерпретирует известные слова Брехта «Еще плодоносит чрево...», адресуемые ныне реваншистам... Картина Иоганнеса Грюцке «Апофеоз рукопожатия» высмеивает лицемерие мещанина. Горе и страдания, пережитые людьми в борьбе с фашизмом, отражены в картине Г. М. Зиверта «Обмундированные сыновья обмундированных отцов в действии на благо отечества», в рисунках Бьорна Шраде «Жертвам фашизма», в произведениях Э. Дегенера и П. Зауэргеймера. Антимилитаристским духом проникнуты две работы Гарди и Германа Пиппартов...» Наиболее выразительный экспонат выставки, по мнению обозревателя, металлопластика Г. Г. Дамма «Фашизму бой!» Скульптура изображает рабочего, который куском скалы разбивает свастику.

На открытии выставки литераторы группы «Красная гвоздика» читали свои произведения, среди которых обозреватель выделяет рассказ Раймунда Аугуста «Печальная история товарища Ц.», стихотворение Оскара Велинга «Масштабы» и документальную сцену Гаральда Будде «Следствие по делу Джона Г.», где центральный персонаж, американской историк Джон Гримбел, упорно утверждает на допросе, что военные власти в американской оккупационной зоне с самого начала препятствовали демократизации Германии и покровительствовали нацистским преступникам. Будде, по мнению обозревателя, удалось в своем произведении, приведя в доказательство дотоле неизвестные общественности документы, показать истоки развития неофашизма в ФРГ.

ФРГ

ЛИТЕРАТУРА О НЕМЕЦКОМ СОПРОТИВЛЕНИИ

На состоявшемся в 1969 г. в Кёльне конгрессе объединений лиц, преследовавшихся при гитлеровском режиме, научный сотрудник мюнхенского института современной истории доктор Вернер Рёдер привел интересные данные, касающиеся литературы о немецком Сопротивлении периода 1933—1945 гг.

«Доктор Рёдер отметил,— пишет корреспондент газеты «Дейче фольксцейтунг», — что уже вскоре после 1945 г. на фоне реставрации унаследованной от нацизма общественно - экономической структуры в Западной Германии наряду с обширной литературой о гитлеровских концлагерях, о преследовании евреев, о нацистском аппарате принуждения в научно-исследовательских и публицистических работах о немецком Сопротивлении доминировали две темы: борьба христианских церквей против нацистского режима и деятельность групп, связанных с покушением на Гитлера 20 июля 1944 г. И это положение, подчеркивает доктор Рёдер, до сих пор мало изменилось. Если в 1963—1968 гг. литература о «заговоре 20 июля» составляла от 10 до 22% всех изданий о борьбе против нацизма, а литература о церковном сопротивлении — 16—25%, то публикации о движении Сопротивления среди рабочих и интеллигенции ограничивались 10—14%. Таким образом, заключил доктор Рёдер, работы по изучению народного Сопротивления нацизму находятся в ФРГ еще в начальной стадии».

В 1969 г. в связи с 25-летием «заговора 20 июля» в ФРГ вышли десятки изданий — от брошюр до монографий,— изображающих генералов-заговорщиков «основой» всего Сопротивления и лишь вскользь упоминающих о незначительных «прочих левых группах». Неудивительно, что подобная фальсификация истинного значения исторических событий, пишет рецензент, будучи перенесенной в школьные учебники, вызывает у наших детей искаженное представление о периоде фашизма. Именно к такому выводу пришли участники конференции по изучению истории немецкого Сопротивления, созванной в 1967 г., на которой встретились бывшие борцы Сопротивления и многие видные ученые.

Один из активных участников Сопротивления, ныне покойный писатель Гюнтер Вайзенборн, был первым, кто внес весомый вклад в широкое освещение темы немецкого Сопротивления. Он выпустил книгу «Безмолв-

«Забывшие прошлое осуждены пережить его вновь» — рисунок из газеты «Дейче фольксцейтунг».

мое восстание», созданную по материалам Рикарды Хух и Вальтера Гаммера. Вслед за ней в разных городах ФРГ начали выходить документально-публицистические сборники, посвященные борьбе местных групп движения Сопротивления. Так в 1960 г. Вилли Бельц выпустил сборник «Стойкие» о Сопротивлении в Касселе, Герда Цорн — книгу «Город в Сопротивлении» о Ганновере (1965), Ганс Иозеф Штейнберг — сборник «Сопротивление и репрессии в Эссене» (1969), Карл Шаброд — «Сопротивление на Рейне и в Руре» (1969).

Рецензент особо отмечает выпускаемую франкфуртским издательством «Рёдерберг-ферлаг» «Библиотеку Сопротивления», первые четыре тома которой уже вышли в свет: «Белая роза против свастики», «Дело о газете «Форботе», «Штутгарт: секретно!» и «Зарницы гамбургского Сопротивления».

ИТАЛИЯ

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА: ЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ЗАДАЧИ

В городе Ареццо, как сообщает печать, состоялось совещание литературоведов и критиков, посвященное этой теме. В нем приняли участие многие видные итальянские ученые и литераторы — Карло Салинари, Джан Карло Ферретти, Джорджо Барбери-Скуаротти, Марио Сансоне и многие другие. В докладах и выступлениях обсуждались конкретные вопросы, связанные с положением итальянской литературной критики сегодня, а также поднимались проблемы общего эстетического характера, как, например, что такое искусство и что такое литературная критика, причем эти теоретические проблемы, по мнению наблюдателей, часто занимали собравшихся куда больше, чем непосредственная тема совещания.

В ходе дискуссии высказывались самые различные, подчас противоположные, точки зрения на роль литературной критики, но общим было признание того, что современная литература, а также литературная критика, как и вся культура в Италии и Западной Европе, переживают глубокий кризис. Карло Салинари в своем докладе с марксистских позиций отстаивал историко-научный подход в литературной критике, выступая против критики, которая стремится отождествиться с литературным произведением, будь то «критический роман», выдвигавшийся покойным Джакомо Дебенедетти, или утверждения Ролана Бартеса о том, что «не может быть другой науки о письме кроме самого письма». Многие вопросы, затронутые на совещании, остались без ответа, многие проблемы «повисли в воздухе». Но общие результаты этого «круглого стола», на котором происходил свободный обмен мнений, как отмечает обозреватель римской газеты «Унита», были, несомненно, положительными: совещание привлекло внимание литературной общественности к широкому кругу как теоретических, так и практических вопросов.

ПИСАТЕЛИ В КИНО И ЛИТЕРАТУРЕ

Писатель и кинорежиссер Пьер Паоло Пазолини, закончив фильм «Медея», приступает к работе над картиной «Святой Павел», так же как и один из его последних фильмов «Евангелие от Матфея» целиком построенной на евангельском тексте. Апостольские «Деяния» и «Послания» будут изложены в виде диало-

гов действующих лиц. Действие фильма переносится в современность, вместо Рима — столицы империи древности в «Святом Павле» дело будет происходить в столице Соединенных Штатов — Вашингтоне и в Нью-Йорке, место древних Афин в фильме займет нынешний Рим. Одновременно Пазолини готовит к выходу новый сборник стихов, носящий название «Возвышаться духом и организовывать», а также сборник из шести трагедий в стихах, название которого может быть приблизительно переведено как «Всякая всячина».

Альберто Моравиа пристально следит за работой по экранизации своего романа «Приспособленец» режиссером Бернардо Бертолуччи. Писатель и режиссер поделились на пресс-конференции с журналистами своими мыслями об этом фильме. «Приспособленец» — не самый лучший роман Альберто Моравиа, но, по-моему, его герой — самый трагический персонаж современной литературы,— сказал Бертолуччи.— Сценарий сохраняет верность литературному оригиналу, я имею в виду, разумеется, как сам дух романа, так и сюжет, и трагическую фигуру Марчелло. Верность эта не буквальная, она состоит в том, чтобы передать то, что Моравиа хотел сказать своей книгой, когда писал ее».

Моравиа, со своей стороны, добавил: «Идея романа тесно связана с изображенным в нем историческим моментом и направлена прежде всего на то, чтобы показать превращение идеалов декадентства в националистические идеалы: в декадентстве крылись корни фашизма». Причины, побудившие Бертолуччи экранизировать «Приспособленца», который с самого начала (роман вышел в 1951 году) не вызывал восторга критики, по мнению корреспондента газеты «Унита», очевидны: ныне в Италии проблема конформизма вновь на повестке дня. Главную роль в фильме будет играть французский актер Жан-Луи Трентиньян, роль жены «приспособленца» исполнит Стефания Сандрелли.

Писатель Альберто Бевилаккуа объявил на пресс-конференции в Риме, что сам выступит в роли режиссера фильма по своему роману «Женщина-халиф», написанному в 1960 году. «Я писал этот роман в дни, когда в Эмилии и по всей Италии развернулись широкие народные выступления после июльских событий того года. Ныне роман вновь приобретает актуальность, особенно на моей родине — в сегодняшней Парме, где в последние месяцы происходили мощные забастовки, бурные выступления и такие эпизоды, как, например, занятие городского собора католиками — участниками движения протеста». Главную роль в фильме — женщины по прозвищу Халифка — будет играть Клаудия Кардинале.

После успешного завершения работы над масштабным фильмом — социальным и политическим кинороманом «Гибель богов», рассказывающим об ответственности германских пушечных королей за приход к власти Гитлера, режиссер Лукино Висконти предполагает перенести на экран новеллу Томаса Манна «Смерть в Венеции». Это давний замысел Висконти— почитателя и глубокого знатока творчества немецкого писателя.

В Генуе найдены полотна Гойи и Перуджино, считавшиеся потерянными. Как сообщили следственные органы, эти картины были похищены нацистами во время второй мировой войны из разных музеев Европы и теперь выкуплены у частных лиц. Это — полотна Гойи «Кающаяся Магдалина» и «Жена художника», а также картина Перуджино «Мадонна в благоговении». На снимке: найденные картины.

(Газета «Унита»)

ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ РАИ-ТВ

До сих пор на итальянских голубых экранах не было показано ни одного кадра, рассказывающего о борьбе американской общественности против агрессии США во Вьетнаме. И вдруг — в телепрограмме появилось сообщение о предстоящей демонстрации документального фильма о Бенджамине Споке. «Неужели телевидение прервало свой «заговор молчания»?»—размышляли итальянцы, устраиваясь у телевизоров. Однако буквально за несколько минут до назначенного времени диктор сообщил, что передача отменяется «по техническим причинам».

Выяснилось, что решение об отмене передачи было принято под давлением руководства РАИ-ТВ (итальянское радио и телевидение). Авторы фильма «Встреча с Бенджамином Споком» Грегоретти и Тарквини заявили протест. Ассоциация телевизионных журналистов Италии, собравшись на экстренное заседание, единогласно приняла документ, в котором осуждался произвол руководства РАИ-ТВ и выражалось требование как можно скорее дать возможность телезрителям увидеть фильм Грегоретти и Тарквини.

Уже не первый раз общественность Италии выражает тревогу по поводу ненормального положения на телевидении, которое, формально оставаясь в ведении государства, фактически находится в руках правящей христианско-демократической партии (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 3, 1969). О том, что итальянское телевидение не отвечает запросам большинства зрителей, свидетельствуют результаты референдума, проведенного недавно газетой «Унита». Из нескольких тысяч опрошенных ни один человек не дал положительного отзыва о программах радио и телевидения. 30% опрошенных назвали эти передачи «посредственными» и 70% — «никуда не годными». 56% телезрителей высказались за увеличение количества передач на политические темы, 51% — за большее число передач по литературе и искусству.

О необходимости реформы радио и телевидения шла речь на конференции рабочих, студентов и работников РАИ-ТВ, состоявшейся в городе Колленьо (недалеко от Турина). «Назрела настоятельная необходимость сделать радио и телевиденне независимыми от правительства христианских демократов,—заявили участники конференции.— Радио и телевидение должны информировать, а не дезинформировать, должны отражать реальную жизнь, а не уводить от действительности».

Единодушно был принят документ, в котором содержались конкретные предложения о преобразовании структуры РАИ-ТВ. Этот документ был поддержан Итальянской коммунистической партией и предложен ею в качестве законопроекта в парламенте.

ИРАК

«ПОЭЗИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ В ОККУПИРОВАННОЙ ПАЛЕСТИНЕ»

Под таким заголовком в Багдаде вышла небольшая книжка на английском языке. В ней помещены шестнадцать стихотворений пяти современных арабских палестинских поэтов в переводе с арабского поэтессы Сулафы Хиджави. Среди опубликованных стихотворений три принадлежат перу известной поэтессы Федвы Тукан, живущей в г. Наблусе в оккупированной в 1967 г. Израилем иорданской части Палестины. Эти стихотворения первоначально распространялись среди населения захваченных районов в рукописных копнях, а потом были тайно переправлены в арабские страны.

По мнению рецензента журнала «Муслим уорлд», переводчица сумела передать «дух страданий и борьбы, любви к родине и надежды на избавление, которым проникнута эта поэзия».

ИСПАНИЯ

ПИКАССО ОТВЕЧАЕТ ОТКАЗОМ

В последнее время на страницах испанской и французской печати оживленно обсуждался вопрос о дальнейшей судьбе знаменитой картины Пабло Пикассо «Герника», которая в настоящее время находится на хранении в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

«Правительство генерала Франко считает, что место картины «Герника» в Мадриде»,— таков смысл всей пропагандистской шумихи, поднятой официальной правительственной печатью Испании. Франкисты во всеуслышание заявили, что готовы отвести этому полотну центральное место в музее современного испанского искусства, который, по всей вероятности, будет вскоре открыт в университетском городке Мадрида.

Французские обозреватели высказывают мнение, что Франко поднял шум вокруг «Герники» с «дальним прицелом», имея в виду побудить Пикассо приехать в Испанию. Видимо, Франко полагает, что подобный шаг способен примирить его с прогрессивной мировой общественностью, которая-де сможет забыть преступления испанского фашизма, включая уничтожение фашистской авиацией небольшого баскского города Герника со всем его населением в апреле 1937 года.

Как известно, «Герника» была написана Пикассо по заказу республиканского правительства Испании для испанского павильона на всемирной выставке в Париже. После прихода Франко к власти в Испании Пикассо туда не возвращался. Он неоднократно делал заявления, что не вернется на родину до тех пор, пока там будет господствовать режим Франко.

Недавно еженедельник «Леттр франсэз» опубликовал письмо, которое было передано в редакцию женой художника — Жаклин Пикассо. В письме решительно опровергаются слухи о якобы возможной передаче «Герники» в Испанию. «Герника» принадлежит правительству республиканской Испании, а не правительству Франко, подчеркивается в письме.

ЛИВАН

ПАМЯТИ Б. С. РЮРИКОВА

Ливанский прогрессивный журнал «Ат-Тарик» посвятил недавно специальный раздел памяти советского уче-

ного, критика и журналиста Б. С. Рюрикова. Раздел открывается статьей публициста Мухаммеда Итани, который пишет, что кончина Б. С. Рюрикова — это не только «потеря для литературы Страны Советов, но и потеря для многих его друзей за рубежом». Наши читатели, отмечает М. Итани, знают Б. С. Рюрикова, который неоднократно посещал Ливан, «как трезвого мыслителя, правдивого и смелого критика».

В статье отмечается большая роль, которую сыграл Б. С. Рюриков, будучи главным редактором журнала «Иностранная литература», в деле ознакомления советских читателей «с литературами стран Азии и Африки, с арабскими писателями и лучшими произведениями всего мира».

Отмечается также большой вклад покойного в изучение классической русской литературы, проблем социалистического реализма и мировой культуры. Специальный раздел журнала содержит кроме этой статьи также перевод введения, написанного Б. С. Рюриковым для двухтомника «Достоевский в воспоминаниях современников», и текст его интервью с ливанским писателем Мухаммедом Дакрубом.

ОАР

КНИГА О МАХМУДЕ ДЕРВИШЕ

«Махмуд Дервиш — поэт захваченной земли» — так называется новая книга известного египетского критика, редактора журнала «Аль-Хиляль» Раги Наккаша. По отзывам арабской прессы—это первое большое исследование, посвященное одному из крупнейших представителей поэзии арабского Сопротивления в Израиле.

Критик Шамс ад-Дин Муса, поместивший рецензию на книгу Р. Наккаша в журнале «Аль-Улюм», называет ее «важным и серьезным исследованием». Автор книги, как отмечает критик, не ограничивается анализом творчества М. Дервиша. Он показывает условия, которые подготовили появление этого талантливого поэта и его товарищей по перу. Современная поэзия арабского Сопротивления в Израиле, считает Р. Наккаш, появилась в результате длительного периода борьбы арабов Палестины против британского господства и сионизма. В книге прослеживается путь арабской поэзии Палестины от антиимпериалистического восстания 1936 года до наших дней, намечаются ее основные этапы, даются характеристики творчеству виднейших палестинских поэтов.

СОТРУДНИЧЕСТВО ПИСАТЕЛЕЙ

Председатель Союза египетских писателей Юсуф ас-Сибаи, посетивший недавно Польшу, имел беседы с членами президиума Главного правления Союза польских писателей. Было решено наладить постоянные контакты между обоими союзами.

В результате этого соглашения недавно ОАР посетила делегация польских писателей в составе пяти человек. В мае нынешнего года в Польшу на Дни просвещения, книги и печати приедет делегация писателей ОАР.

ПЕРУ

КОГДА ВОЗНИК ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ РОМАН?

Как сообщает печать, недавно в университет Сан-Маркос в Лиме была передана рукопись некоего Хуана Могровехо де ла Серда под названием «Бешеная», относящаяся к XVII веку. Эта рукопись опрокидывает все бытующие по сей день представления об истории возникновения латиноамериканского романа. Как утверждают ученые, произведение не известного до сих пор перуанского автора, написанное приблизительно в 1626 году, без всяких оговорок можно назвать романом и считать его первым произведением такого жанра в Латинской Америке. До этого открытия изучение обширного литературного материала позволяло лишь выдвинуть гипотезу, что латиноамериканский роман окончательно оформился только в XIX веке, а его основоположником считался мексиканец Хосе Х. Фернандес де Лисарди, печатавшийся под псевдонимом Эль Пенсадор Мехикано и опубликовавший в 1816 году свой первый роман «Перикильо Паршивый».

Иначе приходится взглянуть теперь и на пути развития перуанской литературы. До сих пор первым известным перуанским романистом считался Нарсисо Арестеги, автор книги «Отец Орана», появившейся в середине XIX века.

Рукопись Хуана Могровехо де ла Серда нашел академик Антонио Родригес Моньино. Он впервые упомянул о ней на конгрессе перуанистов во Франции в 1965 г.

ПОЛЬША

НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ДАТЕ

В Варшаве состоялся Всепольский семинар для журналистов и публицистов печати, радио и телевидения, посвященный подготовке к празднованию 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина.

Семинар был организован Главным правлением Общества польско-советской дружбы и Союзом польских журналистов. Цель семинара, как писала польская печать,— ближе познакомить польскую общественность с биографией и теоретическим наследием Ленина, углубить понимание роли ленинских идей в современном мире, а также популяризировать произведения Ленина и биографию великого вождя.

* * *

Общество польско-советской дружбы выпустило популярное издание «По ле-

нинским местам, 1870—1970 годы», представляющее собой хронику жизни и деятельности В. И. Ленина.

Автор книги Владислав Фига, по сообщению печати, большое внимание уделил пребыванию Ленина в Кракове и Поронино.

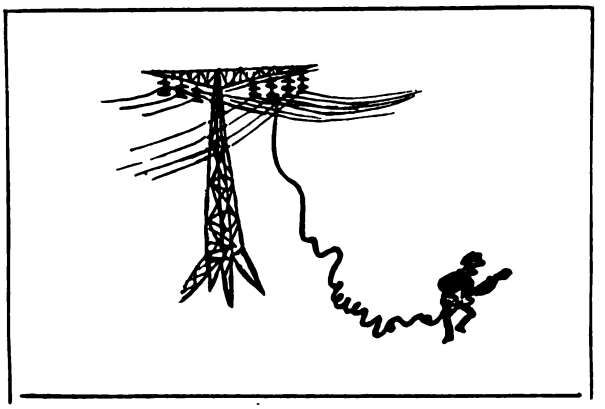
ДЕЯТЕЛИ ТЕАТРА ОБМЕНИВАЮТСЯ МНЕНИЯМИ

Многие коллективы варшавских театров пользуются широкой известностью в стране и за рубежом. Немало создано интересных постановок, таких как «Королевские хроники» Выспянского и «Жизнь — это сон» Кальдерона на сцене Драматического театра (режиссер Людвик Рен), «Ричард III» Шекспира и «Божественная комедия» Красинского в постановке Адама Ханушкевича в Национальном театре; на Малой сцене Драматического театра инсценированы воспоминания народного артиста Вовры (постановка Петра Пясковского и Войцеха Семеона), в Театре Повшехном пользуется успехом спектакль «Дежурство» по пьесе Ежи Лютославского. С интересом встречена зрителями постановка в Театре Польском пьесы М. Шатрова «Большевики».

Об этом и многих других вопросах шла речь на состоявшемся недавно в Варшаве расширенном совещании театральной общественности, созванном Варшавским комитетом ПОРП, как сообщил обозреватель газеты «Трибуна люду» Роман Шидловский. Разговор был острый, принципиальный. Успехи не должны заслонять недостатки, говорилось там. Отмечалось, что на польской сцене еще очень мало ставится современных пьес, посвященных актуальным проблемам социалистического строительства. В варшавских театрах нет политической сатиры, критики старых нравов, произведений об основных проблемах и конфликтах современного мира.

Немало внимания в выступлениях уделялось анализу состояния современной национальной драматургии, говорилось об атмосфере в отдельных варшавских театрах, о необходимости создания сценических произведений для молодежи.

На совещании речь шла также о театральной критике. По сообщению «Трибуны люду», проблемам театральной критики будет посвящено специальное совещание.



«Осторожно — высокое напряжение!» — рисунок Юлиуша Пухальского из еженедельника «Польское обозрение».

РАБОТЫ ВРОЦЛАВСКИХ РУСИСТОВ

Директор Института славяноведения Вроцлавского университета профессор Мариан Якубец дал интервью еженедельнику «Польское обозрение», в котором рассказал о работах вроцлавских русистов. «Продолжая старые традиции польской русистики, основоположником которых был Адам Мицкевич (вспомните его лекции в Париже о славянской литературе), мы в своей работе делаем особый упор на изучение истории польско-русских литературных связей...— сказал Якубец.— Подготовленная нами программа исследований стала основой глубокого изучения этой проблематики в масштабе всей страны. Результаты весьма внушительны: около 400 исследований, научных статей, очерков и отчетов, посвященных истории польско-русских литературных связей.

Наш институт — единственный в Польше центр, в котором работают четыре доктора филологических наук, занимающихся историей русской литературы,— продолжал Якубец.— Вместе с группой младших научных сотрудников они изучают все ее периоды, со времен Киевской Руси до наших дней. Что касается исследования минувших эпох, нельзя не назвать изданного в прошлом году и удостоенного недавно премии министра просвещения и высшего образования монументального труда доктора филологических наук Франциска Селицкого о древнейшей русской летописи «Повести временных лет» (см. сообщение в «Иностранной литературе» № 7, 1969).

Вроцлавские ученые не оставили в стороне и такие проблемы, как популярность русской литературы в Польше в 1863—1895 годы, а также занялись вторым аспектом польско-русских литературных связей — восприятием польской литературы в России. Доктор филологических наук Збигнев Баранский пишет труд об оценке русской критикой 60-х годов прошлого столетия польской литературы, а в 1962 году создал монографию «Польская литература в России в конце XIX — начале XX веков».

На вопрос, какое отражение находят современные

литературные связи в планах института, Якубец ответил: «Сотрудниками института написаны работы и на эту тему. Они посвящены оценке польской критикой творчества Шолохова, постановкам пьес Маяковского на польской сцене и восприятию произведений Алексея Толстого в наши дни. Две последние работы опубликованы на страницах журнала «Slavica Wratislaviensia», издаваемого Вроцлавским университетом.

Несмотря на многолетнее изучение польско-русских культурных связей не только в Польше и Советском Союзе, но и в других странах, все еще очень много неразработанных проблем. Мы хотим дать обобщающую картину этих связей; для этого необходимо сотрудничество всех польских русистов, особенно из вроцлавского, краковского, варшавского и познанского центров. Первые шаги уже сделаны; нашими научными работниками написаны некоторые главы истории русской литературы—двухтомного труда, созданного коллективом авторов, который выпустит Государственное научное издательство. Мы хотим заняться также вопросами сравнительного литературоведения, установить сходство и различия некоторых явлений и эпох в истории русской и польской литературы».

На улицах Бухареста во время парада участников Международного фестиваля фольклора.

(Журнал «Румынские горизонты»)

РУМЫНИЯ

ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ФОЛЬКЛОРА

В течение двух недель в Бухаресте, а также в Констанце, Мамае, Предяле, Синае и других городах Румынии проходил I Международный конкурс-фестиваль фольклора. На нем было продемонстрировано народное искусство 13 стран, в том числе Англии, Болгарии, Италии, Монголии, Польши, СССР, Туниса, Югославии и др. Программа фестиваля включала выставку народного искусства, ярмарку предметов народного творчества, международный конкурс музыкального и хореографического искусства. На концертах присутствовали сотни тысяч зрителей. Праздник завершился грандиозным парадом национальных костюмов стран-участниц на бухарестских улицах.

В дни фестиваля в Бухаресте состоялась научная сессия на тему: «Народное творчество в условиях современности». На сессии завязалась дискуссия о взаимоотношении и взаимном влиянии народного искусства и современной культуры.

Первая премия конкурса-фестиваля—Золотая медаль и звание лауреата — были присуждены коллективам: «Иеза Влахович» (Югославия), «Пойеница» (Румыния), «Ровесник» (СССР).

США

«МЕТРОПОЛИТЭН-ОПЕРА» ОТКРЫВАЕТСЯ С ОПОЗДАНИЕМ

Новый театральный сезон в Нью-Йорке для любителей театра начался с огорчения: впервые за восемьдесят пять лет существования «Метрополитэн-опера» не подняла свой занавес. Произошло это в результате конфликта, возникшего между профсоюзом, в который входят артисты театра, и руководством «Метрополитэн-опера».

Руководство театра в лице управляющего Рудольфа Бинга и Совета директоров не пожелало пойти навстречу справедливым требованиям артистов хора, оркестра и кордебалета об увеличении оплаты их труда (они зачастую работают по 72 часа в неделю), об улучшении условий труда и о создании пенсионного фонда для престарелых артистов. Чтобы удовлетворить эти требования, дирекции пришлось бы повысить нынешние ставки на 50%, а в иных случаях и на 200%.

Артисты «Метрополитэн-опера», не желая обострять конфликт, согласились продолжать репетиции к новому сезону и даже начать его в условиях переговоров с дирекцией. Однако администрация театра, после того как ей стало ясно, что коллектив и профсоюз намерены упорно отстаивать свои требования, прекратила все репетиции к нынешнему сезону за полтора месяца до его начала.

«Американская гильдия артистов» ответила на этот акт произвола опубликованием в «Нью-Йорк таймс» пространного заявления, в котором решительно осуждала действия администрации театра.

«Вся эта история лишний раз свидетельствует об ужасающем положении, в котором находятся в США музыка, музыкальные учреждения и симфонические оркестры,— заявил на страницах «Нью-Йорк таймс» известный музыковед и критик Гарольд Шонберг.— Несколько месяцев назад я уже заявлял публично, что истоки всех наших бед восходят к войне во Вьетнаме. Война потребовала огромных средств, а ведь эти деньги могли бы пойти на финансирование культуры».

Как явствует из сообщений печати, открытие «Метрополитэн-опера» состоялось с четырехмесячным опозданием, в канун Нового года.

ФРАНЦИЯ

ЕЩЕ РАЗ ОБ «УТЕЧКЕ УМОВ»

В прессе многих европейских стран немало пишут об «утечке умов», то есть о массовом выезде из Европы деятелей науки и культуры, поглощаемых Соединенными Штатами Америки. Этой прискорбной для Европы проблеме посвящена вышедшая недавно книга известного математика, доктора Сорбонны Д. Хорафаса под названием «Революция знания».

За многовековую историю человечества, пишет автор, не раз наблюдался массовый исход духовной элиты, привлеченной крупными зарубежными очагами просвещения или покидавшей родину из-за царивших там гнета и преследования свободной мысли. Достаточно вспомнить о последствиях отмены Нантского эдикта во Франции в 1685 году или о бегстве в США в годы фашизма немецких и итальянских ученых.

XIX век, по мнению Д. Хорафаса, был прежде всего веком промышленной революции, а отличительной особенностью века XX является «революция мысли».

В этих условиях непрерывно увеличивающаяся «утечка умов» из Европы в Америку приобретает особое значение. В 1966 году США поглотили 5% научных работников Европы. Если прежде основную массу переселяющихся в США лиц составляли крестьяне, неквалифицированные рабочие и техники, то теперь известные университеты — Беркли в Калифорнии, Принстон, а также Массачусетский технологический институт и другие — привлекают лучших представителей науки и техники из Англии, ФРГ, Швейцарии, Скандинавских стран.

В «орбиту притяжения» США попадают не только европейские ученые, но и представители научной мысли других стран, отмечает Д. Хорафас. В частности, в настоящее время около 20 000 индийских ученых, инженеров, врачей работают за границей, США.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

С МЫСЛЬЮ О КОНСОЛИДАЦИИ

По сообщению газеты «Руде право», в Праге состоялся актив директоров чешских театров совместно с представителями театральных коллективов. Министр культуры ЧССР М. Бружек, выступивший на совещании, рассказал о нынешней культурной политике государства, о принципах ее осуществления. Он подчеркнул объективную необходимость усиления культурно-воспитательной роли государства, которую на протяжении последних полутора лет некоторые «деятели» сознательно ограничивали. Это проистекало, в частности, из ошибочных и враждебных позиций некоторых членов творческих союзов и деятелей культуры, нашедших выражение в распространенных ранее документах, таких как «2000 слов» и другие.

Министр призвал всех работников чешских театров к активному сотрудничеству для решения важных общественных задач, которые стоят перед работниками культуры и искусства.

Участники актива приняли резолюцию, в которой говорится, что деятели театра, подобно другим работникам культуры страны, ищут выхода из кризиса и путей консолидации в политической, экономической и культурной жизни.

Участники актива убежде-

ны, сказано в резолюции, что, на основе решения XIII съезда КПЧ о культуре, необходимо подвергнуть серьезному анализу деятельность чешскнх театров и отказаться от всего того, что пришло в противоречие с развитием социалистического искусства.

Своей первоочередной задачей в ближайшее время, говорится далее в резолюции, работники театров считают подготовку к достойному проведению 100-летия со дня рождения В. И. Ленина и 25-летия освобождения Чехословакии от фашизма.

ЯПОНИЯ

«ПРОГРЕСС И ГАРМОНИЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

Под таким девизом 15 марта в Осака откроется «ЭКСПО-70» — Всемирная выставка достижений стран мира в области науки, техники, культуры.

«На «ЭКСПО-70» культурная программа будет обширнее по сравнению со всеми предыдущими выставками»,— заявил представителям печати главный советник выставки по вопросам культуры Куниске Ито.

Организаторы выставки готовятся обеспечить максимально благоприятные условия для выступлений артистов из многих стран мира, приглашенных в Осака на фестиваль искусств, рассказал далее К. Ито. Основные театральные представления и концерты исполнителей будут проходить в фестивальном зале на 15 тысяч зрителей, а огромный «ЭКСПО-театр» предоставит свои подмостки для популярных ревю и выступлений ансамблей народного танца. Одновременно до ста тысяч посетителей смогут наблюдать грандиозные представления-карнавалы в так называемой Символической зоне. Городской «Фестивал-холл», где регулярно проводятся международные музыкальные фестивали, станет местом выступлений симфонических оркестров и театральных трупп.

В соответствии с девизом «ЭКСПО-70» фестиваль искусств будет проводиться в духе сотрудничества артистов разных стран, продолжал К. Ито. Так, широко известный японский национальный театр Кабуки, в котором по древней традиции все актеры — мужчины, будет выступать в сопровождении зарубежных оркестров. На «ЭКСПО-70» выступят многие известные во всем мире коллективы, такие как «Метрополитэн-опера», симфонический оркестр из Торонто, Мюнхенская государственная опера.

С большим интересом ожидается приезд советских артистов. Советское искусство там будут представлять оперная труппа Большого театра и симфонический оркестр Ленинградской филармонии. Значительным событием «ЭКСПО-70» станет фестиваль советского искусства, в котором примут участие 140 артистов различных жанров.

ЮНЕСКО

ПРОТИВ НАРУШЕНИЯ ИЗРАИЛЕМ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ

Как пишут зарубежные обозреватели, оккупация Израилем арабской части Иерусалима поставила дальнейшее существование этого древнего города под серьезную угрозу. Израильские оккупационные власти грубо попирают Гаагскую конвенцию 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Эта конвенция запрещает, в частности, государству-оккупанту проводить на захваченных территориях археологические раскопки, присваивать ценности культурного характера, а также изменять как-либо исторические места или памятники старины.

В докладе генерального комиссара ЮНЕСКО Исполнительному комитету этой организации приведены многочисленные факты, свидетельствующие о произволе израильских оккупационных властей в Иерусалиме. Под предлогом «обеспечения безопасности» и вопреки протестам представителей ЮНЕСКО, они снесли дома Абу Сауда, группы жилых построек эпохи Мамлюков. Эти дома представляли собой огромную историческую ценность и одну из достопримечательностей Иерусалима. Серьезный ущерб старому Иерусалиму был нанесен также сносом старых домов, расположенных в юго-западной части города.

Как свидетельствует демократическая печать, ведутся археологические раскопки в восточной части Иерусалима, возле стены храма Харам эш-Шериф.

Тревогу вызывает также разработанный израильскими властями так называемый «план урбанизации» Иерусалима, который предусматривает «развитие и модернизацию» его старой арабской части.

Действуя незаконно, власти Израиля переправили из археологического музея Палестины в музей Израиля одну из двух наиболее важных коллекций свитков Мертвого моря, национализированных правительством Иордании в конце 1966 года, самовольно экспонировали восемь фрагментов этих манускриптов. Вопреки обычаям международного права Израиль перекупил у одного иорданского гражданина редчайший манускрипт Мертвого моря, называемый Манускриптом храма, что является поощрением контрабанды древних памятников.

По сообщениям печати, руководящие круги ЮНЕСКО встревожены действиями израильских оккупационных властей. На заседании Исполнительного комитета этой организации в Париже был рассмотрен вопрос о сохранении Иерусалима как одного из крупнейших памятников истории человечества. Исполком ЮНЕСКО осудил незаконные мероприятия Израиля, подчеркнув необходимость мобилизации мирового общественного мнения на защиту Иерусалима.

Авторы этого номера

АРИЭЛЬ БАДАНО — ARIEL BADANO.

Уругвайский поэт-коммунист, автор сборника стихов «Сражающаяся заря» («Alba combatiente»); сотрудничает в журнале «Эстудиос» — органе Коммунистической партии Уругвая. Его стихи, посвященные Ленину, Октябрьской революции, Москве, печатались в разных советских изданиях.

Публикуемое в этом номере стихотворение получено от автора в рукописи.

■

ЦИРИЛ КОСМАЧ — CIRIL KOSMAC (род. в 1910 г.).

Югославский писатель, лауреат многих литературных премий, действительный член Словенской академии наук и искусств, председатель Союза писателей Словении.

Перу Ц. Космача принадлежит несколько сборников рассказов, в том числе «Из моей долины» («Iz moje doline», 1958), «Новеллы» («Novele», 1960). На русском языке вышла его книга «Счастье и хлеб», рассказ «В тот чудесный день» был напечатан в двухтомнике «Повести и рассказы югославских писателей».

В этом номере мы предлагаем вниманию читателей его «Балладу о трубе и облаке» («Balada o trobenti in oblaku»), которая считается в Югославии одним из лучших произведений художественной прозы послевоенных лет. Печатается по изданию 1964 года с сокращениями.

■

ЛАМАР (псевдоним Лальо Маринова. Род. в 1898 г.).

Известный болгарский поэт, заслуженный деятель культуры, дважды лауреат Димитровской премии. За пятидесятилетнюю литературную деятельность поэтом создано много книг, среди которых сборники стихов, поэмы, романы. В последние годы Ламар чаще обращается к форме сонета, к пейзажной лирике, стихам-раздумьям, к прозе.

Советским читателям творчество Ламара знакомо по вышедшему на русском языке сборнику «Стихи».

Публикуемые стихотворения взяты из книги стихов «Воплощения» («Претворения», 1968).

■

БЛАГА ДИМИТРОВА (род. в 1922 г.).

Болгарская поэтесса. Начала печататься в 1939 г. Известны сборники ее стихов «Песни о Родопах» («Песни за Родопите», 1954), «Мир в ладони» («Светът в шепа», 1962), «Другое время» («Обратно време», 1966). Вышли также ее произведения в прозе: лирический роман «Путешествие к самой себе» («Пътуване към себе си», 1965), «Отклонение» (1967), роман о Вьетнаме «Страшный суд» («Страшния съд», 1968). На русском языке ее стихи печатались в нашем журнале (№ 8, 1963) и других советских изданиях.

В этом номере напечатаны стихи из сборника «Осужденные на любовь» («Осъдени на любов», 1967).

■

БОЖИДАР БОЖИЛОВ (род. в 1923 г.).

Болгарский поэт, прозаик, драматург, лауреат Димитровской премии, главный редактор журнала «Пламк». Автор многих книг стихов. В последние годы изданы его стихотворные сборники «Мужественный ритм» («Мъжествен ритъм», 1964), «Праздник» («Празник», 1966), «Образы и чувства» («Образи и чувства», 1968), роман-репортаж «Специальный корреспондент» («Специален кореспондент», 1966); отдельным изданием вышли пьесы, уже поставленные многими болгарскими театрами.

На русском языке в 1968 г. издана книга его стихов «Весенняя поэзия», в нашем

журнале печатались «Лирические исповеди» (№ 1, 1966) и отдельные стихи.

МУИН БСИСУ (род. в 1928 г.).

Арабский палестинский поэт. Долгое время был в эмиграции в Сирии, в настоящее время живет в Каире. Первый сборник его стихов «Письма» вышел в 1952 году, после чего шесть раз переиздавался в арабских странах. Затем вышли сборники «Распятая Иордания», «Палестина в сердце» и др.

Муин Бсису был участником Международной встречи писателей в Ташкенте в сентябре 1968 г.

Стихи, публикуемые в этом номере, написаны поэтом в последние годы и взяты нами из различных периодических изданий и сборников.

СВЕН СТОРК — SVEN STORCK (род. в 1922 г.)

Шведский литературовед, переводчик, редактор журнала «Новости Советского Союза», выходящего в Швеции. Автор книги эссе о советской литературе, переводов на шведский многих произведений советских писателей (Федина, Паустовского, Шолохова, Айтматова и др.).

Рецензия о новой книге Ивара Лу-Юхаиссона получена в рукописи.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47

А 05555. Сдано в производство 13/XI-69 г. Подписано к печати 20/I-70 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л.=18 п. л. (25,2)+2 вкл. Уч.-изд. листов 27,84. Зак. 3990.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394